This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

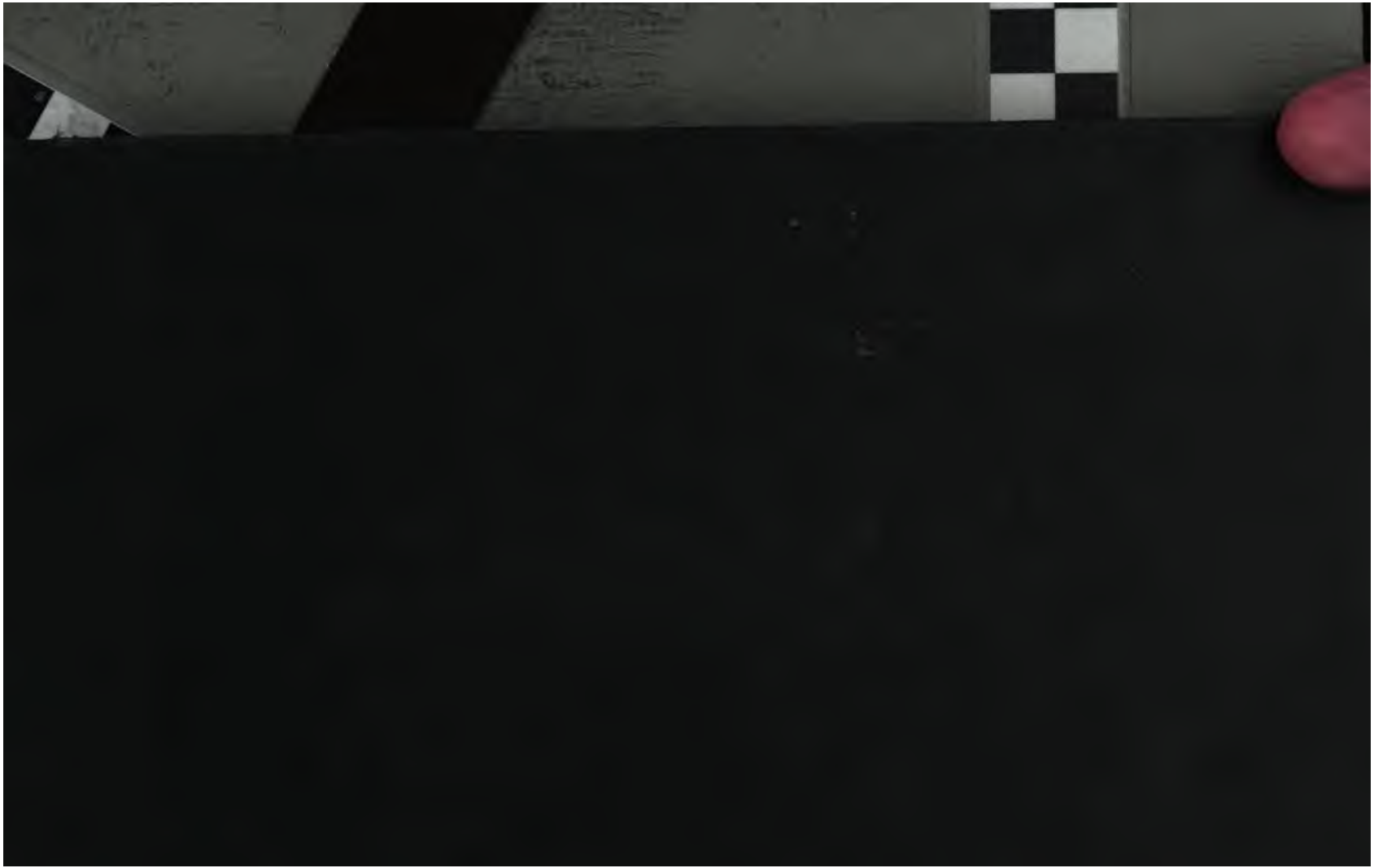
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



891.71
T651
v.4

БИБЛІОТЕКА ОФИЦЕРСКАГО СОБРАНІЯ
5го
ФИНЛЯНДСКАГО
СТРѢЛКОВАГО ПОЛКА

3204

320311

Ея Императорскому Величеству

Государынѣ Императрицѣ

Маріи Александровнѣ.

3204

320311

Оглавленіе.

		стр.
Посвященіе.		
Предисловіе къ первому изданію		1
I.	Опричники	3
II.	Новые товарищи	14
III.	Колдовство	19
IV.	Дружина Андреевичъ и его жена	24
V.	Встрѣча	33
VI.	Пріемъ	40
VII.	Александрова Слобода	52
VIII.	Пиръ	59
IX.	Судъ	73
X.	Отецъ и сынъ	84
XI.	Ночное шествіе	90
XII.	Клевета	98
XIII.	Ванюха Перстень и его товарищи	105
XIV.	Оплеуха	114
XV.	Поцѣлуйный обрядъ	127
XVI.	Похищеніе	137
XVII.	Заговоръ на кровь	143
XVIII.	Старый знакомый	154
XIX.	Русскій человѣкъ добро помнитъ	159
XX.	Веселые люди	167
XXI.	Сказка	184
XXII.	Монастырь	200
XXIII.	Дорога	206
XXIV.	Бунтъ станичниковъ	214
XXV.	Приготовленіе къ битвѣ	227
XXVI.	Побратимство	232

Оглавленіе.

Посвященіе. стр.

Предисловіе къ первому изданію 1

I. Опричники 3

II. Новые товарищи 14

III. Колдовство 19

IV. Дружина Андреевичъ и его жена 24

V. Встрѣча 33

VI. Пріемъ 40

VII. Александрова Слобода 52

VIII. Пиръ 59

IX. Судъ 73

X. Отецъ и сынъ 84

XI. Ночное шествіе 90

XII. Клевета 98

XIII. Ванюха Перстень и его товарищи 105

XIV. Оплеуха 114

XV. Поцѣлуйный обрядъ 127

XVI. Похищеніе 137

XVII. Заговоръ на кровь 143

XVIII. Старый знакомый 154

XIX. Русскій человѣкъ добро помнитъ 159

XX. Веселые люди 167

XXI. Сказка 184

XXII. Монастырь 200

XXIII. Дорога 206

XXIV. Бунтъ станичниковъ 214

XXV. Приготовленіе къ битвѣ 227

XXVI. Побратимство 232

		стр.
XXVII.	Басмановъ	240
XXVIII.	Разставаніе	250
XXIX.	Очная ставка	254
XXX.	Заговоръ на желѣзо	262
XXXI.	Божій судъ	269
XXXII.	Ладанка Вяземскаго	283
XXXIII.	Ладанка Басманова	286
XXXIV.	Шутовской кафтанъ	291
XXXV.	Казнь	299
XXXVI.	Возвращеніе въ Слободу	308
XXXVII.	Прощеніе	317
XXXVIII.	Выѣздъ изъ Слободы	326
XXXIX.	Послѣднее свиданіе	333
XL.	Посольство Ермака	343

Предисловіе

къ первому изданію.

Представляемый здѣсь разсказъ имѣетъ цѣлью не столько описаніе какихъ-либо событій, сколько изображеніе общаго характера цѣлой эпохи и воспроизведеніе понятій, вѣрованій, нравовъ и степени образованности русскаго общества во вторую половину XVI столѣтія.

Оставаясь вѣрнымъ исторіи въ общихъ ея чертахъ, авторъ позволилъ себѣ нѣкоторыя отступленія въ подробностяхъ, не имѣющихъ исторической важности. Такъ, между прочимъ, казнь Вяземскаго и обоихъ Басмановыхъ, случившаяся на дѣлѣ въ 1570 году, помѣщена, для сжатости разсказа, въ 1565 годъ. Этотъ умышленный анахронизмъ едва-ли навлечетъ на себя строгое порицаніе, если принять въ соображеніе, что безчисленныя казни, послѣдовавшія за низверженіемъ Сильвестра и Адашева, хотя много служатъ къ личной характеристикѣ Іоанна, но не имѣютъ вліянія на общій ходъ событій.

Въ отношеніи къ ужасамъ того времени авторъ оставался постоянно ниже исторіи. Изъ уваженія къ искусству и къ нравственному чувству читателя, онъ набросилъ на нихъ тѣнь

и показалъ ихъ по возможности въ отдаленіи. Тѣмъ не менѣе, онъ сознается, что при чтеніи источниковъ книга не разъ выпадала у него изъ рукъ, и онъ бросалъ перо въ негодованіи, не столько отъ мысли, что могъ существовать Іоаннъ IV, сколько отъ той, что могло существовать такое общество, которое смотрѣло на него безъ негодованія. Это тяжелое чувство постоянно мѣшало необходимой въ эпическомъ сочиненіи объективности и было отчасти причиной, что романъ, начатый болѣе десяти лѣтъ тому назадъ, оконченъ только въ настоящемъ году. Послѣднее обстоятельство послужитъ, быть можетъ, нѣкоторымъ извиненіемъ для тѣхъ неровностей слога, которыя, вѣроятно, не ускользнутъ отъ читателя.

Въ заключеніе авторъ полагаетъ нелишнимъ сказать, что чѣмъ вольнѣе онъ обращался съ второстепенными историческими происшествіями, тѣмъ строже онъ старался соблюдать истину и точность въ описаніи характеровъ и всего, что́ касается до народнаго быта и до археологіи.

Если удалось ему воскресить наглядно физіономію очерченной имъ эпохи, онъ не будетъ сожалѣть о своемъ трудѣ и почтетъ себя достигшимъ желанной цѣли.

1863.

ГЛАВА I.

Опричники.

Лѣта отъ сотворенія міра семь-тысячъ семьдесятъ-третьяго, или по нынѣшнему счисленію 1565 года, въ жаркій лѣтній день, 23 іюня, молодой бояринъ князь Никита Романовичъ Серебряный подъѣхалъ къ деревнѣ Медвѣдевкѣ, верстъ за тридцать отъ Москвы.

За нимъ ѣхала толпа ратниковъ и холопей.

Князь провелъ цѣлыхъ пять лѣтъ въ Литвѣ. Его посылалъ царь Иванъ Васильевичъ къ королю Жигимонту подписать миръ на многія лѣта послѣ бывшей тогда войны. Но на этотъ разъ царскій выборъ вышелъ неудаченъ. Правда, Никита Романовичъ упорно отстаивалъ выгоды своей земли, и, казалось бы, нельзя и желать лучшаго посредника, но Серебряный не былъ рожденъ для переговоровъ. Отвергая тонкости посольской науки, онъ хотѣлъ вести дѣло на чистоту и, къ крайней досадѣ сопровождавшихъ его дьяковъ, не позволялъ имъ никакихъ изворотовъ. Королевскіе совѣтники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушіемъ князя, вывѣдали отъ него наши слабыя стороны и увеличили свои требованія. Тогда онъ не вытерпѣлъ: среди полнаго сейма ударилъ кулакомъ по столу и разорвалъ докончальную грамоту, приготовленную къ подписанію. «Вы-де и съ королемъ вашимъ выюны да оглядчики! Я съ вами говорю по совѣсти, а вы все норовите, какъ бы меня лукавствомъ

обойти! Такъ-де чинить не повадно!» Этотъ горячій поступокъ разрушилъ въ одинъ мигъ успѣхъ прежнихъ переговоровъ, и не миновать бы Серебряному опалы, если бы, къ счастью его, не пришло въ тотъ же день отъ Москвы повелѣніе не заключать мира, а возобновить войну. Съ радостью выѣхалъ Серебряный изъ Вильно, смѣнилъ бархатную одежду на блестящіе бахтерцы, и давай бить литовцевъ, гдѣ только Богъ посылалъ. Показалъ онъ свою службу въ ратномъ дѣлѣ лучше, чѣмъ въ думномъ, и прошла про него великая хвала отъ русскихъ и литовскихъ людей.

Наружность князя соотвѣтствовала его нраву. Отличительными чертами болѣе пріятнаго, чѣмъ красиваго лица его были простосердечіе и откровенность. Въ его темносѣрыхъ глазахъ, осѣненныхъ черными рѣсницами, наблюдатель прочелъ бы необыкновенную, безсознательную и какъ бы невольную рѣшительность, не позволявшую ему ни на мигъ задуматься въ минуту дѣйствія. Неровныя, взъерошенныя брови и косая между ними складка указывали на нѣкоторую безпорядочность и непослѣдовательность въ мысляхъ. Но мягко и опредѣлительно изогнутый ротъ выражалъ честную, ничѣмъ непоколебимую, твердость, а улыбка—безпритязательное, почти дѣтское добродушіе, такъ что иной, пожалуй, почелъ бы его ограниченнымъ, если бы благородство, дышащее въ каждой чертѣ его, не ручалось, что онъ всегда постигнетъ сердцемъ, чего, можетъ быть, и не съумѣетъ объяснить себѣ умомъ. Общее впечатлѣніе было въ его пользу и рождало убѣжденіе, что можно смѣло ему довѣриться во всѣхъ случаяхъ, требующихъ рѣшимости и самоотверженія, но что обдумывать свои поступки не его дѣло, и что соображенія ему не даются.

Серебряному было лѣтъ двадцать-пять. Роста онъ былъ средняго, широкъ въ плечахъ, тонокъ въ поясѣ. Густые русые волосы его были свѣтлѣе загорѣлаго лица и составляли противоположность съ темными бровями и черными рѣсницами. Короткая борода, немного темнѣе волосъ, слегка оттѣняла губы и подбородокъ.

Весело было теперь князю и легко на сердцѣ возвращаться на родину. День былъ свѣтлый, солнечный, одинъ изъ тѣхъ дней, когда вся природа дышитъ чѣмъ-то праздничнымъ, цвѣты кажутся ярче, небо голубѣе, вдали прозрачными струями зыблется воздухъ, и человѣку дѣлается такъ легко, какъ будто душа его сама перешла въ природу, и трепещетъ на каждомъ листѣ, и качается на каждой былинкѣ.

Свѣтелъ былъ іюньскій день, но князю, послѣ пятилѣтняго пребыванія въ Литвѣ, онъ казался еще свѣтлѣе. Отъ полей и лѣсовъ такъ и вѣяло Русью.

Безъ лести и кривды радѣлъ Никита Романовичъ къ юному Іоанну. Твердо держалъ онъ свое крестное цѣлованіе, и ничто не пошатнуло бы его крѣпкаго стоятельства за государя. Хотя сердце и мысль его давно просились на родину, но если бы теперь же пришло ему повелѣніе вернуться въ Литву, не увидя ни Москвы, ни родныхъ, онъ безъ ропота поворотилъ бы коня и съ прежнимъ жаромъ кинулся бы въ новыя битвы. Впрочемъ, не онъ одинъ такъ мыслилъ. Всѣ русскіе люди любили Іоанна, всею землею. Казалось, съ его праведнымъ царствіемъ насталъ на Руси новый золотой вѣкъ, и монахи, перечитывая лѣтописи, не находили въ нихъ государя, равнаго Іоанну.

Еще не доѣзжая деревни, князь и люди его услышали веселыя пѣсни, а когда подъѣхали къ околицѣ, то увидѣли, что въ деревнѣ праздникъ. На обоихъ концахъ улицы парни и дѣвки составили по хороводу, и оба хоровода несли по березкѣ, украшенной пестрыми лоскутьями. На головахъ у парней и дѣвокъ были зеленые вѣнки. Хороводы пѣли то оба вмѣстѣ, то очередуясь, разговаривали одинъ съ другимъ и перекидывались шуточною бранью. Звонко раздавался между пѣснями дѣвичій хохотъ и весело пестрѣли въ толпѣ цвѣтныя рубахи парней. Стаи голубей перелетали съ крыши на крышу. Все двигалось и кипѣло, веселился православный народъ.

У околицы старый стремянный князя съ нимъ поровнялся.

— Эхва! — сказалъ онъ весело: — вишь какъ они, батюшка, тётка ихъ подкурятина, справляютъ Аграфену-Купальницу-то.

Ужъ не поотдохнуть ли намъ здѣсь? Кони-то заморились, да и намъ-то, поѣмши, веселѣе будетъ ѣхать. По сытому брюху, батюшка, самъ знаешь, хоть обухомъ бей!

— Да, я чай, уже недалеко до Москвы! — сказалъ князь, очевидно не желавшій остановиться.

— Эхъ, батюшка, вѣдь ты сегодня уже разовъ пять спрошалъ. Сказали тебѣ добрые люди, что будетъ отсюда еще поприщъ за сорокъ. Вели отдохнуть, князь, право кони устали!

— Ну, добро,—сказалъ князь,—отдыхайте.

— Эй, вы!—закричалъ Михеичъ, обращаясь къ ратникамъ:— долой съ коней, сымай котлы, раскидывай огонь!

Ратники и холопи были всѣ въ приказѣ у Михеича; они спѣшились и стали развязывать вьюки. Самъ князь слѣзъ съ коня и снялъ служилую бронь. Видя въ немъ человѣка роду честнаго, молодые прервали хороводы, старики сняли шапки и всѣ стояли, переглядываясь въ недоумѣніи, продолжать или нѣтъ веселіе.

— Не чинитесь, добрые люди, — сказалъ ласково Никита Романовичъ: — кречетъ соколамъ не помѣха!

— Спасибо, бояринъ, — отвѣчалъ пожилой крестьянинъ. — Коли милость твоя нами не брезгаетъ, просимъ покорно, садись на завалину, а мы тебѣ, коли соизволишь, медку поднесемъ; уважь, бояринъ, выпей на здоровье!—Дуры!—продолжалъ онъ, обращаясь къ дѣвкамъ: — чего испугались? Аль не видите, это бояринъ со своею челядью, а не какіе-нибудь опричники! Вишь ты, бояринъ, съ тѣхъ поръ какъ настала на Руси опричнина, такъ нашъ братъ всего боится; житья нѣту бѣдному человѣку! И въ праздникъ пей да не допивай; пой да оглядывайся. Какъ разъ нагрянутъ, ни съ того, ни съ другого, словно снѣгъ на голову!

— Какая опричнина? Что за опричники?—спросилъ князь.

— Да провалъ ихъ знаетъ! Называютъ себя царскими людьми. Мы-де люди царскіе, опричники! А вы-де земщина! Намъ-де васъ грабить да обирать, а вамъ-де терпѣть да кланяться. Такъ-де царь указалъ!

Князь Серебряный вспыхнулъ.

— Царь указалъ обижать народъ? Ахъ, они окаянные! Да кто они такіе? Какъ вы ихъ, разбойниковъ, не перевяжете!

— Перевязать опричниковъ-то? Эхъ, бояринъ! видно, ты издалека ѣдешь, что не знаешь опричнины! Попытайся-ка что̀ съ ними сдѣлать! Ономнясь наѣхало ихъ человѣкъ десять на дворъ къ Степану Михайлову, вотъ на тотъ дворъ, что̀ на запорѣ; Степанъ-то былъ въ полѣ, они къ старухѣ: давай того, давай другого. Старуха все ставитъ да кланяется. Вотъ они: давай, баба, денегъ! Заплакала старуха, да нечего дѣлать отперла сундукъ, вынула изъ тряпицы два алтына, подаетъ со слезами: берите, только живу оставьте. А они говорятъ: мало! Да какъ хватитъ ее одинъ опричникъ въ високъ, такъ и духъ вонъ! Приходитъ Степанъ съ поля, видитъ: лежитъ его старуха съ разбитымъ вискомъ; онъ не вытерпѣлъ. Давай ругать царскихъ людей: Бога вы не боитесь, окаянные! Но было-бъ вамъ на томъ свѣту ни дна, ни покрышки! А они ему, сердечному, петлю на шею, да и повѣсили на воротахъ!

Вздрогнулъ отъ ярости Никита Романовичъ. Закипѣло въ немъ ретивое.

— Какъ, на царской дорогѣ, подъ самою Москвой, разбойники грабятъ, убиваютъ крестьянъ! Да что̀ же дѣлаютъ ваши сотскіе да губные старосты? Какъ они терпятъ, чтобы станичники себя царскими людьми называли?

— Да,—подтвердилъ мужикъ,—мы-де люди царскіе, опричники; намъ-де все вольно, а вы-де земщина! И старшіе у нихъ есть; знаки носятъ: метлу да собачью голову. Должно быть и вправду царскіе люди.

— Дурень!—вскричалъ князь:—не смѣй станичниковъ царскими людьми величать! «Ума не приложу,—подумалъ онъ.— Особые знаки? Опричники? Что̀ это за слово? Кто эти люди? Какъ пріѣду на Москву, обо всемъ доложу царю. Пусть велитъ мнѣ сыскать ихъ! Не спущу имъ, какъ Богъ святъ, не спущу!»

Между тѣмъ хороводъ шелъ своимъ чередомъ.

Молодой парень представлялъ жениха, молодая дѣвка—не-

вѣсту; парень низко кланялся родственникамъ своей невѣсты, которыхъ также представляли парни и дѣвки.

— Государь мой, тестюшка,—пѣлъ женихъ вмѣстѣ съ хоромъ,—свари мнѣ пива!

— Государыня теща, напеки пироговъ!

— Государь своякъ, осѣдлай мнѣ коня!

Потомъ, взявшись за руки, дѣвки и парни кружились вокругъ жениха и невѣсты, сперва въ одну, потомъ въ другую сторону. Женихъ выпилъ пиво, съѣлъ пироги, изъѣздилъ коня и выгоняетъ свою родню.

— Пошелъ, тесть, къ чорту!

— Пошла, теща, къ чорту!

— Пошелъ, своякъ, къ чорту!

При каждомъ стихѣ онъ выталкивалъ изъ хоровода то дѣвку, то парня.

Мужики хохотали.

Вдругъ раздался пронзительный крикъ. Мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, весь окровавленный бросился въ хороводъ.

— Спасите! спрячьте!—кричалъ онъ, хватаясь за полы мужиковъ.

— Что съ тобою, Ваня? Чего орешь? Кто тебя избилъ! Ужъ не опричники-ль!

Въ одинъ мигъ оба хоровода собрались въ кучу; всѣ окружили мальчика; но онъ отъ страху едва могъ говорить.

— Тамъ, тамъ,—произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ,—за огородами, я пасъ телятъ... они наѣхали, стали колоть телятъ, рубить саблями, пришла Дунька, стала просить ихъ, они Дуньку взяли, потащили, потащили съ собой, а меня...

Новые крики перебили мальчика. Женщины бѣжали съ другого конца деревни...

— Бѣда, бѣда!—кричали онѣ:—опричники! Бѣгите, дѣвки, прячьтесь въ рожь! Дуньку и Алёнку схватили, а Сергѣевну убили на-смерть.

Въ то же время показались всадники, человѣкъ въ пятьдесятъ, сабли наголо. Впереди скакалъ чернобородый дѣтина въ

красномъ кафтанѣ, въ рысьей шапкѣ съ парчевымъ верхомъ. Къ сѣдлу его были привязаны метла и собачья голова.

— Гойда! Гойда!—кричалъ онъ.—Колите скотъ, рубите мужиковъ, ловите дѣвокъ, жгите деревню! За мной ребята, никого не жалѣть!

Крестьяне бѣжали куда кто могъ.

— Батюшка! Бояринъ!—вопили тѣ, которые были ближе къ князю:—не выдавай насъ, сиротъ! Оборони горемычныхъ!

Но князя уже не было между ними.

— Гдѣ-жъ бояринъ?—спросилъ пожилой мужикъ, оглядываясь на всѣ стороны.—И слѣдъ простылъ! И людей его не видать! Ускакали, видно, сердечные! Охъ, бѣда неминучая, охъ, смерть намъ настала!

Дѣтина въ красномъ кафтанѣ остановилъ коня.

— Эй ты, старый хрѣнъ! Здѣсь былъ хороводъ, куда дѣвки разбѣжались?

Мужикъ кланялся молча.

— На березу его!—закричалъ черный: — любитъ молчать, такъ пусть себѣ молчитъ на березѣ!

Нѣсколько всадниковъ сошли съ коней и накинули мужику петлю на шею.

— Батюшки, кормильцы! Не губите старика, отпустите, родимые! Не губите старика!

— Ага! Развязалъ языкъ, старый хрычъ! Да поздно, братъ, въ другой разъ не шути! На березу его!

Опричники потащили мужика къ березѣ. Въ эту минуту изъ-за избы раздалось нѣсколько выстрѣловъ, человѣкъ десять пѣшихъ людей бросились съ саблями на душегубцевъ, и въ то же время всадники князя Серебрянаго, вылетѣвъ изъ-за угла деревни, съ крикомъ напали на опричниковъ. Княжескихъ людей было вполовину менѣе числомъ, но нападеніе совершилось такъ быстро и неожиданно, что они въ одинъ мигъ опрокинули опричниковъ. Князь самъ рукоятью сабли сшибъ съ лошади ихъ предводителя. Не давъ ему опомниться, онъ спрыгнулъ съ коня, придавилъ ему грудь колѣномъ и стиснулъ горло.

— Кто ты, мошенникъ?—спросилъ князь.

— А ты кто?—отвѣчалъ опричникъ, хрипя и сверкая глазами.

Князь приставилъ ему пистольное дуло ко лбу.

— Отвѣчай, окаянный, или застрѣлю какъ собаку!

— Я тебѣ не слуга, разбойникъ,—отвѣчалъ черный, не показывая боязни,—а тебя повѣсятъ, чтобы не смѣлъ трогать царскихъ людей!

Курокъ пистоли щелкнулъ, но кремень осѣкся, и черный остался живъ.

Князь посмотрѣлъ вокругъ себя. Нѣсколько опричниковъ лежали убитые, другихъ княжескіе люди вязали, прочіе скрылись.

— Скрутите и этого!—сказалъ бояринъ, и, глядя на звѣрское, но безстрашное лицо его, онъ не могъ удержаться отъ удивленія. — «Нечего сказать, молодецъ! — подумалъ князь:— жаль, что разбойникъ!»

Между тѣмъ подошелъ къ князю стремянный его, Михеичъ.

— Смотри, батюшка,—сказалъ онъ, показывая пукъ тонкихъ и крѣпкихъ веревокъ съ петлями на концѣ,—вишь они какіе осилы возятъ съ собою! Видно не впервой имъ душегубствовать, тётка ихъ подкурятина!

Тутъ ратники подвели къ князю двухъ лошадей, на которыхъ сидѣли два человѣка, связанные и прикрученные къ сѣдламъ. Одинъ изъ нихъ былъ старикъ съ кудрявою, сѣдою головой и длинною бородой. Товарищъ его, черноглазый молодецъ, казался лѣтъ тридцати.

— Это что́ за люди?—спросилъ князь.—Зачѣмъ вы ихъ къ сѣдламъ прикрутили?

— Не мы, бояринъ, а разбойники прикрутили ихъ къ сѣдламъ. Мы нашли ихъ за огородами, и стража къ нимъ была приставлена.

— Такъ отвяжите ихъ и пустите на волю!

Освобожденные плѣнники потягивали онѣмѣлые члены, но, не спѣша воспользоваться свободою, остались посмотрѣть, что будетъ съ побѣжденными.

— Слушайте, мошенники,—сказалъ князь связаннымъ оприч-

никамъ,—говорите, какъ вы смѣли называться царскими слугами? Кто вы таковы?

— Что́, у тебя глаза лопнули, что ли?—отвѣчалъ одинъ изъ нихъ.—Аль не видишь, кто мы? Извѣстно кто! Царскіе люди, опричники!

— Окаянные! — вскричалъ Серебряный: — коли жизнь вамъ дорога, отвѣчайте правду!

— Да ты, видно, съ неба свалился,—сказалъ съ усмѣшкой черный дѣтина,—что никогда опричниковъ не видалъ? И подлинно съ неба свалился! Чортъ его знаетъ, откуда выскочилъ, провалиться бы тебѣ сквозь землю.

Упорство разбойниковъ взорвало Никиту Романовича.

— Слушай, молодецъ,—сказалъ онъ:—твоя дерзостность мнѣ было-пришлась по нраву, я хотѣлъ-было пощадить тебя. Но если ты сейчасъ же не скажешь мнѣ, кто ты таковъ, какъ Богъ святъ, велю тебя повѣсить!

Разбойникъ гордо выпрямился.

— Я Матвѣй Хомякъ,—отвѣчалъ онъ,—стремянный Григорія Лукьяновича Скуратова-Бѣльскаго; служу вѣрно господину моему и царю въ опричникахъ. Метла, что́ у насъ при сѣдлѣ, значитъ, что мы Русь метемъ, выметаемъ измѣну изъ царской земли; а собачья голова, что мы грызем враговъ царскихъ. Теперь ты вѣдаешь, кто я; скажи-жъ и ты, какъ тебя называть, величать, какимъ именемъ помянуть, когда придется тебѣ шею свернуть?

Князь простилъ бы опричнику его дерзкія рѣчи. Безстрашіе этого человѣка въ виду смерти ему нравилось. Но Матвѣй Хомякъ клеветалъ на царя, и этого не могъ снести Никита Романовичъ. Онъ далъ знакъ ратникамъ. Привыкшіе слушаться боярина и сами раздраженные дерзостью разбойниковъ, они накинули имъ петли на шеи и готовились исполнить надъ ними казнь, незадолго передъ тѣмъ угрожавшую бѣдному мужику.

Тутъ младшій изъ людей, которыхъ князь велѣлъ отвязать отъ сѣделъ, подошелъ къ нему.

— Дозволь, бояринъ, слово молвить.

— Говори!

— Ты, бояринъ, сегодня доброе дѣло сдѣлалъ, вызволилъ насъ изъ рукъ этихъ собачьихъ дѣтей, такъ мы хотимъ тебѣ за добро добромъ заплатить. Ты, видно, давно на Москвѣ не бывалъ, бояринъ. А мы такъ знаемъ, что тамъ дѣется. Послушай насъ, бояринъ. Коли жизнь тебѣ не постыла, не вели вѣшать этихъ чертей. Отпусти ихъ, и этого бѣса, Хомяка, отпусти. Не ихъ жаль, а тебя, бояринъ. А ужъ попадутся намъ въ руки, вотъ-те Христосъ, самъ повѣшу ихъ. Не миновать имъ осила, только бы не ты ихъ къ чорту отправилъ, а нашъ братъ!

Князь съ удивленіемъ посмотрѣлъ на незнакомца. Черные глаза его глядѣли твердо и проницательно; темная борода покрывала всю нижнюю часть лица, крѣпкіе и ровные зубы сверкали ослѣпительною бѣлизной. Судя по его одеждѣ, можно было принять его за посадскаго или за какого-нибудь зажиточнаго крестьянина, но онъ говорилъ съ такою увѣренностью и, казалось, такъ искренно хотѣлъ предостеречь боярина, что князь сталъ пристальнѣе вглядываться въ черты его. Тогда показалось князю, что на нихъ отпечатокъ необыкновеннаго ума и смѣтливости, а взглядъ обнаруживаетъ человѣка, привыкшаго повелѣвать.

— Ты кто молодецъ? — спросилъ Серебряный: — и зачѣмъ вступаешься за людей, которые самого тебя прикрутили къ сѣдлу?

— Да, бояринъ, кабы не ты, то висѣть бы мнѣ вмѣсто ихъ! А все-таки послушай мово слова, отпусти ихъ, жалѣть не будешь, какъ пріѣдешь на Москву. Тамъ, бояринъ, не то, что прежде, не тѣ времена! Кабы всѣхъ ихъ перевѣшать, я бы не прочь, зачѣмъ бы не повѣсить! А то и безъ этихъ довольно ихъ на Руси останется; а тутъ еще человѣкъ десять ихнихъ ускакало; такъ если этотъ дьяволъ, Хомякъ, не воротится на Москву, они не на кого другого, а прямо на тебя покажутъ!

Князя, вѣроятно, не убѣдили бы темныя рѣчи незнакомца, но гнѣвъ его успѣлъ простыть. Онъ разсудилъ, что скорая расправа съ злодѣями немного принесетъ пользы, тогда какъ, пре-

давъ ихъ правосудію, онъ, можетъ быть, откроетъ всю шайку этихъ загадочныхъ грабителей. Разспросивъ подробно, гдѣ имѣетъ пребываніе ближній губной староста, онъ приказалъ старшему ратнику съ товарищами проводить туда плѣнныхъ и объявилъ, что поѣдетъ далѣе съ однимъ Михеичемъ.

— Власть твоя посылать этихъ собакъ къ губному старостѣ,—сказалъ незнакомецъ:—только, повѣрь мнѣ, староста тотчасъ велитъ развязать имъ руки. Лучше бы самому тебѣ отпустить ихъ на всѣ четыре стороны. Впрочемъ, на то твоя боярская воля.

Михеичъ слушалъ все молча и только почесывалъ за ухомъ. Когда незнакомецъ кончилъ, старый стремянный подошелъ къ князю и поклонился ему въ поясъ.

— Батюшка бояринъ,—сказалъ онъ,—оно тово, можетъ быть, этотъ молодецъ и правду говоритъ:—неравно староста отпуститъ этихъ разбойниковъ. А ужъ коли ты ихъ, по мягкосердечію твоему, отъ петли помиловалъ, за что Богъ и тебя, батюшка, не оставитъ, то дозволь по-крайности, предъ отправкой-то на всякъ случай, влѣпить имъ по полсотенкѣ плетей, чтобъ впередъ-то не душегубствовали, тётка ихъ подкурятина!

И, принимая молчаніе князя за согласіе, онъ тотчасъ велѣлъ отвесть плѣнныхъ въ сторону, гдѣ предложенное имъ наказаніе было исполнено точно и скоро, несмотря ни на угрозы, ни на бѣшенство Хомяка.

— Это самое питательное дѣло!.. — сказалъ Михеичъ, возвращаясь съ довольнымъ видомъ къ князю. — Оно, съ одной стороны, и безобидно, а съ другой—и памятно для нихъ будетъ.

Незнакомецъ, казалось, самъ одобрялъ счастливую мысль Михеича. Онъ усмѣхался, поглаживая бороду, но скоро лицо его приняло прежнее выраженіе.

— Бояринъ, — сказалъ онъ, — ужъ коли ты хочешь ѣхать съ однимъ только стремяннымъ, то дозволь хоть мнѣ съ товарищемъ къ тебѣ примкнуться; намъ дорога одна, а вмѣстѣ будетъ веселѣе; къ тому-жъ, неровенъ часъ, коли придется опять работать руками, то восемь рукъ больше четырехъ вымолотятъ.

У князя не было причинъ подозрѣвать своихъ новыхъ товарищей. Онъ позволилъ имъ ѣхать съ собою, и послѣ краткаго отдыха всѣ четверо пустились въ путь.

ГЛАВА II.

Новые товарищи.

Дорогой Михеичъ нѣсколько разъ пытался вывѣдать отъ незнакомцевъ, кто они таковы, но тѣ отшучивались или отдѣлывались разными изворотами.

— Тьфу, тётка ихъ подкурятина!—сказалъ, наконецъ, самъ про себя Михеичъ: — что́ за народъ! Словно вьюны какіе! Думаешь, вотъ поймалъ ихъ за хвостъ, а они тебѣ промежъ пальцевъ!

Между тѣмъ, стало темнѣть. Михеичъ подъѣхалъ къ князю.

— Бояринъ, — сказалъ онъ, — хорошо ли мы сдѣлали, что взяли съ собой этихъ молодцовъ? Они что-то больно увертливы, никакъ отъ нихъ толку не добьешься. Да и народъ-то плечистый, не хуже Хомяка. Ужъ не лихіе ли люди?

— А хоть и лихіе,—отвѣчалъ беззаботно князь,—все же они постоятъ за насъ, коли неравно попадутся намъ еще опричники.

— А провалъ ихъ знаетъ, постоятъ ли, батюшка? Воронъ ворону глазъ не выклюетъ; а я слышалъ, какъ они промежъ себя поговаривали чортъ знаетъ на какомъ языкѣ, ни слова не понять, а, кажись, было по-русски! Берегись, бояринъ, береженаго коня и звѣрь не вредитъ!

Темнота усиливалась. Михеичъ замолчалъ. Бояринъ также молчалъ. Слышенъ былъ только лошадиный топотъ да изрѣдка чуткое фырканье.

Ѣхали лѣсомъ. Одинъ изъ незнакомцевъ затянулъ пѣсню, другой сталъ подтягивать.

Пѣсня эта, раздающаяся ночью среди лѣса, послѣ всѣхъ

дневныхъ происшествій, странно подѣйствовала на князя: ему сдѣлалось грустно. Онъ вспомнилъ о прошедшемъ, вспомнилъ объ отъѣздѣ своемъ изъ Москвы, за пять лѣтъ назадъ, и въ воображеніи очутился опять въ той церкви, гдѣ передъ отъѣздомъ слушалъ молебенъ и гдѣ, сквозь торжественное пѣніе, сквозь шопотъ толпы, его поразилъ нѣжный и звучный голосъ, котораго не заглушилъ ни стукъ мечей, ни громъ литовскихъ пищалей: «Прости, князь, говорилъ ему украдкою этотъ голосъ, я буду за тебя молиться!..» Между тѣмъ, незнакомцы продолжали пѣть, но слова ихъ не соотвѣтствовали размышленіямъ боярина. Въ пѣснѣ говорилось про широкое раздолье степей, про матушку-Волгу, про разгульное бурлацкое житье. Голоса то сходились, то расходились, то текли ровнымъ токомъ, какъ рѣка широкая, то бурными волнами воздымались и опускались и, наконецъ, взлетѣвъ высоко-высоко, парили въ небесахъ, какъ орлы съ распростертыми крыльями.

Грустно и весело въ тихую лѣтнюю ночь, среди безмолвнаго лѣса, слушать размашистую русскую пѣсню. Тутъ и тоска безконечная, безнадежная, тутъ и сила непобѣдимая, тутъ и роковая печать судьбы, желѣзное предназначеніе, одно изъ основныхъ началъ нашей народности, которымъ можно объяснить многое, что̀ въ русской жизни кажется непонятнымъ. И чего не слышно еще въ протяжной пѣснѣ среди лѣтней ночи и безмолвнаго лѣса!

Пронзительный свистъ прервалъ мысли боярина. Два человѣка выпрыгнули изъ-за деревьевъ и взяли лошадь его подъ уздцы. Двое другихъ схватили его за руки. Сопротивленіе стало невозможно.

— Ахъ, мошенники! — вскричалъ Михеичъ, котораго также окружили неизвѣстные люди.—Ахъ, тётка ихъ подкурятина! Вѣдь подвели же, окаянные!

— Кто ѣдетъ?—спросилъ грубый голосъ.

— Бабушкино веретено!—отвѣчалъ младшій изъ новыхъ товарищей князя.

— Въ дѣдушкиномъ лаптѣ!—сказалъ грубый голосъ.

борода были совсѣмъ сѣдые, а глаза ярко-сѣраго цвѣта; морщины во всѣхъ направленіяхъ разсѣкали лицо его.

Поужинавъ и помолившись Богу, князь и Михеичъ расположились на мѣшкахъ; мельникъ пожелалъ имъ доброй ночи, низко поклонился, погасилъ лучину и вышелъ.

— Бояринъ,—сказалъ Михеичъ, когда они остались одни,—сдается мнѣ, напрасно мы здѣсь остановились. Лучше было ѣхать до Москвы.

— Чтобы тревожить народъ Божій среди ночи? Слѣзать съ коней, да отмыкать рогатки на каждой улицѣ?

— Да что́, батюшка, лучше отмыкать рогатки, чѣмъ спать въ чортовой мельницѣ. И угораздило же ихъ, окаянныхъ, привести именно въ мельницу! Да еще на Ивана-Купала. Тьфу ты пропасть!

— Да что̀, тебѣ здѣсь худо, что́-ли?

— Нѣтъ, батюшка, не худо; и лежать покойно, и щи были добрыя, и лошадямъ овесъ засыпанъ; да только то худо, что хозяинъ, вишь, мельникъ?

— Что̀-жъ съ того, что онъ мельникъ?

— Какъ что̀, что мельникъ?—сказалъ съ жаромъ Михеичъ.—Да развѣ ты не знаешь, князь, что нѣтъ мельника, которому бы нечистый не приходился сродни? Али ты думаешь, онъ съумѣетъ безъ нечистаго плотину насыпать? Да, чорта съ два! Тётка его подкурятина.

— Слышалъ я про это,—сказалъ князь:—мало ли что́ люди говорятъ. Да теперь не время разбирать, бери, что̀ Богъ послалъ.

Михеичъ немного помолчалъ, потомъ зѣвнулъ, еще помолчалъ и спросилъ ужъ заспаннымъ голосомъ:

— А какъ ты думаешь, бояринъ, что̀ за человѣкъ этотъ Матвѣй Хомякъ, котораго ты съ лошади сшибъ?

— Я думаю, разбойникъ.

— И я то же думаю. А какъ ты думаешь, бояринъ, что̀ за человѣкъ этотъ Ванюха Перстень?

— Я думаю, тоже разбойникъ.

— А комора за ставомъ?—сказалъ Перстень.

— Вся завалена мѣшками!

— А кладовая? Слышь ты, братъ, чтобъ сейчасъ отыскалось мѣсто, овесъ лошадямъ и ужинъ боярину! Мы вѣдь знаемъ другъ друга, меня не морочь!

Мельникъ, ворча, повелъ пріѣзжихъ въ комору, стоявшую шагахъ въ десяти отъ мельницы, и гдѣ, несмотря на мѣшки съ хлѣбомъ и мукою, было очень довольно мѣста.

Пока онъ сходилъ за лучиной, Перстень и товарищъ его простились съ бояриномъ.

— А скажите, молодцы,—спросилъ Михеичъ,—гдѣ-жъ отыскать васъ, еслибъ, неравно, по сегодняшнему дѣлу князю понадобились свидѣтели?

— Спроси у вѣтра,—отвѣчалъ Перстень,—откуда онъ? Спроси у волны перебѣжной, гдѣ живетъ она? Мы что̀ стрѣлы острыя съ тетивы летимъ: куда вонзится калена̀ стрѣла, тамъ и домъ ея! Въ свидѣтели,—продолжалъ онъ, усмѣхаясь,—мы его княжеской милости не годимся. А еслибъ мы зачѣмъ другимъ понадобились, приходи, старичина, къ мельнику, онъ тебѣ скажетъ, какъ отыскать Ванюху Перстня!

— Вишь ты тётка твоя подкурятина! — проворчалъ себѣ подъ носъ Михеичъ: — какія кудрявыя рѣчи выговариваетъ!

— Бояринъ,—сказалъ Перстень, удаляясь,—послушай меня, не хвались на Москвѣ, что хотѣлъ повѣсить слугу Малюты Скуратова, и потомъ отодралъ его, какъ Сидорову козу!

— Вишь, что̀ наладилъ,—проворчалъ опять Михеичъ,—отпусти разбойника, не вѣшай разбойника, да и не хвались, что хотѣлъ повѣсить! Затвердила сорока Якова, видно съ одного поля ягода! Не безпокойся братъ, — прибавилъ онъ громко, — нашъ князь никого не боится; наплевать ему на твово Скурлатова; онъ одному царю отвѣтъ держитъ!

Мельникъ принесъ зажженую лучину и воткнулъ ее въ стѣну. Потомъ принесъ щей, хлѣба и кружку браги. Въ чертахъ его была странная смѣсь добродушія и плутовства; волосы и

борода были совсѣмъ сѣдые, а глаза ярко-сѣраго цвѣта; морщины во всѣхъ направленіяхъ разсѣкали лицо его.

Поужинавъ и помолившись Богу, князь и Михеичъ расположились на мѣшкахъ; мельникъ пожелалъ имъ доброй ночи, низко поклонился, погасилъ лучину и вышелъ.

— Бояринъ,—сказалъ Михеичъ, когда они остались одни,—сдается мнѣ, напрасно мы здѣсь остановились. Лучше было ѣхать до Москвы.

— Чтобы тревожить народъ Божій среди ночи? Слѣзать съ коней, да отмыкать рогатки на каждой улицѣ?

— Да что́, батюшка, лучше отмыкать рогатки, чѣмъ спать въ чортовой мельницѣ. И угораздило же ихъ, окаянныхъ, привести именно въ мельницу! Да еще на Ивана-Купала. Тьфу ты пропасть!

— Да что̀, тебѣ здѣсь худо, что́-ли?

— Нѣтъ, батюшка, не худо; и лежать покойно, и щи были добрыя, и лошадямъ овесъ засыпанъ; да только то худо, что хозяинъ, вишь, мельникъ?

— Что̀-жъ съ того, что онъ мельникъ?

— Какъ что̀, что мельникъ?—сказалъ съ жаромъ Михеичъ.—Да развѣ ты не знаешь, князь, что нѣтъ мельника, которому бы нечистый не приходился сродни? Али ты думаешь, онъ съумѣетъ безъ нечистаго плотину насыпать? Да, чорта съ два! Тётка его подкурятина.

— Слышалъ я про это,—сказалъ князь:—мало ли что́ люди говорятъ. Да теперь не время разбирать, бери, что̀ Богъ послалъ.

Михеичъ немного помолчалъ, потомъ зѣвнулъ, еще помолчалъ и спросилъ ужъ заспаннымъ голосомъ:

— А какъ ты думаешь, бояринъ, что̀ за человѣкъ этотъ Матвѣй Хомякъ, котораго ты съ лошади сшибъ?

— Я думаю, разбойникъ.

— И я то же думаю. А какъ ты думаешь, бояринъ, что̀ за человѣкъ этотъ Ванюха Перстень?

— Я думаю, тоже разбойникъ.

— И я такъ думаю. Только этотъ разбойникъ будетъ почище того разбойника. А тебѣ какъ покажется, бояринъ, который разбойникъ будетъ почище, Хомякъ или Перстень?

И, не дожидаясь отвѣта, Михеичъ захрапѣлъ. Вскорѣ уснулъ и князь.

ГЛАВА III.

Колдовство.

Мѣсяцъ взошелъ на небо, звѣзды ярко горѣли. Полуразвалившаяся мельница и шумящее колесо были озарены серебрянымъ блескомъ.

Вдругъ раздался конскій топотъ, и вскорѣ повелительный голосъ закричалъ подъ самой мельницей:

— Эй, колдунъ!

Казалось, новый пріѣзжій не привыкъ дожидаться, ибо, не слыша отвѣта, онъ закричалъ еще громче:

— Эй, колдунъ! Выходи, не то въ куски изрублю!

Послышался голосъ мельника:

— Тише, князь, тише, батюшка, теперь мы не одни, остановились у меня проѣзжіе; а вотъ я сейчасъ къ тебѣ выйду, батюшка, дай только сундукъ запереть.

— Я не дамъ сундукъ запирать, чортова кочерга! — закричалъ тотъ, котораго мельникъ назвалъ княземъ. — Развѣ ты не зналъ, что я буду сегодня! Какъ смѣлъ ты принимать проѣзжихъ! Вонъ ихъ отсюда!

— Батюшка, не кричи, Бога ради не кричи, все испортишь! Я тебѣ говорилъ уже, дѣло боится шуму, а проѣзжихъ я прогнать не властенъ. Да они же намъ и не мѣшаютъ; они спятъ теперь, коли ты, родимый, не разбудилъ ихъ!

— Ну, добро, старикъ, только смотри, коли ты меня морочишь, лучше бы тебѣ на свѣтъ не родиться. Еще не выдумано, не придумано такой казни, какую я найду тебѣ!

— Батюшка, умилосердись! что-жъ мнѣ дѣлать, старику?

владѣетъ. Есть Иванъ-да-Марья, кто знаетъ какъ за нее взяться, тотъ на первой клячѣ отъ лучшаго скакуна удеретъ.

— А такой травы, чтобъ молодушка полюбила постылаго, не знаешь?

Мельникъ замялся.

— Не знаю, батюшка, не гнѣвайся, родимый, видитъ Богъ не знаю!

— А такой, чтобы свою любовь перемочь, не знаешь?

— И такой не знаю, батюшка, а вотъ есть разрывъ-трава, когда дотронешься ею до замка, али до двери желѣзной, такъ и разорветъ на куски!

— Пропадай ты съ своими травами! — сказалъ гнѣвно Вяземскій, и устремилъ мрачный взоръ на мельника.

Мельникъ опустилъ глаза и молчалъ.

— Старикъ! — вскричалъ вдругъ Вяземскій, хватая его за воротъ: — подавай мнѣ ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, лѣшій! Сейчасъ подавай!

И онъ трясъ мельника за воротъ обѣими руками.

Мельникъ подумалъ, что насталъ послѣдній часъ его.

Вдругъ Вяземскій выпустилъ старика и повалился ему въ ноги.

— Сжалься надо мной! — зарыдалъ онъ: — излечи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду въ кабалу къ тебѣ! Сжалься надо мною, старикъ!

Мельникъ еще болѣе испугался.

— Князь, бояринъ? Что съ тобой? Опомнись! Это я, Давыдычъ, мельникъ!... Опомнись, князь!

— Не встану, пока не излечишь!

— Князь! князь!—сказалъ дрожащимъ голосомъ мельникъ:— пора за дѣло. Время уходитъ, вставай! Теперь темно, не видалъ я тебя, не знаю, гдѣ ты! Скорѣй, скорѣй за дѣло!

Князь всталъ.

— Начинай,—сказалъ онъ,—я готовъ.

Оба замолчали. Все было тихо. Только колесо, освѣщенное ѣсяцемъ, продолжало шумѣть и вертѣться. Гдѣ-то въ дальнемъ лотѣ кричалъ дергачъ. Сова завывала порой въ гущинѣ лѣса.

съ Грязными, съ Басмановыми! Самъ хуже ихъ злодѣйствовалъ, разорялъ села и слободы, увозилъ женъ и дѣвокъ, а не залилъ кровью тоски моей! Боятся меня и земскіе, и опричники, жалуетъ царь за молодечество, проклинаетъ народъ православный. Имя князя Аѳанасья Вяземскаго стало такъ страшно, какъ имя Малюты Скуратова! Вотъ до чего довела меня любовь, погубилъ я душу мою! Да что́ мнѣ до нея! Во днѣ адовомъ не будетъ хуже здѣшняго! Ну, старикъ, чего смотришь мнѣ въ глаза? Али думаешь, я помѣшался? Не помѣшался Аѳанасій Ивановичъ; крѣпка голова, крѣпко тѣло его! Тѣмъ-то и ужасна моя мука, что не можетъ извести меня!

Мельникъ слушалъ князя и боялся. Онъ опасался его буйнаго нрава, опасался за жизнь свою.

— Что-жъ ты молчишь, старикъ? али нѣтъ у тебя зелья, али нѣтъ корня какого приворотить ее? Говори, высчитывай, какія есть чародѣйныя травы? Да говори же, колдунъ!

— Батюшка, князь Аѳанасій Ивановичъ, какъ тебѣ сказать? Всякія есть травы. Есть колюка-трава, сбирается въ Петровъ постъ. Обкуришь ею стрѣлу, промаху не дашь. Есть тирличъ-трава, на Лысой горѣ, подъ Кіевомъ растетъ. Кто ее носитъ на себѣ, на того ввѣкъ царскаго гнѣва не будетъ. Есть еще плакунъ-трава, вырѣжешь изъ корня крестъ, да повѣсишь на шею, всѣ тебя будутъ какъ огня бояться!

Вяземскій горько усмѣхнулся.

— Меня ужъ и такъ боятся,—сказалъ онъ; — не надо мнѣ плакуна твоего. Называй другія травы.

— Есть еще Адамова-голова, коло болотъ растетъ, разрѣшаетъ роды и подарки приноситъ. Есть голубецъ болотный, коли хочешь идти на медвѣдя, выпей взвару голубца, и никакой медвѣдь тебя не тронетъ. Есть ревенка-трава, когда станешь изъ земли выдергивать, она стонетъ и реветъ словно человѣкъ, а надѣнешь на себя, никогда въ водѣ не утонешь.

— А болѣ нѣтъ другихъ?

— Какъ не быть, батюшка, есть еще кочедыжникъ или папортникъ; кому удастся сорвать цвѣтъ его, тотъ всѣми кладами

владѣетъ. Есть Иванъ-да-Марья, кто знаетъ какъ за нее взяться, тотъ на первой клячѣ отъ лучшаго скакуна удеретъ.

— А такой травы, чтобъ молодушка полюбила постылаго, не знаешь?

Мельникъ замялся.

— Не знаю, батюшка, не гнѣвайся, родимый, видитъ Богъ не знаю!

— А такой, чтобы свою любовь перемочь, не знаешь?

— И такой не знаю, батюшка, а вотъ есть разрывъ-трава, когда дотронешься ею до замка, али до двери желѣзной, такъ и разорветъ на куски!

— Пропадай ты съ своими травами! — сказалъ гнѣвно Вяземскій, и устремилъ мрачный взоръ на мельника.

Мельникъ опустилъ глаза и молчалъ.

— Старикъ! — вскричалъ вдругъ Вяземскій, хватая его за воротъ: — подавай мнѣ ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, лѣшій! Сейчасъ подавай!

И онъ трясъ мельника за воротъ обѣими руками.

Мельникъ подумалъ, что насталъ послѣдній часъ его.

Вдругъ Вяземскій выпустилъ старика и повалился ему въ ноги.

— Сжалься надо мной! — зарыдалъ онъ: — излечи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду въ кабалу къ тебѣ! Сжалься надо мною, старикъ!

Мельникъ еще болѣе испугался.

— Князь, бояринъ? Что съ тобой? Опомнись! Это я, Давыдычъ, мельникъ!... Опомнись, князь!

— Не встану, пока не излечишь!

— Князь! князь!—сказалъ дрожащимъ голосомъ мельникъ:— пора за дѣло. Время уходитъ, вставай! Теперь темно, не видалъ я тебя, не знаю, гдѣ ты! Скорѣй, скорѣй за дѣло!

Князь всталъ.

— Начинай,—сказалъ онъ,—я готовъ.

Оба замолчали. Все было тихо. Только колесо, освѣщенное мѣсяцемъ, продолжало шумѣть и вертѣться. Гдѣ-то въ дальнемъ болотѣ кричалъ дергачъ. Сова завывала порой въ гущинѣ лѣса.

Старикъ и князь подошли къ мельницѣ.

— Смотри, князь, подъ колесо, а я стану нашептывать.

Старикъ прилегъ къ землѣ и, еще задыхаясь отъ страха, сталъ шептать какія-то слова. Князь смотрѣлъ подъ колесо. Прошло нѣсколько минутъ.

— Что́ видишь, князь?

— Вижу, будто жемчугъ сыплется, будто червонцы играютъ.

— Будешь ты богатъ, князь, будешь всѣхъ на Руси богаче!

Вяземскій вздохнулъ.

— Смотри еще, князь, что видишь?

— Вижу, будто сабли трутся одна о другую, а промежъ нихъ какъ золотыя гривны!

— Будетъ тебѣ удача въ ратномъ дѣлѣ, бояринъ, будетъ счастье на службѣ царской! Только смотри, смотри еще. говори, что видишь?

— Теперь сдѣлалось темно, вода помутилась. А вотъ стала краснѣть вода, вотъ почервонѣла, словно кровь. Что это значитъ?

Мельникъ молчалъ.

— Что это значитъ, старикъ?

— Довольно, князь. Долго смотрѣть не годится, пойдемъ!

— Вотъ потянулись багровыя нитки, словно жилы кровавыя; вотъ будто клещи растворяются и замыкаются; вотъ...

— Пойдемъ, князь, пойдемъ, будетъ съ тебя!

— Постой!—сказалъ Вяземскій, отталкивая мельника:—вотъ словно пила зубчатая ходитъ взадъ и впередъ, а изъ-подъ нея словно кровь брызжетъ!

Мельникъ хотѣлъ оттащить князя.

— Постой, старикъ, мнѣ дурно, мнѣ больно въ суставахъ... Охъ, больно!

Князь самъ отскочилъ. Казалось, онъ понялъ свое видѣніе. Долго оба молчали. Наконецъ Вяземскій сказалъ:

— Хочу знать, любитъ ли она другого!

— А есть ли у тебя, бояринъ, какая вещица отъ нея?

— Вотъ что нашелъ я у калитки!

Князь показалъ голубую ленту.

— Брось подъ колесо!

Князь бросилъ.

Мельникъ вынулъ изъ-за пазухи глиняную сулею.

— Хлебни!—сказалъ онъ, подавая сулею князю.

Князь хлебнулъ. Голова его стала ходить кругомъ, въ очахъ помутилось.

— Смотри теперь, что видишь?

Ее, ее!

— Одною?

— Нѣтъ, не одну! Ихъ двое: съ ней русый молодецъ въ кармазинномъ кафтанѣ, только лица его не видно...—Постой! Вотъ они сплываются... все ближе, ближе... Анаѳема! они цѣлуются! Анаѳема! будь ты проклятъ, колдунъ, будь проклятъ, проклятъ!

Князь бросилъ мельнику горсть денегъ, оторвалъ отъ дерева узду коня своего, вскочилъ въ сѣдло, и застучали въ лѣсу конскія подковы. Потомъ топотъ замеръ въ отдаленіи, и лишь колесо въ ночной тиши продолжало шумѣть и вертѣться.

ГЛАВА IV.

Дружина Андреевичъ и его жена.

Если бы читатель могъ перенестись лѣтъ за триста назадъ и посмотрѣть съ высокой колокольни на тогдашнюю Москву, онъ нашелъ бы въ ней мало сходства съ теперешнею. Берега Москвы-рѣки, Яузы и Неглинной покрыты были множествомъ деревянныхъ домовъ съ тесовыми или соломенными крышами, большею частью почернѣвшими отъ времени. Среди этихъ темныхъ крышъ рѣзко бѣлѣли и краснѣли стѣны Кремля, Китай-города и другихъ укрѣпленій, возникшихъ въ теченіе двухъ послѣднихъ столѣтій. Множество церквей и колоколенъ подымали свои золоченыя головы къ небу. Подобныя большимъ зеленымъ и желтымъ пятнамъ, виднѣлись между домами густыя рощи и покрытыя хлѣбомъ поля. Черезъ Москву-рѣку пролегали зыбкіе живые мосты, сильно дрожавшіе и покрывавшіеся водою,

когда по нимъ проѣзжали возы или всадники. На Яузѣ и на Неглинной вертѣлись десятками мельничныя колеса, одно подлѣ другого. Эти рощи, поля и мельницы среди самаго города придавали тогдашней Москвѣ много живописнаго. Особенно весело было смотрѣть на монастыри, которые съ бѣлыми оградами и пестрыми кучками цвѣтныхъ и золоченыхъ головъ, казались отдѣльными городами.

Надъ всею этою путаницею церквей, домовъ, рощъ и монастырей гордо воздымались кремлевскія церкви и недавно отдѣланный храмъ Покрова Богоматери, который Іоаннъ заложилъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ память взятія Казани, и который мы знаемъ нынѣ подъ именемъ Василія Блаженнаго. Велика была радость Москвитянъ, когда упали наконецъ лѣса, закрывавшіе эту церковь, и предстала она во всемъ своемъ причудливомъ блескѣ, сверкая золотомъ и красками и удивляя взоръ разнообразіемъ украшеній. Долго не переставалъ народъ дивиться искусному зодчему, благодарить Бога и славить царя, даровавшаго православнымъ зрѣлище дотолѣ невиданное. Хороши были и прочія церкви московскія. Не щадили Москвитяне ни рублей, ни трудовъ на благолѣпіе домовъ Божіихъ. Вездѣ видны были дорогіе цвѣта, позолота и большія наружныя иконы во весь ростъ человѣческій. Любили православые украшать дома Божіи, но зато мало заботились о наружности своихъ домовъ; жилища ихъ почти всѣ были выстроены прочно и просто, изъ сосновыхъ или дубовыхъ брусьевъ, не обшитыхъ даже тесомъ, по старинной русской пословицѣ: не красна изба углами, а красна пирогами.

Одинъ домъ боярина Дружины Андреевича Морозова, на берегу Москвы-рѣки, отличался особенною красотою. Дубовыя бревна были на подборъ круглы и ровны; всѣ углы рублены въ лапу, домъ возвышался въ три жилья, не считая свѣтлицы. Навѣсная кровля, надъ крутымъ крыльцомъ, поддерживалась пузатыми, вычурными столбами и щеголяла мелкою рѣзьбою. Ставни были искусно расписаны цвѣтами и птицами, а окна пропускали свѣтъ Божій не сквозь тусклые бычачьи пузыри, какъ

въ бо́льшей части домовъ московскихъ, но сквозь чистую, прозрачную слюду. На широкомъ дворѣ стояли службы, кладовыя, сушилы, голубятня и лѣтняя опочивальня боярина. Ко двору примыкали, съ одной стороны, домовая каменная церковь, съ другой—пространный садъ, окруженный дубовымъ частоколомъ, изъ-за котораго подымались красивыя качели, также съ узорами и живописью. Словомъ, домъ былъ выстроенъ на славу. Да и было на кого строить!

Бояринъ Дружина Андреевичъ, тѣломъ дородный, нрава крутого, несмотря на свои преклонныя лѣта, недавно женился на первой московской красавицѣ. Всѣ дивились, когда вышла за него двадцатилѣтняя Елена Дмитріевна, дочь окольничаго Плещеева-Очина, убитаго подъ Казанью. Не такого жениха прочили ей московскія свахи. Но Елена была на выданьи, безъ отца и матери; а красота дѣвушки, при нечестивыхъ нравахъ новыхъ царскихъ любимцевъ, бывало ей чаще на бѣду, чѣмъ на радость.

Морозовъ, женившись на Еленѣ, сдѣлался ея покровителемъ, а всѣ знали на Москвѣ, что не легко обидѣть ту, которую бралъ подъ свою защиту бояринъ Дружина Андреевичъ!

Много любимцевъ царскихъ, до замужества Елены, старались ей понравиться, но никто такъ не старался, какъ князь Аѳанасій Ивановичъ Вяземскій. И подарки дорогіе присылалъ онъ къ ней, и въ церквахъ становился супротивъ нея, и на бѣшеномъ конѣ мимо воротъ скакалъ, и въ кулачномъ бою ходилъ одинъ на стѣну. Не было удачи Аѳанасью Ивановичу! Свахи приносили ему назадъ его подарки, а при встрѣчѣ съ нимъ Елена отворачивалась. Отъ того ли она отворачивалась, что не нравился ей Аѳанасій Ивановичъ, или въ сердцѣ дѣвичьемъ была уже другая зазнобушка, только какъ не бился князь Вяземскій, а все получалъ отказы. Наконецъ осерчалъ Аѳанасій Ивановичъ и пошелъ бить челомъ въ своей неудачѣ царю Ивану Васильевичу. Царь обѣщалъ самъ заслать свахъ къ Еленѣ Дмитріевнѣ. Узнавъ о томъ, Елена залилась слезами. Пошла съ мамкою въ церковь, стала на колѣни передъ Божьею Матерью, плачетъ и кладетъ земные поклоны.

Въ церкви народу не было; но когда встала Елена и огляну-лась, за нею стоялъ бояринъ Морозовъ въ бархатномъ зеле-номъ кафтанѣ, въ парчевомъ терликѣ нараспашку.

— О чемъ ты плачешь, Елена Дмитріевна? — спросилъ Мо-розовъ.

Узнавъ боярина, Елена обрадовалась.

Онъ былъ когда-то въ дружбѣ съ ея родителями, да и теперь навѣщалъ ее и любилъ какъ родную. Елена его почитала какъ бы отца и повѣряла ему свои мысли; одной лишь не повѣрила, одну лишь схоронила отъ боярина; схоронила себѣ на горе, ему на погибель!

И теперь, на вопросъ Морозова, она не сказала ему той за-вѣтной мысли, а сказала лишь, что я-де плачу о томъ, что пріѣдутъ царскія свахи, приневолятъ меня за Вяземскаго!

— Елена Дмитріевна,—сказалъ бояринъ,—полно, правду ли нѣ-любъ тебѣ Вяземскій? Подумай хорошенько. Знаю, доселѣ онъ былъ тебѣ не по-сердцу, да вѣдь у тебя, я чаю, никого еще нѣтъ на мысли, а до той поры сердце дѣвичье — воскъ; стерпится слюбится!

— Никогда, — отвѣчала Елена, — никогда не полюблю его. Скорѣе сойду въ могилу.

Бояринъ посмотрѣлъ на нее съ участіемъ.

— Елена Дмитріевна,—сказалъ онъ, помолчавъ,— есть сред-ство спасти тебя. Послушай. Я старъ и сѣдъ, но люблю тебя какъ дочь свою. Поразмысли, Елена, согласна-ль ты выйти за меня, старика?

— Согласна! — вскричала радостно Елена и повалилась Мо-розову въ ноги.

Тронуло боярина нежданное слово, обрадовался онъ восторгу Елены, не догадался, старый, что то былъ восторгъ утопающаго, который хватается за кустъ терновый.

Ласково поднялъ онъ Елену и поцѣловалъ въ чело.

— Дитятко, — сказалъ онъ, — цѣлуй же мнѣ крестъ, что не обезчестишь ты сѣдой головы моей! Клянись здѣсь, передъ Спа-сителемъ.

ливалъ на платье чарку вина; другой силился хриплымъ голосомъ подтягивать товарищамъ, но издавалъ лишь глухіе, невнятные звуки. Осѣдланные кони стояли у воротъ. Къ каждому сѣдлу привязана была метла и собачья голова.

Въ это время два всадника показались на улицѣ. Одинъ изъ нихъ въ кармазинномъ кафтанѣ съ золотыми кистями и въ бѣлой парчевой шапкѣ, изъ-подъ которой вилися густыя русыя кудри, обратился къ другому всаднику:

— Михеичъ, — сказалъ онъ, — видишь ты этихъ пьяныхъ людей?

— Вижу, бояринъ, тётка ихъ подкурятина! Вишь, бражники, какъ расходились!

— А видишь ты, что у лошадей за сѣдлами?

— Вижу: метлы да песьи морды, какъ у того разбойника. Стало, и въ самомъ дѣлѣ царскіе люди, коль на Москвѣ гуляютъ! Надѣлали-жъ мы дѣла, бояринъ, наварили каши!

Серебряный нахмурился.

— Поди, спроси у нихъ, гдѣ живетъ бояринъ Морозовъ!

— Эй, добрые люди, господа честные!—закричалъ Михеичъ, подъѣзжая къ толпѣ:—гдѣ живетъ бояринъ Дружина Андреевичъ Морозовъ?

— А на что тебѣ знать, гдѣ эта собака живетъ?

— У моего боярина, князя Серебрянаго, есть грамота къ Морозову отъ воеводы князя Пронскаго, изъ большого полку.

— Давай сюда грамоту!

— Что ты, что ты, тётка твоя под... что ты? Въ умѣ ли? Какъ дать тебѣ князеву грамоту?

— Давай грамоту, старый сычъ, давай ее! Посмотримъ, ужъ не затѣялъ ли этотъ Морозовъ измѣны, ужъ не хочетъ ли извести государя!

— Ахъ ты, мошенникъ!—вскричалъ Михеичъ, забывая осторожность, съ которою началъ-было говорить: — да развѣ мой господинъ знается съ измѣнниками!

— А, такъ ты еще ругаться! Долой его съ лошади, ребята, въ плети его.

Тутъ самъ Серебряный подскакалъ къ опричникамъ.

— Назадъ!—закричалъ онъ такъ грозно, что они невольно остановились.

— Если кто изъ васъ,—продолжалъ князь,—хоть пальцемъ тронетъ этого человѣка, я тому голову разрублю, а остальные будутъ отвѣчать государю!

Опричники смутились; но новые товарищи подошли изъ сосѣднихъ улицъ и обступили князя. Дерзкія слова посыпались изъ толпы; многіе вынули сабли, и не сдобровать бы Никитѣ Романовичу, если бы въ это время не послышался вблизи голосъ, поющій псаломъ, и не остановилъ опричниковъ какъ будто волшебствомъ. Всѣ оглянулись въ сторону, откуда раздавался голосъ. По улицѣ шелъ человѣкъ лѣтъ сорока, въ одной полотняной рубахѣ. На груди его звенѣли желѣзные кресты и вериги, а въ рукахъ были деревянныя чётки. Блѣдное лицо его выражало необыкновенную доброту, на устахъ, осѣненныхъ рѣденькою бородой, играла улыбка, но глаза глядѣли мутно и неопредѣленно.

Увидѣвъ Серебрянаго, онъ прервалъ свое пѣніе, подошелъ поспѣшно къ нему и посмотрѣлъ ему прямо въ лицо.

— Ты, ты!—сказалъ онъ, какъ будто удивляясь: — зачѣмъ ты здѣсь, между ними?

И не дожидаясь отвѣта, онъ началъ пѣть:—Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ!

Опричники посторонились съ видомъ почтенія, но онъ, не обращая на нихъ вниманія, опять сталъ смотрѣть въ глаза Серебряному.

— Микитка, Микитка!—сказалъ онъ, качая головой:—куда ты заѣхалъ?

Серебряный никогда не видалъ этого человѣка и удивился, что онъ называетъ его по имени.

— Развѣ ты знаешь меня?—спросилъ онъ.

— Блаженный засмѣялся.

— Тѣ мнѣ братъ!—отвѣчалъ онъ:—я тотчасъ узналъ тебя. Ты такой же блаженный, какъ и я. И ума-то у тебя не болѣ

моего, а то бы ты сюда не пріѣхалъ. Я все твое сердце вижу. У тебя тамъ чисто, чисто, одна голая правда; мы съ тобой оба юродивые! А эти,—продолжалъ онъ, указывая на вооруженную толпу,—эти намъ не родня! У!

— Вася,—сказалъ одинъ изъ опричниковъ,—не хочешь ли чего? Не надо-ль тебѣ денегъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!—отвѣчалъ блаженный:—отъ тебя ничего не хочу! Вася ничего не возьметъ отъ тебя, а подай Микиткѣ чего онъ проситъ!

— Божій человѣкъ,—сказалъ Серебряный,—я спрашивалъ, гдѣ живетъ бояринъ Морозовъ?

— Дружинка-то? Этотъ нашъ! Этотъ праведникъ! Только голова у него непоклонная! У, какая непоклонная! А скоро поклонится, скоро поклонится, да ужъ и не подымется!

— Гдѣ онъ живетъ?—повторилъ ласково Серебряный.

— Не скажу!—отвѣтилъ блаженный, какъ будто разсердившись: — не скажу, пусть другіе скажутъ. Не хочу посылать тебя на недоброе дѣло.

И онъ поспѣшно удалился, затянувъ опять свой прерванный псаломъ.

Не понимая его словъ и не тратя времени на догадки, Серебряный снова обратился къ опричникамъ.

— Что-жъ—спросилъ онъ,—скажете ли вы наконецъ, какъ найти домъ Морозова?

— Ступай все прямо, — отвѣчалъ грубо одинъ изъ нихъ.— Тамъ, какъ поворотишь налѣво, тамъ тебѣ и будетъ гнѣздо стараго ворона.

По мѣрѣ того какъ князь удалялся, опричники, усмиренные появленіемъ юродиваго, опять начали буянить.

— Эй!—закричалъ одинъ:—отдай Морозову поклонъ отъ насъ, да скажи, чтобы готовился скоро на висѣлицу; больно зажился!

— Да и на себя припаси веревку! — крикнулъ въ догонку другой.

Но князь не обратилъ вниманія на ихъ ругательства.

«Что хотѣлъ сказать мнѣ блаженный? — думалъ онъ, по-

тупя голову.—Зачѣмъ не указалъ онъ мнѣ домъ Морозова, да еще прибавилъ, что не хочетъ посылать меня на недоброе дѣло?»

Продолжая ѣхать далѣе, князь и Михеичъ встрѣтили еще много опричниковъ. Иные были уже пьяны, другіе только шли въ кабакъ. Всѣ смотрѣли нагло и дерзко, а нѣкоторые даже дѣлали вслухъ такія грубыя замѣчанія насчетъ всадниковъ, что легко можно было видѣть, сколь они привыкли къ безнаказанности.

ГЛАВА V.

Встрѣча.

Проѣзжая верхомъ по берегу Москвы-рѣки, можно было поверхъ частокола видѣть весь садъ Морозова.

Цвѣтущія липы осѣняли свѣтлый прудъ, доставлявшій боярину въ постные дни обильную пищу. Далѣе зеленѣли яблони, вишни и сливы. Въ некошенной травѣ пролегали узенькія дорожки. День былъ жаркій. Надъ алыми цвѣтами пахучаго шиповника кружились золотые жуки; въ липахъ жужжали пчелы; въ травѣ трещали кузнечики; изъ-за кустовъ красной смородины большіе подсолнечники подымали широкія головы и, казалось, нѣжились на полуденномъ солнцѣ.

Бояринъ Морозовъ уже съ часъ какъ отдыхалъ въ своей опочивальнѣ. Елена съ сѣнными дѣвушками сидѣла подъ липами на дерновой скамьѣ, у самаго частокола. На ней былъ голубой аксамитный лѣтникъ съ яхонтовыми пуговицами. Широкіе кисейные рукава, собранные въ мелкія складки, перехватывались, повыше локтя, алмазными запястьями, или зарукавниками. Такія же серьги висѣли по самыя плечи; голову покрывалъ кокошникъ съ жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестѣли золотою нашивкой.

Елена казалась весела. Она смѣялась и шутила съ дѣвушками.

— Боярыня,—сказала одна изъ нихъ:—примѣрь еще вотъ эти запястья, они повиднѣе.

— Будетъ съ меня примѣрять, дѣвушки,—отвѣчала ласково Елена:—вотъ уже битый часъ вы меня наряжаете да укручиваете, будетъ съ меня!

— Вотъ еще только монисто надѣнь! Какъ надѣнешь монисто, будешь, право слово, ни дать, ни взять, святая икона въ окладѣ!

Полно, Пашенька, стыдно грѣхъ такой говорить!

— Ну, коли не хочешь наряжаться, боярыня, такъ не поиграть ли намъ въ горѣлки или въ камушки? Не хочешь ли рыбку покормить, или на качеляхъ покачаться? Или ужъ не спѣть ли тебѣ чего?

— Спой мнѣ, Пашенька, спой мнѣ ту пѣсню, что́ ты намедни пѣла, какъ вы ягоды собирали!

— И, боярыня, лапушка ты моя, что́-жъ въ той пѣснѣ веселаго! То грустная пѣсня, не праздничная.

— Нужды нѣтъ; мнѣ хочется ее послушать, спой мнѣ, Пашенька.

— Изволь, боярыня, коли твоя такая воля, спою; только ты послѣ не пеняй на меня, если неравно тебѣ сгрустнется! Ну-те-жъ, подруженьки, подтягивайте!

Дѣвушки усѣлись въ кружокъ, и Пашенька затянула жалобнымъ голосомъ:

Ахъ, кабы на цвѣты да не морозы,
И зимой бы цвѣты расцвѣтали;
Ахъ, кабы на меня да не кручина,
Ни о чемъ бы я не тужила.
Не сидѣла-бъ я, подпершися,
Не глядѣла-бъ я во чисто поле...
. . . . . .
Я по сѣнямъ шла, по новымъ шла,
Подняла шубку соболиную,
Чтобъ моя шубка не прошумѣла,
Чтобъ мои пуговки не прозвякнули,
Не услышалъ бы свекоръ-батюшка,

Не сказалъ бы своему сыну,
Своему сыну, моему мужу!

Пашенька посмотрѣла на боярыню. Двѣ слезы катились изъ очей ея.

— Ахъ, я глупенькая!—сказала Пашенька:—чего я надѣлала. Вотъ на свою голову послушалась боярыни! Да и можно ли, боярыня, на такія пѣсни набиваться!

— Охота-жъ тебѣ и знать ихъ!—подхватила Дуняша, быстроглазая дѣвушка съ черными бровями.—Вотъ я такъ спою пѣсню, не твоей чета, смотри, коли не развеселю боярыню!

И вскочивъ на ноги, Дуняша уперла одну руку въ бокъ, другую подняла кверху, перегнулась на сторону и, плавно подвигаясь, запѣла:

Пантелей государь ходитъ по двору,
Кузьмичъ гуляетъ по широкому,
Кунья на немъ шуба до земли,
Соболья на немъ шапка до верху,
Божья на немъ милость до вѣку.
Сужена-то смотритъ изъ-подъ пологу,
Бояре-то смотрятъ изъ города,
Боярыни-то смотрятъ изъ терема.
Бояре-то молвятъ: чей-то такой?
Боярыни молвятъ: чей-то господинъ?
А сужена молвитъ: мой дорогой!

Кончила Дуняша, и сама засмѣялась. Но Еленѣ стало еще грустнѣе. Она крѣпилась, крѣпилась, закрыла лицо руками и зарыдала.

— Вотъ тебѣ и пѣсня!—сказала Пашенька.—Что намъ теперь дѣлать! Увидитъ Дружина Андреичъ заплаканные глазки боярыни, на насъ же осердится: не умѣете вы, дескать, глупыя, и занять ее!

— Дѣвушки, душечки!—сказала вдругъ Елена, бросаясь на шею Пашенькѣ:—пособите порыдать, помогите поплакать!

— Да что съ тобой сталось, боярыня? Съ чего ты вдругъ раскручинилась?

— Не вдругъ, дѣвушки! Мнѣ съ самаго утра грустно. Какъ начали къ заутрени звонить, да увидѣла я изъ свѣтлицы, какъ народъ божій весело спѣшитъ въ церковь, такъ, дѣвушки, мнѣ стало тяжело... и теперь еще сердце надрывается... а тутъ еще день выпалъ такой свѣтлый, такой солнечный, да еще всѣ эти уборы, что̀ вы на меня надѣли... скиньте съ меня запястья, дѣвушки, скиньте кокошникъ, заплетите мнѣ косу по-вашему, по-дѣвичьи!

— Что ты, боярыня, грѣхъ какой! Заплесть тебѣ косу по-дѣвичьи. Боже сохрани! Да неравно узнаетъ Дружина Андреичъ!

— Не узнаетъ, дѣвушки!—Я опять кокошникъ надѣну!

— Нѣтъ, боярыня грѣшно! Власть твоя, а мы этого на душу не возьмемъ!

«Неужели,—подумала Елена:—грѣшно и вспоминать о прошломъ!»

— Такъ и быть,—сказала она:—не сниму я кокошникъ, только подойди сюда, моя Пашенька, я тебѣ заплету косу, какъ бывало мнѣ заплетали.

Пашенька, краснѣя отъ удовольствія, стала на колѣни передъ боярыней. Елена распустила ей волосы, раздѣлила ихъ на равныя дѣлянки и начала заплетать широкую русскую косу въ девяносто прядей. Много требовалось на то умѣнья. Надо было плесть какъ можно слабѣе, чтобы коса, подобно рѣшеткѣ, закрывала весь затылокъ и потомъ падала вдоль спины, съуживаясь непримѣтно. Елена прилежно принялась за дѣло. Перекладывая пряди, она искусно перевивала ихъ жемчужными нитками.

Наконецъ, коса поспѣла. Боярыня ввязала въ кончикъ треугольный косникъ и насадила на него дорогіе перстни.

— Готово, Пашенька,—сказала она, радуясь своей работѣ:—встань-ка, да пройдись передо мною. Ну, смотрите, дѣвушки, не правда ли эта коса красивѣе кокошника!

— Все въ свою пору, боярыня,—отвѣчали, смѣясь, дѣвушки:—а вотъ Дуняша не прочь бы и отъ кокошника!

— Полноте вы, пересмѣшницы!—отвѣчала Дуняша.—Мнѣ

бы хотя вѣкъ косы не расплетать! А вотъ знаю я такихъ, что̀ глазъ не сводятъ съ боярскаго ключника!

Дѣвушки залились звонкимъ смѣхомъ, а иныя смѣшались и покраснѣли. Видно, ключникъ былъ въ самомъ дѣлѣ молодецъ.

— Нагнись, Пашенька,—сказала боярыня:—я тебѣ повяжу еще ленту съ подвизями... Дѣвушки, да вѣдь сегодня Ивана-Купала, сегодня и русалки косы заплетаютъ!

— Не сегодня, боярыня, а въ Семикъ и Троицынъ день заплетаютъ русалки косы. На Ивана-Купала онѣ бѣгаютъ съ распущенными волосами и отманиваютъ людей отъ папоротника, чтобы кто не сорвалъ его цвѣта.

— Богъ съ ними,—сказала Пашенька:—мало ли что̀ бываетъ въ Ивановъ день, не приведи Богъ увидѣть!

— А ты боишься русалокъ, Пашенька?

— Какъ ихъ не бояться! Сегодня и въ лѣсъ ходить страшно, все равно, что въ Троицынъ день, или на русальную недѣлю. Дѣвушку защекотятъ, молодца любовью изсушатъ!

— Говоришь, а сама не знаешь! — перебила ее другая дѣвушка.—Какія подъ Москвой русалки! Здѣсь ихъ нѣтъ и заводу. Вотъ на Украйнѣ, тамъ другое дѣло, тамъ русалокъ гибель. Сказываютъ, не одного добраго молодца съума свели. Стоитъ только разъ увидѣть русалку, такъ до смерти все по ней тосковать будешь; коли женатый—бросишь жену и дѣтей, коли холостой — забудешь свою ладушку!

Елена задумалась.

— Дѣвушки,—сказала она, помолчавъ:—что̀, въ Литвѣ есть русалки?

— Тамъ-то ихъ самая родина; что̀ на Украйнѣ, что̀ въ Литвѣ— то все одно...

Елена вздохнула. Въ эту минуту послышался конскій топотъ, и бѣлая шапка Серебрянаго показалась надъ частоколомъ.

Увидя мужчину, Елена хотѣла скрыться, но, бросивъ еще взглядъ на всадника, она вдругъ стала какъ вкопанная. Князь также остановилъ коня. Онъ не вѣрилъ глазамъ своимъ. Тысяча мыслей въ одно мгновеніе втѣснились въ его голову, одна другой

противорѣча. Онъ видѣлъ предъ собой Елену, дочь Плещеева-Очина, ту самую, которую онъ любилъ и которая клялась ему въ любви пять лѣтъ тому назадъ. Но какимъ случаемъ она попала въ садъ къ Морозову?

Тутъ только Никита Романовичъ замѣтилъ на головѣ Елены жемчужный кокошникъ и поблѣднѣлъ.

Она была замужемъ!

«Брежу ли я?—подумалъ онъ, вперивъ въ нее неподвижный, какъ будто испуганный взглядъ.—Во снѣ ли это вижу?»

— Дѣвушки! — упрашивала Елена: — отойдите, я позову васъ,—отойдите немного, оставьте меня одну! Боже мой, Боже мой! Пресвятая Богородица! Что мнѣ дѣлать! Что сказать мнѣ!

Серебряный между тѣмъ оправился.

— Елена Дмитріевна,—произнесъ онъ рѣшительно:—отвѣчай мнѣ единымъ словомъ: ты замужемъ? Это не обманъ? Не шутка? Ты точно замужемъ?

Елена въ отчаяньи искала словъ и не находила ихъ.

— Отвѣчай мнѣ, Елена Дмитріевна, не морочь меня долѣе, теперь не святки!

— Выслушай меня, Никита Романычъ,—прошептала Елена.

Князь задрожалъ.

— Нечего мнѣ слушать,—сказалъ онъ:—я все понялъ. Не трать рѣчей понапрасну, прости, боярыня!

И онъ рванулъ коня назадъ.

— Никита Романычъ!—вскричала Елена: — молю тебя Христомъ и Пречистою Его Матерью, выслушай меня! Убей меня послѣ, но сперва выслушай!

Она не въ силахъ была продолжать; голосъ ея замеръ; колѣни опустились на дерновую скамью; она протянула умоляющія руки къ Серебряному.

Судорога пробѣгала по всѣмъ членамъ князя, но жалость зашевелилась въ его сердцѣ. Онъ остановился.

Елена, задыхаясь отъ слезъ, стала разсказывать, какъ преслѣдовалъ ее Вяземскій, какъ наконецъ царь взялся ее сосватать за своего любимца и какъ она въ отчаяніи отдалась старому

Морозову. Прерывая разсказъ свой рыданіями, она винилась въ невольной измѣнѣ; говорила, что должна бы скорѣе наложить на себя руки, чѣмъ выйти за другого, и проклинала свое малодушіе.

— Ты не можешь меня любить, князь, — говорила она: — не написано тебѣ любить меня! Но обѣщай мнѣ, что не проклянешь меня; скажи, что прощаешь меня въ великой винѣ моей.

Князь слушалъ, нахмуря брови, но не отвѣчалъ ничего.

— Никита Романычъ,—прошептала Елена боязливо: — ради Христа, вымолви хоть словечко!

И она устремила на него глаза, полные страха и ожиданія, и вся душа ея обратилась въ краснорѣчивый умоляющій взоръ.

Сильная борьба происходила въ Серебряномъ.

— Боярыня,—сказалъ онъ наконецъ, и голосъ его дрожалъ:— видно на то была воля Божія... и ты не такъ виновата... да, ты не виновата... нѣ за что прощать тебя, Елена Дмитріевна, я не кляну тебя,—нѣтъ,—видитъ Богъ, не кляну—видитъ Богъ, я... я попрежнему люблю тебя!

Слова эти вырвались у князя сами собою.

Елена вскрикнула, зарыдала и кинулась къ частоколу.

Въ тотъ же мигъ князь поднялся на стременахъ и схватился за колья ограды. Елена, съ другой стороны, уже стояла на скамьѣ. Безъ размышленія, безъ самосознанія, они бросились другъ къ другу, и уста ихъ соединились...

Поцѣловала Елена Дмитріевна молодого боярина! Обманула жена лукавая мужа стараго! Забыла клятву, что́ дала передъ Господомъ! Какъ покажется она теперь Дружинѣ Андреичу? Догадается онъ обо всемъ по глазамъ ея. И не таковъ онъ мужъ, чтобъ простилъ ее! Не дорога́ жизнь боярину, дорога́ ему честь его! Убьетъ онъ, старый, убьетъ и жену, и Никиту Романыча.

ГЛАВА VI.

Пріемъ.

Морозовъ зналъ князя еще ребенкомъ, но они давно потеряли другъ друга изъ виду. Когда Серебряный отправился въ Литву, Морозовъ воеводствовалъ гдѣ-то далеко; они не видались болѣе десяти лѣтъ, но Дружина Андреевичъ мало перемѣнился, онъ былъ бодръ попрежнему, и князь съ перваго взгляда вездѣ бы узналъ его, ибо старый бояринъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которыхъ личность глубоко врѣзывается въ памяти. Одинъ ростъ и дородность его уже привлекали вниманіе. Онъ былъ цѣлою головой выше Серебрянаго. Темнорусые волосы, съ сильною просѣдью, падали въ безпорядкѣ на умный лобъ его, разсѣченный нѣсколькими шрамами. Окладистая борода, почти совсѣмъ сѣдая, покрывала половину груди. Изъподъ темныхъ навислыхъ бровей сверкалъ проницательный взглядъ, а вокругъ устъ играла привѣтливая улыбка, сквозь которую просвѣчивало то, что въ простонарѣчіи называется: себѣ на умѣ. Въ его пріемахъ, въ осанистой поступи было что-то львиное, какая-то особенно спокойная важность, достоинство, неторопливость и увѣренность въ самомъ себѣ. Глядя на него, всякій сказалъ бы: хорошо быть въ ладу съ этимъ человѣкомъ! И вмѣстѣ съ тѣмъ, всякій подумалъ бы: нехорошо съ нимъ поссориться! Дѣйствительно, всматриваясь въ черты Морозова, легко было догадаться, что спокойное лицо его можетъ, въ минуту гнѣва, сдѣлаться страшнымъ. Но привѣтливая улыбка и открытое, неподдѣльное радушіе скоро изглаживали это впечатлѣніе.

— Здравствуй, князь, здравствуй, гость дорогой! Добро пожаловать!—сказалъ Морозовъ, вводя Серебрянаго въ большую брусяную избу, съ изразцовой лежанкой, съ длинными дубовыми лавками, съ драгоцѣннымъ оружіемъ на стѣнахъ и со множествомъ золотой и серебряной посуды, красиво установленной на широкихъ полкахъ.

— Здравствуй, здравствуй, князь! Вотъ какого гостя мнѣ Богъ подарилъ! А вѣдь помню я тебя, Никитушка, еще маленькаго! Охъ, удалъ же ты былъ, нечего сказать! Какъ, бывало, начнутъ ребята въ городки играть, бѣда той сторонѣ, что̀ супротивъ тебя! Разлетишься словно соколъ ясный, да какъ расходится въ тебѣ кровь молодая, такъ бывало разозлишься, словно медвѣжёнокъ, прости, Никита Романычъ, грубое слово! Такъ и начнешь валять, кого направо, кого налѣво, смотрѣть даже весело! Ну да и вышелъ же молодецъ изъ тебя, князь! Слыхалъ я про дѣла твои въ Литовской землѣ! Каталъ же ты ихъ, супостатовъ, какъ прежде ребятъ каталъ!

— И Морозовъ весело улыбался, и львиное его лицо сіяло радушіемъ.

— А помнишь ли, Никитушка,—продолжалъ онъ, обнявъ князя одной рукой за плечи:—помнишь ли, какъ ты ни въ какой игрѣ обмана не терпѣлъ? Бороться ли съ кѣмъ начнешь, али на кулачкахъ биться, скорѣй дашь себя на землю свалить, чѣмъ подъ-ножку подставишь, или что̀ противъ уговора сдѣлаешь. Все бывало снесешь, а ужъ лукавства ни себѣ, ни другимъ не позволишь!

Князю сдѣлалось неловко въ присутствіи Морозова.

— Бояринъ,—сказалъ онъ:—вотъ грамота къ тебѣ отъ князя Пронскаго.

— Спасибо, князь. Послѣ прочту; время терпитъ; теперь дай угостить тебя! Да гдѣ же Елена Дмитріевна? Эй, кто тамъ! Скажите женѣ, что у насъ гость дорогой, князь Никита Романычъ Серебряный, чтобы сошла попотчивать!

Тихо и плавно сошла Елена съ подносомъ въ рукахъ. На подносѣ были кубки съ разными винами. Елена низко поклонилась Серебряному, какъ будто въ первый разъ его видѣла! Она была какъ смерть блѣдна.

— Князь, — сказалъ Морозовъ: — это моя хозяйка, Елена Дмитріевна! Люби и жалуй ее. Вѣдь ты, Никита Романычъ, намъ почитай родной. Твой отецъ и я, мы были словно братья, такъ и жена моя тебѣ не чужая. Кланяйся, Елена, проси боя-

рина! Кушай, князь, не брезгай нашей хлѣбомъ-солью! Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады! Вотъ романея, вотъ венгерское, вотъ медъ малиновый, сама хозяйка на ягодахъ сытила!

Морозовъ низко кланялся.

Князь отвѣчалъ обоимъ поклонами и осушилъ кубокъ.

Елена не взглянула на Серебрянаго. Длинныя рѣсницы ея были опущены. Она дрожала, и кубки на подносѣ звенѣли одинъ о другой,

— Что̀ съ тобой, Елена?—сказалъ вдругъ Морозовъ:—ужъ не больна ли ты? Лицо твое словно снѣгъ побѣлѣло! Олёнушка,—прибавилъ онъ шопотомъ:—ужъ не опять ли проѣзжалъ Вяземскій? Такъ! должно-быть, этотъ окаянный проѣзжалъ мимо саду! Не кручинься, Елена. Въ томъ нѣтъ твоей вины. Безъ меня не ходи лучше въ садъ; да утѣшься, мое дитятко, я не дамъ тебя никому въ обиду! Улыбнись скорѣй, будь веселѣе, а то гость замѣтитъ!—Извини, Никита Романычъ, извини, захлопотался, говорилъ вотъ женѣ, чтобы велѣла тебѣ кушать подать поскорѣе. Вѣдь ты не обѣдалъ, князь?

— Благодарю, бояринъ, обѣдалъ.

— Нужды нѣтъ, Никита Романычъ, еще разъ пообѣдаешь!— Ступай, Елена, ступай, похлопочи! А ты, бояринъ, закуси чѣмъ Богъ послалъ, не обидь старика опальнаго! И безъ того мнѣ горя довольно!

Морозовъ указалъ на длинные волосы.

— Вижу, бояринъ, вижу и очамъ вѣры нейму! Ты подъ опалою! За что̀? Прости вопросъ нескромный.

Морозовъ вздохнулъ.

— За то, что держусь стараго обычая, берегу честь боярскую, да не кланяюсь новымъ людямъ!

При этихъ словахъ лицо его омрачилось, и глаза приняли суровое выраженіе.

Онъ разсказалъ о ссорѣ своей съ Годуновымъ, горько жалуясь на несправедливость царя.

— Многое, князь, многое стало на Москвѣ не такъ, какъ было, съ тѣхъ поръ, какъ учинилъ Государь на Руси опричнину!

— Да что́ это за опричнина, бояринъ? Встрѣчалъ я опричниковъ, только въ толкъ не возьму!

— Прогнѣвили мы видно Бога, Никита Романычъ; помрачилъ Онъ свѣтлыя царскія очи! Какъ возложили клеветники измѣну на Сильвестра да на Адашева, какъ прогналъ ихъ отъ себя царь, прошли наши красные дни! Зачалъ вдругъ Иванъ Васильичъ на насъ мнѣніе держать, на насъ, вѣрныхъ слугъ своихъ! Зачалъ толковать про измѣны, про заговоры, чего и въ мысль человѣку не вмѣстится! А новые-то люди обрадовались, да и давай ему шептать на бояръ, кто по-насердкѣ, кто чая себѣ милости, и ко всѣмъ сталъ онъ приклонять слухъ свой. У кого была какая вражда, тотъ и давай доводить на недруга, будто онъ слова про царя говорилъ, будто хана или короля подымаетъ. И въ томъ они, окаянные, не бояся страшнаго суда Божія, и крестъ на кривѣ цѣловали, и руки въ письмахъ лживили! Много безвинныхъ людей вожено въ темницы, Никита Романычъ, и съ очныхъ ставокъ пытано. Кто только хотѣлъ, тотъ и сказывалъ за собою государево слово. Прежде бывало, коли кто донесъ на тебя, тотъ и очищай самъ свою улику; а теперь, какая у него ни будь рознь въ словахъ, берутъ тебя и пытаютъ по одной язычной молвкѣ! Трудное настало время, Никита Романычъ. Такой ужасъ отъ царя, какого искони еще не видно! Послѣ пытокъ попили казни! И кого же казнили!.. Но ты, князь, уже, можетъ, слыхалъ про это?

— Слыхалъ, бояринъ, но глухо. Не скоро вѣсти доходятъ до Литвы. Впрочемъ, чему дивиться. Царь воленъ казнить своихъ злодѣевъ!

— Кто противъ этого, князь. На то онъ царь, чтобы карать и миловать. Только то больно, что не злодѣевъ казнили, а все вѣрныхъ слугъ государевыхъ: окольничаго Адашева (Алексѣева брата) съ малолѣтнимъ сыномъ; трехъ Сатиныхъ; Ивана Шишкина съ женою да съ дѣтьми; да еще многихъ другихъ безвинныхъ.

Негодованіе выразилось на лицѣ Серебрянаго.

— Бояринъ, въ этомъ, знать, не царь виновенъ, а наушники его!

— Охъ, князь! Горько вымолвить, страшно подумать! Не по однимъ навѣтамъ наушническимъ сталъ царь проливать кровь неповинную. Вотъ хоть бы Басмановъ, новый кравчій царскій, билъ челомъ государю на князя Оболенскаго-Овчину въ какомъ-то непригожемъ словѣ. Что́-жъ сдѣлалъ царь? За обѣдомъ своею рукою вонзилъ князю ножъ въ сердце!

— Бояринъ,—вскричалъ Серебряный, вскакивая съ мѣста:— еслибы мнѣ кто другой сказалъ это, я назвалъ бы его клеветникомъ! Я бы самъ наложилъ руки на него!

— Никита Романычъ, старъ я клеветать. И на кого же? На государя моего!

— Прости, бояринъ. Но что́ же думать о такой перемѣнѣ? Ужъ не обошли ли царя?

— Должно быть, князь. Но садись, слушай далѣе. Въ другой разъ Иванъ Васильевичъ, упившись, началъ (и подумать срамно!) съ своими любимцами въ личинахъ плясать. Тутъ былъ бояринъ князь Михайло Репнинъ. Онъ заплакалъ съ горести. Царь давай и на него личину надѣвать. Нѣтъ! сказалъ Репнинъ, не бывать тому, чтобъ я посрамилъ санъ свой боярскій! и растопталъ личину ногами. Дней пять спустя, убитъ онъ по царскому указу во храмѣ Божіемъ.

— Бояринъ! Это Богъ насъ караетъ!

— Да будетъ же надъ нами Его святая воля, князь. Но слушай далѣе. Казнямъ не было конца. Что день, то кровь текла и на лобномъ мѣстѣ, и въ тюрьмахъ, и въ монастыряхъ. Что день, то хватали боярскихъ холопей и возили въ застѣнокъ. Многіе винились съ огня и говорили со страху на бояръ своихъ. Тѣ же, которые, не хотя отдать души во дно адово, очищали бояръ, тѣхъ самихъ предавали смерти. Многіе потерпѣли въ правдѣ, многіе пріяли вѣнецъ мученическій, Никита Романычъ! Временемъ царь какъ будто приходилъ въ себя, и каялся, и молился, и плакалъ, и самъ назывался смертнымъ убойцею и сыроядцемъ. Разсылалъ вклады въ разные монастыри

и приказывалъ панихиды по убитымъ. Каялся Иванъ Васильевичъ, но не долго и что же придумалъ? Слушай, князь. Просыпаюсь я рано утромъ, вижу великое смятенье. Разсыпался народъ по улицамъ, кто бѣжитъ къ Кремлю, кто отъ Кремля. Всѣ голосятъ: «уѣзжаетъ государь, невѣдомо куда!» Такъ меня холодомъ и обдало! Надѣваю платье, сажусь на-конь; со всѣхъ мѣстъ бояре спѣшатъ ко Кремлю, кто верхомъ, кто самъ о'себѣ, словно простой человѣкъ, даже никто о чести своей не думаетъ! Добрались до Иверскихъ воротъ, видимъ—ратники выѣзжаютъ; народъ передъ ними такъ и раздается. За ратниками сани, въ нихъ царь съ царицею и съ царевичемъ. За царскими санями многое множество саней, а въ нихъ всѣ пожитки, вся казна, весь обиходъ царскій; за санями окольничьи и дворяне, и приказные, и воинскіе, и всякихъ чиновъ люди — всѣ выѣзжаютъ изъ Кремля. Бросились мы было къ царскимъ санямъ, да не допустили насъ ратники, говорятъ: не велѣлъ государь! И потянулся поѣздъ вдоль по Москвѣ, и выѣхалъ за посады.

Воротились мы въ домы и долго ждали, не передумаетъ ли царь, не вернется ли? Проходитъ недѣля, получаетъ высокопреосвященный грамоту; пишетъ государь, что я-де отъ великой жалости сердца, не хотя вашихъ измѣнныхъ дѣлъ терпѣть, оставляю мои государства и ѣду-де, куда Богъ укажетъ путь мнѣ! Какъ пронеслася эта вѣсть, зачался вопль на Москвѣ: бросилъ насъ батюшка-царь! Кто теперь будетъ надъ нами государить!

Нечего правды таить грозенъ былъ Иванъ Васильевичъ, да вѣдь самъ Богъ поставилъ его надъ нами, и видно по Божьей волѣ, для очищенія грѣховъ нашихъ, каралъ онъ насъ. Собрались мы въ думѣ и порѣшили ѣхать всѣ съ своими головами за государемъ, бить ему челомъ и плакаться. Узнали мы, что остановился царь въ Александровой Слободѣ, а будетъ та слобода отсюда за восемьдесятъ слишкомъ верстъ. Помолившися Богу, поѣхали. Какъ завидѣли издали слободу, остановились: еще разъ помолились: страшно стало, не то страшно, что прикажетъ царь смерти предать, а то, что не допуститъ предъ свои очи. Только

ничего не случилось. Допустилъ насъ царь. Какъ вошли мы, такъ, вѣришь ли, бояринъ, не узнали Ивана Васильевича! И лицо-то будто не его; и волосы, и борода почитай совсѣмъ вылѣзли. Что съ нимъ сталось, и царь, и не царь! Долго говорилъ онъ съ нами; корилъ насъ въ небывалыхъ измѣнахъ, высчитывалъ намъ наши вины, которыхъ мы не вѣдали за собою, и наконецъ сказалъ, что я-де только по упросу богомольцевъ моихъ, епископовъ, беру паки мои государства, но и то на уговорѣ. Пожаловалъ насъ къ рукѣ и отпустилъ.

— А какой же уговоръ онъ прочилъ себѣ?—спросилъ Серебряный.

— А вотъ увидишь, князь; слушай: прошло недѣли три, прибылъ Иванъ Васильевичъ на Москву. Настала радость великая, такая радость, что и въ Свѣтлое Христово воскресенье не бываетъ такой. Вотъ созвалъ онъ думу, и насъ, и духовенство. А когда собралися мы, объявилъ намъ, что я-де съ тѣмъ только принимаю государство, чтобы казнить моихъ злодѣевъ, класть мою опалу на измѣнниковъ, имать ихъ остатки и животы, чтобы ни отъ митрополита, ни отъ властей не было мнѣ бездѣльной докуки о милости. Беру-де себѣ, говоритъ, опасную стражу и беру на свой особый обиходъ разные города и пригородки и на самой Москвѣ разныя улицы. И тѣ города и улицы и свою особную стражу называю, говоритъ, опричниной, а все достальное, то земщина. А боярамъ-де и митрополиту со властьми въ мой домовой особный обиходъ не вступаться. И на томъ, говоритъ, беру мои государства! Съ этого дня началъ онъ новыхъ людей набирать, да все такихъ, чтобы не были знатнаго роду, да чтобы цѣловали крестъ не вести хлѣба-соли съ боярами. Отдалъ имъ всю землю, всѣ дома и все добро, что отрѣзалъ на свой обиходъ; а старыхъ вотчинниковъ, тысячъ примѣрно съ двѣнадцать, выгналъ изъ опричнины словно животину. Право, Никита Романычъ, вѣдь своими глазами видѣлъ, а доселѣ не вѣрится! Ѣздятъ теперь по святой Руси ихъ дьявольскіе, кровоядные полки съ метлами да песьими головами; топчутъ правду, выметаютъ не измѣну,

но честь русскую; грызутъ не враговъ государевыхъ, а вѣрныхъ слугъ его, и нѣтъ на нихъ нигдѣ ни суда, ни расправы!

— Да зачѣмъ же вы согласились на этотъ уговоръ?—замѣтилъ Серебряный.

— Что ты, князь? Развѣ царю можно указывать? Развѣ онъ не отъ Бога?

— Вѣстимо, отъ Бога. Да вѣдь онъ самъ же спрашивалъ васъ? Зачѣмъ вы не сказали ему, что не хотите опричнины?

— А кабы онъ опять уѣхалъ? Что бы тогда? Безъ государя было оставаться, что ли? А народъ что бы сказалъ?

Серебряный задумался.

— Такъ, — проговорилъ онъ, немного помолчавъ: — нельзя было быть безъ государя. Только теперь-то чего вы ждете? Зачѣмъ не скажете ему, что отъ опричнины вся земля гибнетъ? Зачѣмъ смотрите на все, да молчите?

— Я-то, князь, не молчу,—отвѣчалъ Морозовъ съ достоинствомъ. — Я никогда не таилъ моей мысли; оттого-то я теперь и подъ опалой. Позови меня царь къ себѣ, не стану молчать, только онъ не позоветъ меня. Нашихъ теперь ужъ нѣтъ у него въ приближеніи. Посмотри-ка, кѣмъ окружилъ онъ себя? Какіе древніе роды около него? Нѣтъ древнихъ родовъ! Все подлые страдники, которыхъ отцы нашимъ отцамъ въ холопство-бъ не пригожались! Бери хоть любого на выдержку: Басмановы, отецъ и сынъ, ужъ не знаю, который будетъ гнуснѣе; Малюта Скуратовъ, не вѣсть мясникъ, не вѣсть звѣрь какой, вѣчно кровью обрызганъ; Васька Грязной,—ему всякое студное дѣло ни почемъ! Борисъ Годуновъ, — этотъ и отца и мать продастъ, да еще и дѣтей дастъ въ придачу, лишь бы повыше взобраться; всадитъ тебѣ ножъ въ горло, да еще и поклонится. Одинъ только и есть тамъ высокаго роду, князь Аѳанасій Вяземскій. Опозорилъ онъ и себя, и насъ всѣхъ, окаянный! Ну да что про него!

Морозовъ махнулъ рукой. Другія мысли заняли старика. Задумался и Серебряный. Задумался онъ о страшной перемѣнѣ.

въ царѣ и забылъ на время объ отношеніяхъ, въ которыя судьба поставила его къ Морозову.

Между тѣмъ слуги накрыли на столъ.

Несмотря ни на какія отговорки, Дружина Андреевичъ принудилъ своего гостя отвѣдать многочисленныхъ блюдъ: студеней разнаго рода, жаркихъ, похлебокъ, кулебякъ и буженины. А когда поставили передъ ними разные напитки, Морозовъ налилъ себѣ и князю по стопѣ малвазіи, всталъ изъ-за стола, откинулъ назадъ свои опальные волосы и сказалъ, поднявъ высоко стопу:

— Во здравіе великаго государя нашего, царя Ивана Васильевича!

— Просвѣти его Богъ! Открой ему очи!—отвѣчалъ Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились.

Елена не показывалась во время стола и не присутствовала при разговорѣ бояръ.

Многое еще разсказывалъ Морозовъ про дѣла государственныя, про нападенія Крымцевъ на рязанскія земли, разспрашивалъ Серебрянаго о литовской войнѣ, и горько осуждалъ Курбскаго за бѣгство къ королю. Князь отвѣчалъ подробно на всѣ вопросы и наконецъ разсказалъ про схватку свою съ опричниками въ деревнѣ Медвѣдевкѣ, про ссору съ ними въ Москвѣ и про встрѣчу съ юродивымъ, не рѣшившись, впрочемъ, упомянуть о темныхъ словахъ послѣдняго.

Морозовъ выслушалъ его съ большимъ вниманіемъ.

— Плохо, князь,—сказалъ онъ, почесывая крутой лобъ свой:—больно плохо. Что они грабежъ въ той деревнѣ чинили, тому нечего дивиться: деревня-то, вишь, моя, а которая вотчина опальнаго боярина, ту теперь всякому вольно грабить. Дѣло знамое, что можно взять берутъ, чего же не поднимутъ, то огнемъ палятъ; рогатый животъ на-смерть колютъ. Это теперь ихъ обычай. А юродиваго-то я знаю. Онъ подлинно Божій человѣкъ. Не тебя одного онъ при первой встрѣчѣ по имени назвалъ; онъ всякаго словно насквозь видитъ. Его и царь боится. Сколько разъ онъ Ивана Васильевича въ глаза уличалъ

Побольше бы такихъ святыхъ людей, такъ, пожалуй, и опричнины-то не было бы! Скажи, князь,—продолжалъ Морозовъ:—когда хотѣлъ ты здравствовать государю?

— Завтра, чѣмъ свѣтъ, какъ выйдетъ его милость изъ опочивальни.

— Что ты, князь? Теперь ужъ смерклось, а тебѣ слишкомъ сто верстъ ѣхать!

— Какъ? Развѣ царь не въ Кремлѣ?

— Нѣтъ, князь, не въ Кремлѣ. Прогнѣвили мы Господа, бросилъ насъ государь, воротился въ Александрову Слободу, живетъ тамъ съ своими поплечниками, не было-бъ имъ ни дна, ни покрышки.

— Коли такъ, то прости, бояринъ, надо спѣшить. Я еще и дома не былъ. Осмотрюсь немного, а завтра чѣмъ свѣтъ отправлюсь въ Слободу.

— Не ѣзди, князь!

— Отчего, бояринъ?

— Не снести тебѣ головы, Никита Романычъ.

— На то Божья воля, бояринъ; что будетъ, то будетъ!

— Послушай, Никита Романычъ. Вѣдь ты меня забылъ, а я помню тебя еще маленькаго. Отецъ твой покойный жилъ со мной рука въ руку, душа въ душу. Умеръ онъ, царствіе ему небесное; некому остеречь тебя, некому тебѣ совѣта подать, а не завидна твоя доля, видитъ Богъ, не завидна! Коли поѣдешь въ Слободу, пропалъ ты, князь, съ головою пропалъ.

— Что-жъ, бояринъ, видно мнѣ такъ на роду написано!

— Никитушка, останься, я тебя схороню. Никто тебя не сыщетъ, холопи мои тебя не выдадутъ, ты будешь у меня въ домѣ какъ сынъ родной.

— Бояринъ, вспомни, что ты самъ говорилъ про Курбскаго. Не честно русскому боярину прятаться отъ царя своего.

— Никита Романычъ, Курбскій—измѣнникъ. Онъ ушелъ ко врагу государеву; а я кто же? Развѣ я врагъ государевъ?

— Прости, бояринъ, прости необдуманное слово, но чему быть, того не миновать!

— Кабы ты, Никитушка, остался у меня, можетъ, и простылъ бы гнѣвъ царскій, можетъ, мы съ высокопреосвященнымъ и уладили-бъ твое дѣло, а теперь ты попадешь какъ смола на уголья!

— Жизнь наша въ рукѣ Божіей, бояринъ. Не пригоже стараться продлить ее хитростью болѣ, чѣмъ Богу угодно. Спасибо за хлѣбъ-соль,—прибавилъ Серебряный, вставая:—спасибо за дружбу (при этихъ словахъ онъ невольно смутился), но я поѣду. Прости, Дружина Андреичъ!

Морозовъ посмотрѣлъ на князя съ грустнымъ участіемъ, но видно было, что внутри души своей онъ его одобряетъ и что самъ не поступилъ бы иначе, если бы былъ на его мѣстѣ.

— Да будетъ же надъ тобою благословеніе Божіе, Никита Романычъ! — сказалъ онъ, подымаясь со скамьи и обнимая князя:—да умягчитъ Господь сердце царское. Да вернешься ты невредимъ изъ Слободы, какъ отрокъ изъ пещи пламенной, и да обниму тебя тогда, какъ теперь обнимаю, отъ всего сердца, отъ всей души!

Пословица говорится: пѣшаго до воротъ, коннаго до коня провожаютъ. Князь и бояринъ разстались на порогѣ сѣней. Было уже темно. Проѣзжая вдоль частокола, Серебряный увидѣлъ въ саду бѣлое платье. Сердце его забилось. Онъ остановилъ коня. Къ частоколу подошла Елена.

— Князь,—сказала она шопотомъ:—я слышала твой разговоръ съ Дружиной Андреичемъ, ты ѣдешь въ Слободу... Боже сохрани тебя, князь, ты ѣдешь на-смерть!

— Елена Дмитріевна! Видно такъ угодно Господу, чтобы пріялъ я смерть отъ царя. Не на радость вернулся я на родину, не судилъ мнѣ Господь счастья, не мнѣ ты досталась, Елена Дмитріевна! Пусть же надо мной воля Божія!

— Князь, они тебя замучатъ! Мнѣ страшно подумать!— Боже мой, ужели жизнь тебѣ вовсе постыла?

— Пропадай она! — сказалъ Серебряный, и махнулъ рукой.

— Пресвятая Богородица! Коли ты себя не жалѣешь, пожа-

лѣй хоть другихъ! Пожалѣй хоть меня, Никита Романычъ! Вспомни какъ ты любилъ меня!

Мѣсяцъ вышелъ изъ-за облакъ. Лицо Елены, ея жемчужный кокошникъ, ожерелье и алмазныя серьги, ея глаза, полные слезъ, озарились чудеснымъ блескомъ. Еще плакала Елена, но уже готова была сквозь слезы улыбнуться. Одно слово князя обратило бы ея печаль въ безпредѣльную радость. Она забыла о мужѣ, забыла всю осторожность. Серебряный прочелъ въ ея глазахъ такую любовь, такую тоску, что невольно поколебался. Счастье было для него навѣки потеряно. Елена принадлежала другому, но она любила одного Серебрянаго. Для чего бы ему не остаться, не отложить поѣздки въ Слободу? Не самъ ли Морозовъ его упрашивалъ?

Такъ мыслилъ князь, и очаровательныя картины рисовались въ его воображеніи, но чувство чести, на мигъ уснувшее, внезапно пробудилось.

«Нѣтъ,—подумалъ онъ:—да будетъ мнѣ стыдно, если я хотя мыслію оскорблю друга отца моего! Одинъ безчестный платитъ за хлѣбъ-соль обманомъ, одинъ трусъ бѣжитъ отъ смерти!»

— Мнѣ нельзя не ѣхать, — сказалъ онъ рѣшительно. — Не могу хорониться одинъ отъ царя моего, когда лучшіе люди гибнутъ. Прости, Елена!

Слова эти какъ ножъ вонзились въ сердце боярыни. Она въ отчаяніи ударилась о-земь.

— Разступись же подо мной, мать-сыра земля!—простонала она:—не жилица я на бѣломъ свѣтѣ! Наложу на себя руки, изведу себя отравой! Не переживу тебя, Никита Романычъ! Я люблю тебя болѣ жизни, болѣ свѣту Божьяго, я никого кромѣ тебя не люблю и любить не буду!

Сердце Серебрянаго надрывалось. Онъ хотѣлъ утѣшить Елену, но она рыдала все громче. Люди могли ее услышать, подсмотрѣть князя и донести боярину. Серебряный это понялъ, и чтобы спасти Елену, рѣшился отъ нея оторваться.

— Елена, прости!—сказалъ онъ:—прости, душа, радость дней моихъ! Уйми свои слезы, Богъ милостивъ, авось мы еще увидимся

Облока задернули мѣсяцъ, вѣтеръ потрясъ вершины липъ, и благовоннымъ дождемъ посыпались цвѣты на князя и на Елену. Закачалися старыя вѣтви, будто желая сказать: на кого намъ цвѣсти, на кого зеленѣть! Пропадетъ даромъ добрый молодецъ, пропадетъ и его полюбовница!

Оглянувшись послѣдній разъ на Елену, Серебряный увидѣлъ за нею, въ глубинѣ сада, темный человѣческій образъ. Почудилось ли то князю, или слуга какой проходилъ по саду, или ужъ не былъ ли то самъ бояринъ Дружина Андреевичъ?

ГЛАВА VII.

Александрова Слобода.

Дорога отъ Москвы до Троицкой Лавры, а отъ Лавры до Александровой Слободы представляла самую живую картину. Безпрестанно скакали по ней царскіе гонцы; толпы людей всѣхъ сословій шли пѣшкомъ на богомолье; отряды опричниковъ спѣшили взадъ и впередъ; сокольники отправлялись изъ Слободы въ разныя деревни за живыми голубями; купцы тащились съ товарами, сидя на возахъ, или провожая верхомъ длинные обозы. Проходили толпы скомороховъ, съ гудками, волынками и балалайками. Они были одѣты пестро, вели съ собою ручныхъ медвѣдей, пѣли пѣсни или просили у богатыхъ проѣзжихъ.

— Пожалѣйте, государи, насъ,—говорили они на всѣ голоса:— вамъ Господь далъ и вотчины, и всякое достояніе, а намъ указалъ питаться вашею подачей, такъ не оставьте насъ, скудныхъ людей, государи!

— Отцы наши, батюшки! — пѣли иные протяжно, сидя у самой дороги:—дай вамъ Господи доброе здоровье! Донеси васъ Богъ до Сергія Троицы!

Другіе прибавляли къ этимъ словамъ разныя прибаутки, такъ что иной проѣзжій въ награду за веселое слово бросалъ имъ цѣлый корабленникъ.

Нерѣдко у скомороховъ случались драки съ толпами оборванныхъ нищихъ, которые изъ городовъ и монастырей спѣшили въ Слободу поживиться царской милостыней.

Проходили также слѣпые гусляры и сказочники, съ гуслями на плечахъ и держась одинъ за другого.

Все это шумѣло, пѣло, ругалось. Лошади, люди, медвѣди — ржали, кричали, ревѣли. Дорога шла густымъ лѣсомъ. Несмотря на ея многолюдность, случалось иногда, что вооруженные разбойники нападали на купцовъ и обирали ихъ до-чиста.

Разбои въ окрестностяхъ Москвы особенно умножились съ тѣхъ поръ, какъ опричники вытѣснили цѣлыя села хлѣбопашцевъ, цѣлые посады мѣщанъ. Лишась жилищъ и хлѣба, люди эти пристали къ шайкамъ станичниковъ, укрѣпились въ засѣкахъ, и, по множеству своему, сдѣлались не на шутку опасны. Опричники, поймавъ разбойниковъ, вѣшали ихъ безъ милосердія; зато и разбойники не оставались у нихъ въ долгу, когда случалось имъ поймать опричника. Впрочемъ, не одни разбойники грабили на дорогахъ. Скоморохи и нищіе, заставъ подъ вечеръ плохо-оберегаемый обозъ, часто избавляли разбойниковъ отъ хлопотъ. Купцамъ было всего хуже. Ихъ грабили и разбойники, и скоморохи, и нищіе, и пьяные опричники. Но они утѣшались пословицей, что накладъ съ барышемъ уголъ объ уголъ живутъ, и не переставали ѣздить въ Слободу, говоря: «Богъ милостивъ, авось доѣдемъ». И неизвѣстно какъ оно случалось; но только на повѣрку всегда выходило, что купцы оставались въ барышахъ.

Въ Троицкой Лаврѣ Серебряный исповѣдался и причастился. То же сдѣлали его холопи. Архимандритъ, прощаясь съ Никитой Романовичемъ, благословилъ его какъ идущаго на вѣрную смерть.

Верстахъ въ трехъ отъ Слободы стояла на заставѣ воинская стража и останавливала проѣзжихъ, спрашивая каждаго: кто онъ и зачѣмъ ѣдетъ въ *неволю?* Этимъ прозваніемъ народъ, въ насмѣшку, замѣнилъ слово: слобода, значившее въ прежнее время свободу. Серебряный и холопи его также выдержали подробный

допросъ о цѣли ихъ пріѣзда. Потомъ начальный человѣкъ отобралъ отъ нихъ оружіе, и четыре опричника сѣли на-конь проводить пріѣзжихъ. Вскорѣ показались вдали крашеныя главы и причудливыя, золоченыя крыши царскаго дворца. Вотъ что говоритъ объ этомъ дворцѣ нашъ историкъ, по свидѣтельству чужеземныхъ современниковъ Іоанна.

«Въ семъ грозно-увеселительномъ жилищѣ Іоаннъ посвящалъ бо́льшую часть времени церковной службѣ, чтобы непрестанною дѣятельностью успокоить душу. Онъ хотѣлъ даже обратить дворецъ въ монастырь, а любимцевъ своихъ въ иноковъ: выбралъ изъ опричниковъ 300 человѣкъ, самыхъ злѣйшихъ, назвалъ ихъ братіею, себя игуменомъ, князя Аѳанасія Вяземскаго келаремъ, Малюту Скуратова параклисіархомъ; далъ имъ тафьи, или скуфейки, и черныя рясы, подъ коими носили они богатые, золотомъ блестящіе кафтаны, съ собольей опушкою; сочинилъ для нихъ уставъ монашескій и служилъ примѣромъ въ исполненіи онаго. Такъ описываютъ сію монастырскую жизнь Іоаннову. Въ четвертомъ часу утра онъ ходилъ на колокольню съ царевичами и Малютою Скуратовымъ благовѣстить къ заутренѣ; братья спѣшили въ церковь; кто не являлся, того наказывали осьмидневнымъ заключеніемъ. Служба продолжалась до шести или семи часовъ. Царь пѣлъ, читалъ, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крѣпкихъ земныхъ поклоновъ. Въ восемь часовъ опять собирались къ обѣднѣ, а въ десять садились за братскую трапезу, всѣ, кромѣ Іоанна, который, стоя, читалъ вслухъ душеспасительныя наставленія. Между тѣмъ братья ѣли и пили досыта; всякій день казался праздникомъ: не жалѣли ни вина, ни меду; остатокъ трапезы выносили изъ дворца на площадь для бѣдныхъ. Игуменъ, то-есть царь, обѣдалъ послѣ, бесѣдовалъ съ любимцами о законѣ, дремалъ или ѣхалъ въ темницу пытать какого-нибудь несчастнаго. Казалось, что сіе ужасное зрѣлище забавляло его; онъ возвращался съ видомъ сердечнаго удовольствія: шутилъ, говаривалъ тогда веселѣе обыкновеннаго. Въ восемь часовъ шли къ вечернѣ; въ десятомъ Іоаннъ уходилъ въ спальню,

гдѣ трое слѣпыхъ разсказывали ему сказки: онъ слушалъ ихъ и засыпалъ, но не надолго: въ полночь вставалъ, и день его начинался молитвою. Иногда докладывали ему въ церкви о дѣлахъ государственныхъ; иногда самыя жестокія повелѣнія давалъ Іоаннъ во время заутрени или обѣдни. Единообразіе сей жизни онъ прерывалъ такъ-называемыми объѣздами, посѣщалъ монастыри, и ближніе и дальніе, осматривалъ крѣпости на границѣ, ловилъ дикихъ звѣрей въ лѣсахъ и пустыняхъ; любилъ въ особенности медвѣжью травлю; между тѣмъ вездѣ и всегда занимался дѣлами: ибо земскіе бояре, мнимо уполномоченные правители государства, не смѣли ничего рѣшить безъ его воли!»

Въѣхавъ въ Слободу, Серебряный увидѣлъ, что дворецъ или монастырь государевъ отдѣленъ отъ прочихъ зданій глубокимъ рвомъ и валомъ. Трудно описать великолѣпіе и разнообразіе этой обители. Ни одно окно не походило на другое, ни одинъ столбъ не равнялся съ другимъ узорами или краской. Множество главъ вѣнчали зданіе. Онѣ тѣснились одна возлѣ другой, громоздились одна на другую, и сквозили, и пузырились. Золото, серебро, цвѣтные изразцы, какъ блестящая чешуя, покрывали дворецъ сверху до-низу. Когда солнце его освѣщало, нельзя было издали догадаться, дворецъ ли это, или кустъ цвѣтовъ исполинскихъ, или то жаръ-птицы слетѣлись въ густую стаю и распустили на солнцѣ свои огненныя перья?

Недалеко отъ дворца стоялъ печатный дворъ, съ принадлежащею къ нему словолитней, съ жилищемъ наборщиковъ и съ особымъ помѣщеніемъ для иностранныхъ мастеровъ, выписанныхъ Іоанномъ изъ Англіи и Германіи. Далѣе тянулись безконечныя дворцовыя службы, въ которыхъ жили ключники, подключники, сытники, повара, хлѣбники, конюхи, псари, сокольники и всякіе дворовые люди на всякій обиходъ.

Не малымъ богатствомъ сіяли слободскія церкви. Славный храмъ Богоматери покрытъ былъ снаружи яркою живописью; на каждомъ кирпичѣ блестѣлъ крестъ, и церковь казалась одѣтою въ золотую сѣтку.

Очаровательный видъ этотъ разогналъ на время черныя мысли, которыя не оставляли Серебрянаго во всю дорогу. Но вскорѣ непріятное зрѣлище напомнило князю его положеніе. Они проѣхали мимо нѣсколькихъ висѣлицъ, стоявшихъ одна подлѣ другой. Тутъ же были срубы съ плахами и готовыми топорами. Срубы и висѣлицы, окрашенные черною краской, были выстроены крѣпко и прочно, не на день, не на годъ, а на многія лѣта!

Какъ ни безстрашенъ бываетъ человѣкъ, онъ никогда не равнодушенъ къ мысли, что его ожидаетъ близкая смерть, не славная смерть среди стука мечей или грома орудій, но темная и постыдная, отъ рукъ презрѣннаго палача. Видно, Серебряный, проѣзжая мимо мѣста казней, не умѣлъ подавить внутренняго волненія, и оно невольно отразилось на впечатлительномъ лицѣ его: вожатые посмотрѣли на князя и усмѣхнулись.

— Это наши качели, бояринъ,—промолвилъ одинъ изъ нихъ, указывая на висѣлицы:—видно онѣ приглянулись тебѣ, что ты съ нихъ глазъ не сводишь!

Михеичъ, ѣхавшій позади, не сказалъ ничего, но только посвистѣлъ и покачалъ головою.

Подъѣхавъ къ валу, князь и товарищи его спѣшились и привязали лошадей къ столбамъ, въ которые нарочно для того были ввинчены кольца. Пріѣзжіе вошли на огромный дворъ, наполненный нищими. Они громко молились, распѣвали псалмы и обнажали свои отвратительныя язвы. Царскій дворецкій, стоя на ступеняхъ крыльца, раздавалъ имъ отъ имени Іоанна яства и денежныя дачи. Время отъ времени по двору прохаживались опричники; другіе сидѣли на скамьяхъ и играли въ шахматы или въ зернь. Такъ называли тогда игру въ кости. Иные, собравшись въ кружокъ, бросали свайку и громко смѣялись, когда проигравшій нѣсколько разъ сряду вытаскивалъ изъ земли глубоко всаженную *рѣдьку*. Одежда опричниковъ представляла разительную противоположность съ лохмотьями нищихъ: царскіе тѣлохранители блистали золотомъ. На каждомъ изъ нихъ была бархатная или парчевая тафья, усаженная жемчугомъ и до-

рогими каменьями, и всѣ они казались живыми украшеніями волшебнаго дворца, съ которымъ составляли какъ бы одно цѣлое.

Одинъ изъ опричниковъ особенно привлекъ вниманіе Серебрянаго. То былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати, необыкновенной красоты, но съ непріятнымъ, наглымъ выраженіемъ лица. Одѣтъ онъ былъ богаче другихъ, носилъ, въ противность обычаю, длинные волосы, бороды не имѣлъ вовсе, а въ пріемахъ выказывалъ какую-то женоподобную небрежность. Обращеніе съ нимъ товарищей также было довольно странно. Они съ нимъ говорили какъ съ равнымъ и не оказывали ему особенной почтительности; но когда онъ подходилъ къ какому-нибудь кружку, то кружокъ раздвигался, а сидѣвшіе на лавкахъ вставали и уступали ему мѣсто. Казалось, его берегли, или, можетъ быть, опасались. Увидя Серебрянаго и Михеича, онъ окинулъ ихъ надменнымъ взглядомъ, подозвалъ, провожатыхъ и, казалось, освѣдомился объ имени пріѣзжихъ. Потомъ онъ прищурился на Серебрянаго, усмѣхнулся и шепнулъ что-то товарищамъ. Тѣ также усмѣхнулись и разошлись въ разныя стороны. Самъ онъ взошелъ на крыльцо и, облокотясь на перила, продолжалъ насмѣшливо глядѣть на Никиту Романовича. Вдругъ между нищими сдѣлалось волненіе. Густая толпа отхлынула прямо на князя и чуть не сбила его съ ногъ. Нищіе съ крикомъ бѣжали отъ дворца; ужасъ изображался на ихъ лицахъ. Князь удивился, но вскорѣ понялъ причину общаго испуга. Огромный медвѣдь скокомъ преслѣдовалъ нищихъ. Въ одно мгновеніе дворъ опустѣлъ, и князь остался одинъ, глазъ-на-глазъ съ медвѣдемъ. Мысль о бѣгствѣ не пришла ему въ голову. Серебряный не разъ ходилъ на медвѣдя одинъ-на-одинъ. Эта охота была его забавой. Онъ остановился, и въ то мгновеніе, какъ медвѣдь, прижавъ уши къ затылку, подвигался къ нему, загребая его лапами, князь сдѣлалъ движеніе, чтобы выхватить саблю. Но сабли не было. Онъ забылъ, что отдалъ ее опричникамъ передъ въѣздомъ въ *неволю*. Молодой человѣкъ, глядѣвшій съ крыльца, захохоталъ.—Такъ, такъ,—сказалъ онъ:—ищи своей сабли!

Одинъ ударъ медвѣжьей лапы свалилъ князя на землю, дру-

гой своротилъ бы ему черепъ, но, къ удивленію своему, князь не принялъ второго удара, и почувствовалъ, что его обдала струя теплой крови.

— Вставай, бояринъ!—сказалъ кто-то, подавая ему руку.

Князь всталъ и увидѣлъ незамѣченнаго имъ прежде опричника, лѣтъ семнадцати, съ окровавленною саблей въ рукѣ. Медвѣдь съ разрубленною головой лежалъ на спинѣ и, махая лапами, издыхалъ у ногъ его.

Опричникъ, казалось, не гордился своей побѣдой. Кроткое лицо его являло отпечатокъ глубокой грусти. Увѣрившись, что медвѣдь не сломалъ князя, и не дожидаясь спасиба, онъ хотѣлъ отойти.

— Добрый молодецъ!—сказалъ ему Серебряный:—назовись по имени-прозвищу, чтобы зналъ я, за кого Богу молиться!

— Что тебѣ до моего прозвища, бояринъ!—отвѣчалъ опричникъ.—Не люблю я его, Богъ съ нимъ!

Такой странный отвѣтъ удивилъ Серебрянаго, но избавитель его уже удалился.

— Ну, батюшка, Никита Романычъ, — сказалъ Михеичъ, обтирая полою кафтана медвѣжью кровь съ князя: — набрался же я страху! Ужъ я, батюшка, кричалъ медвѣдю: гу! гу! чтобы бросилъ онъ тебя да на меня бы навалился, какъ этотъ молодецъ, дай Богъ ему здоровья, черепъ ему раскроилъ. А вѣдь все это затѣялъ вонъ тотъ голобородый съ масляными глазами, что съ крыльца смотритъ, тётка его подкурятина! Да куда мы заѣхали,—прибавилъ Михеичъ шопотомъ:—виданное ли это дѣло, чтобы среди царскаго двора медвѣдей съ цѣпей спускали?

Замѣчаніе Михеича было основательно, но Слобода имѣла свои обычаи, и ничто не происходило въ ней обыкновеннымъ порядкомъ.

Царь любилъ звѣриный бой. Нѣсколько медвѣдей всегда кормились въ желѣзныхъ клѣткахъ на случай травли. Но время отъ времени Іоаннъ или опричники его выпускали звѣрей изъ клѣтокъ, драли ими народъ и потѣшались его страхомъ. Если медвѣдь кого увѣчилъ, царь награждалъ того деньгами. Если

же медвѣдь задиралъ кого до смерти, то деньги выдавались его роднымъ, а онъ вписывался въ синодикъ для поминовенія по монастырямъ вмѣстѣ съ прочими жертвами царской потѣхи или царскаго гнѣва.

Вскорѣ вышли изъ дворца два стольника и сказали Серебряному, что царь видѣлъ его изъ окна и хочетъ знать, кто онъ таковъ? Передавъ царю имя князя, стольники опять возвратились и сказали, что царь-де спрашиваетъ тебя о здоровьѣ и велѣлъ-де тебѣ сегодня быть у его царскаго стола.

Эта милость не совсѣмъ обрадовала Серебрянаго. Іоаннъ, можетъ быть, не зналъ еще о ссорѣ его съ опричниками въ деревнѣ Медвѣдевкѣ. Можетъ быть также (и это случалось часто) царь скрывалъ на время гнѣвъ свой подъ личиною милости, дабы внезапное наказаніе, среди пира и веселья, показалось виновному тѣмъ ужаснѣе. Какъ бы то ни было, Серебряный приготовился ко всему и мысленно прочиталъ молитву.

Этотъ день былъ исключеніемъ въ Александровой Слободѣ. Царь, готовясь ѣхать въ Суздаль на богомолье, объявилъ заранѣе, что будетъ обѣдать вмѣстѣ съ братіей, и приказалъ звать къ столу, кромѣ трехсотъ опричниковъ, составлявшихъ его всегдашнее общество, еще четыреста, такъ что всѣхъ званыхъ было семьсотъ человѣкъ.

ГЛАВА VIII.

Пиръ.

Въ огромной двусвѣтной палатѣ, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы въ три ряда. Въ каждомъ ряду было по десяти столовъ, на каждомъ столѣ по двадцати приборовъ. Для царя, царевича и ближайшихъ любимцевъ стояли особые столы въ концѣ палаты. Гостямъ были приготовлены длинныя скамьи, покрытыя парчею и бархатомъ; государю—высокія рѣзныя кресла, убранныя жемчужными и алмазными кистями. Два льва замѣняли ножки креселъ, а

спинку образовалъ двуглавый орелъ съ подъятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. Въ серединѣ палаты стоялъ огромный четвероугольный столъ, съ поставомъ изъ дубовыхъ досокъ. Крѣпки были толстыя доски, крѣпки точеные столбы, на коихъ покоился столъ; имъ надлежало поддерживать цѣлую гору серебряной и золотой посуды. Тутъ были и тазы литые, которые четыре человѣка съ трудомъ подняли бы за узорчатыя ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугомъ, и блюда разныхъ величинъ съ чеканными узорами. Тутъ были и чары сердоликовыя, и кружки изъ строфокамиловыхъ яицъ, и турьи рога, оправленные въ золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки, страннаго вида, представлявшіе медвѣдей, львовъ, пѣтуховъ, павлиновъ, журавлей, единороговъ, и строфокамиловъ. И всѣ эти тяжелыя блюда, суды, ковши, чары, черпала, звѣри и птицы громоздились кверху клинообразнымъ зданіемъ, котораго конецъ упирался почти въ самый потолокъ.

Чинно вошла въ палату блестящая толпа царедворцевъ и размѣстилась по скамьямъ. На столахъ, въ это время, кромѣ солонокъ, перечницъ и уксусницъ, не было никакой посуды, а изъ яствъ стояли только блюда холоднаго мяса на постномъ маслѣ, соленые огурцы, сливы и кислое молоко въ деревянныхъ чашахъ.

Опричники усѣлись, но не начинали обѣда, ожидая государя.

Вскорѣ стольники, попарно, вошли въ палату и стали у царскихъ креселъ; за стольниками шествовали дворецкій и кравчій.

Наконецъ загремѣли трубы, зазвенѣли дворцовые колокола и, медленнымъ шагомъ, вошелъ самъ царь, Иванъ Васильевичъ.

Онъ былъ высокъ, строенъ и широкоплечъ. Длинная парчевая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена вдоль разрѣза и вокругъ подола жемчугомъ и дорогими каменьями. Драгоцѣнное перстяное ожерелье украшалось финифтевыми изображеніями Спасителя, Богоматери, апостоловъ и пророковъ. Большой узорный крестъ висѣлъ у него на шеѣ на золотой цѣпи. Высокіе каблуки красныхъ сафьянныхъ сапоговъ были

окованы серебряными скобами. Страшную перемѣну увидѣлъ въ Іоаннѣ Никита Романовичъ. Правильное лицо все еще было прекрасно; но черты обозначались рѣзче, орлиный носъ сталъ какъ-то круче, глаза горѣли мрачнымъ огнемъ, и на челѣ явились морщины, которыхъ не было прежде. Всего болѣе поразили князя рѣдкіе волосы въ бородѣ и усахъ. Іоанну было отъ роду тридцать-пять лѣтъ; но ему казалось далеко за сорокъ. Выраженіе лица его совершенно измѣнилось. Такъ измѣняется зданіе послѣ пожара. Еще стоятъ хоромы, но украшенія упали, мрачныя окна глядятъ зловѣщимъ взоромъ и въ пустыхъ покояхъ поселилось недоброе.

Со всѣмъ тѣмъ, когда Іоаннъ взиралъ милостиво, взглядъ его еще былъ привлекателенъ. Улыбка его очаровывала даже тѣхъ, которые хорошо его знали и гнушались его злодѣяніями. Съ такою счастливою наружностью Іоаннъ соединялъ необыкновенный даръ слова. Случалось, что люди добродѣтельные, слушая царя, убѣждались въ необходимости ужасныхъ его мѣръ и вѣрили, пока онъ говорилъ, справедливости его казней.

Съ появленіемъ Іоанна всѣ встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошелъ между рядами столовъ до своего мѣста, остановился и, окинувъ взоромъ собраніе, поклонился на всѣ стороны; потомъ прочиталъ вслухъ длинную молитву, перекрестился, благословилъ трапезу и опустился въ кресла. Всѣ, кромѣ кравчаго и шести стольниковъ, послѣдовали его примѣру.

Множество слугъ, въ бархатныхъ кафтанахъ фіалковаго цвѣта, съ золотымъ шитьемъ, стали передъ государемъ, поклонились ему въ поясъ, и по два въ рядъ отправились за кушаньемъ. Вскорѣ они возвратились, неся сотни двѣ жареныхъ лебедей на золотыхъ блюдахъ.

Этимъ начался обѣдъ.

Серебряному пришлось сидѣть недалеко отъ царскаго стола, вмѣстѣ съ земскими боярами, то-есть съ такими, которые не принадлежали къ опричнинѣ, но, по высокому сану своему, удостоились на этотъ разъ обѣдать съ государемъ. Нѣкоторыхъ изъ нихъ Серебряный зналъ до отъѣзда своего въ Литву. Онъ

могъ видѣть съ своего мѣста и самого царя, и всѣхъ бывшихъ за его столомъ. Грустно сдѣлалось Никитѣ Романовичу, когда онъ сравнилъ Іоанна, оставленнаго имъ пять лѣтъ тому назадъ, съ Іоанномъ, сидящимъ нынѣ въ кругу новыхъ любимцевъ.

Никита Романовичъ обратился съ вопросомъ къ своему сосѣду, одному изъ тѣхъ, съ которыми онъ былъ знакомъ прежде.

— Кто этотъ отрокъ, что̀ сидитъ по правую руку царя, такой блѣдный и пасмурный?

— Это царевичъ Іоаннъ Іоанновичъ,—отвѣчалъ бояринъ и, оглянувшись по сторонамъ, прибавилъ шопотомъ:—помилуй насъ Господи! Не въ дѣда онъ пошелъ, а въ батюшку, и не по младости исполнено его сердце свирѣпства; не будетъ намъ утѣхи отъ его царствованья!

— А этотъ молодой, черноглазый, въ концѣ стола, съ такимъ привѣтливымъ лицомъ? Черты его мнѣ знакомы, но не припомню гдѣ я его видѣлъ!

— Ты видѣлъ его, князь, пять лѣтъ тому, рындою при дворѣ государя; только далеко ушелъ онъ съ тѣхъ поръ и далеко уйдетъ еще; это Борисъ Ѳедоровичъ Годуновъ, любимый совѣтникъ царскій. Видишь,—продолжалъ бояринъ, понижая голосъ:—видишь возлѣ него этого широкоплечаго рыжаго, что̀ ни на кого не смотритъ, а убираетъ себѣ лебедя, нахмуря брови? Знаешь ли, кто это? Это Григорій Лукьяновичъ Скуратовъ-Бѣльскій, по прозванію Малюта. Онъ и другъ, и поплечникъ, и палачъ государевъ. Здѣсь же, въ монастырѣ, онъ сдѣланъ, прости Господи, параклисіархомъ. Кажется, государь безъ него ни шагу; а скажи только слово Борисъ Ѳедоровичъ, такъ выйдетъ не по Малютину, а по Борисову!—А вотъ тамъ, этотъ молоденькій, словно красная дѣвица, что̀ царю наряжаетъ вина, это Ѳедоръ Алексѣевичъ Басмановъ.

— Этотъ? — спросилъ Серебряный, узнавая женоподобнаго юношу, котораго наружность поразила его на царскомъ дворѣ, а неожиданная шутка чуть не стоила ему жизни.

— Онъ самый. Ужъ какъ царь-то любитъ его, кажется,

жить безъ него не можетъ; а случись дѣло какое, у кого совѣта спросятъ? Не у него, а у Бориса!

— Да,—сказалъ Серебряный, вглядываясь въ Годунова:—теперь припоминаю его. Не ѣздилъ ли онъ у царскаго саадака?

— Такъ, князь. Онъ точно былъ у саадака. Кажется, должность не знатная, какъ тутъ показать себя? Только случилось разъ затѣяли на охотѣ изъ лука стрѣлять. А былъ тутъ ханскій посолъ Девлетъ-Мурза. Тотъ, что ни пуститъ стрѣлу, такъ и всадитъ ее въ татарскую шляпу, что̀ поставили на шестѣ, ступней во̀-сто отъ царской вставки. Дѣло-то было ужъ послѣ обѣда, и много ковшей уже прошло кругомъ стола. Вотъ всталъ Иванъ Васильевичъ, да и говоритъ:—Подайте мнѣ мой лукъ, и я не хуже татарина попаду!—А татаринъ-то обрадовался:—Попади, бачка-царь! говоритъ: моя пошла тысяча лошадей табунъ, а твоя что̀ пошла? то-есть, по-нашему, во что̀ ставишь закладъ свой?—Идетъ городъ Рязань!—сказалъ царь и повторилъ:—Подайте мой лукъ!—Бросился Борисъ къ коновязи, гдѣ стоялъ конь съ саадакомъ, вскочилъ въ сѣдло; только видимъ мы, бьется подъ нимъ конь, вздымается на дыбы, да вдругъ какъ пустится, закусивъ удила, такъ и пропалъ съ Борисомъ. Черезъ четверть часа вернулся Борисъ, и колчанъ и налучье изорваны, лукъ пополамъ, стрѣлы всѣ разсыпались; самъ Борисъ съ разбитой головой. Соскочилъ съ коня да и въ ноги царю:—виноватъ, государь, не смогъ коня удержать; не соблюлъ твоего саадака!—А у царя, вишь, межъ тѣмъ, хмѣль-то ужъ выходить началъ.—Ну, говоритъ, не быть же болѣ тебѣ, неучу, при моемъ саадакѣ, а изъ чужого лука стрѣлять не стану!—Съ этого дня пошелъ Борисъ въ гору, да посмотри, князь, куда уйдетъ еще! И что̀ это за человѣкъ,—продолжалъ бояринъ, глядя на Годунова:—никогда не суется впередъ, а всегда тутъ; никогда не прямитъ, не перечитъ царю, идетъ себѣ окольнымъ путемъ, ни въ какое кровавое дѣло не замѣшанъ, ни къ чьей казни не причастенъ. Кругомъ его кровь такъ и хлещетъ, а онъ себѣ и чистъ, и бѣлъ, какъ младенецъ, даже и въ опричнину не вписанъ. Вонъ тотъ,—продолжалъ онъ, указывая на

человѣка съ недоброю улыбкой:—то Алексѣй Басмановъ, отецъ Ѳедора, а тамъ, подалѣ, Василій Грязной, а вонъ тамъ отецъ Левкій, Чудовскій архимандритъ; прости ему Господи, не пастырь онъ церковный, угодникъ страстей мірскихъ.

Серебряный слушалъ съ любопытствомъ и горестью.

— Скажи, бояринъ,—спросилъ онъ: — кто этотъ высокій кудрявый, лѣтъ тридцати, съ черными глазами? Вотъ ужъ онъ четвертый кубокъ осушилъ, одинъ за другимъ, да еще какіе кубки! Здоровъ онъ пить, нечего сказать, только вино ему будто не на радость. Смотри, какъ онъ нахмурился, а глаза-то горятъ словно молонья. Да что онъ съ ума сошелъ? Смотри, какъ скатерть ножомъ поретъ!

— Этого-то, князь, ты, кажись бы, долженъ знать, этотъ былъ изъ нашихъ. Правда, перемѣнился онъ съ тѣхъ поръ, какъ, всему боярству на срамъ, въ опричники пошелъ! Это князь Аѳанасій Ивановичъ Вяземскій. Онъ будетъ всѣхъ ихъ удалѣе, только не вынести ему головы! Какъ прикачнулась къ его сердцу зазнобушка, сдѣлался онъ самъ не свой. И не видитъ ничего, и не слышитъ, и одинъ съ собою разговариваетъ, словно помѣшанный, и при царѣ держитъ такія рѣчи, что индо страшно. Но до сихъ поръ ему все съ рукъ сходило; жалѣетъ его государь. А говорятъ, онъ по любви и въ опричники-то вписался.

И бояринъ нагнулся къ Серебряному, желая, вѣроятно, разсказать ему подробнѣе про Вяземскаго, но въ это время подошелъ къ нимъ стольникъ и сказалъ, ставя передъ Серебрянымъ блюдо жаркого:

— Никита-ста! Великій государь жалуетъ тебя блюдомъ съ своего стола.

Князь всталъ и, слѣдуя обычаю, низко поклонился царю.

Тогда всѣ, бывшіе за однимъ столомъ съ княземъ, также встали и поклонились Серебряному, въ знакъ поздравленія съ царскою милостью. Серебряный долженъ былъ каждаго отблагодарить особымъ поклономъ.

Между тѣмъ стольникъ возвратился къ царю и сказалъ ему, кланяясь въ поясъ:

— Великій государь! Никита-ста принялъ блюдо, челомъ бьетъ!

Когда съѣли лебедей, слуги вышли, попарно, изъ палаты и возвратились съ тремя сотнями жареныхъ павлиновъ, которыхъ распущенные хвосты качались надъ каждымъ блюдомъ, въ видѣ опахала. За павлинами слѣдовали кулебяки, курники, пироги съ мясомъ и съ сыромъ, блины всѣхъ возможныхъ родовъ, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки съ медами: вишневымъ, можжевеловымъ и черемховымъ. Другіе подавали разныя иностранныя вина: романею, рейнское и мушкатель. Особые стольники ходили взадъ и впередъ между рядами, чтобы смотрѣть и всказывать въ столы.

Напротивъ Серебрянаго сидѣлъ одинъ старый бояринъ, на котораго царь, какъ поговаривали, держалъ гнѣвъ. Бояринъ предвидѣлъ себѣ бѣду, но не зналъ какую, и ожидалъ спокойно своей участи. Къ удивленію всѣхъ, кравчій Ѳедоръ Басмановъ изъ своихъ рукъ поднесъ ему чашу вина.

— Василій-су!—сказалъ Басмановъ:—великій государь жалуетъ тебя чашею!

Старикъ всталъ, поклонился Іоанну и выпилъ вино, а Басмановъ, возвратясь къ царю, донесъ ему:

— Василій-су выпилъ чашу, челомъ бьетъ!

Всѣ встали и поклонились старику; ожидали себѣ и его поклона, но бояринъ стоялъ неподвижно. Дыханіе его сперлось, онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинѣло, и онъ грянулся о-земь.

— Бояринъ пьянъ,—сказалъ Иванъ Васильевичъ:—вынести его вонъ!—Шопотъ пробѣжалъ по собранію, а земскіе бояре переглянулись и потупили очи въ свои тарелки, не смѣя вымолвить ни слова.

Серебряный содрогнулся. Еще недавно не вѣрилъ онъ разсказамъ о жестокости Іоанна, теперь же самъ сдѣлался свидѣтелемъ его ужасной мести.

«Ужъ не ожидаетъ ли и меня такая же участь?»—подумалъ онъ. Между тѣмъ старика вынесли, и обѣдъ продолжался, какъ

будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола гудѣли, царедворцы громко разговаривали и смѣялись. Слуги, бывшіе въ бархатной одеждѣ, явились теперь всѣ въ парчевыхъ доломанахъ. Эта перемѣна платья составляла одну изъ роскошей царскихъ обѣдовъ. На столы поставили сперва разные студени, потомъ журавлей съ прянымъ зельемъ, разсольныхъ пѣтуховъ съ инбиремъ, безкостныхъ куръ и утокъ съ огурцами. Потомъ принесли разныя похлебки и трехъ родовъ уху: курячью бѣлую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиковъ со сливами, гусей со пшеномъ и тетерекъ съ шафраномъ.

Тутъ наступилъ прогулъ, въ продолженіе котораго разносили гостямъ меды: смородинный, княжій и боярскій, а изъ винъ: аликантъ, бастръ и малвазію.

Разговоры становились громче, хохотъ раздавался чаще, головы кружились. Серебряный, всматриваясь въ лица опричниковъ, увидѣлъ за отдаленнымъ столомъ молодого человѣка, который нѣсколько часовъ передъ тѣмъ спасъ его отъ медвѣдя. Князь спросилъ о немъ у сосѣдей, но никто изъ земскихъ не зналъ его. Молодой опричникъ, облокотясь на столъ и опустивъ голову на руки, сидѣлъ въ задумчивости и не участвовалъ въ общемъ весельѣ. Князь хотѣлъ-было обратиться съ вопросомъ къ проходившему слугѣ, но вдругъ услышалъ за собой:

— Никита-ста! Великій государь жалуетъ тебя чашею!

Серебряный вздрогнулъ. За нимъ стоялъ, съ наглою усмѣшкой, Ѳедоръ Басмановъ и подавалъ ему чашу.

Не колеблясь ни минуты, князь поклонился царю и осушилъ чашу до капли. Всѣ на него смотрѣли съ любопытствомъ, онъ самъ ожидалъ неминуемой смерти и удивился, что не чувствуетъ дѣйствія отравы. Вмѣсто дрожи и холода, благотворная теплота пробѣжала по его жиламъ и разогнала на лицѣ его невольную блѣдность. Напитокъ, присланный царемъ, былъ старый и чистый бастръ. Серебряному стало ясно, что царь или отпустилъ вину его, или не знаетъ еще объ обидѣ опричнины.

Уже болѣе четырехъ часовъ продолжалось веселье, а столъ былъ только въ полу-столѣ. Отличился въ этотъ день царскіе повара. Никогда такъ не удавались имъ лимонныя кальи, верченыя почки и караси съ бараниной. Особенное удивленіе возбуждали исполинскія рыбы, пойманныя въ Студеномъ морѣ и присланныя въ Слободу изъ Соловецкаго монастыря. Ихъ привезли живыхъ, въ огромныхъ бочкахъ; путешествіе продолжалось нѣсколько недѣль. Рыбы эти едва умѣщались на серебряныхъ и золотыхъ тазахъ, которые вносили въ столовую нѣсколько человѣкъ разомъ. Затѣйливое искусство поваровъ выказалось тутъ въ полномъ блескѣ. Осетры и шеврюги были такъ надрѣзаны, такъ посажены на блюда, что походили на пѣтуховъ съ простертыми крыльями, на крылатыхъ зміевъ съ разверзтыми пастями. Хороши и вкусны были также зайцы въ лапшѣ, и гости, какъ уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепеловъ съ чесночною подливкой, ни жаворонковъ съ лукомъ и шафраномъ. Но вотъ, по знаку стольниковъ, убрали со столовъ соль, перецъ и уксусъ и сняли всѣ мясныя и рыбныя яства. Слуги вышли по два въ рядъ, и возвратились въ новомъ убранствѣ. Они замѣнили парчевые доломаны лѣтними кунтушами изъ бѣлаго аксамита съ серебрянымъ шитьемъ и собольею опушкой. Эта одежда была еще красивѣе и богаче двухъ первыхъ. Убранные такимъ образомъ, они внесли въ палату сахарный кремль, въ пять пудовъ вѣсу, и поставили его на царскій столъ. Кремль этотъ былъ вылитъ очень искусно. Зубчатыя стѣны и башни, и даже пѣшіе и конные люди были тщательно отдѣланы. Подобные кремли, но только поменьше, пуда въ три, не болѣе, украсили другіе столы. Вслѣдъ за кремлями внесли около сотни золоченыхъ и крашеныхъ деревьевъ, на которыхъ, вмѣсто плодовъ, висѣли пряники, коврижки и сладкіе пирожки. Въ то же время явились на столахъ львы, орлы и всякія птицы, литые изъ сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоковъ, ягодъ и волошскихъ орѣховъ. Но плодовъ никто уже не трогалъ, всѣ были сыты. Иные допивали кубки романеи, болѣе изъ приличія, чѣмъ отъ

жажды, другіе дремали, облокотясь на столъ; многіе лежали подъ лавками, всѣ безъ исключенія распоясались и разстегнули кафтаны. Нравъ каждаго обрисовался яснѣе.

Царь почти вовсе не ѣлъ. Въ продолженіе стола онъ много разсуждалъ, шутилъ и милостиво говорилъ съ своими окольными. Лицо его не измѣнилось въ концѣ обѣда. То же можно было сказать и о Годуновѣ. Борисъ Ѳедоровичъ, казалось, не отказывался ни отъ лакомаго блюда, ни отъ братины крѣпкаго вина; онъ былъ веселъ, занималъ царя и любимцевъ его умнымъ разговоромъ, но ни разу не забывался. Черты Бориса являли теперь, какъ и въ началѣ обѣда, смѣсь проницательности, обдуманнаго смиренія и увѣренности въ самомъ себѣ. Окинувъ быстрымъ взоромъ толпу пьяныхъ и сонныхъ царедворцевъ, молодой Годуновъ непримѣтно улыбнулся, и презрѣніе мелькнуло на лицѣ его.

Царевичъ Іоаннъ пилъ много, ѣлъ мало, молчалъ, слушалъ, и вдругъ перебивалъ говорящаго нескромною или обидною шуткой. Болѣе всѣхъ доставалось отъ него Малютѣ Скуратову, хотя Григорій Лукьяновичъ не похожъ былъ на человѣка, способнаго сносить насмѣшки. Наружность его вселяла ужасъ въ самыхъ неробкихъ. Лобъ его былъ низокъ и сжатъ, волосы начинались почти надъ бровями; скулы и челюсти, напротивъ, были несоразмѣрно развиты, черепъ, спереди узкій, переходилъ безъ всякой постепенности въ какой-то широкій котелъ къ затылку, а за ушами были такія выпуклости, что уши казались впалыми. Глаза неопредѣленнаго цвѣта не смотрѣли ни на кого прямо, но страшно дѣлалось тому, кто нечаянно встрѣчалъ ихъ тусклый взглядъ. Казалось, никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая изъ круга животныхъ побужденій, не могла проникнуть въ этотъ узкій мозгъ, покрытый толстымъ черепомъ и густою щетиной. Въ выраженіи этого лица было что-то неумолимое и безнадежное. Глядя на Малюту, чувствовалось, что всякое стараніе отыскать въ немъ человѣческую сторону было бы напрасно. И подлинно, онъ нравственно уединилъ себя отъ всѣхъ людей, жилъ среди нихъ особнякомъ,

отказался отъ всякой дружбы, отъ всякихъ пріязненныхъ отношеній, пересталъ быть человѣкомъ и сдѣлалъ изъ себя царскую собаку, готовую растерзать безъ разбора всякаго, на кого Іоанну ни вздумалось бы натравить ее.

Единственною свѣтлою стороной Малюты казалась горячая любовь его къ сыну, молодому Максиму Скуратову, но то была любовь дикаго звѣря, любовь безсознательная, хотя и доходившая до самоотверженія. Ее усугубляло любочестіе Малюты. Происходя самъ отъ низкаго сословія, будучи человѣкомъ *худороднымъ*, онъ мучился завистью при видѣ блеска и знатности и хотѣлъ по крайней мѣрѣ возвысить свое потомство, начиная съ сына своего. Мысль, что Максимъ, котораго онъ любилъ тѣмъ сильнѣе, что не зналъ другой родственной привязанности, будетъ всегда стоять въ глазахъ народа ниже тѣхъ гордыхъ бояръ, которыхъ онъ, Малюта, казнилъ десятками, приводила его въ бѣшенство. Онъ старался золотомъ достичь почестей, недоступныхъ ему по рожденію, и съ сугубымъ удовольствіемъ предавался убійствамъ: онъ мстилъ ненавистнымъ боярамъ, обогащался ихъ добычею, и возвышаясь въ милости царской, думалъ возвысить и возлюбленнаго сына. Но, независимо отъ этихъ разсчетовъ, кровь была для него потребностью и наслажденіемъ. Много душегубствъ совершилъ онъ своими руками, и лѣтописи разсказываютъ, что иногда, послѣ казней, онъ собственноручно разсѣкалъ мертвыя тѣла топоромъ и бросалъ ихъ псамъ на съѣденіе. Чтобы довершить очеркъ этого лица, надобно прибавить, что, несмотря на свою умственную ограниченность, онъ, подобно хищному звѣрю, былъ въ высшей степени хитеръ, въ бояхъ отличался отчаяннымъ мужествомъ, въ сношеніяхъ съ другими былъ мнителенъ, какъ всякій рабъ, попавшій въ незаслуженную честь, и что никто не умѣлъ такъ помнить обиды, какъ Малюта Григорій Лукьяновичъ Скуратовъ-Бѣльскій.

Таковъ былъ человѣкъ, надъ которымъ столь неосторожно издѣвался царевичъ.

Особенный случай подалъ Іоанну Іоанновичу поводъ къ на-

смѣшкамъ. Малюта, мучимый завистью и любочестіемъ, издавна домогался боярства; но царь, уважавшій иногда обычаи, не хотѣлъ унизить верховный русскій санъ въ лицѣ своего худороднаго любимца и оставлялъ происки его безъ вниманія. Скуратовъ рѣшился напомнить о себѣ Іоанну. Въ этотъ самый день, при выходѣ царя изъ опочивальни, онъ билъ ему челомъ, исчислилъ всѣ свои заслуги и въ награжденіе просилъ боярской шапки. Іоаннъ выслушалъ его терпѣливо, засмѣялся и назвалъ собакой. Теперь, за столомъ, царевичъ напомнилъ Малютѣ о неудачной его челобитнѣ. Не напомнилъ бы о ней царевичъ, если бы зналъ короче Григорья Лукьяновича!

Малюта молчалъ и становился блѣднѣе. Царь съ неудовольствіемъ замѣчалъ непріязненныя отношенія между Малютой и сыномъ. Чтобы перемѣнить разговоръ, онъ обратился къ Вяземскому.

— Аѳанасій,—сказалъ онъ, полу-ласково, полу-насмѣшливо:—долго ли тебѣ кручиниться? Не узнаю моего добраго опричника! Аль въ конецъ заѣла тебя любовь—змѣя лютая!

— Вяземскій не опричникъ,—замѣтилъ царевичъ.—Онъ вздыхаетъ какъ красная дѣвица. Ты-бъ, государь-батюшка, велѣлъ надѣть на него сарафанъ да обрить ему бороду, какъ Ѳедькѣ Басманову, или приказалъ бы ему пѣть съ гуслярами. Гусли-то ему, я чай, будутъ сподручнѣе сабли!

— Царевичъ!—вскричалъ Вяземскій:—если бы тебѣ было годковъ пять поболѣ, да не былъ бы ты сынокъ государевъ, я бы за безчестіе позвалъ тебя къ Москвѣ на Троицкую площадь, мы помѣрялись бы съ тобой, и самъ Богъ разсудилъ бы, кому владѣть саблей, кому на гусляхъ играть!

— Аѳонька!—сказалъ строго царь.—Не забывай, передъ кѣмъ рѣчь ведешь!

— Что-жъ, батюшка, господинъ Иванъ Васильевичъ,—отвѣчалъ дерзко Вяземскій,—коли повиненъ я передъ тобой, вели мнѣ голову рубить, а царевичу не дамъ порочить себя.

— Нѣтъ,—сказалъ, смягчаясь, Иванъ Васильевичъ, который за молодечество прощалъ Вяземскому его выходки:—рано Аѳонѣ

голову рубить! Пусть еще послужитъ на царской службѣ. Я тебѣ, Аѳоня, лучше сказку скажу, что̀ разсказывалъ мнѣ прошлой ночью слѣпой Филька:

«Въ славномъ Ростовѣ, въ красномъ городѣ, проживалъ добрый молодецъ, Алеша Поповичъ. Полюбилась ему пуще жизни молодая княгиня, имени не припомню. Только была она, княгиня, замужемъ за старымъ Тугариномъ Зміевичемъ, и какъ ни бился Алеша Поповичъ, все только отказы отъ нея получалъ.—Не люблю-де тебя, добрый молодецъ; люблю одново мужа мово, милаго, стараго Зміевича.—Добро, сказалъ Алеша, полюбишь же ты и меня, бѣлая лебедушка!—Взялъ двѣнадцать слугъ своихъ добрыихъ, вломился въ теремъ Зміевича и увезъ его молоду жену. Исполать тебѣ, добрый молодецъ,—сказала жена:—что умѣлъ меня любить, умѣлъ и мечемъ добыть; и за то я тебя люблю пуще жизни, пуще свѣту, пуще стараго поганаго мужа мово Зміевича!»

— А что, Аѳоня,—прибавилъ царь, пристально смотря на Вяземскаго:—какъ покажется тебѣ сказка слѣпого Фильки?

Жадно слушалъ Вяземскій слова Ивана Васильевича. Запали они въ душу его, словно искры въ снопы овинные, загорѣлась страсть въ груди его, запылали очи пожаромъ.

— Аѳанасій,—продолжалъ царь:—я этими днями ѣду молиться въ Суздаль, а ты ступай на Москву къ боярину Дружинѣ Морозову, спроси его о здоровьи, скажи, что я-де прислалъ тебя снять съ него мою опалу... Да возьми,—прибавилъ онъ значительно:—возьми съ собой, для почету, поболѣ опричниковъ.

Серебряный видѣлъ, съ своего мѣста, какъ Вяземскій измѣнился въ лицѣ, и какъ дикая радость мелькнула на чертахъ его, но не слыхалъ онъ, о чемъ шла рѣчь между княземъ и Иваномъ Васильевичемъ.

Кабы догадался Никита Романовичъ, чему радуется Вяземскій, забылъ бы онъ близость государеву, сорвалъ бы со стѣны саблю острую и разсѣкъ бы Вяземскому буйную голову. Погубилъ бы Никита Романовичъ и свою [illegible] но спасли

его на этотъ разъ гусли звонкія, колокола дворцовые и говоръ опричниковъ. Не узналъ онъ чему радуется Вяземскій.

Наконецъ, Іоаннъ всталъ. Всѣ царедворцы зашумѣли, какъ пчелы, потревоженныя въ ульѣ. Кто только могъ, поднялся на ноги, и всѣ поочередно стали подходить къ царю, получать отъ него сушеныя сливы, которыми онъ надѣлялъ братію изъ собственныхъ рукъ.

Въ это время сквозь толпу пробрался опричникъ, не бывшій въ числѣ пировавшихъ, и сталъ шептать что-то на ухо Малютѣ Скуратову. Малюта вспыхнулъ, и ярость изобразилась на лицѣ его. Она не скрылась отъ зоркаго глаза царя. Іоаннъ потребовалъ объясненія.

— Государь!—вскричалъ Малюта:—дѣло неслыханное! Измѣна, бунтъ на твою царскую милость!

При словѣ: измѣна, царь поблѣднѣлъ, и глаза его засверкали.

— Государь,— продолжалъ Малюта:—намедни послалъ я кругъ Москвы объѣздъ, для того, государь, такъ ли московскіе люди соблюдаютъ твой царскій указъ? Какъ вдругъ невѣдомый боринъ съ холопами напалъ на объѣзжихъ людей. Многихъ убили до смерти, и больно изувѣчили моего стремяннаго. Онъ самъ здѣсь, стоитъ за дверьми, жестоко избитый! Прикажешь призвать?

Іоаннъ окинулъ взоромъ опричниковъ и на всѣхъ лицахъ прочелъ гнѣвъ и негодованье. Тогда черты его приняли выраженіе какого-то страннаго удовольствія, и онъ сказалъ спокойнымъ голосомъ:

— Позвать!

Вскорѣ разступилась толпа, и въ палату вошелъ Матвѣй Хомякъ, съ повязанной головой.

ГЛАВА IX.

Судъ.

Не смылъ Хомякъ крови съ лица, замаралъ ею нарочно и повязку, и одежду: пусть-де увидитъ царь, какъ избили слугу его!

Подойдя къ Іоанну, онъ упалъ ницъ и ожидалъ на колѣняхъ позволенія говорить.

Всѣ любопытно смотрѣли на Хомяка. Царь первый прервалъ молчаніе.

— На кого ты просишь, — спросилъ онъ:—какъ было дѣло? Разсказывай по ряду!

— На кого прошу и самъ не вѣдаю, надёжа православный царь! Не сказалъ онъ мнѣ, собака, своего роду-племени. А бью челомъ твоей царской милости, во бою моемъ и увѣчьи, что билъ меня своимъ великимъ огурствомъ незнаемый человѣкъ!

Общее вниманіе удвоилось. Всѣ притаили дыханіе. Хомякъ продолжалъ:

— Пріѣхали мы, государь, объѣздомъ въ деревню Медвѣдевку, какъ вдругъ они, окаянные, откуда ни возьмись, напустились на насъ напускомъ, грянули какъ снѣгъ на голову, перекололи, перерубили человѣкъ съ десятеро, достальныхъ перевязали; а бояринъ-то ихъ, разбойникъ, хотѣлъ-было насъ всѣхъ перевѣшать, а двухъ станичниковъ, что мы было объѣздомъ захватили, велѣлъ свободить и пустить на волю.

Замолчалъ Хомякъ и поправилъ на головѣ своей кровавую повязку. Недовѣрчивый ропотъ пробѣжалъ между опричниками. Разсказъ казался невѣроятнымъ. Царь усомнился.

— Полно, правду ли ты говоришь, дѣтинушка,—сказалъ онъ, пронзая Хомяка насквозь орлинымъ окомъ:—не закачено-ль у тебя въ головѣ? Не у браги-ль ты добылъ увѣчья?

— Готовъ на своей правдѣ крестъ цѣловать, государь; кладу голову порукой въ рѣчахъ моихъ!

— А скажи, зачѣмъ не повѣсилъ тебя невѣдомый бояринъ?

— Должно быть, раздумалъ; никого не повѣсилъ; велѣлъ лишь всѣхъ насъ плетьми избить!

Ропотъ опять пробѣжалъ по собранію.

— А много-ль васъ было въ объѣздѣ?

— Пятьдесятъ человѣкъ, я пятьдесятъ первый.

— А много-ль ихнихъ было?

— Нечего грѣха таить, ихнихъ было поменѣе, примѣрно, человѣкъ двадцать или тридцать.

— И вы дали себя перевязать и пересѣчь, какъ бабы! Что̀ за оторопь на васъ напала? Руки у васъ отсохли, аль душа ушла въ пяты? Право, смѣху достойно! И что̀ это за боярин̀ъ, средь бѣла дня напалъ на опричниковъ? Быть того не можетъ. Пожалуй, и хотѣли-бъ они извести опричнину, да жжется! И меня, пожалуй, съѣли-бъ, да зубъ нейметъ! Слушай, коли хочешь, чтобъ я взялъ тебѣ вѣру, назови того боярина, не то повинися во лжи своей. А не назовешь и не повинишься, не сдобровать тебѣ, дѣтинушка!

— Надёжа-государь!—отвѣчалъ стремянный съ твердостью:— видитъ Богъ, я говорю правду. А казнить меня твоя воля; не боюся я смерти, боюся кривды, и въ томъ шлюсь на цѣлую рать твою!

Тутъ онъ окинулъ глазами опричниковъ, какъ бы призывая ихъ въ свидѣтели. Внезапно взоръ его встрѣтился со взоромъ Серебрянаго.

Трудно описать, что̀ произошло въ душѣ Хомяка. Удивленіе, сомнѣніе и наконецъ злобная радость изобразилась на чертахъ его.

— Государь,—сказалъ онъ, вставая: — коли хочешь вѣдать, кто напалъ на насъ, порубилъ товарищей и велѣлъ избить насъ плетьми, прикажи вонъ этому боярину назваться по имени, по изотчеству!

Всѣ глаза обратились на Серебрянаго. Царь сдвинулъ безволосыя брови и пристально въ него вглядывался, но не говорилъ ни слова. Никита Романовичъ стоялъ неподвижно, спокойный, но блѣдный.

— Никита!—сказалъ наконецъ царь, медленно выговаривая каждое слово:—подойди сюда. Становись къ отвѣту. Знаешь ты этого человѣка?

— Знаю, государь.

— Нападалъ ты на него съ товарищи?

— Государь, человѣкъ этотъ съ товарищи самъ напалъ на деревню...

Хомякъ прервалъ князя. Чтобы погубить врага, онъ рѣшился не щадить самого себя.

— Государь,—сказалъ онъ:—не слушай боярина. То онъ на меня соромъ лаетъ, затѣмъ, что я малый человѣкъ, и въ томъ промежъ насъ правды не будетъ; а прикажи снять допросъ съ товарищей, или, пожалуй, прикажи пытать насъ обоихъ накрѣпко, и въ томъ будетъ промежъ насъ правда.

Серебряный презрительно взглянулъ на Хомяка.

— Государь,—сказалъ онъ:—я не запираюсь въ своемъ дѣлѣ. Я напалъ на этого человѣка, велѣлъ его съ товарищи бить плетьми, затѣмъ велѣлъ бить...

— Довольно!—сказалъ строго Иванъ Васильевичъ.—Отвѣчай на допросъ мой. Вѣдалъ ли ты, когда напалъ на нихъ, что они мои опричники?

— Не вѣдалъ, государь.

— А когда хотѣлъ повѣсить ихъ, сказались они тебѣ?

— Сказались, государь.

— Зачѣмъ же ты раздумалъ ихъ вѣшать?

— Затѣмъ, государь, чтобы твои судьи сперва допросили ихъ.

— Отчего-жъ ты съ самаго почину не отослалъ ихъ къ моимъ судьямъ?

Серебряный не нашелся отвѣчать.

Царь вперилъ въ него испытующій взоръ и старался проникнуть въ самую глубь души его.

— Не затѣмъ,—сказалъ онъ:—не затѣмъ раздумалъ ты вѣшать ихъ, чтобы передать ихъ судьямъ, а затѣмъ, что сказались они тебѣ людьми царскими. И ты,—продолжалъ царь

съ возрастающимъ гнѣвомъ:—ты, вѣдая, что они мои люди, велѣлъ бить ихъ плетьми?

— Государь...

— Довольно!—загремѣлъ Іоаннъ.—Допросъ оконченъ.—Братія,—продолжалъ онъ, обращаясь къ своимъ любимцамъ:—говорите, что̀ заслужилъ себѣ бояринъ князь Никита? Говорите, какъ мыслите; хочу знать, что̀ думаетъ каждый!

Голосъ Іоанна былъ увѣренъ, но взоръ его говорилъ, что онъ въ сердцѣ своемъ уже рѣшилъ участь князя и что бѣда ожидаетъ того, чей приговоръ окажется мягче его собственнаго.

— Говорите-жъ, люди,—повторилъ онъ возвышая голосъ:—что̀ заслужилъ себѣ Никита?

— Смерть!—отвѣчалъ царевичъ.

— Смерть!—повторили Скуратовъ, Грязной, отецъ Левкій и оба Басмановы.

— Такъ пусть же пріиметъ онъ смерть!—сказалъ Іоаннъ хладнокровно.—Писано бо: пріемшіе ножъ, ножемъ погибнутъ. Человѣки, возьмите его!

Серебряный, молча, поклонился Іоанну. Нѣсколько человѣкъ тотчасъ окружили его и вывели изъ палаты.

Многіе послѣдовали за ними посмотрѣть на казнь; другіе остались. Глухой говоръ раздавался въ палатѣ. Царь обратился къ опричникамъ. Видъ его былъ торжественъ.

— Братія!—сказалъ онъ:—правъ ли судъ мой?

— Правъ, правъ!—раздалось между ближними опричниками.

— Правъ, правъ!—повторили отдаленные.

— Не правъ!—сказалъ одинъ голосъ.

Опричники взволновались.

— Кто это сказалъ? Кто вымолвилъ это слово? Кто говоритъ, что не правъ судъ государевъ?—послышалось отовсюду.

На всѣхъ лицахъ изобразилось удивленіе, всѣ глаза засверкали негодованіемъ. Лишь одинъ, самый свирѣпый, не показывалъ гнѣва. Малюта былъ блѣденъ какъ смерть.

— Кто говоритъ, что не правъ мой судъ?—спросилъ Іоаннъ,

стараясь придать чертамъ своимъ самое спокойное выраженіе.—Пусть кто говорилъ, выступитъ предъ лицо мое!

— Государь,—произнесъ Малюта въ сильномъ волненіи:—между добрыми слугами твоими теперь много пьяныхъ, много такихъ, которые говорятъ не помня, не спрошаючи разума! Не вели искать этого бражника, государь! Протрезвится, самъ не повѣритъ, какую рѣчь пьянымъ дѣломъ держалъ!

Царь недовѣрчиво взглянулъ на Малюту.

— Отецъ параклисіархъ!—сказалъ онъ, усмѣхаясь:—давно-ль ты умилился сердцемъ?

— Государь!—продолжалъ Малюта:—не вели..

Но уже было поздно.

Сынъ Малюты выступилъ впередъ, и стоялъ почтительно передъ Іоанномъ. Максимъ Скуратовъ былъ тотъ самый опричникъ, который спасъ Серебрянаго отъ медвѣдя.

— Такъ это ты, Максимушка, охаиваешь судъ мой,—сказалъ Іоаннъ, посматривая съ недоброю улыбкой то на отца, то на сына.—Ну, говори, Максимушка, почему судъ мой тебѣ не по-сердцу?

— Потому, государь, что не выслушалъ ты Серебрянаго, не далъ ему очиститься передъ тобою и не спросилъ его даже, за что онъ хотѣлъ повѣсить Хомяка?

— Не слушай его, государь,—умолялъ Малюта:—онъ пьянъ, ты видишь, онъ пьянъ! Не слушай его! Пошелъ, бражникъ, вишь какъ нарѣзался! Пошелъ, уноси свою голову!

— Максимъ не пилъ ни вина, ни меду,—замѣтилъ злобно царевичъ.—Я все время на него смотрѣлъ, онъ и усовъ не омочилъ!

Малюта взглянулъ на царевича такимъ взглядомъ, отъ котораго всякій задрожалъ бы. Но царевичъ считалъ себя недоступнымъ Малютиной мести. Второй сынъ Грознаго, наслѣдникъ престола, вмѣщалъ въ себѣ почти всѣ пороки отца, а злые примѣры все болѣе и болѣе заглушали то, что было въ немъ добраго. Іоаннъ Іоанновичъ уже не зналъ жалости.

— Да,—прибавилъ онъ, усмѣхаясь:—Максимъ не ѣлъ и не

пилъ за обѣдомъ. Ему не по́-сердцу наше житье. Онъ гнушается батюшкиной опричниной!

Въ продолженіе этого разговора Борисъ Годуновъ не спускалъ глазъ съ Іоанна. Онъ, казалось, изучалъ выраженіе лица его, и тихо никѣмъ незамѣченный, вышелъ изъ столовой.

Малюта повалился государю въ ноги.

— Батюшка, государь Иванъ Васильевичъ!—проговорилъ онъ, хватаясь за полы царской одежды:—сего утра я, дуракъ глупый, деревенщина необтесанный, просилъ тебя пожаловать мнѣ боярство. Гдѣ былъ разумъ мой? Куда дѣвался смыслъ человѣческій? Мнѣ ли, смрадному рабу, носить шапку боярскую? Забудь, государь, дурацкія слова мои, вели снять съ меня кафтанъ золоченый, одѣнь въ рогожу, только отпусти Максиму вину его! Молодъ онъ, государь, глупъ, не смыслитъ что́ говоритъ! А ужъ если казнить кого, такъ вели меня казнить, не давай я, дуракъ, напиваться сыну до́-пьяна! Дозволь, государь, я снесу на плаху глупую голову! Прикажи, тотчасъ самъ на себя руки наложу!

Жалко было видѣть, какъ исказилось лицо Малюты, какъ отчаянье написалось на чертахъ, никогда не отражавшихъ ничего, кромѣ звѣрства.

Царь засмѣялся.

— Не за что казнить ни тебя, ни сына твоего!—сказалъ онъ:—Максимъ правъ!

— Что́ ты, государь?—вскричалъ Малюта:—какъ Максимъ правъ?—и радостное удивленіе его выразилось-было глупою улыбкой, но она тотчасъ исчезла, ибо ему представилось, что царь надъ нимъ издѣвается.

Эти быстрыя перемѣны на лицѣ Малюты были такъ необыкновенны, что царь, глядя, на него, опять принялся смѣяться.

— Максимъ правъ,—повторилъ онъ наконецъ, принимая свой прежній степенный видъ:—я исторопился. Того быть не можетъ, чтобы Серебряный вольною волей что-либо учинилъ на меня. Помню я Никиту еще до литовской войны. Я всегда любилъ его. Онъ былъ мнѣ добрый слуга. Это вы, окаянные,—

продолжалъ царь, обращаясь къ Грязному и къ Басмановымъ:— это вы всегда подбиваете меня кровь проливать! Мало еще было вамъ смертнаго убойства? Нужно было извести моего добраго боярина? Что́ стоите, звѣри! Бѣгите, остановите казнь! Только нѣтъ, и не ходите! Поздно! Я чаю, ужъ слетѣла съ него голова! Вы всѣ заплатите мнѣ за кровь его?

— Не поздно, государь,—сказалъ Годуновъ, возвращаясь въ палату.—Я велѣлъ подождать казнить Серебрянаго. На милость образца нѣтъ, государь; а мнѣ вѣдомо, что ты милостивъ, что иной разъ и присудишь, и простишь виноватаго. Только уже Серебряный положилъ голову на плаху; палачъ, снѣмъ кафтанъ, засуча рукава, ждетъ твоего царскаго велѣнія!

Лицо Іоанна прояснилось.

— Борисъ,—сказалъ онъ:—подойди сюда, добрый слуга мой. Ты одинъ знаешь мое сердце. Ты одинъ вѣдаешь, что я кровь проливаю не ради потѣхи, а чтобъ измѣну вывести. Ты меня не считаешь за сыроядца. Подойди сюда, Ѳедорычъ, я обниму тебя.

Годуновъ наклонился. Царь поцѣловалъ его въ голову.

— Подойди и ты, Максимъ, я тебя къ рукѣ пожалую. Хлѣбъ-соль ѣшь, а правду рѣжь. Такъ и напредки чини. Выдать ему три сорока соболей на шубу.

Максимъ поклонился въ землю и поцѣловалъ царскую руку.

— Какое идетъ тебѣ жалованье?—спросилъ Іоаннъ.

— Противъ рядовыхъ людей обычное, государь.

— Я сравняю тебя съ начальными людьми. Будетъ тебѣ идти кормъ и всякій обиходъ противу начальныхъ людей. Да у тебя, я вижу, что-то на языкѣ мотается, говори безъ зазору, проси чего хочешь!

— Государь! не заслужилъ я твоей великой милости, недостоинъ одёжи богатой, есть постарше меня. Объ одномъ прошу, государь. Пошли меня воевать съ Литвой, пошли въ Ливонскую землю; или, государь, на Рязань пошли, Татаръ колотить!

Что-то въ родѣ подозрѣнія выразилось въ глазахъ Іоанна.

— Что́ тебѣ такъ воевать захотѣлось, молодецъ? Аль постыла жизнь слободская?

— Постыла, государь.

— Что́ такъ? — спросилъ Іоаннъ, глядя пристально на Максима.

Малюта не далъ отвѣчать сыну.

— Государь,—сказалъ онъ:—хотѣлось бы, вишь, ему послужить твоей милости. Хотѣлось бы и гривну на золотой цѣпочкѣ получить изъ царскихъ рукъ твоихъ. Горяча въ немъ кровь, государь. Затѣмъ и просится на Татаръ да Нѣмцевъ.

— Не затѣмъ онъ просится,—подхватилъ царевичъ:—а затѣмъ, чтобы на своемъ поставить: не хочу-де быть опричникомъ, такъ и не буду! Пусть-де выйдетъ по-моему, а не по-цареву!

— Вотъ какъ!—сказалъ Іоаннъ насмѣшливо.—Такъ ты, Максимушка, меня осилить хочешь? Вишь какой богатырь! Ну, гдѣ мнѣ, убогому, на тебя! Что-жъ, не хочешь быть опричникомъ, я, пожалуй, велю тебя въ зорники вписать.

— Эхъ, государь!—поспѣшилъ сказать Малюта: куда твоя милость не велитъ вписать Максима, вездѣ готовъ онъ служить по указу твоему! Да поди домой, Максимъ, поздно; скажи матери, чтобы не ждала меня; у насъ дѣло въ тюрьмѣ: Колычевыхъ пытаемъ. Поди, Максимъ, поди!

Максимъ удалился. Царь велѣлъ позвать Серебрянаго.

Опричники ввели его съ связанными руками, безъ кафтана, воротъ рубахи отстегнутъ. За княземъ вошелъ главный палачъ, Терёшка; засуча рукава, съ блестящимъ топоромъ въ рукахъ. Терёшка вошелъ, потому что не зналъ, прощаетъ ли царь Серебрянаго, или хочетъ только измѣнить родъ его казни.

— Подойди сюда, князь! — сказалъ Іоаннъ. — Мои молодцы исторопились-было надъ тобой. Не прогнѣвайся. У нихъ ужъ таковъ обычай: не смотря въ святцы, да бухъ въ колоколъ! Того не разочтутъ, что казнить человѣка всегда успѣешь, а слетитъ голова, не приставишь. Спасибо Борису. Безъ него отправили-бъ тебя на тотъ свѣтъ; не у кого было-бъ и про Хомяка спросить. Повѣдай-ка, за что́ ты напалъ на него?

— За то, государь, что самъ онъ напалъ на безвинныхъ людей среди деревни. Не зналъ я тогда, что онъ слуга твой,

и не слыхивалъ до того про опричнину. Ѣхалъ я отъ Литвы къ Москвѣ обратнымъ путемъ, когда Хомякъ съ товарищи нагрянули на деревню и стали людей рѣзать!

— А кабы зналъ ты, что они мои слуги, побилъ бы ты ихъ тогда?

Царь пристально посмотрѣлъ на Серебрянаго. Князь на минуту задумался.

— И тогда побилъ бы, государь, — сказалъ онъ простодушно: — не повѣрилъ бы я, что они по твоему указу душегубствуютъ!

Іоаннъ вперилъ въ князя мрачный взоръ и долго не отвѣчалъ. Наконецъ онъ прервалъ молчаніе.

— Добрый твой отвѣтъ, Никита!—сказалъ онъ, одобрительно кивнувъ головой.—Не для того поставилъ я на Руси опричнину, чтобы слуги мои побивали людей безвинныхъ. Поставлены они, аки добрые псы, боронить отъ пыхающихъ волковъ овцы моя, дабы могъ сказать я на страшномъ судѣ Божіемъ по пророческому словеси: се азъ и дѣти, яже далъ ми Богъ! Добрый твой отвѣтъ. Скажу на весь міръ: ты да Борисъ—вы одни познали меня. Другіе не такъ мыслятъ: называютъ меня кровопійцею, а не вѣдаютъ того, что, проливая кровь, я заливаюсь слезами! Кровь видятъ всѣ: она красна, всякому бросается въ глаза; а сердечнаго плача моего никто не зритъ: слезы безцвѣтно падаютъ мнѣ на душу, но, словно смола горячая, проѣдаютъ, прожигаютъ ее насквозь по вся дни! (И царь при этихъ словахъ поднялъ взоръ свой кверху съ видомъ глубокой горести). Яко же древле Рахиль,—продолжалъ онъ (и глаза его закатились подъ самый лобъ),—яко же древле Рахиль, плачуще о дѣтяхъ своихъ, такъ я, многогрѣшный, плачу о моихъ озорникахъ и злодѣяхъ. Добрый твой отвѣтъ, Никита. Отпускаю тебѣ вину твою. Развяжите ему. Убирайся, Терёшка, ты намъ не надобенъ... Или нѣтъ, погоди маленько!

Іоаннъ обратился къ Хомяку.

— Отвѣчай, — сказалъ онъ грозно: — что вы неистовымъ своимъ обычаемъ въ Медвѣдевкѣ чинили?

Хомякъ взглянулъ искоса на Терёшку, потомъ на Серебряного, потомъ почесалъ затылокъ.

— Потравились маленько съ мужиками!—отвѣчалъ онъ, полухитро, полудерзко: — нечего грѣха таить; въ томъ виноваты, государь, что съ твоими опальниками потравились. Вѣдь деревня-то, государь, боярина Морозова!

Грозное выраженіе Іоанна смягчилось. Онъ усмѣхнулся.

— Что-жъ,—сказалъ онъ:—удоволенъ ты княжескими шелепугами? Я, чай, будетъ съ тебя? Пожалуй, такъ ужъ и быть, и тебя прощу. Убирайся, Терёшка, видно ужъ день такой выпалъ!

При милостивомъ обращеніи Іоанна къ Серебряному, шопотъ удовольствія пробѣжалъ между земскими боярами. Чуткое ухо царя услышало этотъ шопотъ, а подозрительный умъ объяснилъ его по своему. Когда Хомякъ и Терёшка вышли изъ палаты, Іоаннъ устремилъ свой проницательный взоръ на земскихъ бояръ.

— Вы!—сказалъ онъ строго:—не думайте, глядя на судъ мой, что я вамъ началъ мирволить!—И въ то же время въ безпокойной душѣ его зародилась мысль, что, пожалуй, и Серебряный припишетъ его милосердіе послабленію. Въ эту минуту онъ пожалѣлъ, что простилъ его, и захотѣлъ поправить свою ошибку.

— Слушай!—произнесъ онъ, глядя на князя:—я помиловалъ тебя сегодня за твое правдивое слово, и прощенія моего назадъ не возьму. Только знай, что если будетъ на тебѣ какая новая вина, я взыщу съ тебя и старую. Ты же тогда, вѣдая за собою свою неправду, не захоти уходить въ Литву или къ хану, какъ иные чинятъ, а дай мнѣ теперь же клятву, что гдѣ бы ты ни былъ, ты вездѣ будешь ожидать наказанія, какое захочу положить на тебя.

— Государь,—сказалъ Серебряный: — жизнь моя въ рукѣ твоей. Хорониться отъ тебя не въ моемъ обычаѣ. Обѣщаю тебѣ, если будетъ на мнѣ какая вина, ожидать твоего суда и отъ воли твоей не уходить!

— Цѣлуй же мнѣ на томъ крестъ!—сказалъ важно Іоаннъ, и, приподнимая висѣвшій у него на груди узорный крестъ, онъ подалъ его Серебряному, съ косвеннымъ взглядомъ на земскихъ бояръ.

Среди общаго молчанія слышно было бряцаніе золотой цѣпи, когда Іоаннъ выпустилъ изъ рукъ изображеніе Спасителя, къ которому, перекрестившись, приложился Серебряный.

— Теперь ступай!—сказалъ Іоаннъ и молись премилостивой Троицѣ и всѣмъ святымъ угодникамъ, чтобы сохранили тебя отъ новой, хотя бы и легкой вины!

— Вы же,—прибавилъ онъ, глядя на земскихъ бояръ:—вы, слышавшіе нашъ уговоръ, не ждите новаго прощенія Никитѣ и не помыслите печаловаться мнѣ о немъ, если онъ въ другой разъ заслужитъ гнѣвъ мой!

Облекши такимъ образомъ возможность будущаго произвола надъ Серебрянымъ въ подобіе нравственнаго права, Іоаннъ выразилъ на лицѣ своемъ удовлетвореніе.

— Ступайте всѣ,—сказалъ онъ:—каждый къ своему дѣлу! Земскимъ вѣдать приказы попрежнему, а опричникамъ, избраннымъ слугамъ и полчанамъ моимъ помнить свое крестное цѣлованіе и не смущаться тѣмъ, что я сегодня простилъ Никиту: нѣсть бо въ сердцѣ моемъ лицепріятія ни къ ближнимъ, ни къ дальнимъ!

Стали расходиться. Каждый побрелъ домой, унося съ собою кто страхъ, кто печаль, кто злобу, кто разныя надежды, кто просто хмель въ головѣ. Слобода покрылась мракомъ; мѣсяцъ зарождался за лѣсомъ. Страшенъ казался темный дворецъ, съ своими главами, теремками и гребнями. Онъ издали походилъ на чудовище, свернувшееся клубомъ и готовое вспрянуть. Одно незакрытое окно свѣтилось словно око чудовища. То была царская опочивальня. Тамъ усердно молился царь.

Молился онъ о тишинѣ на святой Руси, молился о томъ, чтобы далъ ему Господь побороть измѣну и непокорство, чтобы благословилъ его окончить дѣло великаго поту, сравнять сильныхъ со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше дру-

гого, чтобы всѣ были въ равенствѣ, а онъ бы стоялъ одинъ надо всѣми, аки дубъ во чистомъ полѣ!

Молится царь и кладетъ земные поклоны. Смотрятъ на него звѣзды въ окно косящатое, смотрятъ свѣтлыя, притуманившись,—притуманившись, будто думая: ахъ, ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ! Ты затѣялъ дѣло не въ добрый часъ, ты затѣялъ, насъ не спрошаючи: не расти двумъ колосьямъ въ уровень, не сравнять крутыхъ горъ со пригорками, не бывать на землѣ безбоярщинѣ!

ГЛАВА X.

Отецъ и сынъ.

Была уже ночь, когда Малюта, послѣ пытки Колычевыхъ, родственниковъ и друзей сведеннаго митрополита, вышелъ наконецъ изъ тюрьмы. Густыя тучи, какъ черныя горы, нависли надъ слободою и грозили непогодой. Въ домѣ Малюты всѣ уже спали. Не спалъ одинъ Максимъ. Онъ вышелъ на встрѣчу къ отцу.

— Батюшка,—сказалъ Максимъ:—я ждалъ тебя; мнѣ нужно переговорить съ тобою.

— О чемъ?—спросилъ Малюта, и невольно отворотилъ взглядъ. Григорій Лукьяновичъ никогда не дрожалъ передъ врагомъ; но въ присутствіи Максима ему было неловко.

— Я завтра ѣду,—продолжалъ Максимъ:—прости батюшка!

— Куда?—спросилъ Малюта, и этотъ разъ устремилъ тусклый взглядъ свой на Максима.

— Куда глаза глядятъ, батюшка; земля не клиномъ сошлась, мѣста довольно!

— Да что, ты съ ума спятилъ? И подлинно дурь на себя напустилъ! что ты сегодня за обѣдомъ надѣлалъ! Какъ у тебя языкъ повернулся царю перечить? Знаешь ли, кто онъ, и кто ты?

— Знаю, батюшка, и знаю, что онъ мнѣ за то спасибо сказалъ. А все же мнѣ нельзя оставаться.

— Ахъ, ты, самодуръ! Да откуда у тебя своя воля взялась? Что́ сталось съ тобой сегодня? Отчего ты теперь уѣзжать вздумалъ, когда царь тебя пожаловать изволилъ, съ начальными людьми сравнялъ? Отчего именно теперь?

— Мнѣ давно тяжело съ вами, батюшка; ты самъ знаешь, но я не довѣрялъ себѣ; съ самаго дѣтства только я слышалъ отовсюду, что царева воля—Божья воля, что нѣтъ тяжелѣе грѣха, какъ думать иначе, чѣмъ царь. И отецъ Левкій, и всѣ попы слободскіе мнѣ на духу въ великій грѣхъ ставили, что я къ вамъ не мыслю. Поневолѣ иногда раздумье брало, правъ ли я одинъ противу всѣхъ васъ? Поневолѣ уѣзжать откладывалъ. А сегодня,—продолжалъ Максимъ, и румянецъ живо заигралъ на лицѣ его:—сегодня я понялъ, что я правъ! Какъ услышалъ князя Серебрянаго, какъ узналъ, что онъ твой объѣздъ за душегубство разбилъ и не заперся предъ царемъ въ своемъ правомъ дѣлѣ, но какъ мученикъ пошелъ за него на смерть,—тогда забилось къ нему сердце мое, какъ ни къ кому еще не бивалось, и вышло изъ мысли моей колебаніе, и стало мнѣ ясно какъ день, что не на вашей сторонѣ правда!

— Такъ вотъ кто тебя съ толку сбилъ!—вскричалъ Малюта, и безъ того озлобленный на Серебрянаго:—такъ вотъ кто тебя съ толку сбилъ! Попадись онъ мнѣ только въ руки, не скорою смертью издохнетъ онъ у меня, собака!

— Господь сохранитъ его отъ рукъ твоихъ!—сказалъ Максимъ, дѣлая крестное знаменіе:—не попуститъ Онъ тебя все доброе на Руси погубить! Да,—продолжалъ, одушевляясь, сынъ Малюты:—лишь увидѣлъ я князя Никиту Романыча, понялъ, что хорошо-бъ жить вмѣстѣ съ нимъ, и захотѣлось мнѣ попроситься къ нему, но совѣстно подойти было: очи мои на него не поднимутся, пока буду эту одежду носить!

Малюта слушалъ сына, и два чувства спорили въ немъ между собою. Ему хотѣлось закричать на Максима, затопать на него ногами и привести его угрозами къ повиновенію, но невольное уваженіе сковывало его злобу. Онъ понималъ чутьемъ,

что угроза теперь не подѣйствуетъ, и въ низкой душѣ своей началъ искать другихъ средствъ, чтобъ удержать сына.

— Максимушка! — сказалъ онъ, принимая заискивающій видъ, насколько позволяло звѣрское лицо его: — не въ пору ты уѣзжать затѣялъ! Твое слово понравилось сегодня царю. Хоть и напугалъ ты меня порядкомъ, да заступились, видно, святые угодники за насъ, умягчили сердца батюшки-государя. Вмѣсто чтобъ казнить, онъ похвалилъ тебя, и жалованья тебѣ прибавилъ, и собольею шубой пожаловалъ! Посмотри, коли ты теперь въ гору не пойдешь! А покамѣстъ, чѣмъ тебѣ здѣсь не житье?

Максимъ бросился въ ноги Малютѣ.

— Не житье мнѣ здѣсь, батюшка, не житье! Не по силамъ дома оставаться! Не вмоготу слышать вой да плачъ, по вся дни, не втерпежъ видѣть, что отецъ мой...

Максимъ остановился.

— Ну? — сказалъ Малюта.

— Что отецъ мой — палачъ! — произнесъ Максимъ и опустилъ взоръ, какъ бы испугавшись, что могъ сказать отцу такое слово.

Но Малюта не смутился этимъ названіемъ.

— Палачъ палачу рознь! — произнесъ онъ, покосившись въ уголъ избы. — Ино рядовой человѣкъ, ино начальный, ино простыхъ воровъ казнить, ино бояръ, что подтачиваютъ царскій престолъ и всему государству шатанье готовятъ. Я въ разбойный приказъ не вступаюсь; мой топоръ только и сѣчетъ, что измѣнничьи боярскія головы!

— Замолчи, отецъ! — сказалъ, вставая, Максимъ: — не возмущай мнѣ сердце такою рѣчью! Кто изъ тѣхъ, кого погубилъ ты, умышлялъ на царя? Кто изъ нихъ замутилъ государство! Не по винамъ, а по злобѣ своей сѣчешь ты боярскія головы! Кабы не ты, и царь былъ бы милостивѣе. Но вы ищете измѣны, вы пытками вымучиваете извѣты, вы, вы всей крови заводчики! Нѣтъ, отецъ, не гнѣви Бога, не клевещи на бояръ, а скажи лучше, что безъ разбора хочешь въ конецъ извести боярскій корень!

— Да ты-то съ чего за нихъ заступаешься?—сказалъ съ злобною усмѣшкой Малюта. — Или тебѣ весело видѣть, что ты какъ ни статенъ, какъ ни красенъ собой, а все остаешься между ними послѣдній?—А чѣмъ любой изъ нихъ не по плечу тебѣ? Чѣмъ гордятся они передъ нами? Изъ другой, что ли, земли Господь ихъ вылѣпилъ? Коли богачествомъ гордятся, такъ дайте срокъ, государи! Царь не забываетъ вѣрныхъ слугъ своихъ; а какъ дойдутъ до смертной казни Колычева, такъ животы ихъ никому другому, а намъ же достанутся. Довольно я надъ ними, окаянными, въ застѣнкѣ-то промучился: жиловаты, собаки, нечего сказать!

Злоба кипѣла въ сердцѣ Малюты, но онъ еще надѣялся убѣдить Максима и скривилъ ротъ свой въ ласковую улыбку. Не личила такая улыбка Малютѣ и, глядя на нее, Максиму сдѣлалось страшно.

Но Малюта этого не замѣтилъ.

— Максимушка,—сказалъ онъ:—на кого же я денежки-то копилъ? На кого тружусь и работаю? Не уѣзжай отъ меня, останься со мною. Ты еще молодъ, не поспѣлъ еще въ ратный строй. Не уѣзжай отъ меня! Вспомни, что я тебѣ отецъ! Какъ посмотрю на тебя, такъ и прояснится на душѣ, словно царь меня похвалилъ или къ рукѣ пожаловалъ, а обидь тебя кто,— такъ, кажется, и съѣлъ бы живого!

Максимъ молчалъ. Малюта постарался придать лицу своему самое нѣжное выраженіе.

— Ужели ты, Максимушка, вовсе не любишь меня? ужели ничего ко мнѣ въ сердцѣ не шелохнется?

— Ничего, батюшка!

Малюта подавилъ свою злобу.

— А царь что скажетъ когда узнаетъ про твой отъѣздъ, коли подумаетъ, что ты отъ него уѣхалъ!

— Отъ него-то я и ѣду, батюшка. Меня страхъ беретъ. Знаю, что Богъ велитъ любить его, а какъ посмотрю иной разъ, какія дѣла онъ творитъ, такъ все нутро во мнѣ перевернется. И хотѣлось бы любить, да силъ не хватаетъ. Какъ

уѣду изъ слободы, да не будетъ у меня безвинной крови передъ очами, тогда, дастъ Богъ, снова царя полюблю. А не удастся полюбить, и такъ ему послужу, только бы не въ опричникахъ!

— А что будетъ съ матерью твоею?—сказалъ Малюта, прибѣгая къ послѣднему средству.—Не пережить ей такого горя. Убьешь ты старуху! Посмотри, какая она, голубушка, хворая!

— Премилостивый Богъ не оставитъ матери моей,—отвѣтилъ со вздохомъ Максимъ. Она проститъ меня.

Малюта началъ ходить по избѣ взадъ и впередъ.

Когда остановился онъ передъ Максимомъ, ласковое выраженіе, къ которому онъ приневолилъ черты свои, совершенно исчезло. Грубое лицо его являло одну непреклонную волю.

— Слушай, молокососъ,—сказалъ онъ, перемѣняя пріемы и голосъ:—доселѣ я упрашивалъ тебя, теперь скажу вотъ что: нѣтъ тебѣ на отъѣздъ моего благословенія. Не пущу тебя ѣхать. А не уймешься, завтра же заставлю своими руками злодѣевъ царскихъ казнить. Авось, когда самъ окровавишься, бросишь быть бѣлоручкой, перестанешь отцомъ гнушаться!

Поблѣднѣлъ Максимъ отъ рѣчи Малюты и не отвѣчалъ ничего. Зналъ онъ, что крѣпко слово Григорія Лукьяновича, и что не переломить ему отцовской воли.

— Вишь,—продолжалъ Малюта:—разговорился я съ тобой. Скоро ночь глубокая, пора къ царю, ключи отъ тюрьмы отнести. Вотъ и дождь полилъ! Подай мнѣ терликъ. Смотри, пожалуй, какой сталъ прыткій! Ѣхать хочу, не житье мнѣ здѣсь! Дай ему воли—пожалуй, и меня на свой ладъ переиначитъ! Нѣтъ, братъ, рано крылышки распустилъ! Я и не такихъ, какъ ты, унималъ! Я-те научу слушаться! Эхъ, погода, погода! Подай мнѣ шапку. А молонья-то, молонья! Ишь, какъ небо раззѣвается, словно вся слобода загорѣлась. Заволоки окно, да ступай спать, авось къ утру выкинешь дурь изъ головы. А ужъ до твоего Серебрянаго я доберусь! Ужъ я ему это припомню!

Малюта вышелъ. Оставшись одинъ, Максимъ задумался.

Все было тихо въ домѣ; лишь на дворѣ гроза шумѣла, да время отъ времени вѣтеръ, ворвавшись въ окно, качалъ цѣпи и кандалы, висѣвшія на стѣнѣ, и онѣ ударяя одна о другую, звенѣли зловѣщимъ желѣзнымъ звономъ. Максимъ подошелъ къ лѣстницѣ, которая вела въ верхнее жилье къ его матери. Онъ наклонился и сталъ прислушиваться. Все молчало въ верхнемъ жильѣ. Максимъ тихонько взошелъ по крутымъ ступенямъ и остановился передъ дверью, за которою покоилась мать его.

— Господи Боже мой!—сказалъ Максимъ про себя:—Ты зришь мое сердце, вѣдаешь мои мысли! Ты знаешь, Господи, что я не по гордости моей, не по духу строптивому ослушаюсь батюшки! Прости меня, Боже мой, аще преступаю Твою заповѣдь! И ты, моя матушка, прости меня! Покидаю тебя безъ вѣдома твоего, уѣзжаю безъ благословенія; знаю, матушка, что надорву тебя сердцемъ, но ты-бъ не отпустила меня вольною волей! Прости меня, государыня-матушка, не увидишь ты меня болѣ!

Максимъ припалъ къ порогу свѣтлицы и облобызалъ его. Потомъ онъ нѣсколько разъ перекрестился, сошелъ съ лѣстницы и вышелъ на дворъ. Дождь лилъ такъ сердито, какъ бы злился на весь людъ Божій. На дворѣ не было живой души. Максимъ вошелъ въ конюшню; конюхи спали. Онъ самъ вывелъ изъ стойла любимаго коня и осѣдлалъ его. Большая цѣпная собака, прикованная у входа, вылѣзла изъ конуры и стала визжать и рваться, какъ бы чуя съ нимъ разлуку. То былъ косматый песъ изъ породы пастушьихъ волкодавовъ. Длинная и жесткая шерсть дымчато-бураго цвѣта падала ему въ безпорядкѣ на черную морду, такъ что почти вовсе не было видно умныхъ глазъ его.

Максимъ погладилъ собаку, а она положила ему свои черныя лапы на плечи и стала лизать его лицо.

— Прощай, Буянъ,—сказалъ Максимъ:—стереги домъ нашъ, служи вѣрно матери.—Онъ вскочилъ въ сѣдло, выѣхалъ въ ворота и ускакалъ отъ родительскаго дома.

Еще не доскакалъ онъ до земляного валу, какъ услышалъ

громкій лай и увидѣлъ Буяна, который прыгалъ вокругъ коня, радуясь, что сорвался съ цѣпи и что можетъ сопутствовать своему господину.

ГЛАВА XI.

Ночное шествіе.

Пока Малюта разговаривалъ съ сыномъ, царь продолжалъ молиться. Ужъ потъ катился съ лица его; уже кровавые знаки, напечатлѣнные на высокомъ челѣ прежними земными поклонами яснѣе обозначались отъ новыхъ поклоновъ; вдругъ шорохъ въ избѣ заставилъ его обернуться. Онъ увидѣлъ свою мамку, Онуфревну.

Стара была его мамка. Взялъ ее въ Верхъ еще блаженной памяти великій князь Василій Іоанновичъ; служила она еще Еленѣ Глинской. Іоаннъ родился у нея на рукахъ; у нея же на рукахъ благословилъ его умирающій отецъ. Говорили про Онуфревну, что многое ей извѣстно, о чемъ никто и не подозрѣваетъ. Въ малолѣтство царя, Глинскіе боялись ее, Шуйскіе и Бѣльскіе старались всячески угождать ей.

Много сокрытаго узнавала Онуфревна посредствомъ гаданья и никогда не ошибалась. Въ самое величіе князя Телепнева—Іоанну тогда было четыре года—она предсказала князю, что онъ умретъ голодною смертью. Такъ и сбылось. Много лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, а еще свѣжо было въ памяти стариковъ это предсказанье.

Теперь Онуфревнѣ добивалъ чуть ли не десятый десятокъ. Она согнулась почти вдвое; кожа на лицѣ ея такъ сморщилась, что стала походить на древесную кору, и какъ на старой корѣ пробивается мохъ, такъ на бородѣ Онуфревны пробивались волосы сѣдыми клочьями. Зубовъ у нея давно уже не было; глаза, казалось, не могли видѣть; голова судорожно шаталась.

Онуфревна опиралась костлявою рукой на клюку. Долго смотрѣла она на Іоанна, вбирая въ себя пожелтѣвшія губы, какъ будто бы что-то жевала или бормотала.

— Что?—сказала, наконецъ, мамка глухимъ, дребезжащимъ голосомъ: — молишься, батюшка? Молись, молись, Иванъ Васильичъ! Много тебѣ еще отмаливаться! Еще-бъ одни старые грѣхи лежали на душѣ твоей! Господь-то милостивъ; авось и простилъ бы! А то вѣдь у тебя что ни день, то новый грѣхъ, а иной разъ и по два, и по три на день придется!

— Полно, Онуфревна, — сказалъ царь, вставая: — сама не знаешь, что говоришь!

— Не знаю, что говорю! Да развѣ я изъ ума выжила, что ли?

И безжизненные глаза старухи внезапно заблистали.

— Да что ты сегодня за столомъ сдѣлалъ? За что отравилъ боярина-то? Ты думалъ, я и не знаю! Что? Чего брови-то хмуришь? Вотъ погоди, какъ пробьетъ твой смертный часъ; погоди только! Ужъ привяжутся къ тебѣ грѣхи твои, какъ тысячи тысячъ пудовъ; ужъ потянутъ тебя на дно адово! А дьяволы-то подскочатъ да и подхватятъ тебя на крючья!

Старуха опять принялась сердито жевать.

Усердная молитва приготовила царя къ мыслямъ набожнымъ. Раздражительное воображеніе не разъ уже представляло ему картину будущаго возмездія, но сила воли одолѣвала страхъ загробныхъ мученій. Іоаннъ увѣрялъ себя, что страхъ этотъ и даже угрызенія совѣсти возбуждаемы въ немъ врагомъ рода человѣческаго, чтобъ отвлечь помазанника Божія отъ высокихъ его начинаній. Хитростямъ дьявола царь противуставилъ молитву; но часто изнемогалъ подъ жестокимъ напоромъ воображенія. Тогда отчаяніе охватывало его какъ желѣзными когтями. Неправость дѣлъ его являлась во всей наготѣ, и страшно зіяли передъ нимъ адскія бездны. Но это продолжалось недолго. Вскорѣ Іоаннъ негодовалъ на свое малодушіе. Въ гнѣвѣ на самого себя и на духа тьмы, онъ опять, на зло аду и наперекоръ совѣсти, начиналъ дѣло великой крови, великаго поту, и никогда жестокость его не достигала такой степени, какъ послѣ невольнаго изнеможенья.

Теперь мысль объ адѣ, оживленная наступающею грозой и пророческимъ голосомъ Онуфревны, проняла его насквозь лихо-

радочною дрожью. Онъ сѣлъ на постель. Зубы его застучали одинъ о другой.

— Ну, что, батюшка? — сказала Онуфревна, смягчая свой голосъ:—что съ тобой сталось? Захворалъ, что ли? Такъ и есть, захворалъ! Напугала же я тебя! Да нужды нѣтъ, утѣшься, батюшка, хоть и велики грѣхи твои, а благость-то Божія еще больше! Только покайся, да впередъ не грѣши. Вотъ и я молюсь, молюсь о тебѣ, и денно, и нощно, а теперь и того болѣ стану молиться! Что тутъ говорить? Ужъ лучше сама въ рай не попаду, да тебя отмолю!

Іоаннъ взглянулъ на свою мамку, — она какъ будто улыбалась, но не привѣтлива была улыбка на суровомъ лицѣ ея.

— Спасибо, Онуфревна, спасибо; мнѣ легче; ступай себѣ съ Богомъ!

— То-то легче! Какъ обнадежишь тебя, куда и страхъ дѣвался!—ужъ и гнать меня вздумалъ: ступай, молъ, съ Богомъ!— А ты на долготерпѣніе-то Божіе слишкомъ не разсчитывай, батюшка. На тебя и у самого у Господа терпѣнія-то не станетъ. Отречется онъ отъ тебя, посмотри, а сатана-то обрадуется, да шархъ! и войдетъ въ тебя. Ну, вотъ, опять дрожать началъ! Не худо-бъ тебѣ сбитеньку испить. Испей сбитеньку, батюшка. Бывало, и родитель твой на ночь сбитень пивалъ, царствіе ему небесное! И матушка твоя, упокой, Господи, душу ея, любила сбитень. Въ сбитнѣ-то и опоили ее проклятые Шуйскіе!

Старуха какъ будто забылась. Глаза ея померкли; она опять принялась жевать губами, безпрерывно шатая головой.

Вдругъ что-то застучало въ окно. Иванъ Васильевичъ вздрогнулъ.

Старуха перекрестилась дрожащею рукой.

— Вишь, — сказала она: — дождь полилъ! И молонья блистать начинаетъ! А вотъ и громъ, батюшка,—помилуй, насъ, Господи!

Гроза усиливалась все болѣе, и скоро разыгралась по небу безпрерывными перекатами, безпрестанною молніей.

При каждомъ ударѣ грома Іоаннъ вздрагивалъ.

— Вишь, какой у тебя ознобъ, батюшка! Вотъ погоди маленько, я велю тебѣ сбитеньку заварить...

— Не надо Онуфревна, я здоровъ...

— Здоровъ!—Да на тебѣ лица не видать. Ты-бъ на постелюто легъ, одѣяломъ-то прикрылся бы. И что-й-то у тебя за постель, право! Доски голыя. Охота тебѣ! Царское ли это дѣло! Вѣдь это хорошо монаху, а ты не монахъ какой.

Іоаннъ не отвѣчалъ. Онъ къ чему-то прислушивался.

— Онуфревна,—сказалъ онъ вдругъ съ испугомъ:—кто тамъ ходитъ въ сѣняхъ? Я слышу шаги чьи-то!

— Христосъ съ тобой, батюшка! — кому теперь ходить. Послышалось тебѣ.

— Идетъ, идетъ кто-то! — Идетъ сюда! Посмотри, Онуфревна.

Старуха отворила дверь. Холодный вѣтеръ пахнулъ въ избу. За дверью показался Малюта.

— Кто это?—спросилъ царь, вскакивая.

— Да твой рыжій пёсъ, батюшка,—отвѣчала мамка, сердито глядя на Малюту: — Гришка Скуратовъ; вишь, какъ напугалъ, проклятый!

— Лукьянычъ!—сказалъ царь, обрадованный приходомъ любимца:—добро пожаловать; откуда?

— Изъ тюрьмы, государь; былъ у розыску, ключи принесъ! — Малюта низко поклонился царю и покосился на мамку.

— Ключи!—проворчала старуха: — ужъ припекутъ тебя на томъ свѣтѣ раскаленными ключами, сатана ты этакой! Ей-Богу! сатана! И лицо-то дьявольское! Ужъ кому другому, а тебѣ не миновать огня вѣчнаго! Будешь, Гришка, лизать сковороды горячія за всѣ клеветы свои! Будешь, проклятый, въ смолѣ кипѣть, помяни мое слово!

Молнія освѣтила грозящую старуху, и страшна была она съ подъятою клюкой, съ сверкающими глазами.

Самъ Малюта нѣсколько струсилъ; но Іоанна ободрило присутствіе любимца.

— Не слушай ее, Лукьянычъ, — сказалъ онъ: — знай свое

дѣло, не смотри на бабьи толки. А ты ступай себѣ, старая дура, оставь насъ!

Глаза Онуфревны снова засверкали.

— Старая дура?—повторила она: — я старая дура? Вспомянете вы меня на томъ свѣтѣ, оба вспомянете! Всѣ твои поплечники, Ваня, всѣ примутъ мзду свою, еще въ сей жизни примутъ, и Грязной, и Басмановъ, и Вяземскій; комуждо воздастся по дѣламъ его, а этотъ,—продолжала она, указывая клюкою на Малюту: — этотъ не приметъ мзды своей: по его дѣламъ нѣтъ и муки на землѣ! его мука на днѣ адовомъ; тамъ ему и мѣсто готово; ждутъ его дьяволы и радуются ему! И тебѣ есть тамъ мѣсто, Ваня, великое, теплое мѣсто!

Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой.

Іоаннъ былъ блѣденъ. Малюта не говорилъ ни слова. Молчаніе продолжалось довольно долго.

— Что-жъ, Лукьянычъ,—сказалъ наконецъ царь:—винятся Колычевы?

— Нѣтъ еще, государь. Да ужъ повинятся, у меня не откашляются!

Іоаннъ вошелъ въ подробности допроса. Разговоръ о Колычевыхъ далъ его мыслямъ другое направленіе.

Ему показалось, что онъ можетъ заснуть. Отославъ Малюту, онъ легъ на постель и забылся.

Его разбудилъ какъ будто внезапный толчокъ.

Изба слабо освѣщалась образными лампадами. Лучъ мѣсяца, проникая сквозь низкое окно, игралъ на расписанныхъ изразцахъ лежанки. За лежанкой кричалъ сверчокъ. Мышь грызла гдѣ-то дерево.

Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сдѣлалось страшно.

Вдругъ ему почудилось, что приподымается половица и смотритъ изъ-подъ нея отравленный бояринъ.

Такія видѣнія случались съ Іоанномъ нерѣдко. Онъ приписывалъ ихъ адскому мороченью. Чтобы прогнать призракъ, онъ перекрестился.

Но призракъ не исчезъ, какъ то случалось прежде. Мертвый бояринъ продолжалъ смотрѣть на него исподлобья. Глаза старика были такъ же на выкатѣ, лицо такъ же сине, какъ за обѣдомъ, когда онъ выпилъ присланную Іоанномъ чашу.

«Опять навожденіе!—подумалъ царь:—но не поддамся я прелести сатанинской, сокрушу хитрость дьявольскую. Да воскреснетъ Богъ и да расточатся врази его!»

Мертвецъ медленно вытянулся изъ-подъ полу и приблизился къ Іоанну.

Царь хотѣлъ закричать, но не могъ. Въ ушахъ его страшно звенѣло.

Мертвецъ наклонился передъ Іоанномъ.

— Здравъ буди, Иване!—произнесъ глухой нечеловѣческій голосъ:—се кланяюся тебѣ, иже погубилъ еси мя безвинно!

Слова эти отозвались въ самой глубинѣ души Іоанна. Онъ не зналъ, отъ призрака ли ихъ слышитъ, или собственная его мысль выразилась ощутительнымъ для уха звукомъ.

Но вотъ приподнялась другая половица; изъ-подъ нея показалось лицо окольничаго Данилы Адашева, казненнаго Іоанномъ четыре года тому назадъ.

Адашевъ также вытянулся изъ-подъ полу, поклонился царю и сказалъ:

— Здравъ буди, Иване! се кланяюся тебѣ, иже казнилъ мя еси безвинно.

За Адашевымъ явилась боярыня Марія, казненная вмѣстѣ съ дѣтьми. Она поднялась изъ-подъ полу съ пятью сыновьями. Всѣ поклонились царю, и каждый сказалъ:

— Здравъ буди, Иване! се кланяюся тебѣ!

Потомъ показались: князь Курлятевъ, князь Оболенскій, Никита Шереметевъ и другіе казненные или убитые Іоанномъ.

Изба наполнилась мертвецами. Всѣ они низко кланялись царю, всѣ говорили:

— Здравъ буди, здравъ буди, Иване, се кланяемся тебѣ!

Вотъ поднялись монахи, старцы, инокини, всѣ въ черныхъ ризахъ, всѣ блѣдные, кровавые,

Вотъ показались воины, бывшіе съ царемъ подъ Казанью.

На нихъ зіяли страшныя раны, но не въ бою добытыя, а нанесенныя палачами.

Вотъ явились дѣвы въ растерзанной одеждѣ и молодыя жены съ грудными младенцами. Дѣти протягивали къ Іоанну окровавленныя ручонки и лепетали:

— Здравъ буди, здравъ буди, Иване, иже погубилъ еси насъ безвинно!

Изба все болѣе наполнялась призраками. Царь не могъ уже различать воображенія отъ дѣйствительности.

Слова призраковъ повторялись стократными отголосками. Отходныя молитвы и панихидное пѣніе въ то же время раздавались надъ самыми ушами Іоанна. Волосы его стояли дыбомъ.

— Именемъ Бога живаго,—произнесъ онъ:—если вы бѣсы, насланные вражьею силою,—сгиньте! Если вы вправду души казненныхъ мною—дожидайтесь страшнаго суда Божія! Господь меня съ вами разсудитъ!

Взвыли мертвецы и закружились вокругъ Іоанна, какъ осенніе листья, гонимые вихремъ. Жалобнѣе раздалось панихидное пѣніе; дождь опять застучалъ въ окно, и среди шума вѣтра царю послышались какъ будто звуки трубъ и голосъ, взывающій:

— Иване, Иване, на судъ, на судъ!

Царь громко вскрикнулъ. Спальники вбѣжали изъ сосѣднихъ покоевъ въ опочивальню.

— Вставайте!—закричалъ царь:—кто спитъ теперь! Насталъ послѣдній день, насталъ послѣдній часъ! Всѣ въ церковь! Всѣ за мной!

Царедворцы засуетились. Раздался благовѣстъ. Только-что уснувшіе опричники услышали знакомый звонъ, вскочили съ палатей и спѣшили одѣться.

Многіе изъ нихъ пировали у Вяземскаго. Они сидѣли за кубками и пѣли удалыя пѣсни. Услышавъ звонъ, они вскочили и надѣли черныя рясы поверхъ богатыхъ кафтановъ, а головы накрыли высокими шлыками.

Вся Слобода пришла въ движеніе. Церковь Божіей Матери ярко освѣтилась. Встревоженные жители бросились къ воротамъ и увидѣли множество огней, блуждающихъ во дворцѣ изъ покоя въ покой. Потомъ огни образовали длинную цѣпь, и шествіе потянулось змѣею по наружнымъ переходамъ, соединявшимъ дворецъ съ храмомъ Божіимъ.

Всѣ опричники, одѣтые однолично въ шлыки и черныя рясы, несли смоляные свѣточи. Блескъ ихъ чудно игралъ на рѣзныхъ столбахъ и на стѣнныхъ украшеніяхъ. Вѣтеръ раздувалъ рясы, а лунный свѣтъ вмѣстѣ съ огнемъ отражался на золотѣ, жемчугѣ и дорогихъ каменьяхъ.

Впереди шелъ царь, одѣтый инокомъ, билъ себя въ грудь и взывалъ, громко рыдая:

— Боже, помилуй мя грѣшнаго! Помилуй мя смраднаго пса! Помилуй мою скверную голову! Упокой, Господи, души побитыхъ мною безвинно!

У преддверія храма Іоаннъ упалъ въ изнеможеніи.

Свѣточи озарили старуху, сидѣвшую на ступеняхъ. Она протянула къ царю дрожащую руку.

— Встань, батюшка!—сказала Онуфревна:—я помогу тебѣ. Давно я жду тебя. Войдемъ, Ваня, помолимся вмѣстѣ!

Двое опричниковъ подняли царя подъ руки. Онъ вошелъ въ церковь.

Новыя шествія, также въ черныхъ рясахъ, также въ высокихъ шлыкахъ, спѣшили по улицамъ съ зажженными свѣточами. Храмовыя врата поглощали все новыхъ и новыхъ опричниковъ, и исполинскіе лики святыхъ смотрѣли на нихъ, негодуя, съ высоты стѣнъ и главъ церковныхъ.

Среди ночи, дотолѣ безмолвной, раздалось пѣніе нѣсколькихъ сотъ голосовъ, и далеко слышны были звонъ колокольный и протяжные псалмы.

Узники въ темницахъ вскочили, гремя цѣпями, и стали прислушиваться.

— Это царь заутреню служитъ! — сказали они. — Умягчи Боже, его сердце, вложи милость въ душу его!

Маленькія дѣти въ слободскихъ домахъ, спавшія близъ матерей, проснулись въ испугѣ и подняли плачъ.

Иная мать долго не могла унять своего ребенка.

— Молчи!—говорила она, наконецъ:—молчи, не то Малюта услышитъ!

И при имени Малюты ребенокъ переставалъ плакать, въ испугѣ прижимался къ матери, и среди ночного безмолвія раздавались опять лишь псалмы опричниковъ да безпрерывный звонъ колокольный.

ГЛАВА XII.

Клевета.

Солнце взошло, но не радостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, онъ не нашелъ сына и догадался, что Максимъ навсегда бросилъ Слободу. Велика была ярость Григорья Лукьяныча. Во всѣ концы поскакала погоня. Конюховъ, проспавшихъ отъѣздъ Максима, Малюта велѣлъ тотчасъ вкинуть въ темницу.

Нахмуря брови, стиснувъ зубы, ѣхалъ онъ по улицѣ и раздумывалъ: доложить ли царю или скрыть отъ него бѣгство Максима.

Конскій топотъ и веселая молвь послышались за его спиною. Малюта оглянулся. Царевичъ съ Басмановымъ и толпою молодыхъ удальцовъ возвращался съ утренней прогулки. Рыхлая земля размокла отъ дождя, кони ступали въ грязи по самыя бабки. Завидѣвъ Малюту, царевичъ пустилъ своего аргамака вскачь и обрызгалъ грязью Григорія Лукьяновича.

— Кланяюсь тебѣ земно, бояринъ Малюта!—сказалъ царевичъ, останавливая коня.—Встрѣтили мы тотчасъ твою погоню. Видно Максиму солоно пришлось, что онъ отъ тебя тягу далъ. Али ты, можетъ, самъ послалъ его къ Москвѣ за боярскою шапкой, да потомъ раздумалъ?

И царевичъ захохоталъ.

Малюта, по обычаю, слѣзъ съ коня. Стоя съ обнаженною головой, онъ всею ладонью стиралъ грязь съ лица своего. Казалось, ядовитые глаза его хотѣли пронзить царевича.

— Да что онъ грязь-то стираетъ? — замѣтилъ Басмановъ, желая подслужиться царевичу:—добро на комъ другомъ, а на немъ незамѣтно!

Басмановъ говорилъ вполголоса, но Скуратовъ его услышалъ. Когда вся толпа, смѣясь и разговаривая, ускакала за царевичемъ, онъ надѣлъ шапку, взлѣзъ опять на коня и шагомъ поѣхалъ ко дворцу.

«Добро!—думалъ онъ про себя:—дайте срокъ, государи, дайте срокъ!» И поблѣднѣвшія губы его кривились въ улыбку, и въ сердцѣ, уже раздраженномъ сыновнимъ побѣгомъ, медленно созрѣвало надежное мщеніе неосторожнымъ оскорбителямъ.

Когда Малюта вошелъ во дворецъ, Иванъ Васильевичъ сидѣлъ одинъ въ своемъ покоѣ. Лицо его было блѣдно, глаза горѣли. Черную рясу замѣнилъ онъ желтымъ становымъ кафтаномъ, стеганымъ полосами и подбитымъ голубою бахтой. Восемь шолковыхъ завязокъ съ длинными кистями висѣли вдоль разрѣза. Посохъ и колпакъ, украшенный большимъ изумрудомъ, лежали передъ царемъ на столѣ. Ночныя видѣнія, безпрерывная молитва, отсутствіе сна, не истощили силъ Іоанновыхъ, но лишь привели его въ высшую степень раздражительности. Все испытанное ночью опять представилось ему обмороченьемъ дьявола. Царь стыдился своего страха.

«Врагъ имени Христова, — думалъ онъ:—упорно перечитъ мнѣ и помогаетъ моимъ злодѣямъ. Но не дамъ ему надо мною тѣшиться! Не устрашуся его навожденій! Покажу ему, что не по плечу онъ себѣ борца нашелъ!»

И рѣшился царь карать попрежнему измѣнниковъ и предавать смерти злодѣевъ своихъ, хотя были-бъ ихъ тысячи.

И сталъ онъ мыслію пробѣгать подданныхъ и между ними искать предателей.

Каждый взглядъ, каждое движеніе теперь казались ему подозрительными.

Онъ припоминалъ разныя слова своихъ приближенныхъ и въ словахъ этихъ искалъ ключа къ заговорамъ. Самые родные не избѣжали его подозрѣній.

Малюта засталъ его въ состояніи, похожемъ на лихорадочный бредъ.

— Государь,—сказалъ, помолчавъ, Григорій Лукьяновичъ:—ты велишь пытать Колычевыхъ про новыхъ измѣнниковъ. Ужъ положись на меня. Я про все заставлю Колычевыхъ съ пытокъ разсказать. Одного только не съумѣю: не съумѣю заставить ихъ назвать твоего нáбольшаго супротивника!

Царь съ удивленіемъ взглянулъ нà любимца.

Въ глазахъ Малюты было что-то необыкновенное.

— Оно, государь, дѣло такое,—продолжалъ Скуратовъ, и голосъ его измѣнился:—что и глазъ видитъ, и ухо слышитъ, а вымолвить языкъ не поворотится...

Царь смотрѣлъ на него вопрошающимъ окомъ.

— Вотъ ты, государь, примѣрно, уже много воровъ казнилъ, а измѣна все еще на Руси не вывелась. И еще ты столько же казнишь, и вдесятеро болѣе, а измѣны все не избудешь!

Царь слушалъ и не догадывался.

— Оттого, государь, не избыть тебѣ измѣны, что ты рубишь у нея сучья да вѣтви, а стволъ-то самый и съ корнемъ стоитъ здоровехонекъ!

Царь все еще не понималъ, но слушалъ съ возрастающимъ любопытствомъ.

— Видишь, государь, какъ бы тебѣ сказать. Вотъ, примѣрно, вспомни, когда ты при смерти лежалъ, дай Богъ тебѣ много лѣтъ здравствовать! а бояре-то на тебя труднаго заговоръ затѣяли. Вѣдь у нихъ былъ тогда старшой, примѣрно, братецъ твой Володиміръ Андреичъ!

«А!—подумалъ царь:—такъ вотъ что̀ значили мои ночныя видѣнія! Врагъ хотѣлъ помрачить разумъ мой, чтобъ убоялся я сокрушить замыслы брата. Но будетъ не такъ. Не пожалѣю и брата!»

— Говори,—сказалъ онъ, обращаясь грозно къ Малютѣ:—говори, что̀ знаешь про Володиміра Андреича!

— Нѣтъ, государь, моя рѣчь теперь не про Володиміра Андреича. Въ немъ я уже того не чаю, чтобы онъ что-либо надъ тобой учинилъ. И бояре къ нему теперь уже не мыслятъ. Давно пересталъ онъ подыскиваться подъ тобою царства. Моя рѣчь не про него.

— Про кого же?—спросилъ царь съ удивленіемъ, и черты его судорожно задвигались.

— Видишь, государь: Володиміръ-то Андреичъ раздумалъ государство мутить, да бояре-то не раздумали. Они себѣ на умѣ: не удалось-молъ его на царство посадить, такъ мы посадимъ...

Малюта замялся.

— Кого?—спросилъ царь, и глаза его запылали.

Малюта позеленѣлъ.

— Государь! Не все пригоже выговаривать. Нашъ братъ думай, да гадай, а языкъ держи за зубами.

— Кого?—повторилъ Іоаннъ, вставая съ мѣста.

Малюта медлилъ отвѣтомъ.

Царь схватилъ его за воротъ обѣими руками, придвинулъ лицо его къ своему лицу и впился въ него глазами.

Ноги Малюты стали подкашиваться.

— Государь,—сказалъ онъ вполголоса:—ты на него не гнѣвайся, вѣдь онъ не самъ вздумалъ!

— Говори!—произнесъ хриплымъ шопотомъ Іоаннъ и стиснулъ крѣпче воротъ Малюты.

— Ему-то и на умъ бы не взбрело,—продолжалъ Малюта, избѣгая царскаго взора:—ну, а должно-быть подбили его. Кто къ нему поближе, тотъ и подбилъ. А онъ, грѣшный человѣкъ, подумалъ себѣ: немного позже, немного ранѣ, все тѣмъ же кончится.

Царь началъ догадываться. Онъ сдѣлался блѣднѣе. Пальцы его стали разгибаться и выпускать воротъ Малюты.

Малюта оправился. Онъ понялъ, что настала пора для рѣшительнаго удара.

— Государь!—сказалъ онъ вдругъ рѣзко:—не ищи измѣны далеко. Супротивникъ твой сидитъ супротивъ тебя, онъ пьетъ

съ тобой съ одного ковша, ѣстъ съ тобой съ одного блюда, платье носитъ съ одного плеча!

Замолчалъ Скуратовъ и, полный ожиданія, рѣшился устремить на царя кровавые глаза свои.

Замолчалъ и царь. Руки его опустились. Понялъ онъ наконецъ Малюту.

Въ это мгновеніе раздались на дворѣ радостные крики.

Еще въ самое то время, какъ начался разговоръ между царемъ и Скуратовымъ, царевичъ съ своими окольными въѣхалъ на дворъ, гдѣ ожидали его торговые люди черныхъ сотенъ и слободъ, пришедшіе отъ Москвы съ хлѣбомъ-солью и съ челобитьемъ.

Увидѣвъ царевича, они всѣ стали на колѣни.

— Чего вы просите, аршинники? — спросилъ небрежно царевичъ.

— Батюшка!—отвѣчали старшины:—пришли мы плакаться твоей милости! Будь намъ заступникомъ! Умилосердись надъ нашими головами! Разоряютъ насъ совсѣмъ опричники, заѣдаютъ и съ женами, и съ дѣтьми!

— Вишь, дурачье!—сказалъ царевичъ, обращаясь съ усмѣшкой къ Басманову.—Они-бъ хотѣли и женъ, и товаръ про себя однихъ держать! Да чего вы расхныкались? Ступайте себѣ домой; я, пожалуй, попрошу батюшку за васъ, дураковъ!

— Отецъ ты нашъ, дай Богъ тебѣ многія лѣта!—закричали торговые люди.

Царевичъ сидѣлъ на конѣ. Возлѣ него былъ Басмановъ. Просители стояли передъ ними на колѣняхъ. Старшій держалъ блюдо съ хлѣбомъ-солью.

Малюта все видѣлъ изъ окна.

— Государь,—шепнулъ онъ царю:—должно-быть его подбилъ кто-нибудь изъ тѣхъ, что теперь съ нимъ. Посмотри, вотъ уже народъ ему на царствѣ здороваетъ!

И какъ чародѣй пугается недоброй силы, которую самъ онъ вызвалъ, такъ Малюта испугался выраженія, которое слова его вызвали на чертахъ Іоанна.

Съ лица царя исчезло все человѣческое. Такимъ страшнымъ никогда не видывалъ его Малюта.

Прошло нѣсколько мгновеній. Вдругъ Іоаннъ улыбнулся.

— Гриша,—сказалъ онъ, положивъ обѣ руки на плечи Скуратова:—какъ бишь ты сейчасъ говорилъ? Я рублю сучья да вѣтви, а стволъ-то стоитъ здоровёшенекъ?

— Гриша,—продолжалъ царь, медленно выговаривая каждое слово и смотря на Малюту съ какой-то страшной довѣрчивостью:—берешься ли ты вырвать съ корнемъ измѣну?

Злобная радость скривила ротъ Малюты.

— Для твоей милости берусь,—прошепталъ онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

Выраженіе Іоанна мгновенно измѣнилось. Улыбка исчезла, и черты приняли холодную, непреклонную неподвижность. Лицо его казалось высѣченнымъ изъ мрамора.

— Не надо медлить! — сказалъ онъ отрывисто и повелительно.—Никто чтобы не зналъ объ этомъ. Онъ сегодня будетъ на охотѣ. Сегодня же пусть найдутъ его въ лѣсу. Скажутъ, онъ убился съ коня. Знаешь ты Поганую-Лужу?

— Знаю, государь.

— Тамъ чтобъ нашли его. Царь указалъ на дверь.

Малюта вышелъ и въ сѣняхъ вздохнулъ свободнѣе.

Царь долго оставался неподвиженъ. Потомъ онъ медленно подошелъ къ образамъ и упалъ предъ ними на колѣни.

Изъ всѣхъ слугъ Малютиныхъ, самый удалый и расторопный былъ стремянной его Матвѣй Хомякъ. Онъ никогда не уклонялся отъ опасности, любилъ буйство и наѣздничество и уступалъ въ звѣрствѣ лишь своему господину. Нужно ли было поджечь деревню, или подкинуть грамоту, по которой послѣ казнили боярина, требовалось ли увезти жену чью-нибудь, всегда посылали Хомяка. И Хомякъ поджигалъ деревни, подкидывалъ грамоты и вмѣсто одной жены привозилъ ихъ нѣсколько.

Къ Хомяку обратился и теперь Григорій Лукьяновичъ. Что они толковали вмѣстѣ, того никто не услышалъ. Но въ это са-

мое утро, когда гончія царевича дружно заливались въ окрестностяхъ Москвы, а вниманіе охотниковъ, стоявшихъ на лазахъ, было поглощено ожиданіемъ, и каждый напрягалъ свое зрѣніе, и ни одинъ не заботился о томъ, что дѣлали его товарищи,— въ это время по глухому проселку скакали, удаляясь отъ мѣста охоты, Хомякъ и Малюта, а промежъ нихъ со связанными руками, прикрученный къ сѣдлу, скакалъ кто-то третій, котораго лицо скрывалъ черный башлыкъ, надвинутый до самаго подбородка. На одномъ изъ поворотовъ проселка примкнули къ нимъ двадцать вооруженныхъ опричниковъ, и всѣ вмѣстѣ продолжали скакать, не говоря ни слова.

Охота межъ тѣмъ шла своимъ чередомъ, и никто не замѣтилъ отсутствія царевича, исключая двухъ стремянныхъ, которые теперь издыхали въ оврагѣ, пронзенные ножами.

Верстъ тридцать отъ Слободы, среди дремучаго лѣса, было топкое непроходимое болото, которое народъ прозвалъ Поганой-Лужей. Много чудеснаго разсказывали про это мѣсто. Дровосѣки боялись въ сумерки подходить къ нему близко. Увѣряли, что въ лѣтнія ночи надъ водою прыгали и рѣзвились огоньки, души людей, убитыхъ разбойниками и брошенныхъ ими въ Поганую-Лужу.

Даже среди бѣлаго дня болото имѣло видъ мрачной таинственности. Большія деревья, лишенныя снизу вѣтвей, поднимались изъ воды, мутной и черной. Отражаясь въ ней, какъ въ туманномъ зеркалѣ, они принимали чудный видъ уродливыхъ людей и небывалыхъ животныхъ. Не слышно было вблизи болота человѣческаго голоса. Стаи дикихъ утокъ прилетали иногда плескаться на его поверхности. Въ камышѣ раздавался жалобный крикъ водяной курочки. Черный воронъ пролеталъ надъ вершинами деревъ, и зловѣщее карканье его повторялось отголосками. Иногда слышны были далеко-далеко стукъ топора, трескъ надрубленнаго дерева и глухое паденіе.

Но когда солнце опускалось за вершины, когда надъ болотомъ поднимался прозрачный паръ, стукъ топора умолкалъ, и прежніе звуки замѣнялись новыми. Начиналось однообразное

кваканье лягушекъ, сперва тихое и отрывистое, потомъ громкое, слитымъ хоромъ.

Чѣмъ болѣе сгущалась темнота, тѣмъ громче кричали гады. Голоса ихъ составляли какъ-бы одинъ безпрерывный и продолжительный гулъ, такъ что ухо къ нему привыкало и различало сквозь него и дальній вой волковъ, и вопли филина. Мракъ становился гуще; предметы теряли свой прежній видъ и облекались въ новую наружность. Вода, древесныя вѣтви и туманныя полосы сливались въ одно цѣлое. Образы и звуки смѣшивались вмѣстѣ и ускользали отъ человѣческаго понятія. Поганая-Лужа дѣлалась достояніемъ силы нечистой.

Къ сему-то проклятому мѣсту, но не въ темную ночь, а въ утро солнечное, Малюта и опричники его направляли бѣгъ свой.

Въ то самое время, какъ они торопились и погоняли коней, другіе молодцы, недобраго вида, собирались въ дремучемъ лѣсу, недалеко отъ Поганой-Лужи.

ГЛАВА XIII.

Ванюха Перстень и его товарищи.

На широкой полянѣ, окруженной древними дубами и непроходимымъ ломомъ, стояло нѣсколько земляныхъ куреней, а между ними на опрокинутыхъ пняхъ, на вывороченныхъ корняхъ, на кучахъ сѣна и сухихъ листьевъ, лежало и сидѣло множество людей разныхъ возрастовъ, въ разныхъ одеждахъ. Вооруженные молодцы безпрестанно выходили изъ глубины лѣса и присоединялись къ товарищамъ. Много было между ними разнообразія. Сермяги, ферязи и зипуны, иные въ лохмотьяхъ, другіе блестящіе золотомъ, виднѣлись сквозь вѣтви деревъ. У иныхъ молодцовъ были привѣшены къ бедрамъ сабли, другіе мотали въ рукахъ кистени, или опирались на широкіе бердыши. Не мало было тутъ рубцовъ, морщинъ, всклоченныхъ головъ и бородъ нечесаныхъ.

Удалое товарищество раздѣлялось на разные кружки. Въ

самой срединѣ поляны варили кашу и жарили на прутьяхъ говядину. Надъ трескучимъ огнемъ висѣли котлы; дымъ отдѣлялся сизымъ облакомъ отъ зеленаго мрака, окружавшаго поляну какъ бы плотною стѣной. Кашевары, покашливали, терли себѣ глаза и отворачивались отъ дыму.

Немного подалѣе, старикъ, съ сѣдою кудрявою головой, съ длинною бородой, разсказывалъ молодежи какую-то сказку. Онъ говорилъ стоя и опершись на топоръ, насаженный на длинную палку. Въ этомъ положеніи старику было ловчѣе разсказывать, чѣмъ сидя. Онъ могъ и выпрямиться, и обернуться во всѣ стороны, и въ приличномъ мѣстѣ взмахнуть топоромъ, и присвистнуть по-молодецки. Ребята слушали его съ истиннымъ наслажденіемъ. Они и уши поразвѣсили, и рты поразѣвали. Кто присѣлъ на землю, кто взобрался на сучокъ, кто просто разставилъ ноги и выпучилъ глаза; но бо́льшая часть лежала на животахъ, упершись локтями о́-земь, а подбородкомъ о ладони: оно-де сподручнѣе.

Далѣе, двое молодцовъ тузили другъ друга по головѣ кулаками. Игра состояла въ томъ, что кто-де изъ насъ первый попроситъ пощады. И ни одному не хотѣлось просить ея. Уже оба противника побагровѣли какъ двѣ свеклы, но дюжіе кулаки не переставали стучать о головы, словно молоты о наковальни.

— Эй, не будетъ ли съ тебя, Хлопко?—спросилъ тотъ, который казался послабѣе.

— Небось, братъ, Андрюшка! когда будетъ—скажу. А вотъ тебѣ такъ сейчасъ плохо придется!

И кулаки продолжали стучать.

— Смотрите, братцы, вотъ Андрюшка тотчасъ свалится,— говорили зрители.

— Нѣтъ, не свалится!—отвѣчали другіе:—зачѣмъ ему свалиться, у него голова здорова!

— А вотъ увидишь, свалится!

Но Андрюшкѣ и подлинно не хотѣлось свалиться. Онъ изловчился, и вмѣсто чтобы ударить противника по макушкѣ, хватилъ его кулакомъ въ високъ.

Хлопко опрокинулся.

Многіе изъ зрителей захохотали, но бо̀льшая часть изъявила негодованіе.

— Не честно! не честно!—закричали они:—Андрюшка слукавилъ! Отодрать Андрюшку!

И Андрюшку тотчасъ же отодрали.

— Откуда молодцовъ Богъ несетъ? — спросилъ старый сказочникъ у нѣсколькихъ парней, которые подошли къ огню и робко озирались во всѣ стороны.

Ихъ привелъ ражій дѣтина съ широкимъ ножомъ за поясомъ, на парняхъ не было оружія, они казались новичками.

— Слышь, вы, соколики!—сказалъ, обращаясь къ нимъ, ражій дѣтина: — дѣдушка Коршунъ спрашиваетъ, откуда васъ Богъ принесъ? отвѣчайте дѣдушкѣ!

— Да оно, тово, вотъ какъ будетъ. Я-то изъ-подъ Москвы!— отвѣчалъ одинъ изъ парней, немного запинаясь.

— А зачѣмъ изъ гнѣздышка вылетѣлъ? — спросилъ Коршунъ:—нѣшто морозомъ охватило, али черезчуръ жарко стало?

— Стало-быть жарко! — отвѣчалъ парень:—какъ опричники избу-то запалили, такъ сперва стало жарко, а какъ сгорѣла-то изба, такъ и морозомъ охватило на дворѣ!

— Вотъ оно какъ. Ты парень не глупый. Ну, а ты чего пришелъ?

— А родни искать!

Разбойники захохотали.

— Вишь что̀ выдумалъ. Какой тебѣ родни?

— Да какъ убили опричники матушку да батюшку, сестеръ да братьевъ, скучно стало одному на свѣтѣ; думаю себѣ: пойду къ добрымъ людямъ; они меня накормятъ, напоятъ, будутъ мнѣ братьями да отцами! Встрѣтилъ въ кружалѣ вотъ этого молодца, да и попросилъ взять съ собою.

— Добрый ты парень! — сказали разбойники: — садись съ нами, хлѣбъ да соль, мы тебѣ будемъ братьями!

— А этотъ чего стоитъ, повѣся носъ, словно не солоно хлебалъ? Эй ты, плакса, что̀ губы надулъ? Откуда ты?

— Сподъ Коломны!—отвѣчалъ, лѣниво ворочая языкомъ дюжій молодой парень, стоявшій съ печальнымъ видомъ позади другихъ.

— Что-жъ, и тебя опричники обидѣли, что̀-ли?

— Нявѣсту взяли!—отвѣчалъ парень нѣхотя и протяжно.

— А ну-ка, разскажи!

— Да что̀ тутъ разсказывать! Наѣхали, да и взяли!

— Ну, а потомъ?

— Что̀-жъ потомъ? Потомъ ничаво!

— Зачѣмъ же ты не отбилъ невѣсты?

— Гдѣ-жъ ее было отбивать? какъ наѣхали, такъ и взяли!

— А ты на нихъ смотрѣлъ, разиня ротъ?

— Нѣтъ, опосля, какъ удрали-то, такъ ужъ та́къ осерчалъ, что Боже сохрани.

Разбойники опять захохотали.

— Да ты, братъ, видно, тяжелъ на подъемъ!

Парень скроилъ глупое лицо и не отвѣчалъ.

— Эй ты, пареная рѣпа! — сказалъ одинъ разбойникъ: — взяли у тебя невѣсту, такъ изъ-за этого еще нечего киснуть, другую найдешь!

Парень смотрѣлъ разиня ротъ и не говорилъ ни слова.

Лицо его разбойникамъ показалось забавнымъ.

— Слышь ты, съ тобой говорятъ!—сказалъ одинъ изъ нихъ, толкая его подъ бокъ.

Парень молчалъ.

Разбойникъ толкнулъ его крѣпче.

Парень посмотрѣлъ на него такъ глупо, что всѣ опять принялись хохотать.

Нѣсколько человѣкъ подошли къ нему и стали толкать его.

Парень не зналъ, сердиться ли ему или нѣтъ; но одинъ толчокъ сильнѣе другихъ вывелъ его изъ соннаго хладнокровія.

— Полно вамъ пхаться! — сказалъ онъ: — что̀ я вамъ, куль муки, что-ль, дался? Перестаньте, осерчаю!

Разбойники пуще стали смѣяться.

Парню и въ самомъ дѣлѣ хотѣлось разсердиться, только

лѣнь и природная сонливость превозмогали его гнѣвъ. Ему казалось, что не стоитъ сердиться изъ-за бездѣлицы, а важной-то причины не было!

— Серчай же, дурень!—сказали разбойники:—что-жъ ты не серчаешь?

— А нутка, толкните-ка ящо!

— Вишь, какой лакомый! На, вотъ тебѣ!

— А нутка крѣпчае!

— Вотъ тебѣ!

— Ну, теперь держись! — сказалъ парень, разсердясь наконецъ не на шутку.

Онъ засучилъ рукава, плюнулъ въ кулаки и принялся катать праваго и виноватаго. Разбойники не ожидали такого нападенія. Тѣ, которые были поближе, въ одинъ мигъ опрокинулись и сшибли съ ногъ товарищей. Вся ватага отхлынула къ огню; котелъ упалъ, и щи разлились на уголья.

— Тише, ты, тише, сатана! Чего расходился! Говорятъ тебѣ, тише!—кричали разбойники.

Но парень уже ничего не слыхалъ. Онъ продолжалъ махать кулаками вправо и влѣво, и каждымъ ударомъ сшибалъ по разбойнику, а иногда и по два.

— Вишь медвѣдь! — говорили тѣ, которые успѣвали отскочить въ сторону.

Наконецъ парень образумился. Онъ пересталъ драться и остановился посреди опрокинутыхъ и разбитыхъ горшковъ, почесывая затылокъ, какъ будто желая сказать:

— Что-жъ это я въ самомъ дѣлѣ надѣлалъ!

— Ну, братъ,—сказали разбойники, подымаясь на ноги и потирая ребра,—кабы ты тогда въ пору осерчалъ, не отбили бы у тебя невѣсты? Вишь какой Илья Муромецъ!

— Да какъ зовутъ тебя, молодца? — спросилъ старый разбойникъ.

— А Митькою!

— Ну Митька! Ай да Митька!

— Вотъ ужъ Митька!

— Ребята!—сказалъ, подбѣгая къ нимъ, одинъ молодецъ: — атаманъ опять началъ разсказывать про свое житье на Волгѣ. Всѣ бросили и пѣсни пѣть, и сказки слушать, сидятъ вокругъ атамана. Пойдемъ скорѣе, а то мѣста не найдемъ!

— Пойдемъ, пойдемъ слушать атамана! — раздалось между разбойниками.

На срубленномъ пнѣ, подъ тѣнью огромнаго дуба, сидѣлъ широкоплечій дѣтина, средняго роста, въ богатомъ зипунѣ, шитомъ золотомъ. Голову его покрывала мисюрка, или желѣзная круглая шапка, въ родѣ тафьи, называвшаяся также и наплѣшникомъ. Къ шапкѣ придѣлана была бармица или стальная кольчатая сѣть, защищавшая отъ сабельныхъ ударовъ затылокъ, шею и уши. Широкоплечій дѣтина держалъ въ рукѣ чеканъ, молотъ, заостренный съ задней стороны и насаженный на топорище. Въ этомъ убранствѣ трудно было бы узнать стараго нашего знакомца, Ванюху Перстня. Глаза его бѣгали во всѣ стороны. Изъ-подъ короткихъ черныхъ усовъ сверкали зубы столь ослѣпительной бѣлизны, что они, казалось, освѣщали все лицо его.

Разбойники молчали и слушали:

— Такъ вотъ, братцы,—говорилъ Перстень:—это еще не диковина, остановить обозъ, или боярина ограбить, когда васъ десятеро на одного. А вотъ была бы диковина, кабы одинъ остановилъ да ограбилъ человѣкъ пятьдесятъ или болѣ!

— Экъ хватилъ!—отозвались разбойники:—малаго захотѣлъ! Небось ты остановишь!

— Моя рѣчь не про меня, а знаю я молодца, что́ и одинъ обозы останавливалъ!

— Ужъ не опять ли твой волжскій богатырь!

— Да не кто другой. «Вотъ, примѣрно, тянулось разъ судишко на бичевѣ изъ-подъ Астрахани вверхъ по матушкѣ-Волгѣ. На судишкѣ-то народу было не мало: все купцы молодцы, съ пищалями, съ саблями, кафтаны нараспашку, шапки на бекрень, не хуже нашего брата. А грузу-то: золота, каменьевъ самоцвѣтныхъ, жемчугу, вещицъ астраханскихъ и

всякой дряни—еще, али полно! Берегъ-то высокій, бичевникъ-то узенькій, а среди Волги островъ: скала голая, да супротивъ теченья, словно ножомъ уголъ вышелъ, такой острый, что Боже упаси.

«Вотъ, провѣдалъ мой молодецъ, съ чѣмъ Богъ несетъ судно. Не сказавъ никому ни слова, пошелъ съ утра, засѣлъ въ кусты, въ усъ не дуетъ. Проходитъ часъ, проходитъ другой, идутъ, понатужившись, лямочники, человѣкъ двѣнадцать, одинъ за другимъ, налегли на ремни, да и кряхтятъ, высунувъ языки. Судишко-то видно не легонько, да и быстрина-то народу не подъ силу!

«Вотъ мой молодецъ и прожди, чтобъ они скалу-то остру миновали саженей на полсотни. Да какъ выскочитъ изъ-за кустовъ, да какъ хватитъ саблей поперекъ бичевы, такъ и перерубилъ пополамъ, а лямочники-то какъ шли сердечные, такъ и шлепнулись о-земь носами. Тутъ онъ кого кистенемъ, кого кулакомъ, а кто вскочилъ да давай Богъ ноги! Понесло судно назадъ по теченію прямо на скалу. Всполошились купцы, никто и стрѣлять не думаетъ; думаютъ только, какъ бы миновать уголъ, чтобы судна-то не разбить! А мой молодецъ одной рукой поймалъ бичеву, а другой ухватись за дерево да и останови судно.

«— Ей вы, аршинники, купцы! удалые молодцы! Бросайте въ воду сабли да пищали, честью прошу, не то бичеву пущу, такъ васъ и съ грузомъ поминай какъ звали!

«Купцы навели-было на богатыря стволики, да тотчасъ и опустили; думаютъ: какъ же это? убьемъ его, такъ некому и бичевы подержать!

«Нечего дѣлать, побросали оружіе въ воду, да только не все; думаютъ: какъ взойдешь, молодецъ, на палубу грабить судно, такъ мы тутъ тебѣ и карачунъ! Да мой богатырь не промахъ.

«— Добро,—говоритъ,—купчики-голубчики, пошло оружіе ко дну, ступайте-жъ и вы куда кому угодно! А сказать другими словами: прыгайте съ судна внизъ головами!

«Они, было, замялись, а онъ, ребятушки, зацѣпилъ бичеву за дерево, схватилъ пищаль да и пустилъ по нихъ пулю.

«Тутъ всѣ, сколько ни было ихъ, попрыгали въ воду словно лягушки.

«А онъ кричитъ:

«— Не плыть сюда, приставайте къ тому берегу, не то всѣхъ какъ утокъ перестрѣляю!»

— Что̀, ребята, каковъ богатырь?

— Молодецъ!—сказали разбойники:—вотъ ужъ подлинно молодецъ! Да что̀-жъ онъ съ судномъ-то сдѣлалъ?

— Съ судномъ-то? А намоталъ на руку бичеву, словно нитку съ бумажнымъ змѣемъ, да и вытащилъ судно на мель.

— Да что̀-жъ онъ ростомъ, съ Полкана, что-ли?

— Нѣтъ, не съ Полкана. Ростомъ-то онъ не болѣ мово, да плечики будутъ пошире!

— Шире твоихъ! Что̀-жъ это, на что̀-жъ онъ похожъ выходитъ!

— Да похожъ на молодца: голова кудластая, борода черная, сутуловатъ маленько, лицо плоское, да зато глаза посмотрѣть—страхъ!

— Воля твоя, атаманъ, ты про него говоришь, какъ про чудо какое, а намъ что-то не вѣрится. Ужъ молодцоватѣе тебя мы не видывали!

— Не видывали лучше меня! Да что̀ вы, дураки, видѣли! Да знаете-ли,—продолжалъ Перстень съ жаромъ:—знаете-ли, что̀ я передъ нимъ,—ничего! Дрянь, просто дрянь, да и только!

— Да какъ же зовутъ твоего богатыря?

— Зовутъ его, братцы, Ермакомъ Тимоѳеичемъ!

— Вишь, какое имя! Что-жъ онъ одинъ, что-ли, безъ шайки промышляетъ?

— Нѣтъ, не одинъ. Есть у него шайка добрая, есть и вѣрные эсаулики. Только разгнѣвался на нихъ царь православный. Послалъ на Волгу дружину свою разбить ихъ, голубчиковъ, а одному эсаулику, Ивану Кольцу, головушку велѣлъ отсѣчь да къ Москвѣ привезти.

— Что́-жъ, поймали его?

— Поймали-было царскіе люди Кольцо, только проскользнуло оно у нихъ промежъ пальцевъ, да и покатилось по бѣлу свѣту. Гдѣ оно теперь, сердечное, Богъ-вѣсть, только, я чаю, скоро опять на Волгу перекатится! Кто разъ побывалъ на Волгѣ, тому не ужиться на другой сторонушкѣ!

Замолчалъ атаманъ и задумался.

Задумались и разбойники. Опустили они буйныя головы на груди могучія и поглаживали, молча, усы длинные и бороды широкія. О чемъ думали удальцы разудалые, сидя на полянѣ, среди лѣса дремучаго? О молодости ли своей погибшей, когда были еще честными воинами и мирными поселянами? О матушкѣ ли Волгѣ серебряной? или о дивномъ богатырѣ, про котораго разсказывалъ Перстень? или думали они о хоромахъ высокихъ среди поля чистаго, о двухъ столбикахъ съ перекладинкой, о которыхъ, въ минуту грусти, думала въ то время всякая лихая, забубенная голова?

— Атаманъ! — вскричалъ одинъ разбойникъ, подбѣгая къ Перстню и весь запыхавшись:—верстъ пять отсюда, по рязанской дорогѣ ѣдутъ человѣкъ двадцать вершниковъ съ богатымъ оружіемъ, всѣ въ золоченыхъ кафтанахъ! Аргамаки и бахматы подъ ними рублей въ сто каждый или болѣ!

— Куда ѣдутъ?—спросилъ Перстень, вскакивая.

— Вотъ только-что поворотили къ Поганой-Лужѣ. Я какъ увидѣлъ, такъ напрямикъ сюда и прибѣжалъ болотомъ да лѣсомъ.

— Ну, ребята!—вскричалъ Перстень:—полно бобы на печи разводить! двадцать человѣкъ чтобы шли за мной!

— Ты, Коршунъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ старому разбойнику:—возьми двадцать другихъ, да засядьте у кривого дуба, отрѣжьте имъ дорогу, коли мы неравно опоздаемъ. Ну, живо за сабли!

Перстень взмахнулъ чеканомъ и сверкнулъ очами. Онъ походилъ на грознаго полководца среди послушнаго войска.

Прежнее свободное обращеніе разбойниковъ исчезло и уступило мѣсто безусловной покорности.

Въ одинъ мигъ сорокъ станичниковъ отошли отъ толпы и раздѣлились на два отряда.

— Эй, Митька!—сказалъ Коршунъ молодому парню изъ-подъ Коломны:—на̀ тебѣ посошокъ, ступай съ нами, да понатужься, авось осерчаешь!

Митька скроилъ глупую рожу, взялъ хладнокровно изъ рукъ старика огромную дубину, взвалилъ ее на плечи и пошелъ, переваливаясь, за своимъ отрядомъ къ кривому дубу.

Другой отрядъ, предводимый Перстнемъ, поспѣшилъ къ Поганой-Лужѣ, напереёмъ неизвѣстнымъ всадникамъ.

ГЛАВА XIV.

Опплеуха.

Въ то самое время, какъ Малюта и Хомякъ, сопровождаемые отрядомъ опричниковъ, везли незнакомца къ Поганой Лужѣ, Серебряный сидѣлъ въ дружеской бесѣдѣ съ Годуновымъ за столомъ, уставленнымъ кубками.

— Скажи, Борисъ Ѳедорычъ,—говорилъ Серебряный,—что̀ сталось съ царемъ сею ночью? съ чего поднялась вся Слобода на полунощницу? Аль то у васъ часто бываетъ?

Годуновъ пожалъ плечами.

— Великій государь нашъ,—сказалъ онъ:—часто жалѣетъ и плачетъ о своихъ злодѣяхъ, и часто молится за ихъ души. А что онъ созвалъ насъ на молитву ночью, тому дивиться нечего. Самъ Василій Великій во второмъ посланіи къ Григорію Назіанзину говоритъ, что̀ другимъ утро, то трудящимся въ благочестіи полунощь. Среди ночной тишины, когда ни очи, ни уши не допускаютъ въ сердце вредительнаго, пристойно уму человѣческому пребывать съ Богомъ!

— Борисъ Ѳедорычъ! Случалось мнѣ видѣть и прежде, какъ царь молился; оно было не такъ. Все теперь стало иначе. И опричнины я въ толкъ не возьму. Это не монахи, а разбойники.

Немного дней какъ я на Москву вернулся, а столько неистовыхъ дѣлъ наслышался и насмотрѣлся, что и повѣрить трудно. Должно быть, обошли государя. Вотъ ты, Борисъ Ѳедорычъ, близокъ къ нему, онъ любитъ тебя, что-бъ тебѣ сказать ему про опричнину?

Годуновъ улыбнулся простотѣ Серебрянаго.

— Царь милостивъ ко всѣмъ,—сказалъ онъ съ притворнымъ смиреніемъ:—и меня жалуетъ не по заслугамъ. Не мнѣ судить о дѣлахъ государскихъ, не мнѣ царю указывать. А опричнину понять не трудно: вся земля государева, всѣ мы подъ его высокою рукою; что возьметъ государь на свой обиходъ, то и его, а что намъ оставитъ, то наше; кому велитъ быть около себя, тѣ къ нему близко, а кому не велитъ, тѣ далеко. Вотъ и вся опричнина.

— Такъ, Борисъ Ѳедорычъ, когда ты говоришь, оно выходитъ гладко, а на дѣлѣ не то. Опричники губятъ и насилуютъ земщину хуже татаръ. Нѣтъ на нихъ никакого суда. Вся земля отъ нихъ гибнетъ! Ты бы сказалъ царю. Онъ бы тебѣ повѣрилъ!

— Князь Никита Романычъ, много есть зла на свѣтѣ. Не потому люди губятъ людей, что одни опричники, другіе земскіе, а потому, что и тѣ и другіе—люди! Положимъ, я бы сказалъ царю; что-жъ изъ того выйдетъ! Всѣ на меня подымутся и самъ царь на меня же опалится!..

— Что-жъ? Пусть опалится, а ты сдѣлалъ по совѣсти,—сказалъ ему правду!

— Никита Романычъ! Правду сказать не долго, да говорить-то надо умѣючи. Кабы сталъ я перечить царю, давно бы меня здѣсь не было, а не было-бъ меня здѣсь, кто-бъ тебя вчера отъ плахи спасъ?

— Что дѣло, то дѣло, Борисъ Ѳедорычъ, дай Богъ тебѣ здоровья, пропалъ бы я безъ тебя!

Годуновъ подумалъ, что убѣдилъ князя.

— Видишь ли, Никита Романычъ,—продолжалъ онъ:—хорошо стоять за правду, да одинъ въ полѣ не воевода. Что-бъ

ты сдѣлалъ, кабы примѣрно сорокъ воровъ стали при тебѣ рѣзать безвиннаго?

— Что-бъ сдѣлалъ? А хватилъ бы саблею по всѣмъ по сорока и сталъ бы крошить ихъ доколѣ-бъ души Богу не отдалъ!

Годуновъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— И отдалъ бы душу, Никита Романычъ,—сказалъ онъ:—на пятомъ, много на десятомъ ворѣ; а остальные все-таки-бъ зарѣзали безвиннаго. Нѣтъ, лучше не трогать ихъ, князь; а какъ станутъ они обдирать убитаго, тогда крикнуть, что Степкаде взялъ на себя болѣе Мишки, такъ они и сами другъ друга перерѣжутъ!

Серебряному былъ такой отвѣтъ не по-сердцу. Годуновъ замѣтилъ это и перемѣнилъ разговоръ.

— Вишь,—сказалъ онъ, глядя въ окно:—кто это сюда скачетъ, сломя шею? Смотри, князь, никакъ твой стремянный?

— Врядъ ли! — отвѣчалъ Серебряный:—онъ отпросился у меня сегодня верстъ за двадцать на богомолье...

Но, вглядѣвшись пристальнѣе во всадника, князь въ самомъ дѣлѣ узналъ Михеича. Старикъ былъ блѣденъ какъ смерть. Сѣдла подъ нимъ не было; казалось, онъ вскочилъ на перваго коня, попавшагося подъ руку, а теперь, вопреки приличію, влетѣлъ на дворъ, подъ самыя красныя окна.

— Батюшка, Никита Романычъ!—кричалъ онъ еще издали:—ты пьешь, ѣшь, прохлажаешься, а кручинушки-то не вѣдаешь! Сейчасъ встрѣтилъ я, вонъ за церквой, Малюту Скуратова да Хомяка, оба верхомъ! а промежъ нихъ, руки связаны, кто бы ты думалъ? Самъ царевичъ, самъ царевичъ, князь! Надѣли они на него черный башлыкъ, проклятые, только вѣтромъ-то сдуло башлыкъ, я и узналъ царевича! Посмотрѣлъ онъ на меня, словно помощи проситъ, а Малюта, тётка его подкурятина, подскочилъ, да опять и нахлобучилъ ему башлыкъ на лицо!

Серебряный вспрянулъ съ мѣста.

— Слышишь, слышишь, Борисъ Ѳедорычъ!—вскричалъ онъ, сверкая глазами.—Али ждать еще, чтобы воры перессорились межъ собой!—И онъ бросился съ крыльца.

— Давай коня!—крикнулъ онъ, вырывая узду изъ рукъ Михеича.

— Да это,—сказалъ Михеичъ:—конь-то не по тебѣ, батюшка; это конь плохой, да и сѣдла-то на немъ нѣтути... да и какъ же тебѣ на такомъ конѣ къ царю ѣхать?..

Но князь уже вскочилъ и полетѣлъ не къ царю, а въ погоню за Малютой...

Есть старинная пѣсня, можетъ быть, современная Іоанну, которая описываетъ по своему приводимое здѣсь событіе:

Когда зачиналась каменна Москва,
Зачинался царь Иванъ, государь Васильевичъ.
Какъ ходилъ онъ подъ Казань городъ,
Подъ Казань городъ, подъ Астрахань:
Онъ Казань городъ мимоходомъ взялъ,
Полонилъ царя и съ царицею;
Выводилъ измѣну изъ Пскова,
Изъ Пскова и изъ Новгорода.
Какъ бы вывесть измѣну изъ каменной Москвы!
Что̀ возговоритъ Малюта, злодѣй Скурлатовичъ:
„Ахъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!
„Не вывесть тебѣ измѣнушки до вѣку!
„Сидитъ супротивникъ-супротивъ тебя,
„Ѣстъ съ тобой съ одного блюда,
„Пьетъ съ тобой съ одного ковша,
„Платье носитъ съ одного плеча!“
И тутъ царь догадается,
На царевича осержается.
„Ахъ вы гой еси, князья и бояре!
„Вы берите царевича подъ бѣлы руки,
„Надѣвайте на него платье черное,
„Поведите его на то болото жидкое,
„На тое ли Лужу-Поганую,
„Вы предайте его скорой смерти!“
Всѣ бояре разбѣжалися,
Одинъ остался Малюта злодѣй,
Онъ бралъ царевича за бѣлы руки,
Надѣвалъ на него платье черное,
Повелъ на болото жидкое,
Что на ту ли Лужу-Поганую.

Провѣдалъ слуга Никиты Романыча,
Садился на лошадь водовозную,
Скоро скакалъ къ Никитѣ Романычу:
„Гой еси, батюшка Никита Романычъ!
„Ты пьешь, ѣшь, прохлажаешься,
„Надъ собой кручинушки не вѣдаешь!
Упадаетъ звѣзда поднебесная,
„Угасаетъ свѣча воску яраго,
„Не становится млада царевича!“
Никита Романычъ испугается,
Садится на лошадь водовозную,
Скоро скачетъ на болото жидкое,
Что на ту ли Лужу-Поганую.
Онъ ударилъ Малюту по щекѣ:
„Ты Малюта, Малюта Скурлатовичъ!
„Не за свой ты кусъ принимаешься,
„Ты этимъ кусомъ подавишься!..“

Пѣсня эта, можетъ быть, и не сходная съ дѣйствительными событіями, согласна, однако, съ духомъ того вѣка. Не много и не ясно доходили до народа извѣстія о томъ, что случалось при царскомъ дворѣ или въ кругу царскихъ приближенныхъ, но въ то время, когда сословія еще не были разъединены нравами и не жили врозь одно отъ другого, извѣстія эти, даже искаженныя, не выходили изъ границъ правдоподобія и носили на себѣ печать общей жизни и общихъ понятій.

Таковъ ли ты былъ, князь Никита Романовичъ, какимъ воображаю тебя—про то знаютъ лишь стѣны кремлевскія да древніе дубы подмосковные! Но такимъ ты предсталъ мнѣ въ часъ тихаго мечтанія, въ вечерній часъ, когда поля покрывались мракомъ, вдали замиралъ шумъ хлопотливаго дня, а вблизи все было безмолвно, и лишь вѣтеръ шелестилъ въ листьяхъ, и лишь жукъ вечерній пролеталъ мимо. И грустно, и больно сказывалась во мнѣ любовь къ родинѣ, и ясно выступала изъ тумана наша горестная и славная старина, какъ будто взамѣнъ зрѣнія, загораждаемаго темнотою, открывалось во мнѣ внутреннее око, которому столѣтія не составляли преграды. Такимъ предсталъ ты мнѣ, Никита Романовичъ, и ясно увидѣлъ

я тебя, летящаго на конѣ въ погоню за Малютой, и перенесся я въ твое страшное время, гдѣ не было ничего невозможнаго!

Забылъ Серебряный, что онъ безъ сабли и пистолей, и не было ему нужды, что конь подъ нимъ старъ. А былъ то добрый конь въ свое время, прослужилъ онъ лѣтъ двадцать и на войнѣ, и въ походахъ; только не выслужилъ себѣ покою на старости; выслужилъ упряжь водовозную, сѣно гнилое да удары палочные!

Теперь почуялъ онъ на себѣ сѣдока могучаго и вспомнилъ о прежнихъ дняхъ, когда носилъ богатырей въ грозныя сѣчи и кормили его отборнымъ зерномъ, и поили медвяною сытой. И раздулъ онъ красныя ноздри, и вытянулъ шею, и летитъ въ погоню за Малютой Скуратовымъ.

Скачетъ Малюта во дремучемъ лѣсу съ своими опричниками. Онъ торопитъ ихъ къ Поганой-Лужѣ, поправляетъ башлыкъ на царевичѣ, чтобъ не знали опричники кого везутъ на смерть. Кабы узнали они, отступились бы отъ Малюты, схоронились бы бо́льшій за меньшаго. Но думаютъ опричники, что скачетъ простой человѣкъ межъ Хомяка и Малюты, и только дивятся, что везутъ его казнить такъ далеко.

Торопитъ Малюта опричниковъ, серчаетъ на коней, бьетъ ихъ плетью по крутымъ бедрамъ.

— Ахъ вы, волчья сыть, травяные мѣшки! Не одумался-бъ царь, не послалъ бы за нами погони!

Скачетъ злодѣй Малюта во дремучемъ лѣсу, смотрятъ на него пташки, вытянувъ шейки, летятъ надъ нимъ черные вороны—ужъ близко Поганая-Лужа!

— Эй,—говоритъ Малюта Хомяку,—никакъ стучатъ за нами чужія подковы?

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ Хомякъ:—то отъ нашихъ коней топотъ въ лѣсу раздается.

И пуще торопитъ Малюта опричниковъ, и чаще бьетъ коней по крутымъ бедрамъ.

— Эй,—говоритъ онъ Хомяку:—никакъ кто-то кричитъ за нами?

— Нѣтъ, — отвѣчаетъ Хомякъ: — то нашу молвь отголоски разносятъ.

И серчаетъ Малюта на коней.

— Ахъ вы, волчья сыть, травяные мѣшки! Ой, не было-бъ за нами погони!

Вдругъ слышитъ Малюта за собою:

— Стой, Григорій Лукьянычъ!

Серебряный былъ у Скуратова за плечами. Не выдалъ его старый конь водовозный.

— Стой, Малюта! — повторилъ Серебряный и, нагнавъ Скуратова, ударилъ его въ щеку рукою могучею.

Силенъ былъ ударъ Никиты Романовича. Раздалася пощечина словно выстрѣлъ пищальный; загудѣлъ сыръ-боръ, посыпались листья; бросились звѣри со всѣхъ ногъ въ чащу; вылетѣли изъ дупелъ пучеглазыя совы; а мужики, далеко оттолѣ дравшіе лыки, посмотрѣли другъ на друга и сказали, дивясь:

— Слышь, какъ треснуло! ужъ не старый ли дубъ надломился надъ Поганою-Лужей?

Малюта свалился съ сѣдла. Бѣдный старый конь Никиты Романовича споткнулся, покатился и испустилъ духъ.

— Малюта! — вскричалъ князь, вскочивъ на ноги: — не за свой ты кусъ принимаешься! Ты этимъ кусомъ подавишься!

И вырвавъ изъ ноженъ саблю Малюты, онъ замахнулся разрубить ему черепъ.

Внезапно другая сабля свистнула надъ головою князя. Матвѣй Хомякъ прилетѣлъ господину на помощь. Завязался бой межъ Хомякомъ и Серебрянымъ. Опричники напали съ голыми саблями на князя, но деревья и ломъ защитили Никиту Романовича, не дали всѣмъ вдругъ окружить его.

«Вотъ, — думалъ князь, отбивая удары: — придется животъ положить, не спася царевича! Кабы далъ Богъ хоть съ полчаса подержаться, авось подоспѣла бы откуда-нибудь подмога!»

И лишь только онъ подумалъ, какъ пронзительный свистъ раздался въ лѣсу; ему отвѣчали громкіе окрики. Одинъ оприч-

никъ, уже занесшій саблю на князя, упалъ съ раздробленною головой; а надъ трупомъ его явился Ванюха Перстень, махая окровавленнымъ чеканомъ. Въ тотъ же мигъ разбойники, какъ стая волковъ, бросились на Малютиныхъ слугъ, и пошла между ними рукопашная. Хотѣлъ бы Малюта со своими дать дружный напускъ на враговъ, да негдѣ было разогнаться, все пришелъ лѣсъ да валежникъ. Многіе легли на мѣстѣ; но другіе скоро оправились. Крикнули гой-да! и потоптали удалую вольницу. Самъ Перстень, раненый въ руку, уже слабѣе разилъ чеканомъ какъ новый свистъ раздался въ лѣсу.

— Стойте дружно, ребята!—закричалъ Перстень:—то дѣдушка Коршунъ идетъ на прибавку!

И не успѣлъ онъ кончить рѣчи, какъ Коршунъ съ своимъ отрядомъ ударилъ на опричниковъ, и зачался межъ ними бой великій, свальный, самый красный.

Трудно было всадникамъ стоять въ лѣсу противъ пѣшихъ. Кони вздымались на дыбы, падали навзничь, давили подъ собой сѣдоковъ. Опричники отчаялись на смерть. Сабля Хомяка свистѣла какъ вихрь, надъ головой его сверкала молнія.

Вдругъ среди общей свалки сдѣлалось колебанье. Дюжій Митька буравилъ толпу и лѣзъ прямо на Хомяка, валяя безъ разбору и чужихъ, и своихъ. Митька узналъ похитителя невѣсты. Поднявъ обѣими руками дубину, онъ грянулъ ею въ своего недруга. Хомякъ отшатнулся, ударъ палъ въ конскую голову, конь покатился мертвый, дубина переломилась.

— Погоди! сказалъ Митька, наваливаясь на Хомяка:—теперь не уйдешь!

Кончилась битва. Не съ кѣмъ было болѣе драться; всѣ опричники легли мертвые, одинъ Малюта спасся на лихомъ аргамакѣ.

Стали разбойники считать своихъ и многихъ не досчитались. Было и между ними довольно урону.

— Вотъ, — сказалъ Перстень, подходя къ Серебряному и стирая потъ съ лица:—вотъ, бояринъ, гдѣ довелось свидѣться!

Серебряный, съ первымъ появленіемъ разбойниковъ, бро-

сился къ царевичу и отвелъ его коня въ сторону; царевичъ былъ привязанъ къ сѣдлу. Серебряный саблею разрѣзалъ веревки, помогъ царевичу сойти и снялъ платокъ, которымъ ротъ его былъ завязанъ. Во все время сѣчи князь отъ него не отходилъ и заслонялъ его собою.

— Царевичъ,—сказалъ онъ, видя, что станичники уже принялись грабить мертвыхъ и ловить разбѣжавшихся коней,— битва кончена, всѣ твои злодѣи полегли, одинъ Малюта ушелъ, да я чаю, и ему не сдобровать, когда царь велитъ сыскать его!

При имени царевича, Перстень отступилъ назадъ.

— Какъ?—сказалъ онъ:—это самъ царевичъ? Сынъ государевъ? Такъ вотъ за кого Богъ привелъ постоять! Такъ вотъ кого они, собаки, связамши везли!

И атаманъ повалился Іоанну Іоанновичу въ ноги.

Вѣсть о его присутствіи быстро разнеслась межъ разбойниковъ. Всѣ бросили выворачивать карманы убитыхъ и пришли бить челомъ царевичу.

— Спасибо вамъ, добрые люди!—сказалъ онъ ласково, безъ обычнаго своего высокомѣрія: — кто-бъ вы ни были, спасибо вамъ!

— Не на чемъ, государь!—отвѣчалъ Перстень:—кабы зналъ я, что это тебя везутъ, я бы привелъ съ собою не сорокъ молодцовъ, а сотенки двѣ; тогда не удралъ бы отъ насъ этотъ Скурлатычъ; взяли-бъ мы его живьемъ, да при тебѣ бы вздернули. Впрочемъ, есть у насъ, кажись, его стремянный; онъ же мнѣ старый знакомый, а на безрыбьи и ракъ рыба. Эй, молодецъ, у тебя онъ, что-ли?

— У меня!—отвѣчалъ Митька, лежа на животѣ и не выпуская изъ-подъ себя своей жертвы.

— Давай его сюда, небось, не уйдетъ! А вы, ребятушки, разложите-ка огоньку для допросу, да приготовьте веревку, аль, пожалуй, хоть чумбуръ отрѣжь.

Митька всталъ. Изъ-подъ него поднялся здоровый дѣтина; но лишь только онъ обернулся лицомъ къ разбойникамъ, всѣ вскрикнули отъ удивленія.

— Хлопко!—раздалося отовсюду: — да это Хлопко! это онъ Хлопка притиснулъ вмѣсто опричника.

Митька смотрѣлъ разиня ротъ.

Хлопко насилу дышалъ.

— Ишь, — проговорилъ наконецъ Митька: — такъ это я, должно-быть, тебя придавилъ! Чаво-жъ ты молчалъ?

— Г'дѣ-жъ мнѣ было говорить, коли ты у меня на горлѣ сидѣлъ, тюлень этакій! Тьфу!

— Да чаво-жъ ты подвернулся?

— Чаво, чаво! Какъ ты, медвѣдь, треснулъ коня по лбу, такъ сѣдокъ-то на меня и свалился, а ты, болванъ, вмѣсто чтобы на него да на меня и сѣлъ, да и давай душить сдуру, знай обрадовался!

— Ишь!—сказалъ Митька;—вотъ што!—и почесалъ затылокъ.

Разбойники захохотали. Самъ царевичъ улыбнулся. Хомяка нигдѣ не могли найти.

— Нечего дѣлать, — сказалъ Перстень: — видно не доспѣлъ ему часъ, а жаль, право! Ну, такъ и быть, дастъ Богъ, въ другой разъ не свернется! А теперь дозволь, государь, я тебя съ ребятами до дороги провожу. Совѣстно мнѣ, государь! Не приходилось бы мнѣ, худому человѣку, и говорить съ твоею милостью, да что-жъ дѣлать, безъ меня тебѣ отселѣ не выбраться!

— Ну, ребята,—продолжалъ Перстень:—собирайтесь оберегать его царскую милость. Вотъ ты, бояринъ,—сказалъ онъ, обращаясь къ Серебряному: — ты бы сѣлъ на этого коня, а я себѣ, пожалуй, вотъ этого возьму. Тебѣ, дядя Коршунъ, я чай, пѣшому будетъ сподручнѣе, а тебѣ, Митька, и подавно!

— Ништо!—сказалъ Митька, ухватясь за гриву одного коня, который отъ этого покачнулся на сторону:—и я сяду!

Онъ занесъ ногу въ стремя, но не могши попасть въ него, взвалился на коня животомъ, проѣхалъ такъ нѣсколько саженъ рысью и наконецъ уже взобрался на сѣдло.

— Эхва! — закричалъ онъ, болтая ногами и подкидывая локти.

Вся толпа двинулась изъ лѣсу, окружая царевича.

Когда показалось наконецъ поле, а вдали запестрѣла крыша Александровой Слободы, Перстень остановился.

— Государь,—сказалъ онъ, соскакивая съ коня:—вотъ твоя дорога, вонъ и Слобода видна. Не пристало намъ долѣ съ твоею царскою милостью оставаться. Къ тому-жъ тамъ пыль по дорогѣ встаетъ; должно-быть, идутъ ратные люди. Прости, государь, не взыщи; поневолѣ Богъ свелъ!

— Погоди, молодецъ!—сказалъ царевичъ, который, по миновaніи опасности, началъ возвращаться къ своимъ прежнимъ пріемамъ. — Погоди, молодецъ! Скажи-ка напередъ, какого ты боярскаго рода, что золоченый зипунъ носишь?

— Государь,—отвѣтилъ скромно Перстень:—много насъ здѣсь бояръ безъ имени-прозвища, много князей безъ роду-племени. Носимъ, что̀ Богъ послалъ!

— А знаешь ли,—продолжалъ строго царевичъ:—что такимъ князьямъ, какъ ты, высокія хоромы на площади ставятъ, и что ты самъ своего зипуна не стоишь? Не сослужи ты мнѣ службы сегодня, я велѣлъ бы тѣмъ ратникамъ всѣхъ васъ перехватать да къ Слободѣ привести. Но ради сегодняшняго дѣла, я твое прежнее воровство на милость кладу, и батюшкѣ царю за тебя слово замолвлю, коли ты ему повинную принесешь!

— Спасибо на твоей ласкѣ, государь, много тебѣ благодарствую; только не пришло еще мнѣ время нести царю повинную. Тяжелы мои грѣхи передъ Богомъ; велики винности передъ государемъ, врядъ ли проститъ меня батюшка царь, а хоча-бы и простилъ, такъ не приходится бросать товарищей!

— Какъ?— сказалъ удивленный царевичъ: — ты не хочешь оставить воровства своего, когда я самъ тебѣ мой упросъ обѣщаю? Видно, грабить-то по дорогамъ прибыльнѣе, чѣмъ честно жить?

Перстень погладилъ черную бороду и лукавою усмѣшкой выказалъ два ряда ровныхъ и бѣлыхъ зубовъ, отъ которыхъ загорѣлое лицо его показалось еще смуглѣе.

— Государь!—сказалъ онъ:— на то и щука въ морѣ, чтобы ка-

рась не дремалъ! Не привыченъ я ни къ ратному строю, ни къ торговому дѣлу. Прости, государь; вонъ ужъ пыль сюда подвигается; пора назадъ; рыба ищетъ гдѣ поглубже, а нашъ братъ—гдѣ мѣсто покрѣпче!

И Перстень исчезъ въ кустахъ, уводя за собою коня. Разбойники одинъ за другимъ пропали межъ деревьевъ, а царевичъ самъ другъ съ Серебрянымъ поѣхали къ Слободѣ и вскорѣ встрѣтились съ отрядомъ конницы, которую велъ Борисъ Годуновъ.

Что дѣлалъ царь во все это время? Послушаемъ, что говоритъ пѣсня и какъ она выражаетъ народныя понятія того вѣка.

Что́ возговоритъ грозный царь:
„Ахъ вы гой еси, князья мои бояре!
„Надѣвайте платье черное,
„Собирайтеся ко заутрени,
„Слушать по царевичѣ панихиду,
„Я всѣхъ васъ, бояре, въ котлѣ сварю!“
Всѣ бояре испугалися,
Надѣвали платье черное,
Собиралися ко заутрени,
Слушать по царевичѣ панихиду.
Пріѣхалъ Никита Романовичъ,
Нарядился въ платье цвѣтное,
Привезъ съ собой млада царевича,
И поставилъ за дверьми сѣверны.
Что возговоритъ грозный царь:
„Ахъ ты гой еси, Никита Романовичъ!
„Что въ глаза-ль ты мнѣ насмѣхаешься?
„Какъ упала звѣзда поднебесная,
„Что угасла свѣча воску яраго,
„Не стало у меня млада царевича!“
Что́ возговоритъ Никита Романовичъ:
„Ахъ ты гой еси, надежа, православный царь!
„Мы не станемъ по царевичѣ панихиду пѣть,
„А станемъ мы пѣть молебенъ заздравный!“
Онъ бралъ царевича за бѣлу руку,
Выводилъ изъ-за сѣверныхъ дверей.
Что́ возговоритъ грозный царь:
„Ты, Никита, Никита Романовичъ!
„Еще чѣмъ мнѣ тебя пожаловать?

„Или тебѣ полцарства дать?
„Или золотой казны сколько надобно?
„— Ахъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!
„Не сули мнѣ полцарства, ни золотой казны,
„Только дай мнѣ злодѣя Скурлатова:
„Я сведу на то болото жидкое,
„Что̀ на ту ли Лужу-Поганую!“
Что возговоритъ царь Иванъ Васильичъ:
„Еще вотъ тебѣ Малюта злодѣй,
„И дѣлай съ нимъ что̀ хочешь ты!“

Такъ гласитъ пѣсня; но не такъ было на дѣлѣ. Лѣтописи показываютъ намъ Малюту въ чести у Ивана Васильевича еще долго послѣ 1565 года. Много любимцевъ, въ разныя времена, пали жертвою царскихъ подозрѣній. Не стало ни Басмановыхъ, ни Грязного, ни Вяземскаго, но Малюта ни разу не испыталъ опалы. Онъ, по предсказанію старой Онуфревны, не пріялъ своей муки въ этой жизни и умеръ честною смертію. Въ обиходѣ монастыря св. Іосифа Волоцкаго, гдѣ погребено его тѣло, сказано, что онъ убитъ на государскомъ дѣлѣ подъ Пайдою.

Какъ оправдался Малюта въ клеветѣ своей—мы не знаемъ. Можетъ быть, Іоаннъ, когда успокоилась встревоженная душа его, приписалъ поступокъ любимца обманутому усердію; можетъ быть, не вполнѣ отказался отъ подозрѣній на царевича. Какъ бы то ни было, Скуратовъ не только не потерялъ довѣрія царскаго, но съ этой поры сталъ еще драгоцѣннѣе Іоанну. Доселѣ одна Русь ненавидѣла Малюту, теперь сталъ ненавидѣть его и самый царевичъ; Іоаннъ былъ отнынѣ единственною опорой Малюты. Общая ненависть ручалась царю за его вѣрность.

Намекъ на Басманова также не прошелъ даромъ. Въ Іоанновомъ сердцѣ остался зародышъ подозрѣнія, и хотя не тотчасъ пустилъ въ немъ корни, но значительно охладилъ расположеніе его къ своему кравчему, ибо царь никогда не прощалъ тому, кого однажды опасался, хотя бы впослѣдствіи и самъ призналъ свое опасеніе напраснымъ.

ГЛАВА XV.

Поцѣлуйный обрядъ.

Пора намъ возвратиться къ Морозову. Смущеніе Елены въ присутствіи Серебрянаго не ускользнуло отъ проницательности боярина. Правда, сначала онъ подумалъ, что встрѣча съ Вяземскимъ тому причиной, но впослѣдствіи новое подозрѣніе зародилось въ душѣ его.

Простившись съ княземъ и проводивъ его до сѣней, Морозовъ возвратился въ избу. Навислыя брови его были грозно сдвинуты; глубокія морщины бороздили чело; его бросало въ жаръ, ему было душно. «Елена теперь спитъ,—подумалъ онъ:— она не будетъ ждать меня; пройдусь я по саду, авось освѣжу свою голову».

Морозовъ вышелъ; въ саду было темно. Подходя къ оградѣ, онъ увидалъ бѣлую ферязь. Онъ сталъ всматриваться.

Внезапно любовныя рѣчи поразили его слухъ. Старикъ остановился. Онъ узналъ голосъ жены. За оградою рисовался на звѣздномъ небѣ неопредѣленный образъ всадника. Незнакомецъ нагнулся къ Еленѣ и что-то говорилъ ей. Морозовъ притаилъ дыханіе, но порывъ вѣтра потрясъ вершины деревъ и умчалъ слова и голосъ незнакомца. Кто былъ этотъ незнакомецъ? Ужели Вяземскій успѣлъ своею настойчивостью склонить къ себѣ Елену? Загадочно женское сердце! Ему нравится сегодня, что̀ вчера возбуждало его ненависть! Или уже не Серебряный ли назначилъ свиданіе женѣ его? Кто знаетъ? Быть можетъ, князь, котораго онъ принялъ какъ сына, нанесъ ему въ тотъ же день кровавое оскорбленіе, ему, лучшему другу отца его; ему, который готовъ былъ подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть Серебрянаго отъ царскаго гнѣва.

«Но нѣтъ, — подумалъ Морозовъ: — это не Серебряный! Это какой-нибудь опричникъ, новый любимецъ царскій. Имъ не въ диковину безчестить столбового боярина. А жена-то, змѣя подколодная! Ужъ ее ли не любилъ я! Ее ли не держалъ какъ

дочь родную! И не вольною ли волей вышла она за меня? Не благодарила-ль меня, лукавая? Не клялась ли мнѣ въ вѣрности? Нѣтъ, не надѣйся, Дружина Андреичъ, на вѣрность женскую! Женская вѣрность—теремъ высокій, дверь дубовая, да запоры желѣзные! Поторопился, Дружина Андреичъ, вручать дѣвкѣ честь свою! Обуяло тебя, стараго, сердце пылкое! Провела тебя жена, молодая змѣя; посмѣются надъ тобою люди московскіе!»

Такъ думалъ Морозовъ и мучился догадками. Ему хотѣлось ринуться впередъ. Но всадникъ могъ ускакать, и бояринъ не узналъ бы врага своего. Онъ рѣшился повременить.

Какъ нарочно въ эту ночь вѣтеръ не переставалъ шумѣть, а мѣсяцъ не выходилъ изъ-за облакъ. Морозовъ не узналъ ни лица, ни голоса всадника. Онъ только разслышалъ, что боярыня сказала ему сквозь слезы:

— Я люблю тебя болѣ жизни, болѣ солнца краснаго! Я никого, кромѣ тебя, не любила и любить не могу, и не буду.

Вскорѣ Елена прошла мимо Морозова, не замѣтивъ его. Медленно послѣдовалъ за нею Дружина Андреичъ.

На другой день онъ не показалъ и виду, что подозрѣваетъ Елену. Онъ былъ съ нею попрежнему привѣтливъ и ласковъ. По временамъ лишь, когда она того не примѣчала, бояринъ забывался, сдвигалъ брови и грозно смотрѣлъ на Елену. Страшную думу думалъ тогда Дружина Андреичъ. Онъ думалъ, какъ бы сыскать ему своего недруга.

Прошло дня четыре. Морозовъ сидѣлъ въ брусяной избѣ за дубовымъ столомъ на столѣ лежала разогнутая книга, оболоченная червчатымъ бархатомъ, съ серебряными застежками и жуками. Но бояринъ думалъ не о чтеніи. Глаза его скользили надъ пестрыми заголовками и узорными травами страницы, а воображеніе бродило отъ жениной свѣтлицы къ садовой оградѣ.

Наканунѣ этого дня Серебряный возвратился изъ Слободы и, по данному обѣщанію, посѣтилъ Морозова.

Елена въ этотъ день сказалась больною и не вышла изъ свѣтлицы. Морозовъ ни въ чемъ не измѣнилъ своего обраще-

нія съ Никитой Романовичемъ. Но, поздравляя его съ счастливымъ возвратомъ и потчуя прилежно дорогого гостя, онъ не переставалъ вникать въ выраженіе его лица и старался уловить на немъ признаки предательства. Серебряный былъ задумчивъ, но простъ и откровененъ попрежнему; Морозовъ не узналъ ничего.

И вотъ о чемъ думалъ онъ теперь, сидя за столомъ передъ разогнутою книгой.

Размышленія его перервалъ вошедшій слуга, но, увидя нахмуренный лобъ Морозова, онъ почтительно остановился. Морозовъ вопросилъ его взглядомъ.

— Государь!—сказалъ слуга:—ѣдутъ царскіе люди. Преди всѣхъ князь Аѳанасій Иванычъ Вяземскій; они ужъ близко, прикажешь встрѣчать?

Въ то же время послышался звонъ бубна, въ который билъ кожаною плетью, или вощагой, передовой холопъ, чтобы разгонять народъ и очищать дорогу господину.

— Вяземскій ѣдетъ ко мнѣ?—сказалъ Морозовъ.—Что онъ, рехнулся? Да, можетъ, онъ ѣдетъ мимо. Ступай къ воротамъ и подожди, а если онъ поворотитъ сюда, скажи ему, что мой домъ не кружало, что опричниковъ я не знаю и съ ними хлѣба-соли не веду! Ступай!

Слуга колебался.

— Что же еще?—спросилъ Морозовъ.

— Бояринъ, твоя надо мной воля, а этого не скажу Вяземскому!

— Ступай!—закричалъ Морозовъ и топнулъ ногой.

— Бояринъ!—сказалъ, вбѣгая, дворецкій:—князь Вяземскій съ опричниками подъѣзжаетъ къ нашимъ воротамъ! Князь говоритъ, я-де посланъ отъ самого государя.

— Отъ государя? Онъ тебѣ сказалъ—отъ государя? Настежь ворота! Подайте золотое блюдо съ хлѣбомъ-солью! Вся дворня чтобы шла на встрѣчу посланнымъ государя!

Между тѣмъ, ближе и ближе слышались звонъ и бряцанье бубна; человѣкъ двадцать всадниковъ, а впереди Аѳанасій

Иванычъ на статномъ караковомъ жеребцѣ, въ серебряной сбруѣ, въѣхали шагомъ на дворъ Морозова. На князѣ былъ бѣлый атласный кафтанъ. Изъ-за низко вырѣзаннаго ворота виднѣлось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужныя запястья плотно стягивали у кистей широкіе рукава кафтана, небрежно подпоясаннаго малиновымъ шолковымъ кушакомъ, съ выпущенною въ два конца золотою бахромой, съ заткнутыми по бокамъ узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были въ желтые сафьянные сапоги, съ серебряными скобами на каблукахъ, съ голенищами, шитыми жемчугомъ и спущенными въ частыхъ складкахъ до половины икоръ. Поверхъ кафтана надѣтъ былъ въ накидку шолковый легкій опашень золотистаго цвѣта, застегнутый на груди двойною алмазною запоной. Голову князя покрывала бѣлая парчевая мурмолка съ гибкимъ алмазнымъ перомъ, которое качалось отъ каждаго движенія, играя солнечными лучами. Черныя кудри Аѳанасія Ивановича, выбѣгая изъ-подъ шапки, смѣшивались съ его бородой, короткой и кудрявою. Легкій усъ образовывалъ надъ верхнею губой не черную полосу, но лишь темную тѣнь. Станъ Вяземскаго былъ высокъ и строенъ; видъ молодъ и веселъ.

Согласно роскошному обычаю того времени, пѣшіе конюхи вели за нимъ подъ уздцы шесть верховыхъ коней въ полномъ убранствѣ; изъ нихъ одинъ былъ вороной, одинъ буланый, одинъ желѣзно-сѣрый, а три совершенно бѣлой масти. На головахъ коней качались цвѣтныя перья, на хребтахъ ихъ пестрѣли звѣриныя кожи или парчевые чепраки и чалдары, усаженные дорогими каменьями, и всѣ шестеро звенѣли на ходу множествомъ серебряныхъ бубенчиковъ, или золотыми прорѣзными яблоками, подобранными въ согласный звонъ и висѣвшими по обѣимъ сторонамъ налобниковъ длинными гроздами.

При появленіи Дружины Андреевича, Вяземскій и всѣ опричники сошли съ коней.

Морозовъ съ золотымъ блюдомъ медленно шелъ къ нимъ на встрѣчу, а за нимъ шли знакомцы, держальники и холопи боярскіе.

— Князь,—сказалъ Морозовъ:—ты посланъ ко мнѣ отъ государя. Спѣшу встрѣтить съ хлѣбомъ-солью тебя и твоихъ! И сивые волосы боярина пали ему на глаза отъ низкаго поклона.

— Бояринъ,—отвѣтилъ Вяземскій:—великій государь велѣлъ тебѣ сказать свой царскій указъ: Бояринъ Дружина! царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея Руси слагаетъ съ тебя гнѣвъ свой, сымаетъ съ главы твоей свою царскую опалу, милуетъ и прощаетъ тебя во всѣхъ твоихъ виновностяхъ; и быть тебѣ, боярину Дружинѣ, попрежнему въ его великаго государя милости, и служить тебѣ и напредки великому государю, и писаться твоей чести попрежнему-жъ!

Изговоря рѣчь, Вяземскій заложилъ одну руку за кушакъ, другою погладилъ бороду, пріосанился и, устремивъ на Морозова орлиные глаза, ожидалъ его отвѣта.

При началѣ рѣчи Морозовъ опустился на колѣни. Теперь держальники подняли его подъ руки. Онъ былъ блѣденъ.

— Да благословитъ же Святая Троица и московскіе чудотворцы нашего великаго государя!—произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ:—да продлитъ прещедрый и премилостивый Богъ безъ счету царскіе дни его! Не тебя ожидалъ я, князь, но ты посланъ ко мнѣ отъ государя, войди въ домъ мой. Войдите, господа опричники! Прошу вашей милости! А я пойду отслужу благодарственный молебенъ, а потомъ сяду съ вами пировать до поздней ночи.

Опричники вошли.

Морозовъ подозвалъ холопа.

— Садись на́-конь, скачи къ князю Серебряному, отвези ему поклонъ и скажи, что прошу отпраздновать сегодняшній день: царь-де пожаловалъ меня милостію великою, изволилъ-де снять съ меня свою опалу!

Отдавъ это приказаніе и проводивъ въ сѣни гостей, Морозовъ отправился черезъ дворъ въ домовую церковь; передъ нимъ шли знакомцы и держальники, а за нимъ многочисленные холопи. Въ домѣ остался лишь дворецкій, да сколько нужно было людей, да прислуги опричникамъ.

Подали разныя закуски и наливки, но обѣдъ былъ еще впереди.

Вскорѣ пріѣхалъ Серебряный, также сопровождаемый знакомцами и холопями, ибо въ тогдашнее время ѣздить боярину въ важныхъ случаяхъ одиночествомъ и малолюдствомъ считалось порухою чести.

Столъ уже былъ накрытъ въ большой избѣ, слуги стояли по мѣстамъ, всѣ ожидали хозяина.

Дружина Андреевичъ, отслушавъ молебенъ, вошелъ въ добромъ платьѣ, въ парчевомъ кафтанѣ, съ собольей шапкою въ рукахъ. Сивыя кудри его были ровно подстрижены, борода тщательно расчесана. Онъ поклонился гостямъ, гости ему поклонились, и всѣ сѣли за столъ.

Зачался почестный пиръ, зазвенѣли кубки и братины, и вмѣстѣ съ ними зазвенѣлъ еще другой звонъ, несовмѣстный со звуками веселаго пира. Зазвенѣли подъ кафтанами опричниковъ невидимые доспѣхи.

Но Морозовъ не услышалъ зловѣщаго звона. Другія мысли занимали его. Внутреннее чувство говорило Морозову, что ночной его оскорбитель пируетъ съ нимъ за однимъ столомъ, и боринъ придумалъ наконецъ средство его открыть. Средство это, по мнѣнію его, было надежно.

Уже много кубковъ осушили гости; пили они про государя, и про царицу, и про весь царскій домъ; пили про митрополита и про все русское духовенство; пили про Вяземскаго, про Серебрянаго и про ласковаго хозяина; пили про каждаго изъ гостей особенно. Когда всѣ здоровья были выпиты, Вяземскій всталъ и предложилъ еще здоровье молодой боярыни.

Того-то и ожидалъ Морозовъ.

— Дорогіе гости,—сказалъ онъ:—непригоже безъ хозяйки пить про хозяйку! Сходите,—продолжалъ онъ, обращаясь къ слугамъ:—сходите за боярыней, пусть сойдетъ потчивать изъ своихъ рукъ дорогихъ гостей!

— Ладно, ладно!—зашумѣли гости:—безъ хозяйки и медъ не сладокъ!

Черезъ нѣсколько времени явилась Елена въ богатомъ сарафанѣ, сопровождаемая двумя сѣнными дѣвушками; она держала въ рукахъ золотой подносъ съ одною только чаркой. Гости встали. Дворецкій наполнилъ чарку тройнымъ зеленчакомъ, Елена прикоснулась къ ней губами и начала обносить ее кругомъ гостей, кланяясь каждому, малымъ обычаемъ, въ поясъ. По мѣрѣ того, какъ гости выпивали чарку, дворецкій наполнялъ ее снова.

Когда Елена обошла всѣхъ безъ изъятія, Морозовъ, пристально за ней слѣдившій, обратился къ гостямъ.

— Дорогіе гости,—сказалъ онъ:—теперь по старинной русской обыклости, прошу васъ, уважили-бъ вы домъ мой, не наложили-бъ охулы на мое хозяйство, прошу васъ, дорогіе гости, не побрезгали бы вы поцѣловать жену мою! Дмитріевна, становись въ большомъ мѣстѣ и отдавай всѣ поцѣлуи, каждому поочередно!

Гости благодарили хозяина. Елена съ трепетомъ стала возлѣ печи и опустила глаза.

— Князь, подходи!—сказалъ Морозовъ Вяземскому.

— Нѣтъ, нѣтъ, по обычаю!—закричали гости:—пусть хозяинъ поцѣлуетъ первый хозяйку! Пусть будетъ по обычаю, какъ отъ предковъ повелось!

— Пусть же будетъ по обычаю,—сказалъ Морозовъ, и подойдя къ женѣ, онъ сперва поклонился ей въ ноги. Когда они поцѣловались, губы Елены горѣли какъ огонь; какъ ледъ были холодны губы Дружины Андреевича.

За Морозовымъ подошелъ Вяземскій.

Морозовъ сталъ примѣчать.

Глаза Аѳанасья Ивановича сверкали словно уголья, но лицо Елены осталось неподвижно. Она при мужѣ, при Серебряномъ не боялась нахальнаго князя.

«Не онъ»,—подумалъ Морозовъ.

Вяземскій положилъ земной поклонъ и поцѣловалъ Елену: но какъ поцѣлуй его длился долѣе, чѣмъ было нужно, она отвернулась съ примѣтною досадой.

«Нѣтъ, не онъ!»—повторилъ про себя Морозовъ.

За Вяземскимъ подошли поочередно нѣсколько опричниковъ. Они всѣ кланялись, большимъ обычаемъ, въ землю и потомъ цѣловали Елену; но Дружина Андреевичъ ничего не могъ прочесть на лицѣ жены своей, кромѣ безпокойства. Нѣсколько разъ длинныя рѣсницы ея подымались, и взоръ, казалось, со страхомъ искалъ кого-то между гостями.

«Онъ здѣсь!»—подумалъ Морозовъ.

Вдругъ ужасъ овладѣлъ Еленой. Глаза ея встрѣтились съ глазами мужа и, съ свойственною женскому сердцу смѣтливостью, она отгадала его мысли. Подъ этимъ тяжелымъ, неподвижнымъ взоромъ ей показалось невозможнымъ поцѣловать Серебрянаго и не быть въ тотъ же мигъ уличенною. Всѣ обстоятельства ихъ встрѣчи у садовой ограды, въ первый пріѣздъ Серебрянаго, живо представились ея памяти. Теперешнее ея положеніе и ожидающій ее поцѣлуй показались ей Божьимъ наказаніемъ за ту преступную встрѣчу, за тотъ преступный поцѣлуй. Смертельный холодъ пробѣжалъ по ея членамъ.

— Я нездорова...—прошептала она:—отпусти меня, Дружина Андреичъ...

— Останься, Елена,—сказалъ спокойно Морозовъ:—подожди, ты не можешь теперь уйти; это не видано, не слыхано; надо кончить обрядъ!

И онъ проникалъ жену насквозь испытующимъ взглядомъ.

— Ноги не держатъ меня!...—произнесла Елена.

— Что?—сказалъ Морозовъ, будто не разслышавъ:—угорѣла? эка невидаль!

— Прошу васъ, государи, подходите, не слушайте жены! Она еще ребенокъ: больно застѣнчива, ей въ новинку обрядъ! Да къ тому еще угорѣла! Подходите, дорогіе гости, прошу васъ!

«Да гдѣ же Серебряный?» подумалъ Дружина Андреевичъ, пробѣгая глазами гостей.

Князь Никита Романовичъ стоялъ въ сторонѣ. Отъ него не скрылось необыкновенное вниманіе, съ какимъ Морозовъ всматривался въ жену и въ каждаго подходившаго къ ней гостя.

Онъ прочелъ на лицѣ Елены страхъ и безпокойство. Никита Романычъ, всегда рѣшительный, когда совѣсть его ни въ чемъ не укоряла, теперь не зналъ что̀ дѣлать. Онъ боялся, подойдя къ Еленѣ, умножить ея смущеніе, боялся, оставаясь позади другихъ, возбудить подозрѣніе мужа. Если бы могъ онъ сказать ей хоть одно слово неприметно, онъ ободрилъ бы ее и возвратилъ бы ей, можетъ быть, потерянную силу, но Елену окружали гости, мужъ не спускалъ съ нея глазъ; надо было на что-нибудь рѣшиться.

Серебряный подошелъ, поклонился Еленѣ, но не зналъ, смотрѣть ли ей въ глаза, или нарочно не встрѣчать ея взора. Это колебаніе выдало князя. Съ своей стороны, Елена не выдержала пытки, которой подвергалъ ее Морозовъ.

Елена обманула мужа не по легкомыслію, не по внушенію сердца испорченнаго. Она обманула его потому, что сама обманулась, думая, что можетъ полюбить Дружину Андреевича. Когда ночью, у садовой ограды, она увѣряла Серебрянаго въ любви своей, слова вырывались у нея невольно; она не торговалась выраженіями, и если бы тогда она увидѣла за собой мужа, то призналась бы ему во всемъ чистосердечно. Но воображеніе Елены было пылко, а нравъ робокъ. Послѣ ночного свиданія съ Серебрянымъ, ее не переставали мучить угрызенія совѣсти. Къ нимъ присоединилось еще смертельное безпокойство объ участи Никиты Романовича. Сердце ея раздиралось противоположными ощущеніями; ей хотѣлось пасть къ ногамъ мужа и просить у него прощенія и совѣта; но она боялась его гнѣва, боялась за Никиту Романовича.

Эта борьба, эти мученія, страхъ, внушаемый ей мужемъ, добрымъ и ласковымъ, но неумолимымъ во всемъ, что̀ касалось его чести,—все это разрушительно потрясло ея тѣлесныя силы. Когда губы Серебрянаго прикоснулись къ губамъ ея, она задрожала какъ въ лихорадкѣ, ноги подъ ней подкосились, а изъ устъ вырвались слова:

— Пресвятая Богородица! пожалѣй меня!

Морозовъ подхватилъ Елену.

— Эхъ! — сказалъ онъ: — вотъ женское-то здоровье! Посмотрѣть, такъ кровь съ молокомъ, а немного угару, такъ и ноги не держатъ. Да ничего, пройдетъ! Подходите, дорогіе гости!

Голосъ и пріемы Морозова ни въ чемъ не измѣнились. Онъ такъ же казался спокоенъ, такъ же былъ привѣтливъ и доброхотенъ.

Серебряный остался въ недоумѣніи, въ самомъ ли дѣлѣ онъ проникъ его тайну?

Когда кончился обрядъ, и Елена, поддерживаемая дѣвушками, удалилась въ свѣтлицу, гости, по приглашенію Морозова, опять сѣли за столъ.

Дружина Андреевичъ всѣхъ нудилъ и потчивалъ съ прежнею заботливостью и не забывалъ ни одной изъ мелочныхъ обязанностей, доставлявшихъ въ тѣ времена хозяину дома славу добраго хлѣбосола.

Уже было поздно. Вино горячило умы, и странныя слова проскакивали иногда среди разговора опричниковъ.

— Князь,—сказалъ одинъ изъ нихъ, наклоняясь къ Вяземскому:—пора бы за дѣло!

— Молчи!—отвѣчалъ шопотомъ Вяземскій:—старикъ услышитъ!

— Хоть и услышитъ, не пойметъ!—продолжалъ громко опричникъ съ настойчивостью пьянаго.

— Молчи!—повторилъ Вяземскій.

— Я-те говорю, князь, пора! Ей-Богу, пора! Вотъ я знакъ подамъ!

И опричникъ двинулся встать.

Вяземскій сильною рукою пригвоздилъ его къ скамьѣ.

— Уймись, — сказалъ онъ ему на ухо: — не-то вонжу этотъ ножъ тебѣ въ горло!

— Ого, да ты еще грозишь!—вскричалъ опричникъ, вставая со скамьи: — вишь ты какой! Я говорилъ, что нельзя тебѣ вѣрить! Вѣдь ты не нашъ братъ! Ужъ я бы васъ всѣхъ князей да бояръ, что наше жалованье заѣдаете! Да погоди, посмотримъ, чья возьметъ. Долой изъ-подъ кафтана кольчугу-то! Вымай саблю! Посмотримъ, чья возьметъ!

Слова эти были произнесены невѣрнымъ языкомъ, среди общаго говора и шума; но нѣкоторыя изъ нихъ долетѣли до Серебрянаго и возбудили его вниманіе. Морозовъ ихъ не слыхалъ. Онъ видѣлъ только, что между гостями вспыхнула ссора.

— Дорогіе гости! — сказалъ онъ, вставая изъ-за стола: — на дворѣ ужъ темная ночь! Не пора ли на покой? Всѣмъ вамъ готовы и перины мягкія, и подушки пуховыя!

Опричники встали, благодарили хозяина, раскланялись и пошли въ приготовленныя для нихъ на дворѣ опочивальни.

Серебряный также хотѣлъ удалиться.

Морозовъ остановилъ его за руку.

— Князь,—сказалъ онъ шопотомъ:—обожди меня здѣсь!

И оставя Серебрянаго, Дружина Андреевичъ отправился на половину жены.

ГЛАВА XVI.

Похищеніе.

Во время обѣда вокругъ дома происходило нѣчто необыкновенное.

Съ наступленіемъ сумерекъ новые опричники стали являться, по одному, возлѣ садовой ограды, возлѣ забора, окружавшаго дворъ, и наконецъ на самомъ дворѣ.

Люди Морозова не обратили на нихъ вниманія.

Когда настала ночь, домъ былъ со всѣхъ сторонъ окруженъ опричниками.

Стремянный Вяземскаго вышелъ изъ застольной, будто бы напоить коня. Но не дойдя до конюшни, онъ оглянулся, посмотрѣлъ на всѣ стороны, подошелъ къ воротамъ и просвисталъ какъ-то особенно. Кто-то къ нему подкрался.

— Всѣ ли вы?—спросилъ стремянный.

— Всѣ,—отвѣчалъ тотъ.

— Много ли васъ?

— Пятьдесятъ.

— Добро, ожидайте знака.

— А скоро ли? Ждать надоѣло.

— Про то знаетъ князь. Да слышь ты, Хомякъ, князь не велитъ ни жечь, ни грабить дома!

— Не велитъ! Да что, онъ мнѣ господинъ, что-ли?

— Видно, господинъ, коли Григорій Лукьянычъ велѣлъ быть тебѣ сегодня у него въ приказѣ.

— Служить-то я ему послужу, да только ему, а не Морозову. Помогу князю увезти боярыню, а потомъ ужъ и мнѣ никто не указывай!

— Смотри, Хомякъ, князь не шутитъ!

— Да что ты?—сказалъ Хомякъ, злобно усмѣхаясь.—Князь княземъ, а я самъ по себѣ. Коли мнѣ хочется погулять, кому какое дѣло?

Въ то самое время, какъ разговоръ этотъ происходилъ у воротъ, Морозовъ, остановивъ Серебрянаго, вошелъ на половину Елены.

Боярыня еще не ложилась. На головѣ ея уже не было кокошника. Густая, полураспущенная коса упадала на ея бѣлыя плечи. Лѣтникъ былъ на груди разстегнутъ. Елена готовилась раздѣться, но склонила голову на плечо и забылась. Мысли ея блуждали въ прошедшемъ. Она вспомнила первое знакомство съ Серебрянымъ, свои надежды, отчаянье, предложеніе Морозова и данную клятву. Ей живо представилось, какъ въ Радуницу, передъ самой свадьбой, она, по обычаю сиротъ, пошла на могилу матери, поставила подъ крестомъ чашу съ красными яйцами, мысленно христосовалась съ матерью и просила благословенія на любовь и союзъ съ Морозовымъ.

Она вѣрила въ то время, что переможетъ первую любовь свою, вѣрила, что будетъ счастлива за Морозовымъ; а теперь... Елена вспомнила о поцѣлуйномъ обрядѣ, и ее обдало холодомъ. Бояринъ вошелъ, не примѣченный ею, и остановился на порогѣ. Лицо его было сурово и грустно. Нѣсколько времени смотрѣлъ онъ, молча, на Елену. Она была еще такъ молода, такъ неопытна, такъ неискусна въ обманѣ, что Морозовъ почувствовалъ невольную жалость.

— Елена,—сказалъ онъ:—отчего ты смутилась во время обряда?

Елена вздрогнула и устремила на мужа глаза, полные страха. Ей хотѣлось пасть къ его ногамъ и сказать всю правду, но она подумала, что, можетъ быть, онъ еще не подозрѣваетъ Серебрянаго, и побоялась навлечь на него мщеніе мужа.

— Отчего смутилась ты?—повторилъ Морозовъ.

— Мнѣ понездоровилось,—отвѣчала Елена шопотомъ.

— Такъ. Тебѣ нездоровилось, но не тѣломъ, а душой. Болѣзнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена.

Боярыня дрожала.

— Когда сего утра,—продолжалъ Морозовъ:—Вяземскій съ опричниками пріѣхали въ домъ нашъ, я читалъ священное писаніе. Знаешь ли, что говорится въ писаніи о невѣрныхъ женахъ?

— Боже мой!—произнесла Елена.

— Я читалъ,—продолжалъ Морозовъ:—о наказаніи за прелюбодѣйство...

— Господи,—умоляла боярыня:—будь милостивъ; Дружина Андреичъ, пожалѣй меня, я не столько виновна, какъ ты думаешь... Я не измѣнила тебѣ...

Морозовъ грозно сдвинулъ брови.

— Не лги, Елена. Не мудрствуй. Не умножай грѣха своего лукавою рѣчью. Ты не измѣнила мнѣ, потому что для измѣны нужна хотя краткая вѣрность, а ты никогда не была мнѣ вѣрна...

— Дружина Андреичъ, пожалѣй меня!

— Ты никогда не была мнѣ вѣрна! Когда насъ вѣнчали, когда ты своею великою неправдой цѣловала мнѣ крестъ, ты любила другого... Да, ты любила другого!—продолжалъ онъ, возвышая голосъ.

— Боже мой, Боже мой!—прошептала Елена, закрывъ лицо руками.

— Дмитріевна! А Дмитріевна! Зачѣмъ не сказала ты мнѣ, что любишь его?

Елена плакала и не отвѣчала ни слова.

— Когда я тебя увидѣлъ въ церкви, беззащитную сироту, въ тотъ день, какъ хотѣли выдать тебя насильно за Вяземскаго, я рѣшился спасти тебя отъ постылаго мужа, но хотѣлъ твоей клятвы, что не посрамишь ты сѣдыхъ волосъ моихъ. Зачѣмъ ты дала мнѣ клятву? Зачѣмъ не призналась во всемъ? Словами ты была со мною; а сердцемъ и мыслію съ другимъ! Если бы зналъ я про любовь твою, развѣ я взялъ бы тебя! Я бы схоронилъ тебя гдѣ-нибудь въ глухомъ помѣстьѣ, далеко отъ Москвы, или свезъ бы въ монастырь; но не женился бы на тебѣ, видитъ Богъ, не женился-бъ! Лучше было отойти отъ міра, чѣмъ достаться постылому. Зачѣмъ ты не отошла отъ міра? Зачѣмъ защитилась моимъ именемъ, какъ стѣной каменною, а потомъ насмѣхалась мнѣ съ твоимъ полюбовникомъ? Вы думали: Морозовъ слабъ, намъ легко его одурачить!

— Нѣтъ, господинъ мой!—взрыдала Елена и упала на колѣни:—я никогда этого не думала! Ни въ умѣ, ни въ помышленіи того не было! Да онъ же въ ту пору былъ въ Литвѣ...

При словѣ *онъ*, глаза Морозова засверкали, но онъ овладѣлъ собою и горько усмѣхнулся.

— Такъ. Вы не въ ту пору спознались, но позже, когда онъ вернулся. Вы спознались ночью, въ саду у ограды, въ тотъ самый вечеръ, когда я принялъ и обласкалъ его какъ сына. Скажи, Елена, ужели въ самомъ дѣлѣ вы думали, что я не угадаю вашего замысла, дамъ себя одурачить, не съумѣю наказать жену вѣроломную и злодѣя моего, ея сводчика? Ужели чаялъ этотъ молокососъ, что гнусное его дѣло сойдетъ ему съ рукъ? Аль не читалъ онъ, что въ книгахъ Левитъ написано: человѣкъ аще прелюбы содѣетъ съ мужнею женой, смертію да умрутъ прелюбодѣй и прелюбодѣйница!

Елена съ ужасомъ взглянула на мужа. Въ глазахъ его была холодная рѣшительность.

— Дружина Андреичъ!—сказала она въ испугѣ:—что ты хочешь сдѣлать?

Боярин вынулъ изъ-подъ опашня длинную пистолю.

— Что ты дѣлаешь?—вскричала боярыня, и отступила назадъ.

Морозовъ усмѣхнулся.

— Не бойся за себя! — сказалъ онъ холодно: — тебя я не убью. Возьми свѣчу, ступай передо мной!

Онъ посмотрѣлъ пистолю и подошелъ къ двери. Елена не двигалась съ мѣста. Морозовъ оглянулся.

— Свѣти мнѣ! — повторилъ онъ повелительно.

Въ эту минуту послышался на дворѣ шумъ. Нѣсколько голосовъ говорили вмѣстѣ. Слуги Морозова звали другъ друга. Бояринъ сталъ прислушиваться. Шумъ усиливался. Казалось, множество людей врывалось въ подклѣти. Раздался выстрѣлъ.

Еленѣ представилось, что Серебряный убитъ по волѣ Морозова. Негодованье возвратило ей силы.

— Бояринъ!—вскричала она, и взоръ ея загорѣлся:—меня, меня убей! Я одна виновна!

Но Морозовъ не обратилъ вниманія на слова ея. Онъ слушалъ, наклоня голову, и лицо его выражало удивленіе.

— Убей меня!—просила въ отчаяньи Елена:—я не хочу, я не могу пережить его! Убей меня! Я обманула тебя, я насмѣхалась тебѣ! Убей меня!

Морозовъ посмотрѣлъ на Елену, и если бы кто увидѣлъ его въ это мгновенье, тотъ не рѣшилъ бы, жалость или негодованье преобладали въ его взорѣ.

— Дружина Андреичъ! — раздался голосъ снизу. — Измѣна! Предательство! Опричники врываются къ женѣ твоей! Остерегись, Дружина Андреичъ!

То былъ голосъ Серебрянаго. Узнавъ его, Елена въ неизъяснимой радости бросилась къ двери. Морозовъ оттолкнулъ жену, задвинулъ запоръ и укрѣпилъ дверь на желѣзный крюкъ.

Поспѣшные шаги послышались на лѣстницѣ, потомъ стукъ сабель, потомъ проклятія, борьба, громкій крикъ, паденіе.

Дверь затрещала отъ ударовъ.

— Бояринъ,—кричалъ Вяземскій:—отопри, не-то весь домъ раскидаю по бревнамъ!

— Не вѣрю, князь!—отвѣчалъ съ достоинствомъ Морозовъ. Еще не видано на Руси, чтобы гость безчестилъ хозяина, чтобы

силой врывался въ теремъ жены его. Хмеленъ былъ медъ мой, онъ вскружилъ тебѣ голову, князь, поди, выспись; завтра все забудемъ. Не забуду лишь я, что ты гость мой.

— Отопри!—повторилъ князь, напирая дверь.

— Аѳанасій Иванычъ! вспомни, кто ты? Вспомни, что ты не разбойникъ, но князь и бояринъ!

— Я опричникъ! слышишь, бояринъ, я опричникъ! Нѣтъ у меня чести! Полюбилась мнѣ жена твоя, слышишь, бояринъ! Не боюся студнаго дѣла; всю Москву пущу на-дымъ, а добуду Елену!

Внезапно изба ярко освѣтилась. Морозовъ увидѣлъ въ окно, что горятъ крыши людскихъ службъ. Въ то же время дверь, потрясенная новыми ударами, повалилась съ трескомъ, и Вяземскій явился на порогѣ, озаренный пожаромъ, съ переломленною саблей въ рукѣ.

Бѣлая атласная одежда его была истерзана; по ней струилась кровь. Видно было, что онъ не безъ боя достигъ до свѣтлицы.

Морозовъ выстрѣлилъ въ Вяземскаго, почти въ упоръ, но рука измѣнила боярину; пуля ударилась въ косякъ; князь бросился на Морозова.

Не долго продолжалась между ними борьба.

Отъ сильнаго удара рукоятью сабли Морозовъ упалъ навзничь. Вяземскій подбѣжалъ къ боярынѣ; но лишь только кровавыя руки его коснулись ея одежды, она отчаянно вскрикнула и лишилась чувствъ. Князь схватилъ ее на руки и помчался внизъ по лѣстницѣ, метя ступени ея распущенною косой.

У воротъ дожидались кони. Вскочивъ въ сѣдло, князь полетѣлъ съ полумертвою боярыней, а за нимъ, гремя оружіемъ, полетѣли его холопи.

Ужасъ былъ въ домѣ Морозова. Пламя охватило всѣ службы, Дворня кричала, падая подъ ударами хищниковъ. Сѣнныя дѣвушки бѣгали съ воплемъ взадъ и впередъ. Товарищи Хомяка грабили домъ, выбѣгали на дворъ и бросали въ одну кучу дорогую утварь, деньги и богатыя одежды. На дворѣ, надъ

грудой серебра и золота, заглушая голосомъ шумъ, крики и трескъ огня, стоялъ Хомякъ въ красномъ кафтанѣ.

— Эхъ, весело!—говорилъ онъ, потирая руки:—вотъ пиръ, такъ пиръ!

— Хомякъ!—вскричалъ одинъ опричникъ:—дворня увезла Морозова по рѣкѣ. Догнать аль не надо?

— Чортъ съ нимъ! Не до него теперь! Эй, вы! Всѣ на дворъ, не-то скоро задохнемся!

— Хомякъ!—сказалъ другой:—что велишь дѣлать съ Серебрянымъ?

— Не трогать его ни пальцемъ! Приставить къ нему сторожевыхъ, чтобы глаза съ него не сводили. Отвеземъ его милость къ Слободѣ съ почетомъ. Вѣдь видѣли вы, какъ онъ князь-Аѳанасья Иваныча хватилъ? Какъ нашихъ саблей крошилъ?

— Видѣли, видѣли!

— А будете въ томъ крестъ цѣловать передъ государемъ?

— Будемъ, будемъ! Всѣ будемъ крестъ цѣловать!

— Ну-жъ, смотрите! Теперь чтобъ никто не смѣлъ его обидѣть, а какъ пріѣдемъ домой, такъ ужъ Григорій Лукьянычъ припомнитъ ему свою оплеуху, а я—мои плети!

Долго еще шумѣли и грабили опричники, и когда поѣхали они, навьючивъ лошадей тяжелою добычей, то еще долго послѣ ихъ отъѣзда видно было зарево надъ мѣстомъ, гдѣ недавно стоялъ домъ Дружины Андреевича; и Москва-рѣка, протекая мимо, до самаго утра играла огненными струями, какъ растопленнымъ золотомъ.

ГЛАВА XVII.

Заговоръ на кровь.

Сосѣдніе люди, узнавъ о нападеніи опричниковъ и видя зарево надъ дворомъ Морозова, спѣшили запирать ворота и гасить огонь.

— Господи!—говорили, крестясь, тѣ изъ нихъ, мимо кото-

страшнаго. Онъ, какъ старая пѣсня, убаюкивалъ и усыплялъ Елену.

Она съ трудомъ раскрыла глаза. Большое колесо, движимое водою, шумя, вертѣлось передъ нею и далеко летѣли вокругъ него брызги. Отражая луну, они напоминали ей алмазы, которыми дѣвушки украшали ее въ саду, въ тотъ день, когда пріѣхалъ Серебряный.

«Ужъ не въ саду ли я у себя?—подумала Елена.—Ужель опять въ саду?»—Дѣвушки! Пашенька! Дуняша! Гдѣ вы?

Но вмѣсто свѣжаго дѣвичьяго лица, сѣдая, сморщенная голова выгнулась надъ Еленой; бѣлая, какъ снѣгъ, борода почти коснулась ея лица.

— Вишь, какъ Господь тебя соблюлъ, боярыня,—сказалъ незнакомый старикъ, любопытно вглядываясь въ черты Елены:—вѣдь возьми конь немного лѣвѣе, прямо попала бы въ плёсъ; ну, да и конь-то привычный, — продолжалъ онъ про себя:—мѣсто ему знакомое; слава Богу, не въ первый разъ на мельницѣ.

Появленіе старика испугало-было Елену; она вспомнила разсказы про лѣшихъ, и странно подѣйствовали на нее морщины и бѣлая борода незнакомца, но въ голосѣ его было что-то добродушное; Елена, перемѣнивъ внезапно мысли, бросилась ему въ ноги.

— Дѣдушка, дѣдушка! — вскричала она: — оборони меня, укрой!

Мельникъ тотчасъ смекнулъ, въ чемъ дѣло: конь, на которомъ прискакала Елена, принадлежалъ Вяземскому. По всѣмъ вѣроятностямъ, она была боярыня Морозова, та самая, которую онъ пытался приворожить къ князю. Онъ никогда ее не видалъ, но много узналъ о ней чрезъ Вяземскаго. Она не любила князя, просила о помощи, стало быть она, вѣроятно, спасалась отъ князя на его же конѣ.

Старикъ въ мигъ сообразилъ всѣ эти обстоятельства.

— Господь съ тобою, боярыня!—сказалъ онъ:—какъ мнѣ оборонить тебя? Силенъ князь Аѳанасій Иванычъ, длинны у него руки, погубитъ онъ меня, старика!

Елена со страхомъ посмотрѣла на мельника.

— Ты знаешь...—сказала она:—ты знаешь, кто я?

— Мало ли что̀ я знаю, матушка Елена Дмитріевна! Много на моемъ вѣку нажурчала мнѣ вода, нашептали деревья! Знаю я довольно; не обо всемъ говорить пригоже!

— Дѣдушка, коли все тебѣ вѣдомо, ты, стало-быть, знаешь, что Вяземскій не погубитъ тебя, что онъ лежитъ теперь на дорогѣ, изрубленный... Не его боюсь, дѣдушка, боюсь опричниковъ и холопей княжескихъ... ради Пресвятой Богородицы, дѣдушка, укрой меня!

— Охъ, охъ, охъ! — сказалъ, старикъ, тяжело вздыхая:— лежитъ Аѳанасій Иванычъ на дорогѣ изрубленный! Но не отъ меча ему смерть написана. Встанетъ князь Аѳанасій Иванычъ, прискачетъ на мельницу, скажетъ: гдѣ моя боярыня-душа, зазноба ретива сердца мово? А какую дамъ я ему отповѣдь? Не таковъ онъ человѣкъ, чтобы толковать съ нимъ. Изрубитъ въ куски!

— Дѣдушка, вотъ мое ожерелье! Возьми его! Еще больше дамъ тебѣ, коли спасешь меня.

Глаза мельника заблистали. Онъ взялъ жемчужное ожерелье изъ рукъ боярыни и сталъ любоваться имъ на мѣсяцѣ.

— Боярыня, лебедушка моя,—сказалъ онъ съ довольнымъ видомъ:—да благословитъ тебя прещедрый Господь и московскіе чудотворцы! Не легко мнѣ укрыть тебя отъ княжескихъ людей, коль неравно они сюда наѣдутъ! Только ужъ послужу тебѣ своей головою, авось Богъ насъ помилуетъ...

Еще не успѣлъ старикъ договорить, какъ въ лѣсу послышался конскій топотъ.

— Ѣдутъ, ѣдутъ! — вскричала Елена: — не выдавай меня, дѣдушка!

— Добро, боярыня, сюда ступай за мной!

Мельникъ поспѣшно повелъ Елену на мельницу.

— Притаись здѣсь за мѣшками!—сказалъ онъ, заперъ за нею дверь и побѣжалъ къ коню.

— Ахъ, Богъ ты мой, какъ бы коня-то схоронить, чтобъ не догадалися!

Онъ взялъ его за узду, отвелъ на другую сторону мельницы, гдѣ была у него пасѣка, и привязалъ въ кустахъ за ульями.

Между тѣмъ, топотъ коней и людскіе голоса раздавались ближе. Мельникъ заперся въ коморѣ и задулъ лучину.

Вскорѣ показались на полянѣ люди Вяземскаго. Двое изъ холопей шли пѣшіе и несли на сплетеныхъ вѣтвяхъ безчувственнаго князя. У мельницы они остановились.

— Полно, сюда ли мы заѣхали? — спросилъ старшій изъ всадниковъ.

— Сюда конь убѣжалъ!—отвѣчалъ другой.—Я слѣдъ видѣлъ! Да здѣсь же и знахарь живетъ. Пусть посмотритъ князя!

— Опустите на землю его милость, да съ береженіемъ. Что кровь не унимается?

— Не даетъ Богъ легче,—отвѣчали холопи:—вотъ ужъ третій разъ князь на ходу очнется, да и опять обомретъ! Коли мельникъ не остановитъ руды, такъ и не встать князю, истечетъ до капли!

— Да гдѣ онъ, колдунъ проклятый? Ведите его проворнѣй!

Опричники стали стучать въ мельницу и въ комору. Долго стукъ ихъ и крики оставались безъ отвѣта. Наконецъ въ коморѣ послышался кашель, изъ прорубленнаго отверстія высунулась голова мельника.

— Кого это Господь принесъ въ такую пору?—сказалъ старикъ, кашляя такъ тяжело, какъ будто бы готовился выкашлять душу.

— Выходи, колдунъ, выходи скорѣе, кровь унять! Бояринъ князь Вяземскій посѣченъ саблей!

— Какой бояринъ?—спросилъ старикъ, притворяясь глухимъ.

— Ахъ ты, бездѣльникъ! Еще спрашиваетъ: какой? Ломайте двери, ребята!

— Постойте, кормильцы, постойте! Самъ выйду, зачѣмъ ломать? Самъ выйду!

— Ага, небось, услышалъ, глухой тетеревъ!

— Не взыщи, батюшка,—сказалъ мельникъ, вылѣзая:—виноватъ, родимый, тугъ на ухо, иного сразу не пойму! Да къ тому-жъ, нечего грѣха таить, какъ стали вы, родимые, долбить въ дверь да въ стѣну, я испужался, подумалъ: оборони Боже, ужъ не станичники ли! Вѣдь тутъ, кормильцы, ихъ самыя засѣки и притоны. Живешь въ лѣсу со страхомъ, все думаешь: что коли, не дай Богъ, навернутся!

— Ну, ну, разговорился! Иди сюда, смотри: вишь какъ кровь бѣжитъ. Что, можно унять?

— А вотъ посмотримъ, родимые! Эхъ, батюшки-свѣты! Да кто-жъ это такъ сѣкнулъ-то его? Вотъ, будь на полвершка пониже, какъ разъ бы високъ разсѣкъ! Ну, соблюлъ его Богъ! А здѣсь-то? Плечо мало не до кости прорубано! Эхъ, должно быть, ловокъ рубиться, кто такъ хватилъ его милость!

— Можно-ль унять кровь, старикъ?

— Трудно, кормилецъ, трудно. Сабля-то была наговорная!

— Наговорная? Слышите, ребята, я говорилъ: наговорная! А то какъ бы ему одному семерыхъ посѣчь!

— Такъ, такъ!—отозвались опричники:—вѣстимо наговорная; куда Серебряному на семерыхъ!

Мельникъ все слушалъ и примѣчалъ.

— Ишь, какъ руда точится!—продолжалъ онъ:—ну, какъ ее унять? Кабы сабля была не наговорная, можно-бъ унять, а то теперь... оно, пожалуй, и теперь можно, только я боюсь. Какъ стану нашептывать, языкъ у меня отымется!

— Нужды нѣтъ, нашептывай!

— Да! нужды нѣтъ! Тебѣ-то нѣтъ нужды, родимый, а мнѣ-то будетъ каково!

— Истома!—сказалъ опричникъ одному холопу:—подай сюда кошель съ Морозовскими червонцами. На тебѣ, старикъ, горсть золотыхъ. Коль уймешь руду, еще горсть дамъ; не уймешь—духъ изъ тебя вышибу.

— Спасибо, батюшка, спасибо! Награди тебя Господь и всѣ святые угодники! Нечего дѣлать, кормильцы, постараюсь, хоть

на свою голову, горю пособить. Отойдите, родимые, дѣло глаза боится!

Опричники отошли. Мельникъ нагнулся надъ Вяземскимъ, перевязалъ ему раны, прочиталъ «Отче нашъ», положилъ руку на голову князя и началъ шептать:

«Ѣхалъ человѣкъ старъ, конь подъ нимъ карь, по пристанямъ, по дорогамъ, по притоннымъ мѣстамъ. Ты, мать, руда жильная, жильная, тѣлесная, остановись, назадъ воротись. Старъ человѣкъ тебя запираетъ — на покой согрѣваетъ. Какъ коню его воды не стало, такъ бы тебя, руда-мать, не бывало. Пухъ земля, одна семья, будь по-моему! Слово мое крѣпко!»

По мѣрѣ того, какъ старикъ шепталъ, кровь текла медленнѣе, и съ послѣднимъ словомъ совсѣмъ перестала течь. Вяземскій вздохнулъ, но не открылъ глазъ.

— Подойдите, отцы родные!—сказалъ мельникъ:—подойдите безъ опасенья; унялась руда, будетъ живъ князь; только мнѣ худо... вотъ ужъ теперь замѣчаю, языкъ коснѣетъ!

Опричники обступили князя. Мѣсяцъ освѣщалъ лицо его, блѣдное какъ смерть, но кровь уже не текла изъ ранъ.

— И впрямь унялась руда! Вишь старичина, не ударилъ лицомъ въ грязь!

— На тебѣ твои золотые!—сказалъ старшій опричникъ.— Только это еще не все. Слушай старикъ. Мы по слѣдамъ знаемъ, что этой дорогой убѣжалъ княжескій конь, а можетъ, на немъ и боярыня ускакала. Коли ты ихъ видѣлъ, скажи!

Мельникъ вытаращилъ глаза, будто ничего не понималъ.

— Видѣлъ ты коня съ боярыней?

Старикъ сталъ-было колебаться, сказать или нѣтъ! Но тотъ же часъ онъ сдѣлалъ слѣдующій разсчетъ:

Кабы Вяземскій былъ здоровъ, то скрыть отъ него боярыню было-бъ ой какъ опасно, а выдать ее куда какъ выгодно! Но Вяземскій оправится-ль, нѣтъ ли, еще Богъ вѣсть! А Морозовъ не оставитъ услуги безъ награды. Да и Серебряный-то, видно, любитъ не на шутку боярыню, коль порубилъ за нее князя. Стало-быть, думалъ мельникъ, Вяземскій меня теперь не оби-

дитъ, а Серебряный и Морозовъ—каждый скажетъ мнѣ спасибо, коль я выручу боярыню.

Этотъ разсчетъ рѣшилъ его сомнѣнія.

— И слухомъ не слыхалъ, и видомъ не видалъ, родимые!—сказалъ онъ:—и не знаю, про какого коня, про какую боярыню говорите!

— Эй, не совралъ бы ты, старикъ!

— Будь я анаѳема! Не видать мнѣ царствія небеснаго! Богъ пусть меня тутъ же громомъ хлопнетъ, коли я что́ знаю про коня, либо про боярыню!

— А вотъ давай лучину, посмотримъ, нѣтъ ли слѣдовъ на пескѣ!

— Да нечего смотрѣть!—сказалъ одинъ опричникъ.—Хотя бы и были слѣды, наши кони ихъ затоптали. Теперь ничего не увидимъ!

— Такъ нечего и смотрѣть. Отворяй, старикъ, комору, князя перенесть!

— Сейчасъ, родимые, сейчасъ. Эхъ, старъ я, кормильцы, а то бы сбѣгалъ на постоялый дворъ, притащилъ бы вамъ браги да вина зеленчатаго!

— А дома развѣ нѣтъ?

— Нѣтъ, родимые. Куда мнѣ, убогому! Нѣтъ ни вина, ни харчей, ни лошадямъ вашимъ корма. Вотъ на постояломъ дворѣ, тамъ все есть. Тамъ такое вино, что хоть бы царю на столъ. Тѣсненько вамъ будетъ у меня, государи честные и перекусить-то нечего; да вѣдь вы люди ратные, и безъ ужина обойдетесь! Кони ваши травку пощиплютъ... Вотъ одно худо, что травка-то здѣсь такая... иной разъ наѣстся конь, да такъ его разопретъ, что твоя гора! Покачается, покачается, да и лопнетъ!

— Чортъ тебя дери, боровикъ ты старый! Что́-жъ ты хочешь, чтобъ наши кони перелопались?

— Оборони Богъ, родимые! Коней можно привязать, чтобъ не ѣли травы: одну ночку не бѣда, и такъ простоятъ. А васъ государи, прошу покорно, уважьте мою комору; нѣтъ въ ней

ни сѣна, ни соломы—земля голая. Здѣсь не то, что постоялый дворъ. Вотъ только, какъ будете спать ложиться, такъ не забудьте передъ сномъ прочитать молитву отъ ночного страха... оно здѣсь нечисто!

— Ахъ ты, чортовъ кумъ этакій! Провались ты и съ своею коморой! Вишь, чѣмъ потчивать вздумалъ! Ребята, ѣдемъ на постоялый дворъ! Далеко-ль дотудова, старикъ?

— Близко, родимые, совсѣмъ близко. Вотъ ступайте этою тропою; какъ выѣдете на дорогу, повернете влѣво, проѣдете не болѣе версты, тутъ вамъ будетъ и постоялый дворъ!

— Ѣдемъ!—сказали опричники.

Вяземскій все еще былъ въ обморокѣ. Холопи подняли его и осторожно понесли на носилкахъ. Опричники сѣли на коней и поѣхали вслѣдъ.

Лишь только удалилась толпа и не стало болѣе слышно въ лѣсу человѣческаго голоса, старикъ отперъ мельницу.

— Боярыня! Ушли!—сказалъ онъ.—Пожалуй въ комору. Ахъ, ты, сотикъ мой забрушенный, какъ притаилась-то! Пожалуй въ комору, лебедушка моя, тамъ тебѣ будетъ получше!

Онъ настлалъ свѣжаго моху въ углу коморы, зажегъ лучину и поставилъ передъ Еленой деревянную чашку съ медовыми сотами и краюху хлѣба.

— Ѣшь на здоровье, боярыня!—сказалъ онъ, низко кланяясь:—вотъ я тебѣ сейчасъ винца принесу.

— Сбѣгавъ еще разъ въ мельницу, онъ вынесъ изъ нея большую сулею и глиняную кружку.

— Во здравіе твое, боярыня!

Старикъ, какъ хозяинъ, первый опорожнилъ кружку. Вино его развеселило.

— Выпей, боярыня! — сказалъ онъ:—теперь некого тебѣ бояться! Они ищутъ постоялаго двора! Найдутъ ли, не найдутъ ли, а ужъ сюда не вернутся; не по такой дорогѣ я ихъ послалъ... хе, хе! Да что ты, боярыня, винца не отвѣдаешь? А впрочемъ и не отвѣдывай! Это вино дрянь! Плюнь на него; я тебѣ другого принесу!

Мельникъ опять сбѣгалъ на мельницу, и этотъ разъ воротился съ баклагою подъ мышкой и съ серебрянымъ кубкомъ въ рукахъ.

— Вотъ вино,—такъ вино!—сказалъ онъ, нагибая баклагу надъ кубкомъ.—Во здравіе твое, боярыня! Это вино и съ кубкомъ подарилъ мнѣ добрый человѣкъ... зовутъ его Перстнемъ... хе, хе! Здѣсь много живетъ добрыхъ людей въ лѣсу: всѣ они со мной въ дружбѣ! Ѣшь, боярыня! Да что же ты сотовъ не ѣшь? Это соты не простые. Такихъ сотовъ за сто верстъ не найдешь. А почему они не простые? Потому, что я пчелиное дѣло знаю лучше любого вѣдуна. Я не такъ, какъ другіе! Я кажинное лѣто самый лучшій улей въ болото бросаю водяному дѣдушкѣ: на тебѣ, дѣдушка, кушай! Хе, хе! А онъ, боярыня, дай Богъ ему здоровья, мою пасѣку бережетъ. Вѣдь отъ него-то на землѣ и пчелы пошли. Какъ заѣздилъ онъ коня, да бросилъ въ болото, такъ отъ этого-то коня и пчелы отроились; а рыбаки-то, вишь, закинули неводъ, да вмѣсто рыбы и вытащили пчелъ... Эхъ, боярыня! мало ѣшь, мало пьешь! А вотъ посмотри, коли не заставлю тебя винца испить... Слушай, боярыня! Во здравіе... хе, хе! Во здравіе князя... князя, то-есть не того, а Серебрянаго! Дай Богъ ему здоровья, вишь какъ порубилъ того-то, то-есть Вяземскаго-то! А бояринъ-то Дружина Андреичъ, хе, хе! Во здравіе его, боярыня? Поживешь у меня денька два въ похоронкахъ, а потомъ куда хошь ступай, хошь къ Дружинѣ Андреичу, хошь къ Серебряному, мнѣ какое дѣло! Во здравіе твое!

Чудно и болѣзненно отозвались въ груди Елены слова пьянаго мельника. Самыя сокровенныя мысли ея казались ему извѣстны; онъ какъ будто читалъ въ ея сердцѣ; лучина, воткнутая въ стѣну, озаряла его сморщенное лицо яркимъ свѣтомъ; сѣрые глаза его были отуманены хмелемъ, но, казалось, проникали Елену насквозь. Ей опять сдѣлалось страшно, она стала громко молиться.

— Хе, хе!—сказалъ мельникъ:—молись, молись, боярыня, я этого не боюсь... меня молитвой не испугаешь, ладаномъ не

выкуришь... я самъ умѣю причитывать... я не какой-нибудь такой... меня и водяной дѣдъ знаетъ, и лѣсовой дѣдъ... меня знаютъ русалки... и вѣдьмы... и кикиморы... меня всѣ знаютъ... меня... меня... вотъ, хошь я ихъ позову? Шикалу! Ликалу!

— Господи,—прошептала Елена.

Шикалу! Ликалу! Что нейдутъ? Постой, я ихъ приведу! Бду, бду!

Старикъ всталъ и, шатаясь и приплясывая, вышелъ изъ коморы. Елена въ ужасѣ заперла за нимъ дверь. Долго мельникъ разговаривалъ за дверью самъ съ собою.

— Меня всѣ знаютъ!—повторялъ онъ хвастливымъ, но уже невѣрнымъ голосомъ:—и лѣсовой дѣдъ... и водяной дѣдъ... и русалки... и кикиморы... я не какой-нибудь такой!.. меня всѣ знаютъ! Бду, бду!

Слышно было, какъ старикъ плясалъ и притопывалъ ногами. Потомъ голосъ его сталъ слабѣть, онъ легъ на землю, и вскорѣ раздалось его храпѣніе, которое во всю ночь сливалось съ шумомъ мельничнаго колеса.

ГЛАВА XVIII.

Старый знакомый.

На другой день послѣ разоренія Морозовскаго дома, пожилой ратникъ пробирался на вороной лошади въ дремучемъ лѣсу. Онъ безпрестанно снималъ шапку и къ чему-то прислушивался.

— Тише, Галка, полно-те фыркать!—говорилъ онъ, трепля лошадь по крутой шеѣ:—вишь, какая, неугомонная, ничего разслушать не дастъ. Фу, ты пропасть, никакъ и мѣста не спознаю! Все липа да орѣшникъ, а когда въ ту пору ночью ѣхали, кажись, смолою попахивало!

И всадникъ продолжалъ путь свой.

— Постой, Галка! — сказалъ онъ вдругъ, натянувъ, поводья:—вотъ теперь опять какъ будто слышу! Да стой ты смирно, экъ тебя разбираетъ! И вправду слышу! Это ужъ не листъ шумитъ, это мельничное колесо! Вишь она, мельница, куда запряталась! Только ужъ постой! Теперь отъ меня не уйдешь, тётка твоя подкурятина!

И Михеичъ, какъ будто опасаясь опять сбиться съ дороги, пустился во всю прыть по направленію шума.

— Ну, слава ти, Господи! — сказалъ онъ, когда между деревьями сталъ виднѣться поросшій мхомъ срубъ съ вертящимся колесомъ: — насилу-то догналъ; а то вѣдь чуть-было не уморился: то впереди шумъ, то за самою спиной,—ничего не разберешь! Вотъ она и мельница! Вотъ съ той стороны мы въ ту пору съ бояриномъ подъѣхали, когда станичники-то дорогу указывали. Да какъ же это опять будетъ? Въ ту пору колесо было справа, а теперь слѣва; въ ту пору комора стояла окномъ къ мельницѣ, а дверью къ лѣсу, а теперь стоитъ окномъ къ лѣсу, а дверью къ мельницѣ! Тьфу ты, ужъ этотъ мнѣ мельникъ! Вишь, какъ глаза отводитъ! Не даромъ же я и колесилъ цѣлый день кругъ этого мѣста; кабы не боярина выручать, ни за что́ бы сюда не пріѣхалъ!

Михеичъ слѣзъ съ своей Галки, привязалъ ее къ дереву подошелъ съ нѣкоторою боязнію къ мельницѣ и постучался въ дверь.

— Хозяинъ, а хозяинъ!

Никто не отвѣчалъ.

— Хозяинъ, а хозяинъ!

Внутри мельницы было молчаніе; только жернова гудѣли, да шестерни постукивали.

Михеичъ попытался толкнуть дверь: она была заперта.

«Да что онъ, сѣдой чортъ, спитъ, али притаился?»—подумалъ Михеичъ, и сталъ изо всей мочи стучать въ дверь и руками, и ногами. Отвѣта не было. Михеичъ началъ горячиться.

— Эй ты, хрѣнъ!—закричалъ онъ:—вылѣзай, не то огоньку подложу!

Раздался кашель, и сквозь небольшое отверстіе надъ дверью показалась бѣлая борода и лицо, изрытое морщинами, среди которыхъ свѣтились два глаза ярко-сѣраго цвѣта.

Михеичу стало неловко въ присутствіи мельника.

— Здравствуй, хозяинъ!—сказалъ онъ ласковымъ голосомъ.

— Господь съ тобою!—отвѣчалъ мельникъ:—чего тебѣ, добрый человѣкъ?

— Аль не узналъ меня, хозяинъ? Вѣдь я у тебя ономнясь съ бояриномъ ночевалъ.

— Съ княземъ-то? Какъ не узнать, узналъ! Что-жъ, батюшка, съ чѣмъ Богъ принесъ?

— Да что-жъ ты, хозяинъ, забился какъ филинъ въ дупло! Или меня впусти, или самъ выйди; такъ говорить несподручно!

— Постой, батюшка, дай только хлѣбушка подсыпать, вотъ я къ тебѣ сейчасъ выйду!

«Да,—подумалъ Михеичъ: — посмотрѣлъ бы я какого ты, чертовъ-кумъ, хлѣба подсыплешь! Я чай, кости жидовскія вѣдьмамъ на муку перемалываешь! Тутъ и завозу быть не можетъ; вишь, какая глушь, и колеи-то всѣ травой заросли!»

— Ну, вотъ, батюшка, я къ тебѣ и вышелъ,—сказалъ мельникъ тщательно запирая за собою дверь.

— Насилу-то вышелъ! Довольно ты поломался, хозяинъ.

— Да что, куманекъ, живу вѣдь не на базарѣ, въ лѣсу. Всякому отпирать не приходится; далеко ли до бѣды: видно, что человѣкъ, а почему знать, хлѣбъ ли святой у него подъ полой, или камень-булыжникъ!

«Вишь, мухоморъ!—подумалъ Михеичъ:—прикидывается, что разбойниковъ боится, а, я чаю, нѣтъ лѣшаго, съ которымъ бы дѣтей не крестилъ!»

— Ну, батюшка, что тебѣ до меня? Ты мнѣ разскажи, а я послушаю!

— Да вотъ что, хозяинъ: бѣда случилась, хуже смерти пришлось; схватили окаянные опричники господина моего, повезли къ Слободѣ съ великою крѣпостью; сидитъ онъ теперь, должно быть, въ тюрьмѣ, горемъ крутитъ, горе мыкаетъ; а за

что сидитъ, одному Богу вѣдомо: не сотворилъ никакого дурна ни передъ царемъ, ни передъ Господомъ; постоялъ лишь за правду, за боярина Морозова, да за боярыню его, когда они лукавствомъ своимъ, среди веселья, на домъ напали и до тла разорили.

Глаза мельника приняли странное выраженіе.

— Охъ, охъ, охъ! — сказалъ онъ: — худо, кормилецъ, худо, кормилецъ, худо карасю, когда въ шумъ заплыветъ. Худо князю твоему въ темницѣ сидѣть, хуже Морозову безъ жены молодой, еще хуже Вяземскому отъ чужой жены!

Михеичъ удивился.

— Да ты почемъ знаешь, что Вяземскій Морозова жену увезъ? Я тебѣ ничего про это не сказывалъ!

— Эхъ, куманёкъ, не то одно вѣдомо, что сказывается; иной разъ далеко по лѣсу стукнетъ, близко отзовется! когда подъ колесомъ воды убыло, знать есть засуха и за сто верстъ! и будетъ хлѣбу недородъ великъ, а нашъ брать, старикъ, живи себѣ молча; слушай, какъ трава растетъ, да мотай себѣ за ухо!

— Что-жъ, хозяинъ, ужъ не знаешь ли, какъ помочь боярину? Я вотъ все думалъ да гадалъ, раскидывалъ умомъ-разумомъ, ничего не придумалъ. Пойду, говорю, къ доброму человѣку, попрошу совѣта. Да, признаться, и тотъ молодецъ на умѣ все мотался, что проводилъ-то насъ до тебя. Говорилъ мнѣ тогда: коли понадоблюсь, говоритъ, боярину, приходи, говоритъ, на мельницу, спроси у дѣдушки, гдѣ Ванюха Перстень, а я, говоритъ, радъ боярину служить; за него, говоритъ, и животъ положу! Вотъ я къ тебѣ и пріѣхалъ, хозяинъ: сдѣлай божескую милость, научи, какъ боярина вызволить. А научишь, ужъ не забудетъ тебя князь Никита Романычъ, да и я, горемычный, буду вѣчнымъ слугою твоимъ.

«Провалиться бы тебѣ сквозь землю, тётка твоя подкурятина!—прибавилъ мысленно Михеичъ:—вотъ кому довелось кланяться!»

— Что-жъ, батюшка, почему не попытаться горю пособить. Плохо дѣло, что и говорить, да вѣдь ухватомъ изъ полымя горшки

вымаются, а бываетъ инольды, и зернушко изъ-подъ жернова цѣло выскочитъ: всяко бываетъ, какое кому счастье!

— Оно такъ, хозяинъ, при счастьѣ и пѣтушокъ яичко снесетъ, а при несчастьѣ и жукъ забодаетъ; только бью тебѣ челомъ; научи уму-разуму, что́ мнѣ теперь дѣлать?

Мельникъ опустилъ голову и сталъ какъ будто прислушиваться къ шуму колеса.

Прошло нѣсколько минутъ. Старикъ покачалъ головой и заговорилъ, не обращая вниманія на Михеича.

«Ходитъ, ходитъ колесо кругомъ, что́ было высоко, то́ будетъ низко, что́ было низко, будетъ высоко; слышу, далеко звонитъ колоколъ, невѣсть на похороны, невѣсть на свадьбу, а кого вѣнчать, кого хоронить, не слыхать—вода шумитъ, не видать за великимъ дымомъ!

«Слетаются во́роны издалека, кличутъ другъ друга на богатый пиръ, а кого клевать, кому очи вымать, и сами не чуютъ, летятъ да кричатъ! Наточенъ топоръ, наряженъ палачъ; по дубовымъ доскамъ побѣгутъ, потекутъ теплой крови ручьи; слетятъ головы съ плечъ—да невѣдомо чьи».

Михеичъ струсилъ.

— Что́ ты, дѣдушка, говоришь такое, да еще и причитываешь, словно по покойникѣ?

Мельникъ, казалось, не слыхалъ Михеича. Онъ уже ничего не говорилъ, но только бормоталъ себѣ что-то подъ носъ. Губы его безъ умолку шевелились, а сѣрые глаза смотрѣли тускло, какъ будто ничего не видѣли.

— Дѣдушка, а дѣдушка!—и Михеичъ дернулъ его за рукавъ.

— А?—отозвался мельникъ и обратился къ Михеичу, будто теперь только его замѣтилъ.

— Что́ ты бормочешь, дѣдушка?

— Эхъ, куманекъ! Много слышится, мало сказывается. Ступай теперь путемъ-дорогой мимо этой сосны. Ступай все прямо; много тебѣ будетъ поворотовъ вправо и влѣво, а ты все прямо ступай; верстъ пять проѣдешь, будетъ въ сторонѣ избушка, въ той избушкѣ нѣтъ живой души. Подожди тамъ до ночи, при-

дуть добрые люди, отъ нихъ больше узнаешь. А обратнымъ путемъ заѣзжай сюда, будетъ тебѣ работа; залетѣла жаръ-птица въ западню; отвезешь ее къ царю Далмату, а выручку пополамъ!

И не дожидаясь отвѣта, старикъ вошелъ въ мельницу и заперъ за собою дверь.

— Дѣдушка! — закричалъ ему вслѣдъ Михеичъ: — да скажи мнѣ толкомъ, про какихъ ты людей говоришь, про какую птицу?

Но мельникъ не отозвался на голосъ Михеича, и сколько тотъ ни прислушивался, онъ ничего не могъ услышать, кромѣ шума воды и стука колесъ.

«Вишь, тётка его подкурятина! — подумалъ Михеичъ: — куда вздумалъ посылать! Верстъ пять будетъ избушка, въ ней жди до ночи, а тамъ чортъ знаетъ кто придетъ—больше скажетъ. Послалъ бы я тебя самого туда, хрѣнъ этакій! Кабы не бояринъ, ужъ я бы далъ тебѣ! Вишь какой, въ самомъ дѣлѣ! Тьфу! Ну, Галка, нечего дѣлать, давай искать чертовой избушки!»

И сѣвъ на коня, Михеичъ присвистнулъ и пустился рысцой по направленію, указанному мельникомъ.

ГЛАВА XIX.

Русскій человѣкъ добро помнитъ.

Было уже поздно, когда Михеичъ увидѣлъ въ сторонѣ избушку, червую и закоптѣвшую, похожую больше на полуистлѣвшій грибъ, чѣмъ на человѣческое жилище. Солнце уже зашло. Полосы тумана стлались надъ высокою травой на небольшой расчищенной полянѣ. Было свѣжо и сыро. Птицы перестали щебетать; лишь иныя, время отъ времени, зачинали сонную пѣснь и, не окончивъ ее, засыпали на вѣтвяхъ. Мало-по-малу и онѣ замолкли, и среди общей тишины слышно было лишь слабое журчанье невидимаго ручья, да изрѣдка жужжанье вечернихъ жуковъ.

— Вишь, куда заѣхали, — сказалъ Михеичъ, оглядываясь

кругомъ:—и подлинно тутъ живой души нѣтъ! Подожду, посмотрю, кто такой придетъ, какого дастъ совѣта! Ну, а коли, не дай Богъ, кто-нибудь такой придетъ, что... тьфу! Съ нами крестная сила! Далъ бы я карачуна этому мельнику, кабы не боярина выручать.

Михеичъ слѣзъ съ своей Галки, стреножилъ ее путами, снялъ узду и пустилъ лошадку на волю Божію.

— Щипли себѣ травку,—сказалъ онъ:—а я войду въ избу, коли дверь не заперта, посмотрю, нѣтъ ли чего перекусить! Хозяйство, можетъ, хоть и недоброе, да вѣдь и голодъ не тётка!

Онъ толкнулъ ногой низенькую косую дверь; странно раздался въ этомъ безлюдномъ мѣстѣ ея продолжительный скрипъ, почти похожій на человѣческій плачъ. Когда, наконецъ, повернувшись на петляхъ, она ударилась въ стѣну, Михеичъ нагнулся и вошелъ въ избу. Его обдало темнотой и запахомъ остывшаго дыма. Пошаривъ кругомъ, онъ ощупалъ на столѣ краюху хлѣба и принялся убирать ее за обѣ щеки. Подошелъ къ очагу, порылся въ золѣ, нашелъ тамъ горячіе уголья, раздулъ ихъ не безъ труда и зажегъ лучину, валявшуюся на лавкѣ. Между печью и стѣною были укрѣплены палати. На нихъ лежало разное платье; между прочимъ, одинъ парчевой кафтанъ, шитый хоть бы на боярина. На стѣнѣ висѣла мисюрка съ богатою золотою насѣчкой. Но болѣе всего привлекъ вниманіе Михеича стоявшій на косякѣ образъ, весь почернѣвшій отъ дыма. Онъ примирилъ его съ неизвѣстными хозяевами.

Михеичъ нѣсколько разъ на него перекрестился, потомъ погасилъ лучину, влѣзъ на полати, растянулся, покряхтѣлъ и заснулъ бо[illegible] спом[illegible] спалъ довольно сладко, когда внеза[illegible] ку[illegible]окъ свалилъ его съ полатей.

[illegible]—[illegible]еичъ, проснувшись уже на го-[illegible]тка твоя...

[illegible]енною бородой, съ ши-[illegible] попотчивать его но-[illegible]

[illegible] дюжій парень, у котораго

только-что усъ пробивался:—что̀ онъ тебѣ сдѣлалъ? А?—При этомъ онъ оттеръ товарища плечомъ, а самъ уставился на Михеича и выпучилъ глаза.

— Ишь, сядой,—замѣтилъ онъ съ какимъ-то почтительнымъ удивленіемъ.

— Да ты, тюлень, чего ввязался!—закричалъ на него первый:—что̀ онъ тебѣ отецъ, али сватъ?

— А то̀ онъ мнѣ, что старикъ. Ишь сядой, потому старикъ. Я те говорю, не тронь, осерчаю!

Громкій смѣхъ раздался между людьми, вошедшими толпою въ избу.

— Эй, Хлопко,—сказалъ одинъ изъ нихъ:—берегись! Коли Митька осерчаетъ, плохо будетъ! Съ нимъ, братъ, не связывайся!

— Лѣшій съ нимъ свяжется!—отвѣчалъ Хлопко, отходя въ сторону.—Жили, жили въ лѣсу, да и нажили медвѣдя!

Другіе молодцы, всѣ вооруженные, обступили Михеича и смотрѣли на него не слишкомъ ласково.

— Откуда кожанъ залетѣлъ?—спросилъ одинъ изъ нихъ глядя ему прямо въ глаза.

Михеичъ, между тѣмъ, успѣлъ оправиться.

«Эге!—подумалъ онъ:—да это они-то и есть, станичники-то!»

— Здравствуйте, добрые люди! А гдѣ у васъ тотъ, что̀ зовутъ Ванюхой Перстнемъ?

— Такъ тебѣ атамана надо? Чего-жъ ты прежде не говорилъ? Сказалъ бы сразу, такъ не отвѣдалъ бы тумака!

— А вотъ и атаманъ!—прибавилъ другой, указывая на Перстня, который только-что вошелъ, въ сопровожденіи стараго Коршуна.

— Атаманъ!—закричали разбойники:—вотъ пришелъ человѣкъ, про тебя спрашиваетъ!

Перстень окинулъ быстрымъ окомъ Михеича и тотчасъ узналъ его.

— А, это ты, товарищъ!—сказалъ онъ:—добро пожаловать! Ну, что его княжеская милость, какъ здравствуетъ съ того дня,

какъ мы вмѣстѣ Малютиныхъ опричниковъ щелкали! Досталось имъ отъ насъ на Поганой-Лужѣ! Жаль только, что Малюта Лукьянычъ ускользнулъ, да что этотъ увалень, Митька, Хомяка упустилъ. Не сдобровать бы имъ у меня въ рукахъ! Что, я чай батюшка царь куда какъ обрадовался, какъ царевича-то увидалъ! Я чай, не нашелъ чѣмъ пожаловать князя Никиту Романыча!

— Да!—отвѣчалъ со вздохомъ Михеичъ:—жалуетъ царь, да не жалуетъ псарь! Батюшка государь Иванъ Васильевичъ, дай Богъ ему здоровья, таки миловалъ господина моего. Только видно не угодилъ Никита Романычъ опричникамъ окаяннымъ. Правда, не за что имъ и любить насъ. Перво въ Медвѣдевкѣ мы ихъ плетьми отшлепали, да вдругорь на Поганой-Лужѣ Малютѣ оплеуху дали, да вотъ вчера на Москвѣ бояринъ таки порубилъ ихъ порядкомъ. А они, окаянные, навалились на него многолюдствомъ, опрокинули, связали да и повезли къ Слободѣ. Оно бы все ничего, да этотъ Малюта, песій сынъ, обнесетъ насъ передъ государемъ, выместитъ на князѣ свою оплеуху!

— Гмъ!—сказалъ Перстень, садясь на скамью:—такъ царь не велѣлъ повѣсить Малюту? Какъ же такъ? Ну, про то знаетъ его царская милость. Что-жъ ты думаешь дѣлать?

— Да что, батюшка Иванъ, не знаю какъ и величать твое здоровье по изотчеству...

— Величай Ванюхой и дѣло съ концомъ!

— Ну, батюшка, Ванюха, я и самъ не знаю, что дѣлать. Авось ты чего не пригадаешь ли? Вѣдь одинъ-то умъ хорошъ, а два лучше! Вотъ и мельникъ ни къ кому другому, а къ тебѣ послалъ: ступай, говоритъ, къ атаману, онъ поможетъ; ужъ я, говоритъ, по примѣтамъ вижу, что ему отъ этого будетъ всякая удача и корысть богатая! Ступай, говоритъ, къ атаману!

— Ко мнѣ! Такъ и сказалъ, ко мнѣ?

— Къ тебѣ, батюшка, къ тебѣ. Ступай, говоритъ, къ атаману, отдай отъ меня поклонъ, скажи, чтобы во что-бъ ни стало выручилъ князя. Я-де, говоритъ, ужъ вижу, что ему будетъ отъ этого корысть богатая, по примѣтамъ, дескать, вижу. Пусть,

во что-бъ ни стало, выручитъ князя! Я-де, говоритъ, этой службы не забуду. А не выручитъ атаманъ князя, всякая, говоритъ, будетъ напасть на него; исчахнетъ, говоритъ, словно былинка; совсѣмъ, говоритъ, пропадетъ!

— Вотъ что!—сказалъ Перстень, потупя голову и какъ будто задумавшись:—ужель и вправду исчахну?

— Да, батюшка, и руки, и ноги, говоритъ, отсохнутъ; а на головѣ такая, говоритъ, пойдетъ дрянь, что не приведи Господи!

Перстень поднялъ голову и пристально взглянулъ на Михеича.

— А еще ничего не сказалъ мельникъ?

— Какъ же, батюшка!—продолжалъ Михеичъ, поглядывая съ боку на дымящійся горшокъ щей, который разбойники поставили на столъ:—еще мельникъ сказалъ такъ: скажи, дескать, атаману, чтобъ онъ тебя накормилъ и напоилъ хорошенько, примѣрно, какъ бы самого меня. А главное, говоритъ, чтобъ выручилъ князя. Вотъ что, батюшка, мельникъ сказалъ.

И Михеичъ посматривалъ на атамана, извѣдывая, какое впечатлѣніе произвели его слова.

Но Перстень взглянулъ на него еще пристальнѣе и вдругъ залился самымъ громкимъ, самымъ веселымъ смѣхомъ.

— Эхъ, старина, старина! Такъ тебѣ и вправду мельникъ сказалъ, что коли не выручу князя, такъ вотъ и пропаду?

— Да, батюшка,—отвѣчалъ стремянный, немного запинаясь:—и руки, и ноги...

— Хитёръ же ты, братъ!—перебилъ Перстень, ударивъ его по плечу и продолжая смѣяться:—только меня-то напрасно надувать вздумалъ! Садись съ нами,—прибавилъ онъ, придвигаясь къ столу:—хлѣбъ да соль! На тебѣ ложку, повечеряемъ; а коли можно помочь князю, я и безъ твоихъ выдумокъ помогу. Только какъ и чѣмъ помочь? Вѣдь князь-то въ тюрьмѣ сидитъ?

— Въ тюрьмѣ, батюшка.

— Въ той самой, что на площади, у Малютина дома?

— Да ужъ ни въ какой другой. Эта будетъ покрѣпче!

кругомъ:—и подлинно тутъ живой души нѣтъ! Подожду, посмотрю, кто такой придетъ, какого дастъ совѣта! Ну, а коли, не дай Богъ, кто-нибудь такой придетъ, что... тьфу! Съ нами крестная сила! Далъ бы я карачуна этому мельнику, кабы не боярина выручать.

Михеичъ слѣзъ съ своей Галки, стреножилъ ее путами, снялъ узду и пустилъ лошадку на волю Божію.

— Щипли себѣ травку,—сказалъ онъ:—а я войду въ избу, коли дверь не заперта, посмотрю, нѣтъ ли чего перекусить! Хозяйство, можетъ, хоть и недоброе, да вѣдь и голодъ не тётка!

Онъ толкнулъ ногой низенькую косую дверь; странно раздался въ этомъ безлюдномъ мѣстѣ ея продолжительный скрипъ, почти похожій на человѣческій плачъ. Когда, наконецъ, повернувшись на петляхъ, она ударилась въ стѣну, Михеичъ нагнулся и вошелъ въ избу. Его обдало темнотой и запахомъ остывшаго дыма. Пошаривъ кругомъ, онъ ощупалъ на столѣ краюху хлѣба и принялся убирать ее за обѣ щеки. Подошелъ къ очагу, порылся въ золѣ, нашелъ тамъ горячіе уголья, раздулъ ихъ не безъ труда и зажегъ лучину, валявшуюся на лавкѣ. Между печью и стѣною были укрѣплены палати. На нихъ лежало разное платье; между прочимъ, одинъ парчевой кафтанъ, шитый хоть бы на боярина. На стѣнѣ висѣла мисюрка съ богатою золотою насѣчкой. Но болѣе всего привлекъ вниманіе Михеича стоявшій на косякѣ образъ, весь почернѣвшій отъ дыма. Онъ примирилъ его съ неизвѣстными хозяевами.

Михеичъ нѣсколько разъ на него перекрестился, потомъ погасилъ лучину, влѣзъ на полати, растянулся, покряхтѣлъ и заснулъ богатырскимъ сномъ. Онъ спалъ довольно сладко, когда внезапный ударъ кулакомъ въ бокъ свалилъ его съ полатей.

— Это что?—вскричалъ Михеичъ, проснувшись уже на голой землѣ:—кто это дерется? смотри, тётка твоя...

Передъ нимъ стоялъ дѣтина со вклоченною бородой, съ широкимъ ножомъ за поясомъ, и готовился попотчивать его новымъ ударомъ кулака.

— Не замай!—сказалъ ему другой дюжій парень, у котораго

только-что усъ пробивался:—что онъ тебѣ сдѣлалъ? А?—При этомъ онъ оттеръ товарища плечомъ, а самъ уставился на Михеича и выпучилъ глаза.

— Ишь, сядой,—замѣтилъ онъ съ какимъ-то почтительнымъ удивленіемъ.

— Да ты, тюлень, чего ввязался!—закричалъ на него первый:—что онъ тебѣ отецъ, али сватъ?

— А то онъ мнѣ, что старикъ. Ишь сядой, потому старикъ. Я те говорю, не тронь, осерчаю!

Громкій смѣхъ раздался между людьми, вошедшими толпою въ избу.

— Эй, Хлопко,—сказалъ одинъ изъ нихъ:—берегись! Коли Митька осерчаетъ, плохо будетъ! Съ нимъ, братъ, не связывайся!

— Лѣшій съ нимъ свяжется!—отвѣчалъ Хлопко, отходя въ сторону.—Жили, жили въ лѣсу, да и нажили медвѣдя!

Другіе молодцы, всѣ вооруженные, обступили Михеича и смотрѣли на него не слишкомъ ласково.

— Откуда кожанъ залетѣлъ?—спросилъ одинъ изъ нихъ глядя ему прямо въ глаза.

Михеичъ, между тѣмъ, успѣлъ оправиться.

«Эге!—подумалъ онъ:—да это они-то и есть, станичники-то!»

— Здравствуйте, добрые люди! А гдѣ у васъ тотъ, что зовутъ Ванюхой Перстнемъ?

— Такъ тебѣ атамана надо? Чего-жъ ты прежде не говорилъ? Сказалъ бы сразу, такъ не отвѣдалъ бы тумака!

— А вотъ и атаманъ!—прибавилъ другой, указывая на Перстня, который только-что вошелъ, въ сопровожденіи стараго Коршуна.

— Атаманъ!—закричали разбойники:—вотъ пришелъ человѣкъ, про тебя спрашиваетъ!

Перстень окинулъ быстрымъ окомъ Михеича и тотчасъ узналъ его.

— А, это ты, товарищъ!—сказалъ онъ:—добро пожаловать! Ну, что его княжеская милость, какъ здравствуетъ съ того дня,

какъ мы вмѣстѣ Малютиныхъ опричниковъ щелкали! Досталось имъ отъ насъ на Поганой-Лужѣ! Жаль только, что Малюта Лукьянычъ ускользнулъ, да что этотъ увалень, Митька, Хомяка упустилъ. Не сдобровать бы имъ у меня въ рукахъ! Что, я чай батюшка царь куда какъ обрадовался, какъ царевича-то увидалъ! Я чай, не нашелъ чѣмъ пожаловать князя Никиту Романыча!

— Да!—отвѣчалъ со вздохомъ Михеичъ:—жалуетъ царь, да не жалуетъ псарь! Батюшка государь Иванъ Васильевичъ, дай Богъ ему здоровья, таки миловалъ господина моего. Только видно не угодилъ Никита Романычъ опричникамъ окаяннымъ. Правда, не за что имъ и любить насъ. Перво въ Медвѣдевкѣ мы ихъ плетьми отшлепали, да вдругорь на Поганой-Лужѣ Малютѣ оплеуху дали, да вотъ вчера на Москвѣ бояринъ таки порубилъ ихъ порядкомъ. А они, окаянные, навалились на него многолюдствомъ, опрокинули, связали да и повезли къ Слободѣ. Оно бы все ничего, да этотъ Малюта, песій сынъ, обнесетъ насъ передъ государемъ, выместитъ на князѣ свою оплеуху!

— Гмъ!—сказалъ Перстень, садясь на скамью:—такъ царь не велѣлъ повѣсить Малюту? Какъ же такъ? Ну, про то знаетъ его царская милость. Что-жъ ты думаешь дѣлать?

— Да что, батюшка Иванъ, не знаю какъ и величать твое здоровье по изотчеству...

— Величай Ванюхой и дѣло съ концомъ!

— Ну, батюшка, Ванюха, я и самъ не знаю, что дѣлать. Авось ты чего не пригадаешь ли? Вѣдь одинъ-то умъ хорошъ, а два лучше! Вотъ и мельникъ ни къ кому другому, а къ тебѣ послалъ: ступай, говоритъ, къ атаману, онъ поможетъ; ужъ я, говоритъ, по примѣтамъ вижу, что ему отъ этого будетъ всякая удача и корысть богатая! Ступай, говоритъ, къ атаману!

— Ко мнѣ! Такъ и сказалъ, ко мнѣ?

— Къ тебѣ, батюшка, къ тебѣ. Ступай, говоритъ, къ атаману, отдай отъ меня поклонъ, скажи, чтобы во что-бъ ни стало выручилъ князя. Я-де, говоритъ, ужъ вижу, что ему будетъ отъ этого корысть богатая, по примѣтамъ, дескать, вижу. Пусть,

во что̀-бъ ни стало, выручитъ князя! Я-де, говоритъ, этой службы не забуду. А не выручитъ атаманъ князя, всякая, говоритъ, будетъ напасть на него; исчахнетъ, говоритъ, словно былинка; совсѣмъ, говоритъ, пропадетъ!

— Вотъ что̀!—сказалъ Перстень, потупя голову и какъ будто задумавшись:—ужель и вправду исчахну?

— Да, батюшка, и руки, и ноги, говоритъ, отсохнутъ; а на головѣ такая, говоритъ, пойдетъ дрянь, что не приведи Господи!

Перстень поднялъ голову и пристально взглянулъ на Михеича.

— А еще ничего не сказалъ мельникъ?

— Какъ же, батюшка!—продолжалъ Михеичъ, поглядывая съ боку на дымящійся горшокъ щей, который разбойники поставили на столъ:—еще мельникъ сказалъ такъ: скажи, дескать, атаману, чтобъ онъ тебя накормилъ и напоилъ хорошенько, примѣрно, какъ бы самого меня. А главное, говоритъ, чтобъ выручилъ князя. Вотъ что̀, батюшка, мельникъ сказалъ.

И Михеичъ посматривалъ на атамана, извѣдывая, какое впечатлѣніе произвели его слова.

Но Перстень взглянулъ на него еще пристальнѣе и вдругъ залился самымъ громкимъ, самымъ веселымъ смѣхомъ.

— Эхъ, старина, старина! Такъ тебѣ и вправду мельникъ сказалъ, что коли не выручу князя, такъ вотъ и пропаду?

— Да, батюшка,—отвѣчалъ стремянный, немного запинаясь:—и руки, и ноги...

— Хитёръ же ты, братъ!—перебилъ Перстень, ударивъ его по плечу и продолжая смѣяться:—только меня-то напрасно надувать вздумалъ! Садись съ нами,—прибавилъ онъ, придвигаясь къ столу:—хлѣбъ да соль! На̀ тебѣ ложку, повечеряемъ; а коли можно помочь князю, я и безъ твоихъ выдумокъ помогу. Только какъ и чѣмъ помочь? Вѣдь князь-то въ тюрьмѣ сидитъ?

— Въ тюрьмѣ, батюшка.

— Въ той самой, что на площади, у Малютина дома?

— Да ужъ ни въ какой другой. Эта будетъ покрѣпче!

— А ключи вѣдь у кого? У Малюты?

— Да какъ были мы въ Слободѣ, такъ, бывало, видѣли, какъ онъ захаживалъ въ тюрьму пытать людей. Ключи, бывало, всегда съ нимъ. А къ ночи, бывало, онъ ихъ къ царю относитъ, а ужъ царь, всѣмъ вѣдомо, подъ самое изголовье кладетъ.

— Ну, такъ вишь ли!—сказалъ Перстень, опуская ложку въ щи:—какой тутъ бѣсъ твоему князю поможетъ? Ну, говори самъ: какой бѣсъ ему поможетъ?

Михеичъ почесалъ затылокъ.

— Такъ ты видишь, что нельзя помочь?

— Вижу,—отвѣчалъ Михеичъ и ложку бросилъ.—Стало, и мнѣ не жить на бѣломъ свѣтѣ! Пойду къ господину, сложу старую голову подлѣ его головы, стану ему на томъ свѣтѣ служить, коль на этомъ заказано!

— Ну, ну, ужъ и отходную затянулъ! Еще, можетъ, князь твой и не въ тюрьмѣ. Тогда и плакать нечего, а коли въ тюрьмѣ, такъ дай подумать... Слободу-то я хорошо знаю; я туда прошедшаго мѣсяца медвѣдя водилъ, и дворецъ знаю; все высмотрѣлъ; думалъ себѣ: когда-нибудь пригодится!.. Постой, дай поразмыслить...

Перстень задумался.

— Нашелъ!—вскричалъ онъ вдругъ и вскочилъ съ мѣста.—Дядя Коршунъ! Насъ съ тобой князь отъ смерти спасъ—спасемъ и мы его; теперь наша очередь! Хочешь идти со мной на трудное дѣло?

Старый разбойникъ нахмурился и покачалъ кудрявою головой.

— Что́, Коршунъ, не́што не хочется тебѣ?

— Да что̀ ты, атаманъ, съ ума, что-ли, спятилъ? Аль не слыхалъ, гдѣ сидитъ князь? Аль не слыхалъ, что ключи днемъ у Малюты, а ночью у царя подъ изголовьемъ? Что́ тутъ дѣлать? Плетью обуха не перешибешь. Пропалъ онъ, такъ и пропалъ! Не́што изъ-за него и намъ пропадать? Легче ему, что-ли будетъ, когда съ насъ шкуру сдерутъ?

— Оно такъ, Коршунъ, да вѣдь не даромъ пословица гово-

рится: долгъ платежомъ красенъ! Вѣдь не спаси насъ въ то время князь, гдѣ бы мы теперь были? Висѣли бы гдѣ-нибудь на березѣ, вѣтеръ бы насъ покачивалъ! А каковс-то ему теперь? Я чай, думалъ себѣ: вотъ, я въ ту пору ребятушекъ вызволилъ изъ бѣды, теперь и они меня вызволятъ! А какъ бросимъ мы его, да какъ поведутъ его казнить,—тьфу! скажетъ,—что-й-то за люди были, воровать-разбойничать умѣютъ, а добра-то не помнятъ! Только, скажетъ, кровь неповинную проливаютъ, а христіанина спасти не ихъ дѣло! Я, скажетъ, за нихъ Господу Богу и добраго слова не замолвлю! Пусть себѣ, скажетъ, и на этомъ свѣту, и на томъ пропадаютъ! Вотъ что скажетъ князь.

Коршунъ еще болѣе нахмурилъ брови. Внутренняя борьба отразилась на суровомъ лицѣ его. Замѣтно было, что Перстень удачно тронулъ живую струну въ очерствѣломъ его сердцѣ.

Но не долго продолжалась борьба. Старикъ махнулъ рукою.

— Нѣтъ, братъ,—сказалъ онъ:—пустое затѣваешь; своя рубаха ближе къ тѣлу! Не пойду!

— Ну, нѣтъ, такъ нѣтъ!—сказалъ Перстень.—Подождемъ утра, авось, что другое придумаемъ, утро вечера мудренѣе! А теперь, ребятушки, пора бы и соснуть! Кто можетъ Богу молиться, молись, а кто не можетъ, такъ ложись!

Атаманъ посмотрѣлъ искоса на Коршуна. Видно зналъ онъ что-нибудь за старикомъ, ибо Коршунъ слегка вздрогнулъ, и чтобъ никто того не замѣтилъ, сталъ громко зѣвать, а потомъ напѣвать себѣ что-то подъ носъ.

Разбойники встали. Иные тотчасъ взлѣзли на палати; другіе еще долго молились передъ образомъ. Изъ числа послѣднихъ былъ Митька! Онъ усердно клалъ земные поклоны, и еслибъ одежда и вооруженіе не обличали ремесла его, никто бы, по добродушному лицу Митьки, не узналъ въ немъ разбойника.

Не таковъ былъ старый Коршунъ. Когда всѣ улеглись, Михеичъ увидѣлъ при слабомъ мерцаніи огня, какъ старикъ слѣзъ съ лежанки и подошелъ къ образу. Нѣсколько разъ онъ перекрестился, что-то пробормоталъ, и наконецъ сказалъ съ сердцемъ:

— Нѣтъ, не могу! Я чаялъ, будетъ легче сегодня!

Долго слышалъ Михеичъ, какъ Коршунъ ворочался съ боку на бокъ, ворчалъ что-то про себя, но не могъ заснуть. Передъ разсвѣтомъ онъ разбудилъ атамана.

— Атаманъ,—сказалъ онъ:—а атаманъ!

— Чего тебѣ, дядя?

— Пожалуй, я пойду съ тобой; веди куда знаешь!

— Что́ такъ?

— Да такъ, спать не могу. Вотъ ужъ которую ночь не спится.

— А назадъ не попятишься?

— Ужъ сказалъ иду, такъ не попячусь!

— Ну, ладно, дядя Коршунъ, спасибо! Теперь только бы еще одного товарища, а болѣ не надо! Много ли ночи осталось?

— Ужъ слышно птахи заиграли.

— Ну, такъ ужъ вволю полежано, и вставать пора.

— Митька!—сказалъ Перстень, толкая подъ бокъ Митьку.

— А?—отвѣчалъ, раскрывъ глаза, парень.

— Хочешь идти съ нами?

— Кудь?

— Тебѣ что́ за дѣло? Спрашиваютъ тебя, хочешь ли идти со мной да съ дѣдушкой Коршуномъ?

— А для-ча?—отвѣчалъ Митька, зѣвая, и свѣсилъ ноги съ палатей.

— Ну, за это люблю. Иди куда поведутъ, а не спрашивай: кудь? Расшибутъ тебѣ голову, не твое дѣло, про то мы будемъ знать, а тебѣ какая нужда! Ну, смотри-жъ, взялся за гужъ-не говори: не дюжъ; попятишься назадъ, ракомъ назову!

— Ня назовешь!—отвѣчалъ Митька, и сталъ обертывать ноги онучами.

Разбойники начали одѣваться.

Въ чемъ состояла выдумка Перстня, и удачно-ль онъ исполнилъ ее,—узнаемъ изъ слѣдующихъ главъ.

ГЛАВА XX.

Веселые люди.

Въ глубокой и темной тюрьмѣ, которой мокрыя стѣны были покрыты плѣсенью, сидѣлъ князь Никита Романовичъ, скованный по рукамъ и ногамъ, и ожидалъ себѣ смерти. Не зналъ онъ навѣрно, сколько прошло дней съ тѣхъ поръ какъ его схватили, ибо свѣтъ ни откуда не проникалъ въ подземелье, но время отъ времени доходилъ до слуха его отдаленный благовѣстъ, и соображаясь съ этимъ глухимъ и слабымъ звономъ, онъ разсчиталъ, что сидитъ въ тюрьмѣ болѣе трехъ дней. Брошенный ему хлѣбъ былъ уже давно съѣденъ, оставленный ковшъ съ водой давно выпитъ, и голодъ и жажда начинали его мучить, какъ непривычный шумъ привлекъ его вниманіе. Надъ головой его отпирали замокъ. Заскрипѣла первая наружная дверь темницы. Шумъ раздался ближе. Загремѣлъ другой замокъ, и вторая дверь заскрипѣла. Наконецъ отперли третью дверь, и послышались шаги, спускающіеся въ подземелье. Сквозь щели послѣдней двери блеснулъ огонь, ключъ съ визгомъ повернулся, нѣсколько засововъ отодвинулось, ржавыя петли застонали, и яркій, нестерпимый свѣтъ ослѣпилъ Серебрянаго.

Когда онъ опустилъ руки, которыми невольно закрылъ глаза, передъ нимъ стояли Малюта Скуратовъ и Борисъ Годуновъ. Сопровождавшій ихъ палачъ держалъ высоко надъ ними смоляной свѣточъ.

Малюта, скрестивъ руки, глядѣлъ, улыбаясь, въ лицо Серебряному, и зрачки его, казалось, сжимались и расширялись.

— Здравствуй, батюшка князь! — проговорилъ онъ такимъ голосомъ, котораго никогда еще не слыхивалъ Никита Романовичъ, голосомъ протяжно-вкрадчивымъ и зловѣще-мягкимъ, напоминающимъ кровожадное мяуканье кошки, когда она подходитъ къ мышеловкѣ, въ которой сидитъ пойманная мышь.

Серебряный невольно содрогнулся, но видъ Годунова подѣйствовалъ на него благотворно.

— Борисъ Ѳедоровичъ, — сказалъ онъ, отворачиваясь отъ Малюты:—спасибо тебѣ, что ты посѣтилъ меня. Теперь и умереть будетъ легче!

И онъ протянулъ къ нему скованную руку. Но Годуновъ отступилъ назадъ, и на холодномъ лицѣ его ни одна черта не выразила участія къ князю.

Рука Серебрянаго, гремя цѣпью, опять упала къ нему на колѣни.

— Не думалъ я, Борисъ Ѳедоровичъ,—сказалъ онъ съ упрекомъ:—что ты отступишься отъ меня. Или ты только пришелъ на мою казнь посмотрѣть?

— Я пришелъ,—отвѣтилъ спокойно Годуновъ:—быть у допроса твоего вмѣстѣ съ Григорьемъ Лукьяновичемъ. Отступаться мнѣ не отъ чего; я никогда не мыслилъ къ тебѣ, и только, вѣдая государево милосердіе, остановилъ въ ту пору заслуженную тобою казнь!

Сердце Серебрянаго болѣзненно сжалось, и перемѣна въ Годуновѣ показалась ему тяжелѣе самой смерти.

— Время милосердія прошло,—продолжалъ Годуновъ хладнокровно: — ты помнишь клятву, что̀ далъ государю? Покорись же теперь его святой волѣ, и если признаешься намъ во всемъ безъ утайки, то минуешь пытку и будешь казненъ скорою смертію. Начнемъ допросъ, Григорій Лукьяновичъ!

— Погоди, погоди маленько!—отвѣчалъ Малюта, улыбаясь.— У меня съ его милостью особые счеты! Укороти его цѣпи, Ѳомка,—сказалъ онъ палачу.

И палачъ, воткнувъ свѣточъ въ желѣзное кольцо, вдѣланное въ стѣну, подтянулъ руки Серебрянаго къ самой стѣнѣ, такъ что онъ не могъ двинуть.

Тогда Малюта подступилъ къ нему ближе, и долго смотрѣлъ на него, не измѣняя своей улыбки.

— Батюшка, князь Никита Романычъ!—заговорилъ онъ наконецъ:—не откажи мнѣ въ милости великой!

Онъ сталъ на колѣни и поклонился въ землю Серебряному.

— Мы, батюшка князь,—продолжалъ онъ съ насмѣшливою покорностью:—мы передъ твоею милостью малые люди; такихъ большихъ бояръ, какъ ты, никогда еще своими руками не казнили, не пытывали! И къ допросу-то приступить робость беретъ! Кровь-то, вишь, говорятъ, не одна у насъ въ жилахъ течетъ...

И Малюта остановился, и улыбка его сдѣлалась ядовитѣе, и глаза расширились болѣе, и зрачки запрыгали чаще.

— Дозволь, батюшка князь, — продолжалъ онъ, придавая своему голосу умоляющее выраженіе:—дозволь передъ допросомъ, для смѣлости-то, на твою боярскую кровь посмотрѣть!

И онъ вынулъ изъ-за пояса ножъ, и подползъ на колѣняхъ къ Серебряному.

Никита Романовичъ рванулся назадъ и взглянулъ на Годунова.

Лицо Бориса Ѳедоровича было неподвижно.

— А потомъ,—продолжалъ, возвышая голосъ, Малюта:—потомъ дозволь мнѣ, худородному, изъ княжеской спины твоей ремней выкроить! Дозволь мнѣ, холопу, боярскую кожу твою на конскій чепракъ снять! Дозволь мнѣ смрадному рабу, вельможнымъ мясомъ твоимъ собакъ моихъ накормить!

Голосъ Малюты, обыкновенно грубый, теперь походилъ на визгъ шакала, нѣчто между плачемъ и хохотомъ.

Волосы Серебрянаго стали дыбомъ. Когда въ первый разъ Іоаннъ осудилъ его на смерть, онъ твердо шелъ на плаху, но здѣсь, въ темницѣ, скованный цѣпями, изнуренный голодомъ, онъ не въ силахъ былъ вынести этого голоса и взгляда.

Малюта нѣсколько времени наслаждался произведеннымъ имъ дѣйствіемъ.

— Батюшка князь,—взвизгнулъ онъ вдругъ, бросая ножъ свой и подымаясь на ноги:—дозволь мнѣ прежде всего тебѣ честно долгъ заплатить!

И стиснувъ зубы, онъ поднялъ ладонь и замахнулся на Никиту Романовича.

Кровь Серебрянаго отхлынула къ сердцу, и къ негодованію его присоединился тотъ ужасъ омерзѣнія, какой производитъ на насъ близость нечистой твари, грозящей своимъ прикосновеніемъ.

Онъ устремилъ отчаянный взоръ свой на Годунова.

Въ эту минуту подъятая рука Малюты остановилась на воздухѣ, схваченная Борисомъ Ѳедоровичемъ.

— Григорій Лукьяновичъ,—сказалъ Годуновъ, не теряя своего спокойствія:—если ты его ударишь, онъ расшибетъ себѣ голову объ стѣну, и некого будетъ намъ допрашивать. Я знаю этого Серебрянаго.

— Прочь заревѣлъ Малюта:—не мѣшай мнѣ надъ нимъ потѣшиться! Не мѣшай отплатить ему за Поганую-Лужу!

— Опомнись, Григорій Лукьяновичъ! мы отвѣчаемъ за него государю!

И Годуновъ схватилъ Малюту за обѣ руки.

Но какъ дикій звѣрь, почуявшій кровь, Малюта ничего уже не помнилъ. Съ крикомъ и проклятіями вцѣпился онъ въ Годунова и старался опрокинуть его, чтобы броситься на свою жертву. Началась между ними борьба; свѣточъ, задѣтый однимъ изъ нихъ, упалъ на землю и погасъ подъ ногою Годунова.

Малюта пришелъ въ себя.

— Я скажу государю,—прохрипѣлъ онъ, задыхаясь:—что ты стоишь за его измѣнника!

— А я,—отвѣтилъ Годуновъ:—скажу государю, что ты хотѣлъ убить его измѣнника безъ допроса, потому что боишься его показаній!

Нѣчто въ родѣ рычанія вырвалось изъ груди Малюты, и онъ бросился изъ темницы, позвавъ съ собою палача.

Между тѣмъ, какъ они ощупью взбирались по лѣстницѣ, Серебряный почувствовалъ, что ему отпускаютъ цѣпи, и что онъ опять можетъ двигаться.

— Не отчаявайся, князь!—шепнулъ ему на ухо Годуновъ, крѣпко сжимая его руку:—главное, выиграть время.

И онъ поспѣшилъ вслѣдъ за Малютой, заперевъ предварительно за собою дверь и тщательно задвинувъ засовы.

— Григорій Лукьяновичъ,—сказалъ онъ Скуратову, догнавъ его у выхода и подавая ему ключи въ присутствіи стражи,— ты не заперъ тюрьмы. Этакъ дѣлать не годится; неравно подумаютъ, ты заодно съ Серебрянымъ!

Въ то самое время, какъ описанное происходило въ тюрьмѣ, Іоаннъ сидѣлъ въ своемъ теремѣ, мрачный и недовольный. Незнакомое ему чувство мало-по-малу имъ овладѣло. Чувство это было невольное уваженіе къ Серебряному, котораго смѣлые поступки возмущали его самодержавное сердце, а, между тѣмъ, не подходили подъ собственныя его понятія объ измѣнѣ. Доселѣ Іоаннъ встрѣчалъ или явное своеволіе, какъ въ боярахъ, омрачавшихъ своими раздорами время его малолѣтства, или гордое непокорство, какъ въ Курбскомъ, или же рабскую низкопоклонность, какъ во всѣхъ окружавшихъ его въ настоящее время. Но Серебряный не принадлежалъ ни къ одному изъ этихъ разрядовъ. Онъ раздѣлялъ убѣжденія своего вѣка въ божественной неприкосновенности правъ Іоанна; онъ умственно подчинялся этимъ убѣжденіямъ, и болѣе привыкшій дѣйствовать, чѣмъ мыслить, никогда не выходилъ преднамѣренно изъ повиновенія царю, котораго считалъ представителемъ Божіей воли на землѣ. Но, несмотря на это, каждый разъ, когда онъ сталкивался съ явною несправедливостью, душа его вскипала негодованіемъ, и врожденная прямота брала верхъ надъ правилами, принятыми на вѣру. Онъ тогда, самъ себѣ на удивленіе, и почти безсознательно, дѣйствовалъ наперекоръ этимъ правиламъ, и на дѣлѣ выходило совсѣмъ не то, что́ они ему предписывали. Эта благородная непослѣдовательность противорѣчила всѣмъ понятіямъ Іоанна о людяхъ и приводила въ замѣшательство его знаніе человѣческаго сердца. Откровенность Серебрянаго, его неподкупное прямодушіе и неспособность преслѣдовать личныя выгоды были очевидны для самого Іоанна. Онъ понималъ, что Серебряный его не обманетъ, что можно на него вѣрнѣе положиться, чѣмъ на кого-либо изъ присяжныхъ опричниковъ, и

ему приходило желаніе приблизить его къ себѣ и сдѣлать изъ него свое орудіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ, что орудіе это, само по себѣ надежное, можетъ неожиданно ускользнуть изъ рукъ его, и при одной мысли о такой возможности расположеніе его къ Серебряному обращалось въ ненависть. Хотя подвижная впечатлительность Іоанна и побуждала его иногда отказываться отъ кровавыхъ дѣлъ своихъ и предаваться раскаянію, но то были исключенія; въ обыкновенное же время онъ былъ проникнутъ сознаніемъ своей непогрѣшимости, вѣрилъ твердо въ божественное начало своей власти и ревниво охранялъ ее отъ постороннихъ посягательствъ, а посягательствомъ казалось ему всякое даже молчаливое осужденіе. Такъ случилось и теперь. Мысль простить Серебрянаго мелькнула въ душѣ его, но тотчасъ же уступила мѣсто убѣжденію, что Никита Романовичъ принадлежитъ къ числу людей, которыхъ не должно терпѣть въ государствѣ.

«Аще,—подумалъ онъ:—цѣлому стаду идущу одесную, единая овца идетъ ошую, пастырь ту овцу изъемлетъ изъ стада и закланію предаетъ!» Такъ подумалъ Іоаннъ и рѣшилъ въ сердцѣ своемъ участь Серебрянаго. Казнь ему была назначена на слѣдующій день; но онъ велѣлъ снять съ него цѣпи и послалъ ему вина и пищи отъ своего стола.

Между тѣмъ, чтобы разогнать впечатлѣнія, возбужденныя въ немъ внутреннею борьбою, впечатлѣнія непривычныя, отъ которыхъ ему было неловко, онъ вздумалъ проѣхаться въ чистомъ полѣ и приказалъ большую птичью охоту.

Утро было прекрасное. Сокольничій, подсокольничій, начальные люди и всѣ чины сокольничья пути выѣхали верхами, въ блестящемъ убранствѣ, съ соколами, кречетами и челигами на рукавицахъ, и ожидали государя въ полѣ.

Не даромъ искони говорилось, что полевая потѣха утѣшаетъ сердца печальныя, а кречетья добыча веселитъ весельемъ радостнымъ стараго и малаго. Сколь ни пасмуренъ былъ царь, когда выѣхалъ изъ Слободы съ своими опричниками, но при видѣ всей блестящей толпы сокольниковъ лицо его прояснилось. Мѣстомъ

сборища были заповѣдные луга и перелѣски, верстахъ въ двухъ отъ Слободы по владимірской дорогѣ.

Сокольничій, въ красномъ бархатномъ кафтанѣ съ золотою нашивкой и золотою перевязью, въ парчевой шапкѣ, въ желтыхъ сапогахъ и въ нарядныхъ рукавицахъ, слѣзъ съ коня и подошелъ къ Іоанну, сопровождаемый подсокольничимъ, который несъ на рукѣ бѣлаго кречета, въ клобучкѣ и въ колокольцахъ.

Поклонившись до земли, сокольничій спросилъ:

— Время ли, государь, веселью быть?

— Время,—отвѣчалъ Іоаннъ:—начинай веселье!

Тогда сокольничій подалъ царю богатую рукавицу, всю испещренную золотыми притчами, и, принявъ кречета отъ подсокольничаго, посадилъ его государю на руку.

— Честные и доброхвальные охотники! — сказалъ сокольничій, обращаясь къ толпѣ опричниковъ:—забавляйтеся и утѣшайтеся славною, красною и премудрой охотой, да исчезнутъ всякія печали и да возрадуются сердца ваши!

Потомъ, обратясь къ сокольникамъ:

— Добрые и прилежные сокольники! — сказалъ онъ: — напускайте и добывайте!

Тогда вся пестрая толпа сокольниковъ разсѣялась по полю. Иные съ крикомъ бросились въ перелѣски, другіе поскакали къ небольшимъ озерамъ, разбросаннымъ какъ зеркальные осколки между кустами.

Вскорѣ стаи утокъ поднялись изъ камышей и потянулись по воздуху.

Охотники пустили соколовъ. Утки бросились-было обратно къ озерамъ, но тамъ встрѣтили ихъ другіе соколы, и онѣ въ испугѣ разметались какъ стрѣлы по всѣмъ направленіямъ.

Соколы, дермлиги и разные челиги, ободряемые криками поддатней, нападали на утокъ, кто вдогонку, кто наперехватъ, кто прямымъ боемъ, сверху внизъ, падая какъ камень на спину добычи.

Отличился въ этотъ день и Бѣдряй и Смѣляй, сибирскіе

челиги, и Арбасъ, и Анпрасъ, соколы-дикомыты, и Хорьякъ, и Худякъ, и Малецъ, и Палецъ. Досталось отъ нихъ и уткамъ, и тетеревамъ, которыхъ рядовые сокольники выпугивали бичами изъ зарослей. Чуденъ и красносмотрителенъ былъ летъ разнопородныхъ соколовъ. Тетерева безпрестанно падали, кувыркаясь въ воздухѣ. Нѣсколько разъ утки въ отчаяньи бросались лошадямъ подъ ноги и были схвачены охотниками живьемъ. Не обошлось и безъ наклада. Молодикъ Гамаюнъ, бросившись съ высоты на стараго косача, летѣвшаго очень низко, ударился грудью о-земь и убился на мѣстѣ.

Астрецъ и Сородумъ, два казанскіе розмытя, улетѣли изъ виду охотниковъ, несмотря ни на свистъ поддатней, ни на голубиныя крылья, которыми они махали.

Но всѣхъ славнѣе и удивительнѣе выказалъ себя царскій кречетъ, честникъ, по прозванію Адраганъ. Два раза напускалъ его царь, и два раза онъ долго оставался въ воздухѣ, билъ безъ промаху всякую птицу и, натѣшившись вдоволь, спускался опять на золотую рукавицу царя. Въ третій разъ Адраганъ пришелъ въ такую ярость, что началъ бить не только полевую птицу, но и самихъ соколовъ, которые неосторожно пролетали мимо него. Соколъ Смышляй и соколій челигъ Кружокъ упали на землю съ подрѣзанными крыльями. Тщетно царь и всѣ бывшіе при немъ сокольники манили Адрагана на красное сукно и на птичьи крылья. Бѣлый кречетъ чертилъ въ небѣ широкіе круги, подымался на высоту невидимую и подобно молніи стремился на добычу: но вмѣсто того, чтобъ опускаться за нею на землю, Адраганъ, послѣ каждой новой побѣды, опять взмывалъ кверху и улеталъ далеко.

Сокольничій, потерявъ надежду достать Адрагана, поспѣшилъ подать царю другого кречета. Но царь любилъ Адрагана и припечалился, что пропала его лучшая птица. Онъ спросилъ у сокольничаго, кому изъ рядовыхъ указано держать Адрагана? Сокольничій отвѣчалъ, что указано рядовому Тришкѣ.

Іоаннъ велѣлъ позвать Тришку. Тришка, чуя бѣду, явился блѣдный.

—Человѣче, — сказалъ ему царь: — такъ ли ты блюдешь честника? На что̀ у тебя вабило, коли ты не умѣешь наманить честника? Слушай, Тришка: отдаю въ твои руки долю твою: коли достанешь Адрагана, пожалую тебя такъ, что никому изъ васъ такого времени не будетъ; а коли пропадетъ честникъ, велю, не прогнѣвайся, голову съ тебя снять, — и то̀ будетъ всѣмъ за страхъ; а я давно замѣчаю, что нѣтъ межъ сокольниковъ добраго строенія и гибнетъ птичья потѣха!

При послѣднихъ словахъ Іоаннъ покосился на самого сокольничаго, который, въ свою очередь, поблѣднѣлъ, ибо зналъ, что царь ни на кого не косится даромъ.

Тришка, не теряя времени, вскочилъ на̀-конь и поскакалъ искать Адрагана, молясь своему заступнику, святому угоднику Трифону, чтобъ указалъ онъ ему потерянаго кречета.

Охота, межъ тѣмъ, шла своимъ чередомъ. Уже не по одинъ часъ тѣшился государь, и уже много всякой добычи было ввязано въ торока, какъ новое зрѣлище обратило на себя вниманіе Іоанна.

По владимірской дорогѣ тащились двое слѣпыхъ, одинъ среднихъ лѣтъ, другой старикъ, съ сѣдой кудрявой головой и длинною бородой. На нихъ были бѣлыя, изношенныя рубахи, а на полотенцахъ, перекинутыхъ черезъ плечи крестъ-на-крестъ, висѣли съ одной стороны мѣшокъ для сбиранія милостыни, а съ другой — изодранный кафтанъ, скинутый по случаю жары. Остальные пожитки, какъ-то: гусли, балалайки и торбу съ хлѣбомъ, они взвалили на дюжаго молодого парня, служившаго имъ вожатымъ. Сначала, тотъ изъ слѣпыхъ, который былъ помоложе, держался за плечо вожатаго, а самъ тащилъ за собою старика. Только молодой парень, видно, зазѣвался на охоту и забылъ про товарищей. Слѣпые отстали отъ зрячаго. Держась одинъ за другого, они щупали землю высокими палками и часто спотыкались. Глядя на нихъ, Иванъ Васильевичъ не могъ удержаться отъ смѣха. Онъ подъѣхалъ къ нимъ ближе. Въ это время передній слѣпой оступился, упалъ въ лужу и потянулъ за собою товарища. Оба встали, покрытые грязью,

отплевываясь и браня вожатаго, который смотрѣлъ, разиня ротъ на блестящихъ опричниковъ. Царь громко смѣялся.

— Кто вы, молодцы?—спросилъ онъ.—Откуда и куда идете?

— Проваливай! — отвѣчалъ младшій слѣпой, не снимая шапки:—много будешь знать, скоро состаришься.

— Дурень!—закричалъ одинъ опричникъ:—аль не видишь, кто передъ тобой!

— Самъ ты дурень!—отвѣчалъ слѣпой: выкативъ на опричника бѣлки свои:—гдѣ мнѣ видѣть, коли глазъ нѣтути. Вотъ ты—дѣло другое; у тебя безъ двухъ четыре, такъ видишь ты и далѣ и шире; скажи, кто передо мной, такъ буду знать!

Царь приказалъ молчать опричнику и ласково повторилъ вопросъ свой.

— Мы люди веселые:—отвѣчалъ слѣпой,—исходили деревни и сёла, идемъ изъ Мурома въ Слободу, бить баклуши, добрыхъ людей тѣшить, кого на лошадь подсадить, кого спѣшить.

— Вотъ какъ!—сказалъ царь, которому нравились отвѣты слѣпого:—такъ вы Муромцы, калашники, вертячіе бобы! А есть еще у васъ богатыри въ Муромѣ?

— Какъ не быть!—отвѣчалъ слѣпой, не запинаясь:—этотъ товаръ не переводится; есть у насъ дядя Михей: самъ себя за волосы на вершокъ отъ земли подымаетъ; есть тётка Ульяна, одна ходитъ на таракана.

Всѣ опричники засмѣялись. Царю давно уже не было такъ весело.

«Вотъ и вправду веселые люди,—подумалъ онъ:—видно, что не здѣшніе. Надоѣли мнѣ уже мои сказочники; все одно и то же наладили. Да ужъ и скоморохи мнѣ наскучили. Съ тѣхъ поръ, какъ пошутилъ я съ однимъ неосторожно, стали всѣ меня опасаться: смѣшного слова не добьешься; точно будто моя вина, что у того дурака душа не крѣпко въ тѣлѣ сидѣла!»—Слушай молодецъ: что, сказки сказывать умѣешь?

— Какова сказка,—отвѣчалъ слѣпой:—и кому сказывать. Вотъ мы ономнясь разсказали старицкому воеводѣ сказку про

козу косматую, да на свою шею: коза-то, вишь, вышла сама воеводша, такъ онъ насъ со двора и велѣлъ согнать, накостылявши затылокъ. Впередъ не разскажемъ.

Трудно описать хохотъ, который раздался между опричниками. Старицкій воевода былъ въ немилости у царя. Насмѣшка слѣпого пришлась какъ нельзя болѣе кстати.

— Слушайте, человѣки, — сказалъ царь: — ступайте въ Слободу, прямо во дворецъ, тамъ ждите моего пріѣзда, царь-де васъ прислалъ. Да чтобъ васъ накормили и напоили, а пріѣду домой, послушаю вашихъ сказокъ.

При словѣ царь слѣпые оробѣли.

— Батюшка государь! — сказали они, упавъ на колѣни: — не взыщи за нашу грубую, мужицкую рѣчь! Не вели намъ головы сѣчь, по невѣдѣнью согрѣшили!

Царь усмѣхнулся испугу слѣпыхъ и поѣхалъ опять въ поле продолжать охоту, а слѣпые съ вожатымъ побрели по направленію Слободы.

Пока толпа опричниковъ могла ихъ видѣть они держались одинъ за другого и безпрестанно спотыкались, но лишь только поворотъ дороги скрылъ ихъ изъ виду, младшій слѣпой остановился, оглянулся во всѣ стороны и сказалъ товарищу:

— А что, дядя Коршунъ, усталъ, небось, спотыкаться? Вѣдь пока дѣло-то не дурно идетъ; что-то будетъ далѣ? Да чего ты такъ брови-то понасупилъ, дядя? Аль жаль тебѣ, что дѣло затѣяли?

— Не то, — отвѣчалъ старый разбойникъ: — ужъ взялся идти, небось, оглядываться не стану; да только вотъ самъ не знаю, что со мной сталось; такъ тяжело на-сердцѣ, какъ отродясь еще не бывало, и о чемъ ни задумаю, все опять то же да то же на умъ лѣзетъ!

— А что тебѣ лѣзетъ на умъ?

— Слушай, атаманъ. Вотъ ужъ двадцать лѣтъ минуло съ той поры, какъ тоска ко мнѣ прикачнулася, привалилася, а никто ни на Волгѣ, ни на Москвѣ про то не знаетъ; никому я ни слова не вымолвилъ; схоронилъ тоску въ душѣ своей, да и

ношу двадцать лѣтъ, словно жерновъ на шеѣ. Пытался-было разъ говѣть въ великій постъ, хотѣлъ попу все на духу разсказать, да молиться не смогъ—и говѣть бросилъ. А вотъ теперь опять оно меня и душитъ, и давитъ; кажется, вотъ какъ вымолвлю, такъ будетъ легче. Тебѣ-то сказать и не такъ тяжело, какъ попу: ты вѣдь и самъ такой же, какъ я.

Глубокая грусть изображалась на лицѣ Коршуна. Перстень слушалъ и молчалъ. Оба разбойника сѣли на краю дороги.

— Митька,—сказалъ Перстень вожатому:—садись-ко поодаль, да гляди въ оба; коли кого дозришь, махни намъ; да смотри не забудь: ты глухъ и нѣмъ, слова не выброни!

— Добро,—сказалъ Митька:—нябось, ня выроню!

— Типунъ тебѣ на языкъ, дурень этакій, нишкни! И съ нами не говори. Привыкай молчать; не то какъ разъ при комънибудь языкомъ брякнешь, тогда и насъ, и тебя поминай какъ звали!

Митька отошелъ шаговъ на сто и легъ на брюхо, уперевъ локти въ землю, а подбородокъ въ руки.

— Вѣдь добрый парень,—сказалъ Перстень, глядя ему вслѣдъ:—а глупъ, хоть колъ на головѣ теши. Пусти его только, разомъ провретсяl Да нечего дѣлать, лучше его нѣтъ; онъ по крайней мѣрѣ не выдастъ; постоитъ и за себя, и за насъ, коли, не дай Богъ, намъ круто придется. Ну, что, дядя, теперь никто насъ не услышитъ: говори, какая у тебя кручина? Эхъ, не вовремя она тебя навѣстила!

Старый разбойникъ опустилъ кудрявую голову и провелъ ладонью по лбу. Хотѣлось ему говорить, да начать было трудно.

— Вишь, атаманъ,—сказалъ онъ:—довольно я людей перегубилъ на своемъ вѣку, что и говорить! Смолоду полюбилась красная рубашка! Бывало, купецъ ли заартачится, баба ли запищитъ, хвачу ножомъ въ бокъ—и конецъ. Даже и теперь, коли-бъ случилось кого отправить—рука не дрогнетъ! Да что тутъ! не тебя увѣрять стать; я чай, и ты довольно народу на тотъ свѣтъ спровадилъ; не въ диковинку тебѣ, такъ ли?

— Ну, что-жъ съ того?—отвѣчалъ Перстень съ примѣтнымъ неудовольствіемъ.

— Да то, что ни ты, ни я, мы не бабы, не красныя дѣвицы; много у насъ крови на душѣ; а ты мнѣ вотъ что́ скажи, атаманъ: приходилось ли тебѣ такъ, что какъ вспомнишь о какомъ-нибудь своемъ дѣлѣ, такъ тебя словно клещами за сердце схватитъ, и холодомъ и жаромъ обдастъ съ ногъ до головы, а потомъ гложетъ, гложетъ, такъ что хоть бы на свѣтъ не родиться?

— Полно, дядя, о чемъ спрашивать вздумалъ, не такое теперь время.

— Вотъ,—продолжалъ Коршунъ:—я много ужъ и позабылъ дѣлъ своихъ, одного не могу забыть. Тому будетъ полсорока годовъ, жили мы на Волгѣ, ходили на девяти стругахъ; атаманомъ былъ у насъ Данило Котъ, о тебѣ еще и помину не было; меня уже знали въ шайкѣ и тогда уже величали Коршуномъ. Разбивали мы и суда богатыя, и пристани грабили, а что, бывало, добудемъ, то всегда поровну дѣлимъ, и накакого спору Данило Котъ не терпѣлъ. Кажется, чего бы лучше? Житье привольное, всегда сыты, одѣты. Бывало, какъ нарядимся въ цвѣтные кафтаны, какъ заломимъ шапки, да ударимъ въ весла, да затянемъ удалую, такъ въ деревняхъ и городахъ народъ на берегъ и валитъ, на молодцовъ посмотрѣть, на соколовъ ясныхъ полюбоваться! А мы себѣ гребёмъ, да поемъ, во всю глотку заливаемся, изъ пищалей на вѣтеръ пострѣливаемъ, краснымъ дѣвкамъ подмигиваемъ. А иной разъ, какъ посядемъ съ копьями да съ рогатинами, такъ струги наши словно лѣсомъ поросли! Хорошо было житье, да подбилъ меня бѣсъ проклятый. Думаю себѣ разъ: что-жъ? я вѣдь больше другихъ работаю, а корысть идетъ мнѣ со всѣми ровная. И положилъ себѣ на мысль: пойти одному на промыселъ, зашибить добычи, да не отдавать въ артель, а взять на себя одного. Одѣлся нищимъ, почитай какъ теперь, повѣсилъ на шею торбу, всунулъ засапожникъ за онучу, да и побрелъ себѣ по дорогѣ къ посаду, не проѣдетъ ли кто? Жду себѣ, жду: ни обозу, ни купца, никого

не видать. Разобрала меня досада. Добро-жъ, говорю, не даетъ Богъ корысти, такъ теперь кто-бъ ни прошелъ, будь онъ хоть отецъ родной, до-чиста оберу! Только лишь подумалъ, идетъ по дорогѣ баба убогая, несетъ что-то въ лукошкѣ, лукошко холстомъ обернуто. Лишь только поровнялась она со мной, я и выскочилъ изъ-за куста. Стой, говорю, баба! Давай лукошко! — она мнѣ въ ноги: что̀ хошь бери, а лукошко не тронь! Эге, думаю я, такъ у тебя, видно, казна тамъ спрятана, да и ухватился рукой за лукошко. А баба голосить, ругать меня, кусать за руку. Я ужъ былъ больно сердитъ, что день даромъ пропалъ, а тутъ осерчалъ еще пуще. Бѣсъ толкнулъ меня подъ бокъ, я вытащилъ засапожникъ, да и всадилъ бабѣ въ горло. Какъ только свалилась она, страхъ меня взялъ. Ударился-было бѣжать, да одумался и воротился за лукошкомъ. Думаю себѣ: ужъ убилъ бабу, такъ пусть же не даромъ! Взялъ лукошко, не раскрывая, да и пустился лѣсомъ. Отошелъ не болѣе какъ на песій брехъ, ноги стали подкашиваться, думаю себѣ: сяду, отдохну, да посмотрю, много ли казны добылъ? Развернулъ лукошко, гляжу: анъ-тамъ лежитъ малый ребенокъ, чуть живой, и еле дышитъ. «Ахъ ты, бѣсенокъ! подумалъ я: — такъ вотъ зачѣмъ баба не хотѣла лукошко отдавать! Такъ изъ-за тебя, проклятаго, я грѣхъ на душу взялъ!»

Коршунъ хотѣлъ-было продолжать, да замолчалъ и задумался.

— Что́-жъ ты съ ребенкомъ сдѣлалъ?—спросилъ Перстень.

— Что-жъ, его было няньчить, что-ли? Что̀ сдѣлалъ? Вѣстимо что́!

Старикъ опять замолчалъ.

— Атаманъ,—сказалъ онъ вдругъ:—какъ подумаю объ этомъ, такъ сердце и защемитъ. Вотъ особливо сегодня, какъ нарядился нищимъ, то такъ живо все припоминаю, какъ будто вчера было. Да не только то время, а не знаю, съ чего стало мнѣ вдругъ памятно и такое, о чемъ я давно ужъ не думалъ. Говорятъ, оно не къ добру, когда ни съ того, ни съ другого станешь вдругъ вспоминать, что ужъ изъ памяти вышибъ!..

Старикъ тяжело вздохнулъ.

Оба разбойника молчали. Вдругъ свистнули надъ ними крылья, — и бурый коршунъ упалъ кувыркомъ къ ногамъ старика. Въ то же время кречетъ Адраганъ плавно нырнулъ въ воздухѣ и пронесся мимо, не удостоивъ спуститься на свою жертву.

Митька махнулъ рукою. Вдали показались сокольники.

— Дядя! — сказалъ поспѣшно Перстень: — забудь прошлое; мы вѣдь теперь не разбойники, а слѣпые сказочники. Вонъ, скачутъ царскіе люди, тотчасъ будутъ здѣсь. Живо, дядя, пріосанься, закидай ихъ прибаутками.

Старый разбойникъ покачалъ головою.

— Не сдобровать мнѣ,—сказалъ онъ, показывая на убитаго коршуна. — Это меня срѣзалъ бѣлый кречетъ. Вишь, и нѣтъ ужъ его. Убилъ, да и пропалъ!

Перстень пристально посмотрѣлъ на него и съ досадою почесалъ затылокъ.

— Слушай, дядя,—сказалъ онъ: — кто тебя знаетъ, что̀ съ тобою сегодня сталось! Только я тебя неволить не буду. Говорятъ, сердце вѣщунъ. Пожалуй, твое сердце и недаромъ чуетъ бѣду. Оставайся, я одинъ пойду въ Слободу.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Коршунъ: — я не къ тому велъ рѣчь. Ужъ если такая моя доля, чтобы въ Слободѣ голову положить, такъ нечего оставаться. Видно, мнѣ такъ на роду написано. А вотъ къ чему я рѣчь велъ. Знаешь ли, атаманъ, на Волгѣ село Богородицкое?

— Какъ не знать, знаю.

— А около того села, верстахъ въ пяти, мѣсто, что̀ зовутъ Поповъ-Кругъ?

— И Поповъ-Кругъ знаю.

— А на Поповомъ-Кругу дубъ старый помнишь?

— И дубъ помню; только нѣтъ уже того дуба, срубили его.

— Дубъ-то срубили, да пень оставили.

— Такъ что̀-жъ съ того?

— А вотъ что̀. Я-то ужъ никогда Волги-матушки не увижу,

а ты еще, статься можетъ, вернешься на родимую сторонушку. Такъ когда будешь на Волгѣ, ступай на Поповъ-Кругъ. Отыщи пень стараго дуба. Какъ отыщешь пень, сосчитай полдевяносто ступней на закатъ солнечный. Сосчитаешь ступени, начинай рыть землю на томъ мѣстѣ. Тамъ,—продолжалъ Коршунъ, понизивъ голосъ:—я въ былое время закопалъ казну богатую. Довольно тамъ лежитъ корабленниковъ золотыхъ, и червонцевъ, и рублевъ серебряныхъ. Отроешь кладъ, все будетъ твое. Не взять мнѣ съ собою казны на тотъ свѣтъ. А какъ иной разъ подумаешь, что будешь тамъ отвѣтъ держать за все, что здѣсь дѣлалъ, такъ въ ночное время индо морозъ по кожѣ дерётъ! Ты бы, атаманъ, какъ не будетъ меня, велѣлъ по мнѣ панихиду отслужить. Оно все вѣрнѣе. Да не жалѣй денегъ на панихиду. Заплати хорошенько попу; пусть отслужитъ какъ слѣдуетъ, ничего не пропуститъ. А зовутъ меня, ты знаешь, Амельяномъ. Это такъ только люди Коршуномъ прозвали, а крестили вѣдь меня Амельяномъ; такъ пусть попъ отслужитъ панихиду по Амельянѣ; а ты ужъ заплати ему хорошенько, не пожалѣй денегъ, атаманъ; я тебѣ казну оставляю богатую, на всю жизнь твою станетъ!

Коршуна прервали подскакавшіе сокольники.

— Эй, вы, убогіе!—закричалъ одинъ изъ нихъ: —говорите, куда полетѣлъ кречетъ?

— И радъ бы сказать, родимые,—отвѣчалъ Перстень: —да вотъ ужъ сорокъ годовъ глаза запорошило!

— Какъ такъ?

— Да пошелъ разъ въ горы, съ камней лыки драть, вижу, дубъ растетъ; въ дуплѣ жареные цыплята пищатъ. Я влѣзъ въ дупло, съѣлъ цыплятъ, потолстѣлъ, вылѣзти не могу! Какъ тутъ быть? Сбѣгалъ домой за топоромъ, обтесалъ дупло, да и вылѣзъ; только тесамши-то, видно, щепками глаза засорилъ; съ тѣхъ поръ ничего не вижу: иной разъ щи хлебаю, ложку въ ухо сую; чешется носъ, а я скребу спину!

— Такъ это вы,—сказалъ, смѣясь, сокольникъ:—тѣ слѣпые, что съ царемъ говорили! Бояре еще и теперь вамъ смѣются.

Ну, ребята, мы днемъ потѣшали батюшку государя, а вамъ придется ночью тѣшить его царскую милость. Сказываютъ, хочетъ государь вашихъ сказокъ послушать.

— Дай Богъ здоровья его царской милости, — подхватилъ Коршунъ, внезапно перемѣнивъ пріемы,—почему не послушать! Коли до ночи не свихнемъ языковъ, можемъ скрозь до утра разсказывать!

— Добро, добро,—сказали сокольники:—въ другой разъ побалакаемъ съ вами. Теперь ѣдемъ кречета искать, товарища выручать. Не найдетъ Трифонъ Адрагана, быть ему безъ головы; батюшка царь не шутитъ!

Сокольники поскакали въ поле.

Перстень и Коршунъ опять уцѣпились за Митьку и побрели по дорогѣ въ Слободу.

Не дошли они до перваго подворья, какъ увидѣли двухъ пѣсенниковъ, которые брянчали на балалайкахъ и пѣли во все горло:

Какъ у нашего сосѣда
Весела была бесѣда!

Когда разбойники съ ними поровнялись, одинъ изъ пѣсенниковъ, рыжій дѣтина, съ павлиньимъ перомъ на шапкѣ, нагнулся къ Перстню.

— Ужъ дней пять твой князь въ тюрьмѣ,—сказалъ онъ шопотомъ, продолжая перебирать лады.—Я все разузналъ. Завтра ему карачунъ. Сидитъ онъ въ большой тюрьмѣ, противъ Малютина дома. Съ котораго конца пѣтуха пускать?

— Вонъ съ того!—отвѣчалъ Перстень, мигнувъ на сторону, противоположную тюрьмѣ!

Рыжій пѣсенникъ щелкнулъ всѣми пальцами по животу балалайки и, отвернувшись отъ Перстня, будто и не съ нимъ говорилъ, продолжалъ тонкимъ голосомъ:

Какъ у нашего сосѣда
Весела была бесѣда!

ГЛАВА XXI.

Сказка.

Иванъ Васильевичъ, утомленный охотою, удалился ранѣе обыкновеннаго въ свою опочивальню.

Вскорѣ явился Малюта съ тюремными ключами.

На вопросъ царя Малюта отвѣтилъ, что новаго ничего не случилось, что Серебряный повинился въ томъ, что стоялъ за Морозова на Москвѣ, гдѣ убилъ семерыхъ опричниковъ и разсѣкъ Вяземскому голову.

— Но,—прибавилъ Малюта: — не хочетъ онъ виниться въ умыслѣ на твое царское здравіе и на Морозова также показывать не хочетъ. Послѣ заутрени учинимъ ему пристрастный допросъ, а коли онъ и съ пытки, и съ огня не покажетъ на Морозова, то и ждать нечего, тогда можно и покончить съ нимъ.

Іоаннъ не отвѣчалъ. Малюта хотѣлъ продолжать, но въ опочивальню вошла старая мамка Онуфревна.

— Батюшка,—сказала она:—ты утромъ прислалъ сюда двухъ слѣпыхъ: сказочники они, что ли: ждутъ здѣсь въ сѣняхъ.

Царь вспомнилъ свою встрѣчу и приказалъ позвать слѣпыхъ.

— Да ты ихъ, батюшка, знаешь ли?—спросила Онуфревна.

— А что?

— Да полно, слѣпые ли они?

— Какъ?—сказалъ Іоаннъ, и подозрѣніе мигомъ имъ овладѣло.

— Послушай меня, государь,—продолжала мамка:—берегись этихъ сказочниковъ; чуется мнѣ, что они недоброе затѣяли; берегись ихъ, батюшка, послушай меня.

— Что знаешь ты про нихъ? говори!—сказалъ Іоаннъ.

— Не спрашивай меня, батюшка. Мое знанье словами не сказывается: чуется мнѣ, что они недобрые люди, а почему чуется, не спрашивай. Даромъ я никогда еще не остерегала. Кабы послушалась меня покойная матушка твоя, она, можетъ, и теперь бы здравствовала еще!

Малюта поглядѣлъ со страхомъ на мамку.

— Ты чего на меня смотришь?—сказала Онуфревна.—Ты только безвинныхъ губишь, а лихого человѣка распознать, видно, не твое дѣло. Чутья-то у тебя на это не хватитъ, рыжій пёсъ!

— Государь,—воскликнулъ Малюта:—дозволь мнѣ попытать этихъ людей. Я тотчасъ узнаю, кто они и отъ кого подосланы!

— Не нужно,—сказалъ Іоаннъ:—я ихъ самъ попытаю. Гдѣ они?

— Тутъ, батюшка, за дверью,—отвѣчала Онуфревна:—въ сѣняхъ стоятъ.

— Подай мнѣ, Малюта, кольчугу со стѣны; да ступай будто домой, а когда войдутъ они, вернись въ сѣни, притаись съ ратниками за этою дверью, лишь только я кликну, вбѣгайте и хватайте ихъ. Онуфревна, подай сюда посохъ.

Царь вздѣлъ кольчугу, надѣлъ поверхъ ея черный стихарь, легъ на постель и положилъ возлѣ себя тотъ самый посохъ, или осёнъ, которымъ незадолго передъ тѣмъ пронзилъ ногу гонцу князя Курбскаго.

— Теперь пусть войдутъ!—сказалъ онъ.

Малюта положилъ ключи подъ царское изголовье и вышелъ вмѣстѣ съ мамкою. Иконныя лампады слабо освѣщали избу. Царь съ видомъ усталости лежалъ на одрѣ.

— Войдите, убогіе,—сказала мамка:—царь велѣлъ!

Перстень и Коршунъ вошли, осторожно передвигая ноги и щупая вокругъ себя руками.

Однимъ быстрымъ взглядомъ Перстень обозрѣлъ избу и находившіеся въ ней предметы.

Налѣво отъ двери была лежанка; въ переднемъ углу стояла царская кровать; между лежанкой и кроватью было продѣлано въ стѣнѣ окно, которое никогда не затворялось ставнемъ, ибо царь любилъ, чтобы первые лучи солнца проникали въ его опочивальню. Теперь сквозь окно его смотрѣла луна, и серебряный блескъ ея игралъ на пестрыхъ изразцахъ лежанки.

— Здравствуйте, слѣпые, муромскіе калашники, вертячіе

бэбы!—сказалъ царь, пристально, но непримѣтно вглядываясь въ черты разбойниковъ.

— Много лѣтъ здравствовать твоей царской милости!—отвѣчалъ Перстень и Коршунъ, кланяясь земно.—Заступи, спаси и помилуй тя Мати Божія, что жалѣешь ты насъ, скудныхъ, убогихъ людей, по̀ земли ходящихъ, по̀ воды бродящихъ, свѣта Божія не видящихъ! Сохрани тебя святый Петръ и Павелъ, Іоаннъ Златоустъ, Кузьма со Демьяномъ, Хутынскіе чудотворцы и всѣ святые угодники! Создай тебѣ Господи, о чемъ ты молишь и просишь! Вѣчно бы тебѣ въ золотѣ ходилось, вкусно ѣлось и пилось, сладко спалось! А супостатамъ твоимъ вѣчно-бъ икалось и голодалось, каждый бы день ихъ дугою корчило, бараньимъ рогомъ коробило!

— Спасибо, спасибо, убогіе! — сказалъ Іоаннъ, продолжая вглядываться въ разбойниковъ: — что-жъ, вы давно, знать, ослѣпли?

— Смолоду батюшка государь, — отвѣчалъ Перстень, кланяясь и сгибая колѣни:—оба смолоду ослѣпли! И не припомнимъ, когда солнышко Божіе видѣли!

— А кто же васъ научилъ пѣсни пѣть и сказки сказывать?

— Самъ Господь, батюшка, самъ Господь сподобилъ еще въ стародавніе времена!

— Какъ такъ?—спросилъ Іоаннъ.

— Старики наши разсказываютъ, — отвѣчалъ Перстень:—и гусляры о томъ поютъ: въ стародавнія то было времена, когда возносился Христосъ Богъ на̀ небо, расплакались бѣдные, убогіе, слѣпые, хромые, вся, значитъ, нищая братія: куда ты, Христосъ Богъ, полетаешь? На кого насъ оставляешь? Кто будетъ насъ кормить-поить! И сказалъ имъ Христосъ, царь небесный:

«Дамъ вамъ, говоритъ, гору золотую, рѣку медвяную, сады-виноградыя, яблони-кудрявы; будете сыты да пьяны, будете обуты-одѣты! Тутъ возговорилъ Иванъ Богословъ: Ай же ты Спасъ милосердый! Не давай имъ ни горы золотыя, ни рѣки медвяныя, ни садовъ-виноградовъ, ни яблонь-кудрявыхъ. Не

сумѣютъ они ими владѣти, наѣдутъ къ нимъ сильные, богатые, добро-то у нихъ отымутъ. А ты дай имъ, Христосъ, царь небесный, дай-ко-се имя твое Христовое, дай-ко-се имъ тѣ пѣсни сладкія, сказаньица великія про стару-старину, да про божьихъ людей. Пойдутъ нищіе по̀ землѣ ходити, сказаньица великія говорити, всякій ихъ пріобуетъ-пріодѣнетъ, хлѣбомъ-солью напитаетъ. И рече Христосъ, царь небесный: Инъ пусть будетъ по-твоему, Иване! Пусть же имъ будутъ пѣсни сладкія, гусли звонкія, сказанья великія; а кто ихъ напоитъ-накормитъ, отъ темныя ночи оборонитъ, тому я дамъ въ раю мѣсто; незаперты въ рай тому двери!»

— Аминь! — сказалъ Іоаннъ. — Какія же вы знаете сказки?

— Всякія знаемъ, батюшка царь, какія твоя милость послушать соизволитъ. Могу сказать тебѣ о Ершѣ Ершовичѣ сынѣ Щетинниковѣ, о семи Семіонахъ, о змѣѣ Горынищѣ, о гусляхъ-самогудахъ, о Добрынѣ Никитичѣ, объ Акундинѣ...

— Что̀ же,—перебилъ Іоаннъ:—развѣ ты одинъ сказки сказываешь? А старикъ-то зачѣмъ съ тобою пришелъ?

Перстень спохватился, что Коршунъ почти все время молчалъ и чтобы вызвать его изъ неестественной для сказочника угрюмости, онъ вдругъ перемѣнилъ пріемы и началъ говорить прибаутками.

— Старикъ-то?—сказалъ онъ, наступая непримѣтно на ногу Коршуна:—это, вишь, мой товарищъ, Амелька Гудокъ; борода у него длинна, да умъ коротòкъ; когда я рѣчь веду скоромную, не постную, несу себѣ околесную, онъ мнѣ поддакиваетъ, потакаетъ да присвистываетъ, похваляетъ да помалчиваетъ. Такъ ли, дядя, бѣлая борода, утиная поступь, куриныя ножки; не сбиться бы намъ съ дорожки!

— Вѣстимо такъ,—подхватилъ Коршунъ, опомнясь:—наша чара полна зелена вина, а ужъ налилъ по край, такъ пей до дна! Вотъ какъ, дядя, пѣтушиный голосокъ, кротовое око; пошли ходить, заберемся далёко!

— Ай люли тарарахъ, пляшутъ козы на горахъ!—сказалъ

Перстень, переминая ногами:—козы пляшутъ, мухи пашутъ, а у бабушки Евфросиньи въ лѣвомъ ухѣ звенитъ!..

— Ай люлюшеньки люли!—перебилъ Коршунъ, также переминая ногами:—ай люлюшеньки люли, сидитъ ракъ на мели; не горюетъ ракъ, а свиститъ въ кулакъ; какъ прибудетъ вода, такъ пройдетъ бѣда.

— Эхъ, батюшка государь,—закончилъ Перстень съ низкимъ поклономъ:—не смотри на насъ искоса; это не сказка, а только присказка!

— Добро!—сказалъ Іоаннъ, зѣвая: — люблю молодцовъ за обычай; начинайте сказку про Добрыню, убогіе; авось я, слушая васъ сосну!

Перстень еще разъ поклонился, откашлялся и началъ:

«Во гридницѣ княженецкой, у Владиміра князя кіевскаго, было пированье почестный столъ, былъ пиръ про князей бояръ и могучихъ, богатырей. А и былъ день къ вечеру, а и былъ столъ во полустолѣ, и послышалось всѣмъ за диво: затрубила труба ратная. Возгòворилъ Владиміръ князь кіевскій, солнышко Святославьевичъ: гой еси вы, князья, бояре, сильны могучіе богатыри! Пошлите опровѣдать двухъ могучихъ богатырей: кто смѣловалъ стать передъ Кіевомъ? Кто смѣловалъ трубить ко стольному князю Владиміру?

«Зашумѣли буйны молодцы посередь двора; зазвенѣли мечи булатные по крутымъ бедрамъ; застучали палицы желѣзныя у красна крыльца, закидали шапки разнорядь по поднебѣсью Надѣваютъ могучи богатыри сбрую ратную, садятся на добрыхъ коней, выѣзжаютъ во чисто поле...»

— Погоди-ка! — сказалъ Іоаннъ съ намѣреніемъ придать болѣе правдоподобія своему желанію слушать разсказчика:— я эту сказку знаю. Разскажи лучше про Акундина.

— Про Акундина?—сказалъ Перстень съ замѣшательствомъ, вспомнивъ, что въ той сказкѣ величается опальный Новгородъ.— про Акундина, батюшка государь, сказка-то нехорошая, мужицкая; выдумали ту сказку глупые мужики новгородскіе, да я, батюшка царь, какъ будто и забылъ-то ее...

— Разсказывай, слѣпой! — сказалъ Іоаннъ строго:—разсказывай всю, какъ есть, и не смѣй пропустить ни единаго слова!

И царь внутренно усмѣхнулся трудному положенію, въ которое онъ ставилъ разсказчика.

Перстень хотя досадовалъ на себя, что самъ предложилъ эту сказку, но не зная, до какой степени она уже извѣстна Іоанну, рѣшился, очертя голову, начать свой разсказъ, ничего не выкидывая.

«Какъ во старомъ было городѣ,—началъ онъ:—въ Новѣгородѣ, какъ во томъ ли во Новѣгородѣ, со посадской стороны, жилъ Акундинъ молодецъ, а и тотъ ли Акундинъ, молодой молодецъ, ни пива не варилъ, ни вина не курилъ, ни въ торгу не торговалъ; а ходилъ онъ, Акундинъ, со повольницей, и гулялъ онъ, Акундинъ, по Волхову по рѣкѣ на суденышкахъ. Садится онъ, Акундинъ, на суденышко оснащенное, кладетъ весельца кленовыя во замки дубовые, а самъ садится на́ корму. Поплыло суденышко по Волхову по рѣкѣ и прибыло суденышко ко круту бережку. Какъ во ту пору по круту бережку идетъ калѣчище перехожее. Беретъ калѣчище Акундина за бѣлыя руки, ведетъ его, Акундина, на высокъ курганъ, а становивши его на высокъ курганъ, говорилъ такія рѣчи:—Погляди-ка, молодой молодецъ, на городъ Ростиславль, на Окѣ-рѣкѣ, а поглядѣвши повѣдай, что́ дѣется въ городѣ Ростиславлѣ!—Какъ глянулъ Акундинъ въ городъ во Ростиславль, а тамъ бѣда великая: исконные слуги молода князя рязанскаго, Глѣба Олеговича, стоятъ посередь торга, хотятъ войной городъ отстоять, да силы не хватитъ. А по Окѣ-рѣкѣ плыветъ чудовище невиданное, змѣй Тугаринъ. Длиною-то былъ тотъ змѣй Тугаринъ во триста саженъ, хвостомъ бьетъ рать рязанскую, спиною валитъ круты берега, а самъ все проситъ стару дань. Въ ту пору калѣчище беретъ Акундина за его бѣлы руки, молвитъ таково слово:—Ты гой еси, добрый молодецъ, назовись по имени по изотчеству!—На тѣ ли рѣчи спросныя говоритъ Акундинъ:—Родомъ я изъ Новагорода, зовутъ меня Акундинъ Акундинычъ.

« — Тебя-то Акундинъ Акундинычъ, я ждалъ ровно тридцать лѣтъ и три года: спознай своего дядюшку родимаго Замятню Путятича; а и вѣдь мой-то братъ, Акундинъ Путятичъ, былъ тебѣ родимый батюшка! А и вотъ тебѣ мечъ-кладенецъ твоего родимаго батюшки, Акундина Путятича!—Не домолвивши рѣчи вѣстныя, сталъ Замятня Путятичъ кончатися, со бѣлымъ свѣтомъ разставатися; и кончаяся, учалъ отповѣдь чинить:—А и гой ты еси, мое милое дѣтище, Акундинъ Акундинычъ! Какъ и будешь ты во славномъ во Новѣгородѣ и ты ударь челомъ ему, Новугороду, и ты скажи, скажи ему, Новугороду: а и дай же то, Боже, тебѣ ли Новугороду, вѣкъ вѣковать, твоимъ ли дѣтушкамъ славы добывать! Какъ и быть ли тебѣ Новугороду, во могуществѣ, твоимъ дѣтушкамъ во богачествѣ...»

— Довольно!—перебилъ съ гнѣвомъ царь, забывая въ эту минуту, что цѣль его была только слѣдить за разсказчикомъ,— Начинай другую сказку!

Перстень, какъ будто въ испугѣ, согнулъ колѣни и поклонился до земли.

— Какую же сказку соизволишь, батюшка государь?—спросилъ онъ съ притворнымъ, а можетъ-быть и съ настоящимъ страхомъ:—не разсказать ли тебѣ о Бабѣ-ягѣ? О Чурилѣ Пленковичѣ? Объ Иванѣ Озерѣ? Или не велишь ли твоей милости что-нибудь божественное разсказать?

Іоаннъ вспомнилъ, что онъ не долженъ запугивать слѣпыхъ, а потому еще разъ зѣвнулъ и спросилъ уже соннымъ голосомъ:

— А что же ты знаешь божественное, убогій?

— Объ Алексѣѣ Божьемъ человѣкѣ, батюшка, о Егоріи Храбромъ, объ Іосифѣ Прекрасномъ, или, пожалуй, о Голубиной книгѣ...

— Ну,—сказалъ Іоаннъ, котораго глаза, казалось, уже смыкались:—разскажи о Голубиной книгѣ. Оно намъ, грѣшнымъ, и лучше будетъ на ночь что-нибудь божественное послушать!

Перстень вторично откашлялся, выпрямился и началъ нараспѣвъ:

„Какъ изъ тучи было изъ грозныя, изъ грозныя тучи страховитыя, подымалась погода Божія; во той ли во погодѣ Божіей, выпадала съ небесъ книга Голубиная. Ко той ли ко книгѣ Голубиной соѣзжалось сорокъ царей и царевичей, сорокъ королей и королевичей, сорокъ князей со князевичемъ, сорокъ поповъ со поповичемъ, много бояръ, люду ратнаго, люду ратнаго, разнаго, мелкихъ христіанъ православныхъ. Изъ нихъ было пять царей набольшихъ: былъ Исай царь, Василей царь, Костянтинъ царь, Володимеръ царь Володимерычъ, былъ премудрый царь Давидъ Евсіевичъ.

„Какъ прòговорилъ Володимеръ царь:—Кто изъ насъ, братцы, гораздъ въ грамотѣ? Прочелъ бы эту книгу Голубиную? Сказалъ бы намъ про Божій свѣтъ: отчего началось солнце красное? Отчего начался младъ свѣтёлъ мѣсяцъ? Отчего начались звѣзды частыя? Отчего зачались зори свѣтлыя? Отчего зачались вѣтры буйные? Отчего зачались тучи грозныя? Отчего да взялись ночи темныя? Отчего у насъ пошелъ міръ-народъ? Отчего у насъ на земли цари пошли? Отчего зачались бояре-князья? Отчего пошли крестьяне православные?

„На то всѣ цари пріумолкнули. Имъ отвѣтъ держалъ премудрый царь, премудрый царь Давидъ Евсіевичъ: — Я вамъ, братцы, про то скажу, про эту книгу Голубиную: эта книга не малая; сорока сажéнъ долина ея, поперечина двадцати сажéнъ: приподнять книгу, не поднять будетъ; на руцѣхъ держать, не сдержать будетъ; по строкамъ глядѣть, все не выглядѣть; по листамъ ходить, все не выходить, а читать книгу—се некому, а писалъ книгу Богословъ Иванъ, а читалъ книгу Исай пророкъ, читалъ ее по три годы, прочелъ въ книгѣ только три листа; ужъ мнѣ честь книгу—не прочесть Божію! Сама книга распечатывалась, сами листы разстилалися, сами слова прочиталися. Я скажу вамъ, государи, не выглядя, скажу вамъ, братцы, не по грамотѣ, не по грамотѣ, все по памяти, про старое, про стародавнее, по старому, по писàному.

„Началось у насъ солнце красное отъ свѣтлаго лица Божія; младъ свѣтёлъ мѣсяцъ отъ грудей Его; звѣзды частыя отъ очей

Божіихъ; зори свѣтлыя отъ ризъ Его; буйные вѣтры-то — дыханье Божіе, тучи грозныя—думы Божіи; ночи темныя отъ опашня Его! Міръ-народъ у насъ отъ Адамія; отъ Адамовой головы цари пошли; отъ мощей его князи съ боярами; отъ колѣнъ крестьяне православные; отъ того-жъ начался и женскій полъ!

„Ему всѣ цари поклонилися:—Спасибо, свѣтъ-сударь, премудрый царь, мудрѣйшій царь, Давидъ Евсіевичъ! Ты еще, сударь, намъ про то скажи, про то скажи, ты повѣдай намъ:

„Который царь надъ царями царь? Кая земля всѣмъ землямъ мати? Которо море всѣмъ морямъ мати? Котора рѣка всѣмъ рѣкамъ мати? Кая гора всѣмъ горамъ мати? Который городъ всѣмъ городамъ мати?“

Здѣсь Перстень украдкою посмотрѣлъ на Ивана Васильевича, котораго, казалось, все болѣе клонило ко сну. Онъ время отъ времени, какъ будто съ трудомъ, открывалъ глаза и опять закрывалъ ихъ; но всякій разъ незамѣтно бросалъ на разсказчика испытующій, проницательный взглядъ.

Перстень перемигнулся съ Коршуномъ и продолжалъ:

«Имъ отвѣтъ держалъ премудрый царь Давидъ Евсіевичъ:—Я вамъ, братцы, и про то скажу, про то скажу, вамъ повѣдаю: въ Голубиной книгѣ есть написано: у насъ Бѣлый царь будетъ надъ царями царь; онъ вѣруетъ вѣру крещеную, крещеную богомольную; онъ въ Матерь Божію Богородицу и въ Троицу вѣруетъ нераздѣлимую. Ему орды всѣ преклонилися, всѣ языци ему покорилися; область его надо всей землей, надъ вселенною; всѣхъ выше его рука царская, благовѣрная, благочестивая; и всѣ къ царю Бѣлому преклонятся, потому Бѣлый царь надъ царями царь! Свято-Русь земля всѣмъ землямъ мати; на ней строятъ церкви апостольскія, богомольныя, соборныя. Окіянъ море всѣмъ морямъ мати; выходила изъ него церковь соборная; что во той ли церкви во соборныя почиваютъ мощи попа римскаго, попа римскаго Климентія, обошло то море околъ всей земли; всѣ рѣки къ морю сбѣгалися, всѣ къ Окіянъ морю приклонилися. Ерданъ-рѣка всѣмъ рѣкамъ мати; во славно́й

матушкѣ во Ердань-рѣкѣ окрестился самъ Исусъ Христосъ, небесный Царь. А Θаворъ-гора всѣмъ горамъ мати; какъ на славныя на Θаворъ горы преобразился на ней самъ Исусъ Христосъ, показалъ славу ученикамъ своимъ. Ерусалимъ городъ всѣмъ городамъ мати; что стоитъ тотъ городъ посреди земли, а въ томъ городѣ церковь соборная; пребываетъ во церкви Господень гробъ, почиваютъ въ немъ ризы самого Христа, θиміамыладаны рядомъ курятся, свѣщи горятъ неугасимыя»..

Здѣсь Перстень опять взглянулъ на Іоанна. Глаза его были закрыты, дыханіе ровно. Грозный, казалось, почивалъ.

Атаманъ тронулъ Коршуна локтемъ. Старикъ подался шага на два впередъ. Перстень продолжалъ нараспѣвъ:

«Ему всѣ цари поклонилися:—Спасибо, свѣтъ государь, премудрый царь, Давидъ Евсіевичъ! Ты еще, сударь, намъ про то скажи: котора рыба всѣмъ рыбамъ мать? Котора птица птицамъ есть мать? Который звѣрь надъ звѣрями звѣрь? Который камень всѣмъ каменямъ отецъ? Которо древо древамъ всѣмъ мать? Кая трава всѣмъ травамъ мати?

«Имъ отвѣтъ держалъ премудрый царь: — Я еще вамъ, братцы, про то скажу: у насъ Китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мать: на трехъ на китахъ земля стоитъ; Естрафиль-птица всѣмъ птицамъ мати; что живетъ та птица на синемъ морѣ; когда птица вострепенется, все синё море всколебается, потопляетъ корабли гостиные, побиваетъ суда поморскія; а когда Естрафиль вострепещится, во второмъ часу послѣ полунощи, запоютъ пѣтухи по всей земли, освѣтится въ тѣ поры вся земля»...

Перстень покосился на Іоанна. Царь лежалъ съ сомкнутыми глазами; ротъ его былъ раскрытъ, какъ у спящаго. Въ то же время, какъ будто въ ладъ словамъ своимъ, Перстень увидѣлъ въ окно, что дворцовая церковь и крыши ближнихъ строеній освѣтились дальнимъ заревомъ.

Онъ тихонько толкнулъ Коршуна, который подался еще однимъ шагомъ ближе къ Ивану Васильевичу.

«У насъ Индра-звѣрь (продолжалъ Перстень) надъ звѣрями звѣрь, и онъ ходитъ, звѣрь, по подзѣмелью, яко солнышко по

поднѣбесью; онъ копаетъ рогомъ сыру мать-землю, выкопаетъ ключи все глубокіе; онъ пущаетъ рѣки, ручьявиночки, прочищаетъ ручьи и проточины, даетъ людямъ питанійца, питанійца обмывайница. Алатырь-камень всѣмъ камнямъ отецъ; на бѣломъ Алтырѣ на камени самъ Исусъ Христосъ опочивъ держалъ, Царь небесный бесѣдовалъ со двунадесяти со апостоламъ, утверждалъ вѣру христіанскую; утвердилъ онъ вѣру на камени, распущалъ книги онъ по всей землѣ. Кипарисъ-древо всѣмъ древамъ мати; изъ того ли изъ древа кипариснаго былъ вырѣзанъ чуденъ поклоненъ крестъ; на тѣмъ на крестѣ на животворящіимъ, на распятьи былъ самъ Исусъ Христосъ, самъ Исусъ Христосъ, самъ небесный царь, промежду двухъ воровъ, двухъ разбойниковъ. Плакунъ трава всѣмъ травамъ мати. Когда Христосъ Богъ на распятьи былъ, тогда шла Мати Божія, Богородица, ко своему сыну ко роспятому; отъ очей ея слезы на земь капали, и отъ тѣхъ слезъ, отъ пречистыихъ, зародилася, выростала мати плакунъ-трава; изъ того плакуна, изъ корени, у насъ рѣжутъ на Руси чудны кресты, а ихъ носятъ старцы иноки, мужіе ихъ носятъ благовѣрные».

Здѣсь Иванъ Васильевичъ глубоко вздохнулъ, но не открылъ очей. Зарево пожара дѣлалось ярче. Перстень сталъ опасаться, что тревога подымется прежде, чѣмъ они успѣютъ достать ключи. Не рѣшаясь самъ тронуться съ мѣста, чтобы царь не замѣтилъ его движенія по голосу, онъ указалъ Коршуну на пожаръ, потомъ на спящаго Іоанна, и продолжалъ:

«Ему всѣ цари поклонилися:—Спасибо, свѣтъ государь, премудрый царь Евсіевичъ! Ты гораздъ сказать по памяти, говоришь будто по грамоты! Тутъ возговоритъ Володимеръ царь:—Ты еси, премудрый царь, Давидъ Евсіевичъ! Ты скажи еще, ты повѣдай мнѣ: ночеся мнѣ мало спалося, мало спалося, много видѣлось: кабы два звѣря сходилися, одинъ бѣлый звѣрь, другой сѣрый звѣрь, промежду собой подиралися; кабы бѣлый звѣрь одолѣть хочетъ? — Что отвѣтъ держалъ премудрый царь, премудрый царь Давидъ Евсіевичъ:—Ахъ ты гой еси, Володимеръ царь, Володимеръ Володимерычъ! То не два звѣря сходилися,

промежду собой подиралися; и то было у насъ на сырой земли, на сырой земли, на святой Руси; сходилися правда съ кривдою; эта бѣлая звѣрь—то-то правда есть, а сѣрая звѣрь—то-то кривда есть; правда кривду передалила, правда пошла къ Богу на небо, а кривда осталась на сырой землѣ; а кто станетъ жить у насъ правдою, тотъ наслѣдуетъ царство небесное; а кто станетъ жить у насъ кривдою, отрѣшенъ на муки на вѣчныя»...

Здѣсь послышалось легкое храпѣніе Іоанна. Коршунъ протянулъ руку къ царскому изголовью; Перстень же придвинулся ближе къ окну, но чтобы внезапнымъ молчаніемъ не прервать сна Іоаннова, онъ продолжалъ разсказъ свой тѣмъ же однообразнымъ голосомъ:

«Ему всѣ цари поклонилися:—Спасибо, свѣтъ государь, премудрый царь, премудрый царь Давидъ Евсіевичъ! Ты еще, сударь, намъ про то скажи: какимъ грѣхамъ прощенье есть, а какимъ грѣхамъ нѣтъ прощенія? Имъ отвѣтъ держалъ премудрый царь, премудрый царь Давидъ Евсіевичъ: кабы всѣмъ грѣхамъ прощенье есть, тремъ грѣхамъ тяжкое покаяніе: кто спознался съ кумою крестовыя, кто бранитъ отца со матерью, кто»...

Въ это мгновеніе царь внезапно открылъ глаза. Коршунъ отдернулъ руку, но уже было поздно: взоръ его встрѣтился со взоромъ Іоанна. Нѣсколько времени оба неподвижно глядѣли другъ на друга, какъ бы взаимно скованные обаятельною силой.

— Слѣпые!—сказалъ вдругъ царь, быстро вскакивая:—третій грѣхъ: когда кто нарядится нищимъ и къ царю въ опочивальню войдетъ!

И онъ ударилъ острымъ посохомъ Коршуна въ грудь. Разбойникъ схватился за посохъ, закачался и упалъ.

— Гей!—закричалъ царь, выдергивая остріе изъ груди Коршуна.

Опричники вбѣжали, гремя оружіемъ.

— Хватайте ихъ обоихъ!—сказалъ Іоаннъ.

Какъ ярый песъ, Малюта бросился на Перстня, но съ не-

обычайною ловкостью атаманъ ударилъ его кулакомъ подъ ложку, вышибъ ногою оконницу и выскочилъ въ садъ.

— Оцѣпите садъ! Ловите разбойника! — заревѣлъ Малюта, согнувшись отъ боли и держась обѣими руками за животъ.

Между тѣмъ опричники подняли Коршуна.

Іоаннъ въ черномъ стихарѣ, изъ-подъ котораго сверкала кольчуга, стоялъ съ дрожащимъ посохомъ въ рукѣ, вперивъ грозныя очи въ раненаго разбойника. Испуганные слуги держали зажженныя свѣчи. Сквозь разбитое окно виденъ былъ пожаръ. Слобода приходила въ движеніе; вдали гудѣлъ набатный колоколъ.

Коршунъ стоялъ, насупивъ брови, опустивъ глаза, поддерживаемый опричниками; кровь широкими пятнами пестрила его рубаху.

— Слѣпой!—сказалъ царь:—говори, кто ты и что умышлялъ надо мною?

— Нечего мнѣ таить!—отвѣчалъ Коршунъ.—Я хотѣлъ добыть ключи отъ твоей казны, а надъ тобой ничего не умышлялъ.

— Кто подослалъ тебя? Кто твои товарищи?

Коршунъ безстрашно взглянулъ на Іоанна.

— Надёжа, православный царь! Былъ я молодъ, пѣвалъ я пѣсню: «Не шуми, мати сыра дуброва». Въ той ли пѣсни царь спрашиваетъ у добра молодца, съ кѣмъ разбой держалъ? А молодецъ говоритъ: товарищей у меня было четверо; ужъ какъ первый мой товарищъ черная ночь; а второй мой товарищъ...

— Будетъ!—прервалъ его Малюта:—посмотримъ, что ты запоешь, какъ станутъ тебя съ дыбовъ рвать, на козелъ подымать! Да кой прахъ! — продолжалъ онъ, вглядываясь въ Коршуна:—я гдѣ-то уже видалъ эту кудластую голову!

Коршунъ усмѣхнулся и отвѣсилъ поклонъ Малютѣ.

— Видѣлись мы батюшка, Малюта Скурлатычъ, видѣлись, коли припомнишь, на Поганой-Лужѣ...

— Хомякъ!—перебилъ его Малюта, обернувшись къ своему стремянному:—возьми этого старика, потолкуй съ нимъ, попроси

его разсказать, зачѣмъ приходилъ къ его царской милости. Я сейчасъ самъ въ застѣнокъ приду!

— Пойдемъ, старина!—сказалъ Хомякъ, ухватя Коршуна за воротъ:—пойдемъ-ка вдвоемъ, потолкуемъ ладкомъ!

— Постой!—сказалъ Іоаннъ.—Ты, Малюта, побереги этого старика; онъ не долженъ на пыткѣ кончиться. Я придумаю ему казнь примѣрную, еще небывалую, неслыханную; такую казнь, что самого тебя удивлю, отецъ параклисіархъ!

— Благодари же царя, пёсъ! — сказалъ Малюта Коршуну, толкая его:—доведется тебѣ, должно быть, пожить еще. Мы сею ночью тебѣ только суставы повывернемъ!

И вмѣстѣ съ Хомякомъ онъ вывелъ разбойника изъ опочивальни.

Между тѣмъ, Перстень, пользуясь общимъ смятеніемъ, перелѣзъ черезъ садовый частоколъ и прибѣжалъ на площадь, гдѣ находилась тюрьма. Площадь была пуста; весь народъ повалилъ на пожаръ.

Пробираясь осторожно вдоль тюремной стѣны, Перстень споткнулся на что-то мягкое и, нагнувшись, ощупалъ убитаго человѣка.

— Атаманъ!—шепнулъ, подходя къ нему, тотъ самый рыжій пѣсенникъ, который остановилъ его утромъ:—часового-то я зарѣзалъ! Давай проворнѣй ключи, отопремъ тюрьму, да и прощай! пойду на пожаръ грабить съ ребятами! А гдѣ Коршунъ?

— Въ рукахъ царя! — отвѣчалъ отрывисто Перстень. — Все пропало! Сбирай ребятъ да и тягу! Тише; это кто?

— Я!—отвѣчалъ Митька, отдѣляясь отъ стѣны.

— Убирайся, дурень! Уноси ноги! Всѣ выбирайтесь изъ Слободы! Сборъ у кривого дуба!

— А князь-то?—спросилъ Митька протяжно.

— Дурень! Слышишь, все пропало! Дѣдушку схватили, ключей не добыли!

— А нѣшто тюрьма на запорѣ?

— Какъ не на запорѣ? Кто отперъ?

— А я!

— Что ты, болванъ! Говори толкомъ!

— Что-жъ говорить? Прихожу, никого нѣтъ; часовой лежитъ, раскидамши ноги. Я говорю: дай, молъ, испробую, крѣпка-ль дверь? Понаперъ въ нее плечикомъ, а она, какъ была, такъ съ заклепами и соскочи съ петлей!

— Ай да дурень!—воскликнулъ радостно Перстень.—Вотъ, вправду говорятъ: дураками свѣтъ стоитъ! Ахъ, дуракъ, дуракъ! Ахъ, губошлёпъ, губошлёпъ ты этакій!

И Перстень, схвативъ Митьку за виски, поцѣловалъ его въ обѣ щеки, при чемъ Митька протянулъ, чмокая, и свои толстыя губы, а потомъ хладнокровно утерся рукавомъ.

— Иди же за мной, такой-сякой сынъ, право! А ты, балалайка, здѣсь погоди. Коли что будетъ, свистни!

Перстень вошелъ въ тюрьму. За нимъ ввалился и Митька.

За первою дверью были еще двѣ другія двери, но тѣ, какъ менѣе крѣпкія, еще легче подались отъ богатырскаго натиска Митьки!

— Князь!—сказалъ Перстень, входя въ подземелье:—вставай!

Серебряный подумалъ, что пришли везти его на казнь.

— Ужели теперь утро?—спросилъ онъ:—или тебѣ, Малюта, до разсвѣта не терпится?

— Я не Малюта!—отвѣчалъ Перстень.—Я тотъ, кого ты отъ смерти спасъ. Вставай, князь! Время дорого. Вставай, я выведу тебя!

— Кто-ты?—сказалъ Серебряный:—я не знаю твоего голоса!

— И не мудрено, бояринъ; гдѣ тебѣ помнить меня! Только вставай! Намъ некогда мѣшкать!

Серебряный не отвѣчалъ. Онъ подумалъ, что Перстень, одинъ изъ Малютиныхъ палачей, и принялъ слова его за насмѣшку.

— Аль ты не вѣришь мнѣ, князь?—продолжалъ атаманъ съ досадою.—Вспомни Медвѣдевку, вспомни Поганую-Лужу: я Ванюха Перстень!

Запылала радость въ груди Серебрянаго. Взыграло его сердце и забилось любовью къ свободѣ и къ жизни. Запестрѣли въ его

мысляхъ и лѣса, и поля, и новыя славныя битвы, и явился ему, какъ солнце, свѣтлый образъ Елены.

Уже онъ вспрянулъ съ земли, уже готовъ былъ слѣдовать за Перстнемъ, какъ вдругъ вспомнилъ данную царю клятву, и кровь его отхлынула къ сердцу.

— Не могу!—сказалъ онъ:—не могу идти за тобою. Я обѣщалъ царю не выходить изъ его воли и ожидать, гдѣ бы я ни былъ, суда его!

— Князь!—отвѣчалъ удивленный Перстень:—мнѣ некогда толковать съ тобою. Люди мои ждутъ; каждый мигъ можетъ намъ головы стоить; завтра тебѣ казнь, теперь еще время, вставай, ступай съ нами!

— Не могу!—повторилъ мрачно Серебряный:—я цѣловалъ ему крестъ на моемъ словѣ!

— Бояринъ!—вскричалъ Перстень, и голосъ его измѣнился отъ гнѣва:—издѣваешься ты, что ли, надо мною? Для тебя я зажегъ Слободу, для тебя погубилъ своего лучшаго человѣка, для тебя, можетъ быть, мы всѣ наши головы положимъ, а ты хочешь остаться? Даромъ мы сюда, что ли, пришли? Скоморохи мы тебѣ, что ли, дались? Да я бы посмотрѣлъ, кто бы сталъ глумиться надо мной! Говори въ послѣдній разъ, идешь али нѣтъ?

— Нѣтъ!—отвѣчалъ рѣшительно Никита Романовичъ, и легъ на сырую землю.

— Нѣтъ?—повторилъ, стиснувъ зубы, Перстень:—нѣтъ? Такъ не бывать же по-твоему! Митька, хватай его насильно!—И въ тотъ же мигъ атаманъ бросился на князя и замоталъ ему ротъ кушакомъ.

— Теперь ты не заспоришь!—сказалъ онъ злобно.

Митька загребъ Никиту Романовича въ охапку и какъ малаго ребенка вынесъ изъ тюрьмы.

— Живо! Идемъ!—сказалъ Перстень!

Въ одной улицѣ попались имъ опричники.

— Кого несете?—спросили они.

— Слободского на пожарѣ бревномъ пришибло!—отвѣчалъ Перстень.—Несемъ въ скудельницу!

При выходѣ изъ Слободы ихъ остановилъ часовой. Они хотѣли пройти мимо; часовой разинулъ ротъ крикнуть; Перстень хватилъ его кистенемъ, и онъ свалился, не пикнувъ.

Разбойники вынесли князя изъ Слободы безъ дальнѣйшаго препятствія.

ГЛАВА XXII.

Монастырь.

Мы оставили Максима ненастною ночью, на выѣздѣ изъ Александровой Слободы. Косматый Буянъ лаялъ и прыгалъ вокругъ него и радовался, что удалось ему сорваться съ цѣпи.

Максимъ покидая родительскій домъ, не успѣлъ опредѣлить себѣ никакой цѣли. Онъ хотѣлъ только оторваться отъ ненавистной жизни царскихъ любимцевъ, отъ ихъ нечестиваго веселья и ежедневныхъ казней. Оставя за собою страшную Слободу, Максимъ ввѣрился своей судьбѣ. Сначала онъ торопилъ коня, чтобы не догнали его отцовскіе холопи, если бы вздумалось Малютѣ послать за нимъ погоню. Но вскорѣ онъ повернулъ на проселочную дорогу и поѣхалъ шагомъ.

Къ утру гроза утихла. На востокѣ заалѣло, а Максимъ яснѣе сталъ различать предметы. По сторонамъ дороги росли кудрявые дубы; промежъ нихъ виднѣлись кусты орѣшника. Было свѣжо; дождевыя капли бѣжали съ деревьевъ и лѣниво хлопали по широкимъ листьямъ. Вскорѣ мелкія птички запорхали и защебетали въ зелени; дятелъ застучалъ въ сухое дерево, и вершины дубовъ озолотились восходящимъ солнцемъ. Природа оживлялась все болѣе; конь ступалъ бодрѣе. Раскинулась передъ Максимомъ родная Русь; весело могъ бы онъ дышать въ ея вольномъ пространствѣ, но грусть легла ему на сердце, широкая русская грусть. Задумался онъ о покинутой матери, о своемъ одиночествѣ, обо многомъ, въ чемъ и самъ не отдавалъ себѣ отчета; задумался и затянулъ, въ раздумьѣ, протяжную пѣсню.

Чудны задушевныя русскія пѣсни! Слова бываютъ ничтожны; они лишь предлогъ; не словами, а только звуками выражаются глубокія, необъятныя чувства.

Такъ, глядя на зелень, на небо, на весь Божій міръ, Максимъ пѣлъ о горемычной своей долѣ, о золотой волюшкѣ, о мати сырой дубровѣ. Онъ приказывалъ коню нести себя въ чужедальнюю сторону, что́ безъ вѣтру сушитъ, безъ морозу знобитъ. Онъ поручалъ вѣтру отдать поклонъ матери. Онъ начиналъ съ перваго предмета, попадавшагося на глаза, и высказывалъ все, что́ приходило ему на умъ; но голосъ говорилъ болѣе словъ, а если бы кто услышалъ эту пѣсню, запала-бъ она тому въ душу, и часто, въ минуту грусти, приходила бы на память...

Наконецъ, когда тоска стала глубже забирать Максима, онъ подобралъ поводья, поправилъ шапку, свистнулъ, крикнулъ и полетѣлъ во всю конскую прыть.

Вскорѣ забѣлѣли передъ нимъ стѣны монастыря.

Обитель была расположена по скату горы, поросшей дубами. Золотыя главы и узорные кресты вырѣзывались на зелени дубовъ и на синевѣ неба.

Навстрѣчу Максиму попался отрядъ монастырскихъ служекъ въ шишакахъ и кольчугахъ. Они ѣхали шагомъ и пѣли псаломъ: «Возлюблю тя, Господи, крѣпосте моя». Услыша священныя слова, Максимъ остановилъ коня, снялъ шапку и перекрестился.

Небольшая рѣчка протекала подъ горою. Нѣсколько мельницъ вертѣли на ней свои колеса. На берегу паслись коровы пестрыми кучами.

Все вокругъ монастыря дышало такою тишиною, что вооруженный объѣздъ казался излишнимъ. Даже птицы на дубахъ щебетали какъ будто вполголоса; вѣтеръ не шелестилъ въ листьяхъ, и только кузнечики, притаясь въ травѣ, трещали безъ умолку. Трудно было подумать, чтобы недобрые люди могли возмутить это спокойствіе.

«Вотъ гдѣ отдохну я!—подумалъ Максимъ.—За этими стѣ-

нами проведу нѣсколько дней, пока отецъ перестанетъ искать меня. Я на исповѣди открою настоятелю свою душу, авось онъ дастъ мнѣ на время убѣжище».

Максимъ не ошибся. Престарѣлый игуменъ, съ длинною сѣдою бородой, съ кроткимъ взглядомъ, въ которомъ было совершенное невѣдѣніе дѣлъ мірскихъ, принялъ его ласково. Двое служекъ взяли подъ уздцы усталаго коня. Третій вынесъ хлѣба и молока для Буяна; всѣ радушно хлопотали около Максима. Игуменъ предложилъ ему отобѣдать, но Максимъ захотѣлъ прежде всего исповѣдаться.

Старикъ взглянулъ на него испытующимъ взоромъ, насколько позволяли его добродушные глаза, и, не говоря ни слова, повелъ его черезъ обширный дворъ къ низкой, одноглавой церкви. Они шли мимо могильныхъ крестовъ и длиннаго ряда келій, обсаженныхъ цвѣтами. Попадавшіеся имъ навстрѣчу братія кланялись молча. Надгробныя плиты звенѣли отъ шаговъ Максима; высокая трава пробивалась между плитами и закрывала вполовину надписи, полныя смиренія; все напоминало о бренности жизни, все вызывало на молитву и созерцаніе. Церковь, къ которой игуменъ велъ Максима, стояла среди древнихъ дубовъ, и столѣтнія вѣтви ихъ почти совсѣмъ закрывали узкія, продольныя окна, пропускавшія свѣтъ сквозь пыльную слюду, вставленную въ мелкія свинцовыя оконницы. Когда они вошли, ихъ обдало прохладой и темнотою. Лишь сквозь одно окно, менѣе другихъ заслоненное, косые столбы свѣта падали на стѣнное изображеніе Страшнаго суда. Остальныя части церкви казались отъ этого еще мрачнѣе; но кое-гдѣ отсвѣчивали яркимъ блескомъ серебряныя яблоки паникадилъ, вѣнцы на образахъ да шитые серебромъ кресты, тропари и кондаки на черномъ бархатѣ, покрывающемъ гробницы князей Воротынскихъ, основателей монастыря. Позолота на прорѣзныхъ травахъ иконостаса походила мѣстами на уголья, тлѣющіе подъ золою и готовые вспыхнуть. Пахло сыростью и ладаномъ. Мало-по-малу глазъ Максима сталъ привыкать къ полумраку и различать другія подробности храма: надъ царскими дверьми ви-

день былъ Спаситель въ силахъ, съ херувимами и серафимами, а надъ нимъ шестнадцать владычныхъ праздниковъ. Большой мѣстный образъ Іоанна Предтечи представлялъ его крылатымъ и держащимъ на блюдѣ отсѣченную главу свою. На боковыхъ дверяхъ были написаны грубо и неискусно притча о блудномъ сынѣ, преніе смерти и живота, да исходъ души праведнаго и грѣшнаго. Мрачныя эти картины глубоко подѣйствовали на Максима; всѣ понятія о смиреніи духа, о безусловной покорности родительской власти, всѣ мысли, въ которыхъ онъ былъ воспитанъ, оживились въ немъ снова. Онъ усомнился; правъ ли былъ, что уѣхалъ отъ отца противъ его воли? Но совѣсть отвѣчала ему, что онъ правъ; а между тѣмъ, она не была спокойна. Картина Страшнаго Суда потрясала его воображеніе. Когда тѣнь дубовыхъ листьевъ, колеблемыхъ вѣтромъ снаружи окна, трепетала на стѣнѣ неподвижною сѣткой, ему казалось, что грѣшники и діаволы, писанные въ человѣческій ростъ, дышатъ и движутся.

Благоговѣйный ужасъ проникъ его сердце. Онъ палъ ницъ предъ игуменомъ.

— Отецъ мой,—сказалъ онъ:—должно-быть, я великій грѣшникъ!

— Молись, — отвѣчалъ кротко старикъ: — велико милосердіе Божіе; много поможетъ тебѣ раскаяніе, сынъ мой!

Максимъ собрался съ силами.

— Тяжело мое преступленіе,—началъ онъ дрожащимъ голосомъ.—Отецъ мой, слушай! Страшно мнѣ вымолвить: оскудѣла моя любовь къ царю, сердце мое отъ него отвратилось!

Игуменъ съ удивленіемъ взглянулъ на Максима.

— Не отвергай меня, отецъ мой!—продолжалъ Максимъ:—послушай меня! Долго боролся я самъ съ собою, долго молился предъ святыми иконами. Искалъ я въ своемъ сердцѣ любви къ царю, и не обрѣлъ ея!

— Сынъ мой, — сказалъ игуменъ, глядя съ участіемъ на Максима: — должно-быть, сатанинское навожденіе помрачило твой разсудокъ; ты клевещешь на себя. Того быть не можетъ,

чтобы ты возненавидѣлъ царя. Много тяжкихъ преступниковъ исповѣдывалъ я въ этомъ храмѣ: были и церковные тати, и смертные убойцы, а не бывало такого, кто повинился бы въ нелюбви государю!

Максимъ поблѣднѣлъ.

— Стало, я преступнѣе церковнаго татя и смертнаго убойцы!— воскликнулъ онъ.—Отецъ мой, что мнѣ дѣлать? Научи, вразуми меня, душа моя дѣлится на-двое.

Старикъ смотрѣлъ на исповѣдника и все болѣе дивился.

Правильное лицо Максима не являло ни одной порочной или преступной черты. То было скромное лицо, полное добродушія и отваги, одно изъ тѣхъ русскихъ лицъ, которыя еще нынѣ встрѣчаются между Москвой и Волгой, въ странахъ, отдаленныхъ отъ большихъ дорогъ, куда не проникло городское вліяніе.

— Сынъ мой,—продолжалъ игуменъ:—я тебѣ не вѣрю; ты клевещешь на себя. Не вѣрю, чтобы сердце твое отвратилось отъ царя. Этого быть не можетъ. Подумай самъ: царь намъ болѣе чѣмъ отецъ, а пятая заповѣдь велитъ чтить отца. Скажи мнѣ, сынъ мой, вѣдь ты слѣдуешь заповѣди?

Максимъ молчалъ.

— Сынъ мой, ты чтишь отца своего?

— Нѣтъ!—произнесъ Максимъ едва внятно.

— Нѣтъ?—повторилъ игуменъ и, отступивъ назадъ, осѣнился крестнымъ знаменіемъ.

— Ты не любишь царя? Ты не чтишь отца? Кто же ты таковъ?

— Я...—сказалъ молодой опричникъ:—я Максимъ Скуратовъ, сынъ Скуратова-Бѣльскаго!

— Сынъ Малюты?

— Да!—сказалъ Максимъ, и зарыдалъ.

Игуменъ не отвѣчалъ. Онъ горестно стоялъ передъ Максимомъ. Неподвижно смотрѣли на нихъ мрачные лики угодниковъ. Грѣшники на картинѣ Страшнаго Суда жалобно подымали руки къ небу, но все молчало. Спокойствіе церкви прерывали одни рыданія Максима, щебетанье ласточекъ подъ сводами,

да изрѣдка полугромкое слово среди тихой молитвы, которую читалъ про себя игуменъ.

— Сынъ мой,—сказалъ наконецъ старикъ:—повѣдай мнѣ все по-ряду, ничего не утаи отъ меня: какъ вошла въ тебя нелюбовь къ государю?

Максимъ разсказалъ о жизни своей въ Слободѣ, о послѣднемъ разговорѣ съ отцомъ и ночномъ своемъ отъѣздѣ.

Онъ говорилъ медленно, съ разстановкой, и часто собирался съ мыслями, дабы ничего не забыть и ничего не утаить отъ духовнаго отца своего.

Окончивъ разсказъ, онъ опустилъ глаза и долго не смѣлъ взглянуть на игумена, ожидая своего приговора.

— Все ли ты повѣдалъ мнѣ?—сказалъ игуменъ:—не тяготитъ ли еще что-нибудь душу твою? Не помыслилъ ли ты чего на царя? Не задумалъ ли ты чего надъ святою Русью?

Глаза Максима заблистали.

— Отецъ мой, скорѣй дамъ отсѣчь себѣ голову, чѣмъ допущу ее замыслить что-нибудь противъ родины! Грѣшенъ я въ нелюбви къ государю, но не грѣшенъ въ измѣнѣ!

Игуменъ накрылъ его эпитрахилью.

— Очищается рабъ Божій Максимъ!—сказалъ онъ:—отпускаются ему грѣхи его вольные и невольные!

Тихая радость проникла въ душу Максима.

— Сынъ мой,—сказалъ игуменъ:—твоя исповѣдь тебя очистила. Святая церковь не поставляетъ тебѣ въ вину, что ты бросилъ Слободу. Бѣжать отъ соблазна воленъ и долженъ всякій. Но бойся прельститься на лесть врага рода человѣческаго. Бойся примѣра Курбскаго, который изъ высокаго русскаго боярина учинился нынѣ сосудъ діаволу!

— Премилостивый Богъ,—продолжалъ со вздохомъ старикъ:—за великіе грѣхи наши попустилъ нынѣ быть времени трудному. Не намъ, суемудріемъ человѣческимъ судить о Его неисповѣдимомъ промыслѣ. Когда Господь наводитъ на насъ глады и тѣлесныя скорби, что̀ намъ остается, какъ не молиться и покоряться Его святой волѣ? Такъ и теперь, насталъ надъ нами

царь немилостивый, грозный. Не вѣдаемъ, за что онъ насъ казнитъ и губитъ; вѣдаемъ только, что онъ посланъ отъ Бога, и держимъ поклонную голову не передъ Иваномъ Васильевичемъ, а передъ волею Пославшаго его. Вспомнимъ пророческое слово: «Аще кая земля оправдится передъ Богомъ, поставляетъ имъ царя и судью праведна и всякое подаетъ благодѣяніе; аще же которая земля прегрѣшитъ передъ Богомъ, и поставляетъ царя и судей неправедна, и наводитъ на тое землю вся злая!»

— Останься у насъ, сынъ мой; поживи съ нами. Когда придетъ тебѣ пора ѣхать, я вмѣстѣ съ братіей буду молиться, дабы, гдѣ ты ни пойдешь, Богъ вездѣ исправилъ путь твой! А теперь,—продолжалъ добродушно игуменъ, снимая съ себя эпитрахиль:—теперь пойдемъ къ трапезѣ. Послѣ духовной пищи, не отвергнемъ тѣлесной. Есть у насъ изрядныя щуки, есть и караси; отвѣдай нашего творогу, выпей съ нами меду черемховаго во здравіе государя и высокопреосвященнаго владыки!

И въ дружескомъ разговорѣ старикъ повелъ Максима къ трапезѣ.

ГЛАВА XXIII.

Дорога.

Тихо и однообразно протекала монастырская жизнь.

Въ свободное время монахи собирали травы и составляли цѣлебныя зелья. Другіе занимались живописью, вырѣзывали изъ кипариса кресты или иконы, красили и золотили деревянныя чаши.

Максимъ полюбилъ добрыхъ иноковъ. Онъ не замѣчалъ, какъ текло время. Но прошла недѣля, и онъ рѣшился ѣхать. Еще въ Слободѣ слышалъ Максимъ о новыхъ набѣгахъ Татаръ на Рязанскія земли, и давно уже хотѣлъ, вмѣстѣ съ Рязанцами, испытать надъ врагами ратной удачи. Когда онъ повѣдалъ о томъ игумену, старикъ опечалился.

— Куда тебѣ ѣхать, сынъ мой?—сказалъ онъ.—Мы всѣ тебя

любимъ, всѣ къ тебѣ привыкли. Кто знаетъ, можетъ, и тебя посѣтитъ благодать Божія, и ты навсегда останешься съ нами! Послушай, Максимъ, не уѣзжай отъ насъ!

— Не могу, отецъ мой. Давно уже судьба зоветъ меня въ дальнюю сторону. Давно слышу звонъ татарскаго лука, а иной разъ, какъ задумаюсь, то будто стрѣла просвиститъ надъ ушами. На этотъ звонъ, на этотъ свистъ меня тянетъ и манитъ!

И не сталъ игуменъ долѣе удерживать Максима, отслужилъ ему напутный молебенъ, благословилъ его, и грустно простилась съ нимъ братія.

И снова очутился Максимъ на конѣ, среди зеленаго лѣса. Какъ прежде, Буянъ прыгалъ вокругъ коня и весело смотрѣлъ на Максима. Вдругъ онъ залаялъ и побѣжалъ впередъ. Максимъ уже схватился за саблю, въ ожиданіи недоброй встрѣчи, какъ изъ-за поворота показался всадникъ въ желтомъ кафтанѣ съ чернымъ двоеглавымъ орломъ на груди.

Всадникъ ѣхалъ рысью, весело посвистывалъ и держалъ на пестрой рукавицѣ бѣлаго кречета въ клобучкѣ и колокольцахъ.

Максимъ узналъ одного изъ царскихъ сокольниковъ.

— Трифонъ!—вскричалъ онъ.

— Максимъ Григорьичъ! — отвѣчалъ весело сокольникъ:— добраго здоровья! Какъ твоя милость здравствуетъ? Такъ вотъ гдѣ ты, Максимъ Григорьичъ! А мы въ Слободѣ думали, что ты и нѣ вѣсть куда пропалъ! Ну-жъ какъ батюшка-то твой осерчалъ! Упаси Господи! Смотрѣть было страшно! Да еще многое разсказываютъ про твоего батюшку, про царевича, да про князя Серебрянаго. Не знаешь, чему и вѣрить. Ну, слава Богу, добро, что ты сыскался, Максимъ Григорьичъ! Обрадуется же твоя матушка!

Максимъ досадовалъ на встрѣчу съ сокольникомъ. Но Трифонъ былъ добрый малый и при случаѣ умѣлъ молчать. Максимъ спросилъ его, давно ли онъ изъ Слободы.

— Да уже будетъ съ недѣлю, какъ Адраганъ съ поля уле-

тѣлъ!—отвѣчалъ сокольникъ, показывая своего кречета.—Да вѣдь ты, пожалуй, и не знаешь, Максимъ Григорьичъ! Ну, ужъ набрался я было страху, какъ царь на меня раскручинился! Да сжалился надо мной милосердый Богъ и святой мученикъ Трифонъ! проявилъ надо мною свое чудо!

Сокольникъ снялъ шапку и перекрестился.

— Вишь, Максимъ Григорьичъ: выѣхалъ государь, будетъ тому съ недѣлю, на птичью потѣху. Напускалъ Адрагана раза два; какъ на бѣду, третій-то разъ дурь нашла на Адрагана. Сталъ онъ бить соколовъ, сбилъ Смышляя и Кружка, да и давай тягу! Не успѣлъ бы ты десяти просчитать, какъ онъ у тебя и съ глазъ долой. Я было-скакать за нимъ, да куды. Пропалъ, будто и не бывало. Вотъ доложилъ сокольничій царю, что пропалъ Адраганъ. Царь велѣлъ меня позвать, да и говоритъ, что ты-де, Тришка, мнѣ головой за него отвѣчаешь: достанешь—пожалую тебя, не достанешь—голову долой! Какъ быть! Батюшка-царь вѣдь не шутитъ! Поѣхалъ я искать Адрагана; шесть дёнъ промучился, стало мнѣ ужъ вокругъ шеи неловко: думаю, придется проститься съ головой. Сталъ я плакать; плакалъ, плакалъ, да съ горя и заснулъ въ лѣсу. Лишь только заснулъ, явилось мнѣ, сонному, видѣніе: сіяніе разлилось межъ деревьевъ, и звонъ пошелъ по лѣсу. И слыша тотъ звонъ, я, сонный, самъ себѣ говорю: то звонятъ Адрагановы колокольцы. Гляжу, передо мной сидитъ на бѣломъ конѣ, весь облитый свѣтомъ, молодой ратникъ и держитъ на рукѣ Адрагана.—Трифонъ!—сказалъ ратникъ:—не здѣсь вщи Адрагана. Встань, ступай къ Москвѣ, къ Лазареву урочищу. Тамъ стоитъ сосна, на той соснѣ сидитъ Адраганъ. Проснулся я, и самъ не знаю съ чего, стало мнѣ понятно, что ратникъ былъ святой мученикъ Трифонъ. Вскочилъ я на коня и поскакалъ къ Москвѣ. Что-жъ, Максимъ Григорьичъ, повѣришь ли? какъ пріѣхалъ на то урочище, вижу: въ самомъ дѣлѣ сосна, и на ней сидитъ мой Адраганъ, точь-въ-точь какъ говорилъ святой!

Голосъ сокольника дрожалъ, и крупныя слезы катились изъ глазъ его.

отъ слѣпней и дневного жару; теплый вѣтеръ разносилъ запахъ цвѣтовъ и свѣжаго сѣна, и такъ было мнѣ сладко, и такъ было мнѣ грустно, и такъ думалось о прошедшемъ, и такъ мечталось о будущемъ. Хорошо, хорошо ѣхать вечеромъ по безлюднымъ мѣстамъ, то лѣсомъ, то нивами, бросить поводья и задуматься, глядя на звѣзды!

Уже съ добрый часъ ѣхалъ Максимъ, какъ вдругъ Буянъ поднялъ морду на вѣтеръ и замахалъ хвостомъ. Послышался запахъ дыма. Максимъ вспомнилъ о ночлегѣ и понудилъ коня. Вскорѣ увидѣлъ онъ покачнувшуюся на сторону избу. Трубы на ней не было; дымъ выходилъ прямо изъ крыши. Въ низенькомъ окнѣ свѣтился огонь. Внутри слышался однообразный напѣвъ. Максимъ подъѣхалъ къ окну. Онъ увидѣлъ всю внутренность бѣднаго хозяйства. Пылающая лучина освѣщала домашнюю утварь; все было дрянно и ветхо. Въ потолочинѣ торчалъ, наискось, гибкій шестъ, и на концѣ его висѣла люлька. Женщина лѣтъ тридцати, блѣдная, хворая, качала люльку и потихоньку пѣла. Подлѣ нея сидѣлъ, согнувшись, мужичокъ съ рѣденькою бородкой и плелъ лапти. Двое дѣтей ползали у ногъ ихъ.

Максиму показалось, что женщина въ пѣснѣ поминаетъ его отца. Сначала онъ подумалъ, что ослышался, но вскорѣ ясно поразило его имя Малюты Скуратова. Полный удивленія, онъ сталъ прислушиваться.

— Спи, усни, мое дитятко!—пѣла женщина.

Спи, усни, мое дитятко,
Покуль гроза пройдетъ,
Покуль бѣда минетъ!
Баю, баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!

Скоро минетъ бѣда наносная,
Скоро царь велитъ отсѣчь голову
Злому псу Малютѣ Скурлатову!
Баю, баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!

Вся кровь Максима бросилась ему въ лицо. Онъ слѣзъ съ коня и привязалъ его къ плетню.

Голосъ продолжалъ:

Какъ и онъ ли, злой пёсъ Малюта
Задушилъ святого старца,
Святого старца Филиппа!
Баю, баюшки-баю.
Баю, мое дитятко!

Максимъ не выдержалъ и толкнулъ дверь ногою.

При видѣ богатой одежды и золотой сабли опричника, хозяева оробѣли.

— Кто вы?—спросилъ Максимъ.

— Батюшка!—отвѣчалъ мужичокъ, кланяясь и заикаясь отъ страха:—меня-то не взыщи, меня зовутъ Ѳедотомъ, а хозяйку-то, не взыщи, батюшка, хозяйку зовутъ Марьею!

— Чѣмъ вы живете, добрые люди?

— Лыки деремъ, родимый, лапти плетемъ, да рѣшета дѣлаемъ. Купцы проѣдутъ и купятъ.

— А, знать, мало проѣзжаютъ?

— Малость, батюшка, совсѣмъ малость! Иной разъ, придется, и ѣсть нечего. Того и смотри, съ голоду али съ наготы помрешь. А лошадки-то нѣтъ у насъ товаръ въ городъ отвезти. Другой годъ волки съѣли.

Максимъ поглядѣлъ съ участіемъ на мужика и его хозяйку и высыпалъ свои червонцы на столъ.

— Богъ съ вами, добрые люди!—сказалъ онъ, и схватился за дверь, чтобы выйти.

Хозяева повалились ему въ ноги.

— Батюшка, родимый, кто ты? Повѣдай намъ, кто ты? За кого намъ Богу молиться?

— Молитесь не за меня, за Малюту Скуратова. Да скажите, далеко-ль до рязанской дороги?

— Да это она и есть, соколъ ты нашъ, она-то и есть, рязанская-то. Мы на самомъ крестѣ живемъ. Вотъ прямо пойдетъ муромская, а налѣво владимірская, а сюда вправо на Рязань!

Да не ѣзди теперь, родимый ты нашъ; не ѣзди теперь, не такая пора; больно стали шалить на дорогѣ. Вотъ вчера цѣлый обозъ съ виномъ ограбили. А теперь еще, говорятъ, Татары опять проявились. Переночуй у насъ, батюшка ты нашъ, отецъ ты нашъ, соколъ ты нашъ, сохрани Богъ, долго-ль до бѣды!

Но Максиму не хотѣлось остаться въ избѣ, гдѣ недавно еще проклинали отца его. Онъ уѣхалъ искать другого ночлега.

— Батюшка!—кричали ему вслѣдъ хозяева:—вернись, родимый, послушай нашего слова! Не сдобровать тебѣ ночью на этой дорогѣ!

Но Максимъ не послушался и поѣхалъ далѣе.

Немного верстъ проѣхалъ онъ, какъ вдругъ Буянъ бросился къ темному кусту и сталъ лаять такъ зло, такъ упорно, какъ будто чуялъ скрытаго врага.

Тщетно отсвистывалъ его Максимъ. Буянъ бросался на кустъ, возвращался весь ощетиненный и снова рвался впередъ.

Наскучивъ отзывать его, Максимъ выхватилъ саблю и поскакалъ прямо на кустъ. Нѣсколько человѣкъ съ поднятыми дубинами выскочили къ нему навстрѣчу, и грубый голосъ крикнулъ:

— Долой съ коня!

— Вотъ тебѣ!—сказалъ Максимъ, отвѣшивая ударъ тому, который былъ ближе.

Разбойникъ зашатался.

— Это тебѣ не въ почетъ!—продолжалъ Максимъ и хотѣлъ отвѣсить ему второй ударъ; но сабля встрѣтила плашмя дубину другого разбойника и разлетѣлась на полы.

— Эге, посмотри-ка на его сбрую! Да это опричникъ! Хватай его живьемъ!—закричалъ грубый голосъ.

— И впрямь опричникъ!—завизжалъ другой:—вотъ потѣшимся надъ нимъ съ ребятами?

— Ай-да Хлопко; ужъ ты и радъ тѣшиться!

И въ тотъ же мигъ всѣ вмѣстѣ навалились на Максима и стащили его съ коня.

ГЛАВА XXIV.

Бунтъ станичниковъ.

Версты полторы отъ мѣста, гдѣ совершилось нападеніе на Максима, толпы вооруженныхъ людей сидѣли вокругъ винныхъ бочекъ съ выбитыми днами. Чарки и берестовыя черпала ходили изъ рукъ въ руки. Пылающіе костры освѣщали рѣзкія черты, всклоченныя бороды и разнообразныя одежды. Были тутъ знакомыя намъ лица: и Андрюшка, и Васька, и рыжій пѣсенникъ; но не было стараго Коршуна. Часто поминали его разбойники, хлебая изъ черпалъ и осушая чарки.

— Эхъ, — говорилъ одинъ: — что-то съ нашимъ дѣдушкой теперь?

— Вѣстимо что̀,—отвѣчалъ другой:—рвутъ его съ дыбовъ, а можетъ, на вискѣ потряхиваютъ.

— А вѣдь не выдастъ старый чортъ: я чай, словечка не выронитъ!

— Вѣстимо не выронитъ, не таковскій, этого хоть на клочья разорви, не выдастъ!

— А жаль сѣдой бороды! Ну да и атаманъ-то хорошъ! Самъ, небось, цѣлъ, а старика-то выдалъ!

— Да что̀ онъ за атаманъ! Развѣ это атаманъ, чтобы своихъ даромъ губить изъ-за какого-то князя!

— Да вишь ты, они съ княземъ-то въ дружбѣ. И теперь, вишь, въ одномъ куренѣ сидятъ. Ты про князя не говори, неравно атаманъ услышитъ, сохрани Богъ!

— А что-жъ, коль услышитъ! Я ему въ глаза скажу, что онъ не атаманъ. Вотъ Коршунъ, такъ настоящій атаманъ! Небось, былъ у Перстня какъ бѣльмо на глазу, такъ вотъ его нарочно и выдалъ!

— А что́, ребята, вѣдь можетъ и въ самомъ дѣлѣ онъ нарочно выдалъ Коршуна!

Глухой ропотъ пробѣжалъ межъ разбойниковъ.

Нарочно, нарочно выдалъ!—сказали многіе.

— Да что это за князь?—спросилъ одинъ.—Зачѣмъ его держатъ? Выкупа за него ждетъ атаманъ, что ли!

— Нѣтъ, не выкупа!—отвѣчалъ рыжій пѣсенникъ.—Князя, вишь, царь обидѣлъ, хотѣлъ казнить его; такъ князь-то отъ царя и ушелъ къ намъ; говоритъ: я васъ, ребятушки, самъ на Слободу поведу; мнѣ, говоритъ, вѣдомо, гдѣ казна лежитъ. Всѣхъ, говоритъ, опричниковъ перерѣжемъ, а казною подѣлимся!

— Вотъ какъ! Такъ что-жъ онъ не ведетъ насъ! Ужъ третьи сутки здѣсь даромъ стоимъ!

— Оттого не ведетъ, что атаманъ у насъ баба!

— Нѣтъ, этого не говори; Перстень не баба!

— А коли не баба, такъ и хуже того. Стало, онъ насъ морочитъ!

— Стало,—сказалъ кто-то:—онъ хочетъ царскую казну на себя одного взять: а намъ чтобъ и понюхать не досталось!

— Да, да, Перстень продать насъ хочетъ, какъ Коршуна продалъ!

— Да не на таковскихъ напалъ!

— А старика-то выручить не хочетъ!

— Да на что онъ намъ! Мы и безъ него дѣдушку выручимъ!

— И безъ него казну возьмемъ; пусть князь одинъ ведетъ насъ!

— Теперь-то и самая пора; царь, слышно, на богомольи; въ Слободѣ и половины опричниковъ не осталось!

— Зажжемъ опять Слободу!

— Перерѣжемъ слободскихъ!

— Долой Перстня! Пусть князь ведетъ насъ!

— Пусть князь ведетъ! Пусть князь ведетъ!—послышалось отовсюду.

Подобно грому прокатились слова отъ толпы до толпы, пронеслися до самыхъ отдаленныхъ костровъ, и все поднялось и закипѣло, и всѣ обступили курень, гдѣ Серебряный сидѣлъ въ жаркомъ разговорѣ съ Перстнемъ

— Воля твоя, князь,—говорилъ атаманъ:—сердись, не сер-

царь немилостивый, грозный. Не вѣдаемъ, за что онъ насъ казнитъ и губитъ; вѣдаемъ только, что онъ посланъ отъ Бога, и держимъ поклонную голову не передъ Иваномъ Васильевичемъ, а передъ волею Пославшаго его. Вспомнимъ пророческое слово: «Аще кая земля оправдится передъ Богомъ, поставляетъ имъ царя и судью праведна и всякое подаетъ благодѣяніе; аще же которая земля прегрѣшитъ передъ Богомъ, и поставляетъ царя и судей неправедна, и наводитъ на тое землю вся злая!»

— Останься у насъ, сынъ мой; поживи съ нами. Когда придетъ тебѣ пора ѣхать, я вмѣстѣ съ братіей буду молиться, дабы, гдѣ ты ни пойдешь, Богъ вездѣ исправилъ путь твой! А теперь,—продолжалъ добродушно игуменъ, снимая съ себя эпитрахиль:—теперь пойдемъ къ трапезѣ. Послѣ духовной пищи, не отвергнемъ тѣлесной. Есть у насъ изрядныя щуки, есть и караси; отвѣдай нашего творогу, выпей съ нами меду черемховаго во здравіе государя и высокопреосвященнаго владыки!

И въ дружескомъ разговорѣ старикъ повелъ Максима къ трапезѣ.

ГЛАВА XXIII.

Дорога.

Тихо и однообразно протекала монастырская жизнь.

Въ свободное время монахи собирали травы и составляли цѣлебныя зелья. Другіе занимались живописью, вырѣзывали изъ кипариса кресты или иконы, красили и золотили деревянныя чаши.

Максимъ полюбилъ добрыхъ иноковъ. Онъ не замѣчалъ, какъ текло время. Но прошла недѣля, и онъ рѣшился ѣхать. Еще въ Слободѣ слышалъ Максимъ о новыхъ набѣгахъ Татаръ на Рязанскія земли, и давно уже хотѣлъ, вмѣстѣ съ Рязанцами, испытать надъ врагами ратной удачи. Когда онъ повѣдалъ о томъ игумену, старикъ опечалился.

— Куда тебѣ ѣхать, сынъ мой?—сказалъ онъ.—Мы всѣ тебя

любимъ, всѣ къ тебѣ привыкли. Кто знаетъ, можетъ, и тебя посѣтитъ благодать Божія, и ты навсегда останешься съ нами! Послушай, Максимъ, не уѣзжай отъ насъ!

— Не могу, отецъ мой. Давно уже судьба зоветъ меня въ дальнюю сторону. Давно слышу звонъ татарскаго лука, а иной разъ, какъ задумаюсь, то будто стрѣла просвиститъ надъ ушами. На этотъ звонъ, на этотъ свистъ меня тянетъ и манитъ!

И не сталъ игуменъ долѣе удерживать Максима, отслужилъ ему напутный молебенъ, благословилъ его, и грустно простилась съ нимъ братія.

И снова очутился Максимъ на конѣ, среди зеленаго лѣса. Какъ прежде, Буянъ прыгалъ вокругъ коня и весело смотрѣлъ на Максима. Вдругъ онъ залаялъ и побѣжалъ впередъ. Максимъ уже схватился за саблю, въ ожиданіи недоброй встрѣчи, какъ изъ-за поворота показался всадникъ въ желтомъ кафтанѣ съ чернымъ двоеглавымъ орломъ на груди.

Всадникъ ѣхалъ рысью, весело посвистывалъ и держалъ на пестрой рукавицѣ бѣлаго кречета въ клобучкѣ и колокольцахъ.

Максимъ узналъ одного изъ царскихъ сокольниковъ.

— Трифонъ!—вскричалъ онъ.

— Максимъ Григорьичъ! — отвѣчалъ весело сокольникъ:— добраго здоровья! Какъ твоя милость здравствуетъ? Такъ вотъ гдѣ ты, Максимъ Григорьичъ! А мы въ Слободѣ думали, что ты и нѣ вѣсть куда пропалъ! Ну-жъ какъ батюшка-то твой осерчалъ! Упаси Господи! Смотрѣть было страшно! Да еще многое разсказываютъ про твоего батюшку, про царевича, да про князя Серебрянаго. Не знаешь, чему и вѣрить. Ну, слава Богу, добро, что ты сыскался, Максимъ Григорьичъ! Обрадуется же твоя матушка!

Максимъ досадовалъ на встрѣчу съ сокольникомъ. Но Трифонъ былъ добрый малый и при случаѣ умѣлъ молчать. Максимъ спросилъ его, давно ли онъ изъ Слободы.

— Да уже будетъ съ недѣлю, какъ Адраганъ съ поля уле-

тѣлъ!—отвѣчалъ сокольникъ, показывая своего кречета.—Да вѣдь ты, пожалуй, и не знаешь, Максимъ Григорьичъ! Ну, ужъ набрался я было страху, какъ царь на меня раскручинился! Да сжалился надо мной милосердый Богъ и святой мученикъ Трифонъ! проявилъ надо мною свое чудо!

Сокольникъ снялъ шапку и перекрестился.

— Вишь, Максимъ Григорьичъ: выѣхалъ государь, будетъ тому съ недѣлю, на птичью потѣху. Напускалъ Адрагана раза два; какъ на бѣду, третій-то разъ дурь нашла на Адрагана. Сталъ онъ бить соколовъ, сбилъ Смышляя и Кружка, да и давай тягу! Не успѣлъ бы ты десяти просчитать, какъ онъ у тебя и съ глазъ долой. Я было-скакать за нимъ, да куды. Пропалъ, будто и не бывало. Вотъ доложилъ сокольничій царю, что пропалъ Адраганъ. Царь велѣлъ меня позвать, да и говоритъ, что ты-де, Тришка, мнѣ головой за него отвѣчаешь: достанешь—пожалую тебя, не достанешь—голову долой! Какъ быть! Батюшка-царь вѣдь не шутитъ! Поѣхалъ я искать Адрагана; шесть дѣнъ промучился, стало мнѣ ужъ вокругъ шеи неловко: думаю, придется проститься съ головой. Сталъ я плакать; плакалъ, плакалъ, да съ горя и заснулъ въ лѣсу. Лишь только заснулъ, явилось мнѣ, сонному, видѣніе: сіяніе разлилось межъ деревьевъ, и звонъ пошелъ по лѣсу. И слыша тотъ звонъ, я, сонный, самъ себѣ говорю: то звонятъ Адрагановы колокольцы. Гляжу, передо мной сидитъ на бѣломъ конѣ, весь облитый свѣтомъ, молодой ратникъ и держитъ на рукѣ Адрагана.—Трифонъ!—сказалъ ратникъ:—не здѣсь ищи Адрагана. Встань, ступай къ Москвѣ, къ Лазареву урочищу. Тамъ стоитъ сосна, на той соснѣ сидитъ Адраганъ. Проснулся я, и самъ не знаю съ чего, стало мнѣ понятно, что ратникъ былъ святой мученикъ Трифонъ. Вскочилъ я на коня и поскакалъ къ Москвѣ. Что-жъ, Максимъ Григорьичъ, повѣришь ли? какъ пріѣхалъ на то урочище, вижу: въ самомъ дѣлѣ сосна, и на ней сидитъ мой Адраганъ, точь-въ-точь какъ говорилъ святой!

Голосъ сокольника дрожалъ, и крупныя слезы катились изъ глазъ его.

— Максимъ Григорьичъ,—прибавилъ онъ, утирая слезы:— теперь хоть всѣ животы продамъ безъ остатку, хоть самъ въ вѣковѣчную кабалу пойду, а построю часовню святому угоднику! На томъ самомъ мѣстѣ построю, гдѣ нашелъ Адрагана. И образъ велю на стѣнѣ написать точь-въ-точь какъ явился мнѣ святой: на бѣломъ конѣ, высоко поднявъ руку, а на ней бѣлый кречетъ. Заповѣдую и дѣтямъ, и внукамъ славить его, служить ему молебны и ставить писаныя свѣчи, что не захотѣлъ онъ моей погибели, спасъ отъ плахи раба своего! Вишь,— продолжалъ сокольникъ, глядя на кречета:—вотъ онъ, Адраганъ, цѣлъ-цѣлёхонекъ! Дай-ка я сниму съ тебя клобучокъ! Чего кричишь? Небось, полетать хочется? Нѣтъ, братъ, погоди! Довольно налетался, не пущу!

И Трифонъ дразнилъ кречета пальцемъ.

— Вишь злобный какой! Такъ и хватаетъ! А кричитъ-то какъ! Я чай, за версту слышно?

Разсказъ сокольника запалъ въ душу Максима.

— Возьми-жъ и мое приношеніе!—сказалъ онъ, бросая горсть золотыхъ въ шапку Трифона.—Вотъ всѣ мои деньги; онѣ мнѣ не нужны, а тебѣ еще много придется сбирать на часовню.

— Да наградитъ тебя Богъ, Максимъ Григорьичъ! Съ твоими деньгами ужъ не часовню, а цѣлую церковь выстрою! Какъ приду домой, въ Слободу, отслужу молебенъ и выну просвиру во здравіе твое! Вѣчно буду твоимъ холопомъ, Максимъ Григорьичъ. Что̀ хочешь приказывай!

— Слушай, Трифонъ. Сослужи мнѣ службу не трудную: какъ пріѣдешь въ Слободу никому не заикнись, что меня встрѣтилъ; а дня черезъ три ступай къ матушкѣ, скажи ей, да только ей одной, чтобы никто не слыхалъ, скажи, что сынъ де твой, далъ Богъ, здоровъ, бьетъ тебѣ челомъ.

— Только-то, Максимъ Григорьичъ?

— Еще слушай, Трифонъ, я ѣду въ далекій путь. Можетъ, не скоро вернусь. Такъ, коли тебѣ не въ трудъ, навѣдывайся отъ поры до поры къ матери, да говори ей каждый разъ: я-де, говори, слышалъ отъ людей, что сынъ твой, помощію Божіей

здоровъ, а ты-де о немъ не кручинься! А будетъ, матушка спроситъ: отъ какихъ людей слышалъ? и ты ей говори: слышалъ-де отъ московскихъ людей, а имъ-де другіе люди сказывали, а какіе люди, того не говори, чтобъ и концовъ не нашли; а только бы вѣдала матушка, что я здравствую.

— Такъ ты, Максимъ Григорьичъ, и вправду не вернешься въ Слободу?

— Вернусь ли, нѣтъ ли, про то Богъ знаетъ; ты же никому не сказывай, что меня встрѣтилъ.

— Ужъ положись на меня, Максимъ Григорьичъ, не скажу никому! Только коли ты ѣдешь въ дальній путь, такъ я не возьму твоихъ денегъ. Меня Богъ накажетъ.

— Да на что мнѣ деньги? Мы не въ басурманской землѣ!

— Воля твоя, Максимъ Григорьичъ, а мнѣ взять не можно. Добро бы ты ѣхалъ домой. А то, что-жъ я тебя оберу на дорогѣ, какъ станишникъ какой! Воля твоя, хоть зарѣжь, не возьму!

Максимъ пожалъ плечами и вынулъ изъ шапки Трифона нѣсколько золотыхъ.

— Коли ты не берешь, — сказалъ онъ:—авось кто другой возьметъ, а мнѣ ихъ не надо.

Онъ простился съ сокольникомъ и поѣхалъ далѣе.

Уже солнце начинало заходить. Длинныя тѣни деревъ становились длиннѣе и застилали поляны. Подлѣ Максима ѣхала его собственная тѣнь, словно темный великанъ. Она то бѣжала по травѣ, то, когда лѣсъ спиралъ дорогу, всползала на кусты и деревья. Буянъ казался на тѣни огромнымъ баснословнымъ звѣремъ. Мало-по-малу и Буянъ, и конь, и Максимъ изчезли и съ травы и съ деревъ; наступили сумерки; кое-гдѣ забѣлѣлъ туманъ; вечерніе жуки поднялись съ земли и, жужжа, стали чертить воздухъ. Мѣсяцъ показался изъ-за лѣсу; тамъ и сямъ по темнѣющему небу зажглися звѣзды; вдали засеребрилось необозримое поле.

Родина ты моя, родина! Случалось и мнѣ, въ позднюю пору, проѣзжать по твоимъ пустынямъ. Ровно ступалъ конь, отдыхая

отъ слѣпней и дневного жару; теплый вѣтеръ разносилъ запахъ цвѣтовъ и свѣжаго сѣна, и такъ было мнѣ сладко, и такъ было мнѣ грустно, и такъ думалось о прошедшемъ, и такъ мечталось о будущемъ. Хорошо, хорошо ѣхать вечеромъ по безлюднымъ мѣстамъ, то лѣсомъ, то нивами, бросить поводья и задуматься, глядя на звѣзды!

Уже съ добрый часъ ѣхалъ Максимъ, какъ вдругъ Буянъ поднялъ морду на вѣтеръ и замахалъ хвостомъ. Послышался запахъ дыма. Максимъ вспомнилъ о ночлегѣ и понудилъ коня. Вскорѣ увидѣлъ онъ покачнувшуюся на сторону избу. Трубы на ней не было; дымъ выходилъ прямо изъ крыши. Въ низенькомъ окнѣ свѣтился огонь. Внутри слышался однообразный напѣвъ. Максимъ подъѣхалъ къ окну. Онъ увидѣлъ всю внутренность бѣднаго хозяйства. Пылающая лучина освѣщала домашнюю утварь; все было дрянно и ветхо. Въ потолочинѣ торчалъ, наискось, гибкій шестъ, и на концѣ его висѣла люлька. Женщина лѣтъ тридцати, блѣдная, хворая, качала люльку и потихоньку пѣла. Подлѣ нея сидѣлъ, согнувшись, мужичокъ съ рѣденькою бородкой и плелъ лапти. Двое дѣтей ползали у ногъ ихъ.

Максиму показалось, что женщина въ пѣснѣ поминаетъ его отца. Сначала онъ подумалъ, что ослышался, но вскорѣ ясно поразило его имя Малюты Скуратова. Полный удивленія, онъ сталъ прислушиваться.

— Спи, усни, мое дитятко!—пѣла женщина.

Спи, усни, мое дитятко,
Покуль гроза пройдетъ,
Покуль бѣда минетъ!
Баю, баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!

Скоро минетъ бѣда напосная,
Скоро царь велитъ отсѣчь голову
Злому псу Малютѣ Скуратову!
Баю, баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!

танѣ. На огромной головѣ его торчала высокая шапка съ выгнутыми краями. Сплюснутый носъ, выдававшіяся скулы, узенькіе глаза свидѣтельствовали о не-русскомъ его происхожденіи.

Одинъ изъ товарищей Поддубнаго принесъ копье, саадакъ и колчанъ, взятые на плѣнномъ.

— Да это Татаринъ!—закричала толпа.

— Татаринъ,—повторилъ Поддубный:—да еще какой! Насилу съ нимъ справились, такой здоровякъ! Кабы не Митька, какъ разъ ушелъ бы!

— Разсказывай, разсказывай!—закричали разбойники.

— А вотъ, братцы, пошли мы съ утра по рязанской дорогѣ, остановили купца, стали обшаривать; а онъ намъ говоритъ: нечего, говоритъ, братцы, взять съ меня! Я, говоритъ, ѣду отъ Рязани, тамъ всю дорогу заложила Татарва, ободрали меня дочиста, не съ чѣмъ и до Москвы дотащиться.

— Вишь, разбойники,—сказалъ одинъ изъ толпы.

— Что́-жъ вы съ купцомъ сдѣлали?—спросилъ другой.

— Дали ему гривну на дорогу и отпустили,—отвѣтилъ Поддубный.—Тутъ попался намъ мужикъ, разсказалъ, что еще вчера Татары напали на деревню и всю выжгли. Вскорѣ мы сами перешли великую сакму: смѣтили по крайнему счету съ тысячу лошадей. А тамъ идутъ другіе мужики съ бабами да съ дѣтьми, воютъ да голосятъ: и наше-де село выжгла Татарва, да еще и церковь ограбили, порубили святыя иконы, изъ ризъ подѣлали чепраки...

— Ахъ они, окаянные!—вскричали разбойники:—да какъ еще ихъ, проклятыхъ, земля держитъ!

— Попа,—продолжалъ Поддубный:—къ лошадиному хвосту привязали...

— Попа? Да какъ ихъ, собачьихъ дѣтей, громомъ не убило.

— А Богъ вѣсть!

— Да развѣ у русскаго человѣка рукъ нѣтъ на проклятую Татарву!

— Вотъ то-то и есть, что рукъ-то мало; всѣ полки распущены, остались мужики, да бабы, да старики; а басурманамъ-то

и любо, что нѣтъ ратныхъ людей, что некому поколотить ихъ порядкомъ!

— Эхъ, далъ бы я имъ!

— И я-бъ далъ!

— Да какъ вы языка-то достали?

— А вотъ какъ. Слышимъ мы лошадиный топотъ по дорогѣ. Я и говорю ребятамъ: схоронимся, говорю, въ кусты, посмотримъ, кто такой ѣдетъ? Схоронились, видимъ: скачетъ человѣкъ тридцать, вотъ въ этакихъ шапкахъ, съ копьями, съ колчанами, съ луками. Братцы, говорю я, вѣдь это они, сердечные! Жаль, что насъ маленько, а то можно-бъ поколотить! Вдругъ у одного отторочился какой-то мѣшокъ и упалъ на землю. Тотъ остановился, слѣзъ съ коня подымать мѣшокъ да вторачивать, а товарищи его межъ тѣмъ ускакали. Братцы, говорю я, что бы намъ навалиться на него? Нутко, робятушки, за мной разомъ! И сказамши, бросились всѣ на Татарина. Да куды! Тотъ только повелъ плечами, такъ, всѣхъ насъ и стряхнулъ. Мы опять на него, онъ насъ опять стряхнулъ, да и за копье. Тутъ ужъ Митька говоритъ: посторонитесь, братцы, говоритъ, не мѣшайте! Мы дали ему мѣсто, а онъ вырвалъ у Татарина копье, взялъ его за шиворотъ да и пригнулъ къ землѣ. Тутъ мы ему рукавицу въ ротъ да и связали, какъ барана.

— Ай да Митька!—сказали разбойники.

— Да, этотъ хоть быка за рога свалитъ! — замѣтилъ Поддубный.

— Эй, Митька! спросилъ кто-то:—свалишь ты быка?

— А дляча!— отвѣтилъ Митька и отошелъ въ сторону, не желая продолжать разговора.

— Что-жъ было въ мѣшкѣ у Татарина?—спросилъ Хлопко.

— А вотъ смотрите, ребята!

Поддубный развязалъ мѣшокъ и вынулъ кусокъ ризы, богатую дарохранительницу, двѣ-три панагіи, да золотой крестъ.

— Ахъ онъ собака!—закричала вся толпа:— такъ это онъ церковь ограбилъ!

Серебряный воспользовался негодованіемъ разбойниковъ.

— Ребята!—сказалъ онъ:—видите, какъ проклятая Татарва ругается надъ Христовою вѣрой? Видите, какъ басурманское племя хочетъ святую Русь извести? Что-жъ, ребята, развѣ ужъ и мы стали басурманами? Развѣ дадимъ мы святыя иконы на поруганіе? Развѣ попустимъ, чтобы нехристи жгли русскія села да рѣзали нашихъ братьевъ?

Глухой ропотъ пробѣжалъ по толпѣ.

— Ребята,—продолжалъ Никита Романовичъ:—кто изъ насъ Богу не грѣшенъ! Такъ искупимъ же теперь грѣхи наши, за служимъ себѣ прощеніе отъ Господа, ударимъ всѣ, какъ мы есть, на враговъ церкви и земли Русской.

Сильно подѣйствовали на толпу слова Серебрянаго. Проняла мужественная рѣчь не одно зачерствѣлое сердце, не въ одной косматой груди расшевелила любовь къ родинѣ. Старые разбойники кивнули головой, молодые взглянули другъ на друга. Громкія восклицанія вырвались изъ общаго говора.

— Что-жъ!—сказалъ одинъ:—вѣдь и вправду не приходится отдавать церквей Божіихъ на поруганіе!

— Не приходится, не приходится!—повторилъ другой.

— Двухъ смертей не бывать, одной не миновать!—прибавилъ третій,—лучше умереть въ полѣ, чѣмъ на висѣлицѣ!

— Правда!—отозвался одинъ старый разбойникъ:—въ полѣ и смерь красна!

— Эхъ была не была!—сказалъ, выступая впередъ, молодой сорви-голова:—не знаю какъ другіе, а я пойду на Татарву!

— И я пойду! и я! и я!—закричали многіе.

— Говорятъ про васъ,—продолжалъ Серебряный:—что вы Бога забыли, что не осталось въ васъ ни души, ни совѣсти. Такъ покажите-жъ теперь, что врутъ люди, что есть у васъ и душа, и совѣсть! Покажите, что коли пошло на то, чтобы стоять за Русь да за вѣру, такъ и вы постоите не хуже стрѣльцовъ, не хуже опричниковъ!

— Постоимъ! постоимъ!—закричали всѣ разбойники въ одинъ голосъ.

— Не дадимъ поганымъ ругаться надъ святою Русью!

— Ударимъ на нехристей!

— Веди насъ на Татарву!

— Веди насъ, веди насъ! Постоимъ за святую вѣру!

— Ребята!—сказалъ князь:—а если поколотимъ поганыхъ да увидитъ царь, что мы не хуже опричниковъ, отпуститъ онъ намъ вины наши, скажетъ: не нужна мнѣ болѣ опричнина; есть у меня и безъ нея добрые слуги!

— Пусть только скажетъ,—закричали разбойники:—ужъ послужимъ ему нашими головами!

— Не по своей же я охотѣ въ станичники пошелъ!—сказалъ кто-то.

— А я развѣ по своей?—подхватилъ другой.

— Такъ ляжемъ же, коли надо, за Русскую землю!—сказалъ князь.

— Ляжемъ,—повторили разбойники.

— Что-жъ, ребята,—продолжалъ Серебряный:—коли бить враговъ земли Русской, такъ надо выпить про русскаго царя!

— Выпьемъ!

— Берите же чарки и мнѣ чару подайте!

Князю поднесли стопу; всѣ разбойники налили себѣ чарки.

— Да здравствуетъ великій государь нашъ, царь Иванъ Васильевичъ всея Руси!—сказалъ Серебряный.

— Да здравствуетъ царь!—повторили разбойники.

— Да живетъ земля Русская!—сказалъ Серебряный.

— Да живетъ земля Русская!—повторили разбойники.

— Да сгинутъ всѣ враги святой Руси и православной Христовой вѣры!—продолжалъ князь.

— Да сгинетъ Татарва! Да сгинутъ враги русской вѣры!—кричали наперерывъ разбойники.

— Веди насъ на Татарву! Гдѣ они бусурманы, что̀ жгутъ наши церкви?

— Веди насъ, веди насъ!—раздавалось отовсюду.

— Въ огонь Татарина!—закричалъ кто-то.

— Въ огонь его! Въ поломя!—повторили другіе.

— Постойте, ребята!—сказалъ Серебряный:—разспросимъ его наперед порядкомъ. Отвѣчай,—сказалъ князь, обращаясь къ Татарину:—много-ль васъ? Гдѣ вы станомъ стоите?

Татаринъ сдѣлалъ знакъ, что не понимаетъ.

— Постой князь,—сказалъ Поддубный:—мы ему развяжемъ языкъ! Давай-ка, Хлопко, огоньку. Такъ. Ну, что, будешь говорить?

— Буду бачка!—вскрикнулъ обожженный Татаринъ.

— Много-ль васъ?

— Многа бачка, многа!

— Сколько?

— Десять тысяча, бачка; теперь десять тысяча, а завтра пришла сто тысяча!

— Такъ вы только передовые! Кто ведетъ васъ?

— Ханъ тащилъ!

— Самъ ханъ?

— Не сама! Ханъ пришла завтра; теперь пришла Ширинскій князь Шихматъ!

— Гдѣ его станъ?

Татаринъ опять показалъ знаками, что не понимаетъ.

— Эй, Хлопко, огоньку!—крикнулъ Поддубный.

— Близка станъ, бачка, близка!—поспѣшилъ отвѣчать Татаринъ:—не больше отсюда какъ десята верста.

— Показывай дорогу!—сказалъ Серебряный.

— Не можна, бачка! Не можна теперь видѣть дорога! Завтра можна, бачка!

Поддубный поднесъ горячую головню къ связаннымъ рукамъ Татарина.

— Найдешь дорогу?

— Нашла, бачка, нашла!

— Хорошо,—сказалъ Серебряный:—теперь перекусите братцы, накормите Татарина, да тотчасъ и въ походъ! Покажемъ врагамъ, что значитъ русская сила!

ГЛАВА XXV.

Приготовленіе къ битвѣ.

Въ шайкѣ началось такое движеніе, бѣготня и крики, что Максимъ не успѣлъ сказать и спасибо Серебряному. Когда наконецъ станичники выстроились и двинулись изъ лѣсу, Максимъ, которому возвратили коня и дали оружіе, поровнялся съ княземъ.

— Никита Романычъ, — сказалъ онъ: — отплатилъ ты мнѣ сегодня за медвѣдя!

— Что-жъ, Максимъ Григорьичъ,—отвѣтилъ Серебряный:— на то на свѣтѣ живемъ, чтобъ помогать другъ другу!

— Князь,—подхватилъ Перстень, ѣхавшій также верхомъ возлѣ Серебрянаго:—смотрѣлъ я на тебя и думалъ: эхъ, жаль, что не видитъ его одинъ низовой молодецъ, котораго оставилъ я на Волгѣ! Хоть онъ и худой человѣкъ, почитай мнѣ ровня, а полюбилъ бы ты его, князь, и онъ тебя полюбилъ бы! Не въ обиду тебѣ сказать, а схожи вы нравомъ. Какъ заговорилъ ты про святую Русь, да загорѣлись твои очи, такъ я и вспомнилъ Ермака Тимоѳеича. Любитъ онъ родину, крѣпко любитъ ее, нужды нѣтъ, что станичникъ. Не разъ говаривалъ мнѣ, что совѣстно ему даромъ землю бременить, что хотѣлось бы сослужить службу родинѣ. Эхъ, кабы теперь его на Татаръ! Онъ одинъ цѣлой сотни стоитъ. Какъ крикнетъ: за мной, ребята! такъ, кажется, самъ станешь и выше, и сильнѣе, и ничто тебя уже не остановитъ, и все вокругъ тебя такъ и валится. Похожъ ты на него, ей-Богу похожъ, Никита Романычъ; не въ укоръ тебѣ сказать!

Перстень задумался. Серебряный ѣхалъ осторожно, вглядываясь въ темную даль; Максимъ молчалъ. Глухо раздавались по дорогѣ шаги разбойниковъ; звѣздная ночь безмолвно раскинулась надъ спящею землей. Долго шла толпа по направленію, указанному Татариномъ, котораго вели подъ саблей Хлопко и Поддубный.

Вдругъ пронеслися издали какіе-то странные, мѣрные звуки То былъ не человѣческій голосъ, не рожокъ, не гусли, а что-то похожее на шумъ вѣтра въ тростникѣ, если бы тростникъ могъ звенѣть какъ стекло или струны.

— Что̀ это?—спросилъ Никита Романычъ, останавливая коня.

Перстень снялъ шапку и наклонилъ голову почти до самой луки.

— Погоди, князь, дай поразслушать!

Звуки лились мѣрно и заунывно, то звонкими серебряными струями, то подобные шуму колеблемаго лѣса,—вдругъ замолкли, какъ будто въ порывѣ степного вѣтра.

— Кончилъ! — сказалъ Перстень, смѣясь. — Вишь, грудь-то какова! Я чай, съ полчаса дулъ себѣ, не переводя духа!

— Да что́ это?—спросилъ князь.

— *Чебуза*!—отвѣчалъ Перстень. — Это у нихъ почитай что̀ у насъ рожокъ или жалейка. Должно быть, Башкирцы. Вѣдь тутъ разный сбродъ съ ханомъ: и Казанцы, и Астраханцы, и всякая ногайская погань. Слышь, вотъ опять наигрывать стали.

Вдали начался какъ будто новый порывъ вихря, обратился въ длинные, грустно-пріятные, переливы, и черезъ нѣсколько времени кончился отрывисто, подобно конскому фырканью.

— Ага!—сказалъ Перстень:—это колѣно вышло покороче; должно быть, надорвался, собачій сынъ!

Но тутъ раздались новые звуки, гораздо звончѣе. Казалось, множество колокольцевъ звенѣли безостановочно.

— А вотъ и горло!—сказалъ Перстень.—Вѣдь издали подумаешь и не́вѣсть что́, а они это горломъ выдѣлываютъ. Вишь ихъ разобрало, вражьихъ дѣтей!

Грустные, заунывные звуки смѣнялись веселыми, но то была не русская грусть и не русская удаль. Тутъ отражалось дикое величіе кочующаго племени, и попрыски табуновъ, и богатырскіе набѣги, и переходы народовъ изъ края въ край, и тоска по неизвѣстной, первобытной родинѣ.

— Князь,—сказалъ Перстень:—должно быть, близко станъ; я чаю, за этимъ пригоркомъ и огни будутъ видны. Дозволь, я

пойду, повысмотрю что̀ и какъ; мнѣ это дѣло обычное, довольно я ихъ за Волгой встрѣчалъ; а ты бы пока ребятамъ далъ вздохнуть да осмотрѣться.

— Ступай съ Богомъ,—сказалъ князь, и Перстень соскочилъ съ коня и исчезъ во мракѣ.

Разбойники оправились; осмотрѣли оружіе и сѣли на землю, не измѣняя боевого порядка. Глубокое молчаніе царствовало въ шайкѣ. Всѣ понимали важность начатаго дѣла и необходимость безусловнаго повиновенія. Между тѣмъ, звуки чебузги лились попрежнему, мѣсяцъ и звѣзды освѣщали поле, все было тихо и торжественно, и лишь изрѣдка легкое дуновеніе вѣтра волновало ковыль серебристыми струями.

Прошло около часа; Перстень не возвращался. Князь сталъ уже терять терпѣніе, но вдругъ шагахъ въ трехъ отъ него поднялся изъ травы человѣкъ. Никита Романовичъ схватился за саблю.

— Тише, князь, это я!—произнесъ Перстень, усмѣхаясь.— Вотъ такъ точно подползъ я и къ Татарамъ; все высмотрѣлъ; теперь знаю ихъ станъ не хуже своего куреня. Коли дозволишь, князь, я возьму десятокъ молодцовъ, пугну табунъ, да переполошу Татарву, а ты тѣмъ часомъ, коли разсудишь, ударь на нихъ съ двухъ сторонъ, да съ добрымъ крикомъ; такъ будь я Татаринъ, коли мы ихъ половины не перерѣжемъ! Это я такъ говорю, только для почину; ночное дѣло мастера боится; а взойдетъ солнышко, такъ ужъ тебѣ указывать, князь, а намъ только слушаться!

Серебряный зналъ находчивость и смѣтливость Перстня, и далъ ему дѣйствовать по его мысли.

— Ребятушки,— сказалъ Перстень разбойникамъ:—повздорили мы немного, да кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ! Есть ли промежъ васъ человѣкъ десять охотниковъ со мной вмѣстѣ къ стану идти?

— Выбирай кого знаешь,—отвѣчали разбойники:—мы всѣ готовы.

— Спасибо же вамъ, ребятушки; а коли ужъ вы меня ува-

жили, такъ я беру вотъ какихъ: ступай сюда, Поддубный, и ты, Хлопко, и ты, Дятелъ, и ты, Лѣсниковъ, и ты, Рѣшето, и Степка, и Мишка, и Шестоперъ, и Наковальня, и Саранча! А ты куда лѣзешь, Митька? Тебя я не звалъ; оставайся съ княземъ, ты къ нашему дѣлу не пригоденъ. Сымайте, ребята, сабли, съ ними ползти не ладно; будетъ съ насъ и ножей. Только, ребята, чуръ, слушать моего слова, безъ меня ни на шагъ! Пошли въ охотники, такъ ужъ что̀ укажу, то и дѣлать. Чуть кто-нибудь не такъ, я ему тутъ же и карачунъ!

— Добро, добро, — отвѣчали выбранные Перстнемъ:—какъ скажешь, такъ и сдѣлаемъ. Ужъ пошли на святое дѣло, небось, не повздоримъ.

— Видишь, князь, этотъ косогоръ?—продолжалъ атаманъ.—Какъ дойдешь до него, будутъ вамъ ихъ костры видны. А мой совѣтъ—ждать вамъ у косогора, пока не услышите моего визга. А какъ пугну табунъ, да послышится визгъ и крикъ, такъ вамъ и напускаться на нехристей; а имъ дѣться некуды; коней-то ужъ не будетъ; съ одной стороны мы, съ другой—пришла рѣчка съ болотомъ.

Князь обѣщался сдѣлать все по распоряженію Перстня.

Между тѣмъ, атаманъ съ десятью удальцами пошли на звукъ чебузги и вскорѣ пропали въ травѣ. Иной подумалъ бы, что они тутъ же и притаились; но зоркое око могло бы замѣтить колебаніе травы, независимое отъ вѣтра и не по его направленію.

Черезъ полчаса Перстень и его товарищи были уже близко къ татарскимъ кибиткамъ.

Лежа въ ковылѣ, Перстень приподнялъ голову.

Шаговъ пятьдесятъ передъ нимъ горѣлъ костеръ и озарялъ нѣсколько Башкирцевъ, сидѣвшихъ кружкомъ, съ поджатыми подъ себя ногами. Кто былъ въ пестромъ халатѣ, кто въ бараньемъ тулупѣ, а кто въ изодранномъ кафтанѣ изъ верблюжины. Воткнутыя въ землю копья торчали возлѣ нихъ и докидывали длинныя тѣни свои до самаго Перстня. Табунъ изъ нѣсколькихъ тысячъ лошадей, ввѣренный стражѣ Башкирцевъ,

пасся неподалеку густою кучей. Другіе костры, шагахъ во ста подалѣ, освѣщали безчисленныя войлочныя кибитки.

Не зорко смотрѣли Башкирцы за своимъ табуномъ. Прошли они отъ Волги до самой Рязани, не встрѣтивъ нигдѣ отпора; знали, что наши войска распущены, и не ожидали себѣ непріятеля; а отъ волковъ, думали, обережемся чебузгой да горломъ. И четверо изъ нихъ, уперевъ въ верхніе зубы концы длинныхъ репейныхъ дудокъ и набравъ въ широкія груди сколько могли вѣтру, дули, перебирая пальцами, пока хватало духа. Другіе подтягивали имъ горломъ, и огонь освѣщалъ ихъ скулистыя лица, побагровѣвшія отъ натуги.

Нѣсколько минутъ Перстень любовался этою картиной, раздумывая про себя: броситься ли ему тотчасъ съ ножомъ на Башкирцевъ и, не давъ имъ опомниться, перерѣзать всѣхъ до одного? или сперва разогнать лошадей, а потомъ уже начать рѣзать?

И то и другое его прельщало. «Вишь, какой табунъ,—думалъ онъ, притаивъ дыханье:—коли пугнуть его умѣючи, такъ онъ, съ напуску всѣ ихъ кибитки переломаетъ; такого задастъ переполоху, что они своихъ не узнаютъ. А и эти-то вражьи дѣти хорошо сидятъ, больно хорошо! Вишь, какъ наяриваютъ; можно къ нимъ на два шага подползти!»

И не захотѣлось атаману отказаться отъ кровавой потѣхи надъ Башкирцами.

— Рѣшето,—шепнулъ онъ, притаившемуся возлѣ него товарищу:—что, у тебя въ горлѣ не першитъ? Съумѣешь взвизгнуть?

— А ты-то что-жъ?—отвѣтилъ шопотомъ Рѣшето.

— Да какъ будто осипъ маненько.

— Пожалуй, я взвизгну. Пора, что-ли?

— Постой, рано. Заползи-ка вонъ оттоль какъ можно ближе къ табуну; ползи, пока не смѣтятъ тебя кони; а лишь начнутъ ушми прясти, ты и гикни, да пострашнѣе, да и гони ихъ прямо на кибитки!

Рѣшето кивнулъ головой и исчезъ въ ковылѣ.

— Ну, братцы, — шепнулъ Перстень остальнымъ товарищамъ:—ползите за мной подъ нехристей, только, чуръ, осторожно. Вишь, ихъ всего-то человѣкъ двадцать, а насъ девятеро; на каждаго изъ васъ будетъ по два, а я на себя четырехъ беру. Какъ послышите, что Рѣшето взвизгнулъ, такъ всѣмъ разомъ и загикать, да прямо на нихъ! Готовы, что̀-ли?

— Готовы!—отвѣчали шопотомъ разбойники.

Атаманъ перевелъ дыханіе, оправился и началъ потихоньку вытаскивать изъ-за пояса длинный ножъ свой.

ГЛАВА XXVI.

Побратимство.

Пока все это происходило у татарскаго стана, Серебряный, за полъ-версты оттуда, ожидалъ нетерпѣливо условленнаго знака.

— Князь,—сказалъ ему Максимъ, не отходившій все время отъ него:—не долго намъ ждать, скоро зачнется бой; какъ взойдетъ солнышко, такъ ужъ многихъ изъ насъ не будетъ въ живыхъ, а мнѣ бы хотѣлось попросить тебя...

— О чемъ, Максимъ Григорьичъ?

— Дѣло-то не трудное, да не знаю какъ тебѣ сказать, совѣстно мнѣ...

— Говори, Максимъ Григорьичъ, было бы вмоготу!

— Видишь ли, князь,—скажу тебѣ всю истину. Я ушелъ изъ Слободы тайно, противъ воли отца, безъ вѣдома матери. Не втерпежъ мнѣ стало служить въ опричникахъ; такая нашла тошнота, что хоть въ воду кинуться. Видишь ли, бояринъ, я одинъ сынъ у отца у матери, брата у меня никогда не бывало. Отъ Покрова пошелъ мнѣ девятнадцатый годъ, а повѣришь ли, до сей поры не съ кѣмъ было добрымъ словомъ перемолвиться. Живу промежъ нихъ одинъ одинёшенекъ, никто мнѣ не товарищъ, всѣ чужіе. Всякъ только и думаетъ, какъ бы другого извести, чтобы самому въ честь попасть. Что ни день, то пытки да казни. Изъ церкви, почитай, не выходятъ, а губятъ народъ

хуже станичниковъ. Было-бы имъ поболѣ казны да помѣстій, такъ по нихъ хоть вся Русь пропадай! Какъ царь ни грозенъ, а вѣдь и тотъ иногда слушаетъ истину; такъ у нихъ хоть бы у одного языкъ повернулся правду вымолвить! Всѣ такъ ему и поддакиваютъ, такъ и лѣзутъ выслужиться! Повѣришь ли, князь, какъ увидѣлъ тебя, на сердцѣ у меня повеселѣло, словно родного встрѣтилъ! Еще и не зналъ я, кто ты таковъ, а ужъ полюбился ты мнѣ, и очи у тебя не такъ глядятъ, какъ у нихъ, и рѣчь звучитъ иначе. Вотъ Годуновъ, пожалуй, и лучше другихъ, а все не то, что ты. Смотрѣлъ я на тебя, какъ ты безъ оружія супротивъ медвѣдя стоялъ, какъ Басмановъ, послѣ отравы того боярина, и тебѣ чашу съ виномъ поднесъ; какъ тебя на плаху вели; какъ ты съ станичниками сегодня говорилъ. Такъ меня и тянуло къ тебѣ, вотъ такъ бы и кинулся къ тебѣ на шею! Не дивись, князь, моей глупой рѣчи,—прибавилъ Максимъ, потупя очи:—я не набиваюсь къ тебѣ на дружбу, знаю, кто ты и кто я; только что-жъ мнѣ дѣлать, коли не могу словъ удержать, сами рвутся наружу, сердце къ тебѣ само такъ и мечется!

— Максимъ Григорьичъ, — сказалъ Серебряный, и крѣпко сжалъ его руку:—и ты полюбился мнѣ, какъ братъ родной!

— Спасибо, князь, спасибо тебѣ! А коли ужъ на то пошло, то дай мнѣ разомъ высказать, что у меня на душѣ. Ты, я вижу, не брезгаешь мной. Дозволь же мнѣ, князь, теперь передъ битвой, по древнему христіанскому обычаю, побрататься съ тобой! Вотъ и вся моя просьба; не возьми ее во гнѣвъ, князь. Если бы зналъ я навѣрно, что доведется намъ еще долгое время жить вмѣстѣ, я-бъ не просилъ тебя; я помнилъ бы, что тебѣ не пригоже быть моимъ названнымъ братомъ; а теперь...

— Полно Бога гнѣвить, Максимъ Григорьичъ! — прервалъ его Серебряный:—чѣмъ ты не братъ мнѣ? Знаю, что мой родъ честнѣе твоего, да то дѣло думное и разрядное; а здѣсь передъ Татарами, въ чистомъ полѣ, мы равны, Максимъ Григорьичъ, да вездѣ равны, гдѣ стоимъ предъ Богомъ, а не предъ людьми. Побратаемся, Максимъ Григорьичъ!

И князь снялъ съ себя крестъ-тѣльникъ, на узорной золотой цѣпи, и подалъ Максиму.

Максимъ также снялъ съ шеи крестъ, простой мѣдный, на шелковомъ гайтанѣ, поцѣловалъ его и перекрестился.

— Возьми его, Никита Романычъ; имъ благословила меня мать, когда мы еще жили бѣдными людьми, не вошли еще въ честь у Ивана Васильевича. Береги его, онъ мнѣ всего дороже.

Тогда оба еще разъ перекрестились и, помѣнявшись крестами, обняли другъ друга.

Максимъ просвѣтлѣлъ.

— Теперь,—сказалъ онъ радостно:—ты мнѣ братъ, Никита Романычъ! Что́ бы ни случилось, я съ тобой неразлученъ; кто тебѣ другъ, тотъ другъ и мнѣ; кто тебѣ врагъ, тотъ и мнѣ врагъ; буду любить твоею любовью, опаляться твоимъ гнѣвомъ, мыслить твоею мыслію! Теперь мнѣ и умирать веселѣе, и жить не горько: есть съ кѣмъ жить, за кого умереть!

— Максимъ,—сказалъ Серебряный, глубоко тронутый:—видитъ Богъ, и я тебѣ всею душой учинился братомъ; не хочу разлучаться съ тобою до скончанія живота!

— Спасибо, спасибо, Никита Романычъ, и не слѣдъ намъ разлучаться! Коли, дастъ Богъ, останемся живы, подумаемъ хорошенько, поищемъ вмѣстѣ, что́ бы намъ сдѣлать для родины, какую службу святой Руси сослужить? Быть того не можетъ, чтобы все на Руси пропало, чтобъ ужъ нельзя было и царю служить иначе, какъ въ опричникахъ!

Максимъ говорилъ съ непривычнымъ жаромъ, но вдругъ остановился и схватилъ Серебрянаго за руку.

Пронзительный визгъ раздался въ отдаленіи. Воздухъ какъ будто задрожалъ, земля затряслась; смутные крики, невнятный гулъ пронеслись отъ татарскаго стана, и нѣсколько коней, грива дыбомъ, проскакали мимо Серебрянаго и Максима.

— Пора!—сказалъ Серебряный, садясь въ сѣдло, и вынулъ саблю.—Чуръ, меня слушаться, ребята, не сбиваться въ кучу, не разсыпаться врозь, каждый знай свое мѣсто! Съ Богомъ за мной!

Разбойники вспрянули съ земли.

— Пора, пора!—раздалось во всѣхъ рядахъ:—слушаться князя!

И вся толпа двинулась за Серебрянымъ и перевалилась черезъ холмъ, заграждавшій имъ дотолѣ непріятельскіе костры.

Тогда новое неожиданное зрѣлище поразило ихъ очи.

Справа отъ татарскаго стана змѣился по степи огонь, и неправильные узоры его, постепенно расширяясь и сливаясь вмѣстѣ, ползли все ближе и ближе къ стану.

— Ай-да Перстень!—вскричали разбойники:—ай-да наши! Вишь, зажгли степь, пустили огонь по вѣтру, прямо на бусурмановъ!

Пожаръ росъ съ неимовѣрною быстротой; вся степь по правую сторону стана обратилась въ огненное море, и вскорѣ волны его охватили крайнія кибитки и озарили станъ, похожій на встревоженный муравейникъ.

Татары, спасаясь отъ огня, бѣжали въ безпорядкѣ навстрѣчу разбойникамъ.

— На нихъ, ребята!—загремѣлъ Серебряный:—топчите ихъ въ воду, гоните въ огонь!

Дружный крикъ отвѣчалъ князю, разбойники бросились на Татаръ, и закипѣла рѣзня . . . . . .

. . . . . .

Когда солнце взошло, бой еще продолжался, но поле было усѣяно убитыми Татарами.

Тѣснимые съ одной стороны пожаромъ, съ другой—дружиной Серебрянаго, враги не успѣли опомниться и кинулись къ топкимъ берегамъ рѣчки, гдѣ многіе утонули. Другіе погибли въ огнѣ или задохлись въ дыму. Испуганные табуны съ самаго начала бросились на станъ, переломали кибитки и привели Татаръ въ такое смятеніе, что они давили другъ друга и рѣзались между собою, думая отбивать непріятеля. Одна часть успѣла прорваться черезъ огонь и разсѣялась въ безпорядкѣ по степи. Другая, собранная съ трудомъ самимъ ширинскимъ мурзою Шихматомъ, переплыла черезъ рѣчку и построилась на другомъ бе-

регу. Тысячи стрѣлъ сыпались оттуда на торжествующихъ Русскихъ. Разбойники, не имѣя другого оружія, кромѣ рукопашнаго, и видя стрѣляющихъ враговъ, защищенныхъ топкою рѣчкой, не выдержали и смѣшались.

Напрасно Серебряный просьбами и угрозами старался удержать ихъ. Уже отряды Татаръ начали, подъ прикрытіемъ стрѣлъ, обратно переплывать рѣчку, грозя ударить Серебряному въ тылъ, какъ Перстень явился внезапно возлѣ князя. Смуглое лицо его разгорѣлось, рубаха была изодрана, съ ножа капала кровь.

— Стойте, други! стойте, ясные соколы!—закричалъ онъ на разбойниковъ:—аль глаза вамъ запорошило? Аль не видите, къ намъ подмога идетъ?

Въ самомъ дѣлѣ, на противоположномъ берегу подвигалась рать въ боевомъ порядкѣ; ея копья и бердыши сверкали въ лучахъ восходящаго солнца.

— Да это тѣ же Татары!—сказалъ кто-то.

— Самъ ты Татаринъ!—возразилъ Перстень, негодуя.—Развѣ такъ идетъ орда? Развѣ бываетъ, чтобъ Татары шли пѣшіе? А этого не видишь впереди на сѣромъ конѣ? Развѣ на немъ татарская бронь?

— Православные идутъ!—раздалось между разбойниками:—стойте, братцы, православные къ намъ на помощь идутъ!

— Видишь, князь,—сказалъ Перстень:—они, вражьи дѣти, и стрѣляютъ-то ужъ не такъ густо, значитъ, смекнули въ чемъ дѣло! А какъ схватится съ ними та дружина, я покажу тебѣ бродъ, перейдемъ да ударимъ на нихъ сбоку!

Новая рать подвигалась все ближе, и уже можно было распознать ея вооруженіе и одежду, почти столь же разнообразную, какъ и на разбойникахъ. Надъ головами ратниковъ болтались цѣпы, торчали косы и рогатины. Они казались наскоро вооруженными крестьянами, и только на передовыхъ были одноцвѣтные кафтаны, а въ рукахъ ихъ свѣтились бердыши и копья. Тутъ же ѣхало человѣкъ сто вершниковъ, также въ одноцвѣтныхъ кафтанахъ. Предводитель этой дружины былъ стройный

молодой человѣкъ. Изъ-подъ сверкающаго шлема висѣли у него длинные русые волосы. Онъ ловко управлялъ конемъ, и конь, серебристо-сѣрой масти, то взвивался на дыбы, то шелъ, красуясь, ровнымъ шагомъ и ржалъ навстрѣчу непріятелю.

Туча стрѣлъ встрѣтила вождя и дружину.

Между тѣмъ, Никита Романовичъ вмѣстѣ съ своими перешелъ рѣчку вбродъ и врѣзался въ толпу враговъ, на которыхъ, въ то же время, наперла съ другой стороны вновь пришедшая подмога.

Уже съ часъ кипѣла битва.

Серебряный на мгновеніе отъѣхалъ къ рѣчкѣ напоить коня и перетянуть подпруги. Максимъ увидѣлъ его и подскакалъ къ нему.

— Ну, Никита Романычъ, — сказалъ онъ весело: — видно, Богъ стоитъ за святую Русь. Смотри, коли наша не возьметъ!

— Да, — отвѣтилъ Серебряный: — спасибо вонъ тому боярину, что̀ подоспѣлъ къ намъ на прибавку. Вишь, какъ рубитъ вправо и влѣво! Кто онъ таковъ? Я какъ будто видалъ его гдѣ-то?

— Какъ, Никита Романычъ, ты не призналъ его?

— А ты его развѣ знаешь?

— Мнѣ-то какъ не знать его, Богъ съ нимъ! Много грѣховъ отпустится ему за нынѣшній день. Да вѣдь и ты знаешь его, Никита Романычъ. Это Ѳедька Басмановъ.

— Басмановъ? Этотъ! Неужто онъ?

— Онъ самый, и на себя непохожъ сталъ. Бывало и подумать соромно, въ лѣтникѣ, словно дѣвушка, плясывалъ; а теперь, видно, разобрало его: поднялъ крестьянъ и дворовыхъ и напалъ на Татаръ; должно быть, и въ немъ русскій духъ заговорилъ. А сила-то откуда взялась, подумаешь! Да какъ и не перемѣниться въ этакій день,—продолжалъ Максимъ съ одушевленіемъ, и глаза его блистали радостью.—Повѣришь ли, Никита Романычъ, я самъ себя не узнаю. Когда ушелъ я изъ Слободы, все казалось, что не долго уже доводится жить на свѣтѣ. Тянуло помѣряться съ нехристями, только не съ тѣмъ,

чтобы побить ихъ; на то, думалъ, найдутся лучше меня; а съ тѣмъ, чтобы сложить голову на татарскую саблю. А теперь не то; теперь мнѣ хочется жить! Слышишь, Никита Романычъ, когда вѣтеръ относитъ бранный гулъ, какъ въ небѣ жаворонки звенятъ? Вотъ также весело звенитъ и у меня на сердцѣ! Такая чуется сила и охота, что цѣлый вѣкъ показался бы коротокъ. И чего не передумалъ я съ тѣхъ поръ, какъ заря занялась! Такъ стало мнѣ ясно, такъ понятно, сколько добра еще можно сдѣлать на родинѣ! Тебя царь помилуетъ! быть того не можетъ, чтобъ не помиловалъ. Пожалуй, еще и полюбитъ тебя. А ты возьми меня къ себѣ; давай вмѣстѣ думать и дѣлать, какъ Адашевъ съ Сильвестромъ. Все, все разскажу тебѣ, что у меня на мысли, а теперь прости, Никита Романычъ, пора опять туда; кажись, Басманова окружили. Хоть онъ и худой человѣкъ, а надо выручить!

Серебряный посмотрѣлъ на Максима почти отеческимъ взоромъ.

— Побереги себя, Максимъ,—сказалъ онъ:—не мечись въ сѣчу даромъ; смотри, ты и такъ ужъ въ крови!

— То, должно быть, вражья кровь,—отвѣтилъ Максимъ, весело посмотрѣвъ на свою рубаху:—а на мнѣ и царапины нѣтъ; твой крестъ соблюлъ меня!

Въ это время притаившійся въ камышахъ Татаринъ выползъ на берегъ, натянулъ лукъ и пустилъ стрѣлу въ Максима.

Зазвенѣлъ тугой татарскій лукъ, спѣла тетива, провизжала стрѣла, угодила Максиму въ бѣлу грудь, угодила, каленая, подъ самое сердце. Закачался Максимъ на сѣдлѣ, ухватился за конскую гриву; не хочется пасть добру молодцу, но доспѣлъ ему часъ, на роду написанный, и свалился онъ на сыру-землю, зацѣпя стремя ногою. Поволокъ его конь по чисту полю, и летитъ Максимъ, лежа навзничь, раскидавъ бѣлыя руки, и метутъ его кудри мать сыру-землю, и бѣжитъ за нимъ по́ полю кровавый слѣдъ.

Придетъ въ Слободу вѣсть недобрая, разрыдается мать Максимова, что не стало ей на поминъ души поминщика, и не-

кому ея старыхъ очей закрыть. Разрыдается слезами горючими: не воротить своего дѣтища!

Придетъ въ Слободу вѣсть недобрая, закрежещетъ Малюта зубами, налетитъ на плѣнныхъ Татаръ, насѣчетъ въ тюрьмахъ копны головъ и упьется кровью до жадной души: не воротить своего дѣтища!

Забылъ Серебряный и битву, и Татаръ; не видитъ онъ, какъ Басмановъ гонитъ нехристей, какъ Перстень съ разбойниками перенимаютъ бѣгущихъ, видитъ только, что конь волочитъ по́ полю его названнаго брата. И вскочилъ Серебряный въ сѣдло, поскакалъ за конемъ и, поймавъ его за узду, спрянулъ на землю и высвободилъ Максима изъ стремени.

— Максимъ, Максимъ! — сказалъ онъ, ставъ на колѣни и приподымая его голову: — живъ ли ты, названный братъ мой? Открой очи, дай мнѣ отповѣдь!

И Максимъ открылъ туманныя очи, и протянулъ къ нему руки.

— Прости, названный братъ мой! Не довелось пожить намъ вмѣстѣ. Сдѣлай же одинъ, что́ хотѣли мы вдвоемъ сдѣлать!

— Максимъ,—сказалъ Серебряный, прижимая губы къ горячему челу умирающаго:—не заповѣдаешь ли мнѣ чего?

— Отвези матери послѣдній поклонъ мой, скажи ей, что я умеръ, ее поминая...

— Скажу, Максимъ, скажу, — отвѣтилъ Серебряный, едва удерживаясь отъ слезъ.

— А крестъ, — продолжалъ Максимъ: — тотъ, что́ на мнѣ, отдай ей... а мой носи на память о братѣ твоемъ...

— Братъ мой,—сказалъ Серебряный:—нѣтъ ли еще чего на душѣ у тебя? Нѣтъ ли какой зазнобы въ сердцѣ? Не стыдись, Максимъ, кого еще жаль тебѣ, кромѣ матери?

— Жаль мнѣ родины моей, жаль святой Руси! Любилъ я ее не хуже матери, а другой зазнобы не было у меня!

Максимъ закрылъ глаза. Лицо его горѣло, дыханіе дѣлалось чаще.

Черезъ нѣсколько мгновеній онъ опять взглянулъ на Серебрянаго.

— Братъ,—сказалъ онъ:—кабы мнѣ напиться воды, да постуденѣе!

Рѣка была недалеко; князь всталъ, зачерпнулъ въ шлемъ воды и подалъ Максиму.

— Теперь какъ будто полегчало,—сказалъ умирающій:—приподыми меня, помоги перекреститься!

Князь приподнялъ Максима. Онъ повелъ кругомъ угасающимъ взоромъ, увидѣлъ бѣгущихъ Татаръ и улыбнулся.

— Я говорилъ, Никита Романычъ, что Богъ стоитъ за насъ... смотри, какъ они разсыпались... а у меня ужъ и въ глазахъ темнѣетъ... охъ, не хотѣлось бы умереть теперь!..

Кровь хлынула изъ устъ его.

— Господи, прими мою душу!—проговорилъ Максимъ и упалъ мертвый.

ГЛАВА XXVII.

Басмановъ.

Люди Басманова и разбойники окружили Серебрянаго.

Татары были разбиты на-голову, многіе отдались въ плѣнъ, другіе бѣжали. Максиму вырыли могилу и похоронили его честно. Между тѣмъ, Басмановъ велѣлъ раскинуть на берегу рѣчки свой персидскій шатеръ, а дворецкій его, одинъ изъ начальныхъ людей рати, доложилъ Серебряному, что бояринъ бьетъ ему челомъ, проситъ не побрезгать походнымъ обѣдомъ.

Лежа на шелковыхъ подушкахъ, Басмановъ, уже расчесанный и надушенный, смотрѣлся въ зеркало, которое держалъ передъ нимъ молодой стремянный, стоя на колѣняхъ. Видъ Басманова являлъ странную смѣсь лукавства, надменности, изнѣженнаго разврата и безпечной удали; и сквозь эту смѣсь проглядывало то недоброжелательство, которое никогда не покидало опричника при видѣ земскаго. Предполагая, что Серебряный

долженъ презирать его, онъ, даже исполняя долгъ гостепріимства, придумывалъ заранѣ, какъ бы отомстить гостю, если тотъ неравно выкажетъ свое презрѣніе. При входѣ Серебрянаго, Басмановъ привѣтствовалъ его наклоненіемъ головы, но не тронулся съ мѣста.

— Ты раненъ, Ѳедоръ Алексѣичъ? — спросилъ Серебряный простодушно.

— Нѣтъ, не раненъ, — сказалъ Басмановъ, принимая эти слова за насмѣшку и рѣшившись встрѣтить ее безстыдствомъ:— нѣтъ, не раненъ, а только уморился немного, да вотъ лицо какъ будто загорѣло. Какъ ты думаешь, князь,—прибавилъ онъ, продолжая смотрѣться въ зеркало и поправляя свои жемчужныя серьги,—какъ думаешь, скоро сойдетъ загаръ?

Серебряный, не зналъ, что̀ и отвѣчать.

— Жаль,—продолжалъ Басмановъ:—сегодня не поспѣемъ въ баню; до вотчины моей будетъ верстъ тридцать, а завтра, князь, милости просимъ, угощу тебя лучше теперешняго, увидишь мои хороводы: дѣвки всѣ на подборъ, а парни—старшему двадцати не будетъ.

Говоря это, Басмановъ сильно картавилъ.

— Спасибо, бояринъ, я спѣшу въ Слободу,—отвѣчалъ сухо Серебряный.

— Въ Слободу? Да вѣдь ты никакъ изъ тюрьмы убѣжалъ?

— Не убѣжалъ, Ѳедоръ Алексѣичъ, а увели меня насильно. Давши слово царю, я самъ бы не ушелъ, и теперь опять отдаюсь на его волю.

— Тебѣ, стало, хочется на висѣлицу? Вольному воля, спасенному рай! А я ужъ не знаю, вернуться ли мнѣ?

— Что̀ такъ, Ѳедоръ Алексѣичъ?

— Да что̀,—сказалъ Басмановъ, предаваясь досадѣ или, можетъ быть, желая только внушить Серебряному довѣріе:—служишь царю всею правдой, отдаешь ему и душу и плоть, а онъ, того и смотри, посадитъ тебѣ какого-нибудь Годунова на̀ голову!

— Да тебя-то, кажется, жалуетъ царь.

— Жалуетъ! До сей поры и окольничимъ сдѣлать не хочетъ. А ужъ, кажется, я ли ему не холопъ. Небось Годуновъ не по-моему служитъ. Этотъ бережетъ себя, какъ бы земскіе про него худо не подумали.—Эй, Борисъ, ступай въ застѣнокъ, боярина допрашивать! — Иду, государь, только, какъ бы онъ не провелъ меня, я къ этому дѣлу не привыченъ, прикажи Григорью Лукьянычу со мной идти!—Эй, Борисъ, вонъ за тѣмъ столомъ земскій бояринъ мало пьетъ, поднеси ему вина, разумѣешь? — Разумѣю, государь, да только онъ на меня подозрѣніе держитъ, ты бы лучше Ѳедьку Басманова послалъ! — А Ѳедька не отговаривается, куда пошлютъ, туда и идетъ. Поведи лишь царь очами, брата родного отравилъ бы, и не спросилъ бы, за что. Помнишь, какъ я тебѣ за столомъ чашу отъ Ивана Васильича-то поднесъ? Вѣдь я думалъ, она съ ядомъ, ей-Богу думалъ!

Серебряный усмѣхнулся.

— А гдѣ ему, — продолжалъ Басмановъ, какъ бы подстрекаемый къ большей наглости: — гдѣ ему найти слугу краше меня? Видалъ ли ты такія брови, какъ у меня? Чѣмъ эти брови не собольи? А волосы-то? Тронь, князь, пощупай, вѣдь шолкъ, право-ну шолкъ!

Отвращеніе выразилось на лицѣ Серебрянаго. Басмановъ это замѣтилъ и продолжалъ, какъ будто желая поддразнить своего гостя:

— А руки-то мои, посмотри, князь, чѣмъ онѣ не дѣвичьи? Только вотъ сегодня намозолилъ маленько. Такой ужъ у меня нравъ, ни въ чемъ себя не жалѣю!

— И подлинно не жалѣешь,—сказалъ Серебряный, не въ силахъ болѣе сдержать своего негодованія: — коли все то правда, что про тебя говорятъ...

— А что же про меня говорятъ? — подхватилъ Басмановъ, лукаво прищурясь.

— Да ужъ и того бы довольно, что ты самъ разсказываешь; а то говорятъ про тебя, что ты передъ царемъ, прости Господи, какъ дѣвушка, въ лѣтникѣ пляшешь!

Краска бросилась въ лицо Басманова, но онъ призвалъ на помощь свое обычное безстыдство.

— А что-жъ,—сказалъ онъ, принимая безпечный видъ:—если и въ самомъ дѣлѣ пляшу?

— Тогда прости,—сказалъ Серебряный:—мнѣ не только съ тобой обѣдать, но и смотрѣть на тебя соромно!

— Ага! — вскричалъ Басмановъ, и поддѣльная безпечность его исчезла, и глаза засверкали, и онъ уже забылъ картавить.— Ага! выговорилъ наконецъ! Я знаю, что́ вы всѣ про меня думаете! Да мнѣ, вотъ видишь ли на всѣхъ васъ наплевать!

Брови Серебрянаго сдвинулись, и рука опустилась-было на крыжъ его сабли, но онъ вспомнилъ, съ кѣмъ говоритъ, и только пожалъ плечами.

— Да что ты за саблю то хватаешься?—продолжалъ Басмановъ.—Меня этимъ не испугаешь. Какъ самъ примусь за саблю, такъ еще посмотримъ, чья возьметъ!

— Прости!—сказалъ Серебряный и приподнялъ завѣсу шатра, чтобы выйти.

— Слушай!—вскричалъ Басмановъ, хватая его за полу кафтана: — кабы на меня кто другой такъ посмотрѣлъ, я, видитъ Богъ, не спустилъ бы ему, но съ тобой ссориться не хочу! больно хорошо Татаръ рубишь!

— Да и ты, — сказалъ добродушно Серебряный, останавливаясь у входа и вспомнивъ, какъ дрался Басмановъ,—да и ты не хуже меня рубилъ ихъ. Что-жь ты опять вздумалъ ломаться, словно баба какая!

Лицо Басманова опять сдѣлалось безпечно.

— Ну, не сердись, князь! Я вѣдь не всегда таковъ былъ; а въ Слободѣ, самъ знаешь, поневолѣ всему научишься!

— Грѣшно, Ѳедоръ Алексѣичъ! Когда сидишь ты на конѣ, съ саблей въ рукѣ, сердце, глядя на тебя, радуется. И доблесть свою ты показалъ сегодня, любо смотрѣть было. Брось же свой бабій обычай, остриги волосы, какъ Богъ велитъ, сходи на покаяніе въ Кіевъ, или въ Соловки, да и вернись на Москву христіаниномъ.

— Ну, не сердись, не сердись, Никита Романычъ! Сядь сюда, пообѣдай со мной, вѣдь я не песъ же какой, есть и хуже меня, да и не все правда, что̀ про меня говорятъ; не всякому слуху вѣрь. Я и самъ иногда съ досады на себя наклеплю.

Серебряный обрадовался, что можетъ объяснить поведеніе Басманова въ лучшую сторону.

— Такъ это неправда, — поспѣшилъ онъ спросить:—что ты въ лѣтникѣ плясалъ?

— Эхъ, дался тебѣ этотъ лѣтникъ! Развѣ я по своей охотѣ его надѣваю? Иль ты не знаешь царя? Да и что̀ мнѣ, въ святые себя прочить, что ли? Ужъ и такъ въ Слободѣ пощусь ему въ угожденіе; ни одной заутрени не проспалъ; каждую середу и пятницу по сту земныхъ поклоновъ кладу; какъ еще лба не расшибъ! Кабы тебѣ пришлось по цѣлымъ недѣлямъ въ стихарѣ ходить, небось, и ты-бъ для перемѣны лѣтникъ надѣлъ!

— Скорѣй пошелъ бы на плаху!—сказалъ Серебряный.

— Ой-ли? — произнесъ насмѣшливо Басмановъ, и, бросивъ злобный взглядъ на князя, онъ продолжалъ съ видомъ довѣрчивости: — А ты думаешь, Никита Романычъ, мнѣ весело, что по царской милости меня уже не Ѳедоромъ, а Ѳедо̀рой величаютъ? И еще бы какая прибыль была мнѣ отъ этого! А то вся прибыль ему, а мнѣ одинъ соромъ! Вотъ хоть намедни, ѣду вспольемъ мимо Дорогомиловской слободы, анъ мужичье-то пальцами на меня показываютъ, а кто-то еще закричи изъ толпы: «Эвотъ царская Ѳедора ѣдетъ!» Я было напустился на нихъ, да разбѣжались. Прихожу къ царю, говорю: такъ и такъ, не вели, говорю, Дорогомиловцамъ холопа твоего корить, вотъ ужъ одинъ меня Ѳедо̀рой назвалъ. «А кто назвалъ?»—Да кабы зналъ кто, не пришелъ бы докучать тебѣ, самъ бы зарѣзалъ его. «Ну, говоритъ, возьми изъ моихъ кладовыхъ сорокъ соболей на душегрѣйку». — А на что̀ мнѣ она! Небось, ты не надѣнешь душегрѣйки на Годунова, а я чѣмъ хуже его? «Да что же тебѣ, Ѳедя, пожаловать?» — А пожалуй меня окольничимъ,

чтобъ люди въ глаза не корили! «Нѣтъ, говоритъ, окольничимъ тебѣ не бывать; ты мнѣ потѣшникъ, а Годуновъ совѣтникъ; тебѣ казна, а ему почетъ. А что Дорогомиловцы тебя Ѳедо̀рой назвали, такъ отписать за то всю Дорогомиловщину на мой царскій обиходъ!» Вотъ тебѣ и потѣшникъ! Да съ тѣхъ поръ какъ бросили Москву, и потѣхи-то не было. Все постились, да Богу молились. Со скуки ужъ въ вотчину отпросился, да и тамъ надоѣло. Не вѣкъ же зайцевъ да перепеловъ травить! Поневолѣ обрадовался, какъ вѣсть про Татаръ пришла. А вѣдь хорошо мы ихъ отколотили, ей-Богу хорошо! Довольно и полону пригонимъ къ Москвѣ! Да, я было и забылъ про полонъ! Стрѣляешь ты изъ лука, князь?

— А что̀?

— Да такъ. Послѣ обѣда привяжемъ Татарина шагахъ во ста: кто первый въ сердце попадетъ. А что̀ не въ сердце, то не въ почетъ. Околѣетъ, другого привяжемъ.

Открытое лицо Серебрянаго омрачилось.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ:—я въ связанныхъ не стрѣляю.

— Ну, такъ велимъ ему бѣжать: кто первый на бѣгу свалитъ.

— И того не стану, да и тебѣ не дамъ! Здѣсь, слава Богу, не Александрова Слобода!

— Не дашь?—вскричалъ Басмановъ, и глаза его снова загорѣлись, но, вѣроятно, не вошло въ его разсчетъ ссориться съ княземъ и, внезапно перемѣнивъ пріемы, онъ сказалъ ему весело:—Эхъ, князь! Развѣ не видишь, я шучу съ тобой! И про лѣтникъ ты повѣрилъ! Вотъ ужъ полчаса я потѣшаюсь, а ты, что̀ ни скажу, все за правду принимаешь! Да мнѣ хуже, чѣмъ тебѣ, слободской обычай постылъ! Развѣ ты думаешь, я лажу съ Грязнымъ, али съ Вяземскимъ, али съ Малютой? Вотъ-те Христосъ, они у меня какъ бѣльмо на глазу! Слушай, князь,—продолжалъ онъ вкрадчиво:—знаешь ли что̀! Дай мнѣ первому въ Слободу вернуться, я тебѣ выпрошу прощеніе у царя, а какъ войдешь опять въ милость, тогда ужъ и ты сослужи мнѣ службу. Стоитъ только шепнуть сперва царю про Вязем-

скаго, а тамъ про Малюту, а тамъ и про другихъ, такъ посмотри, коли мы съ тобой не останемся самъ-другъ у него въ приближеніи. А я ужъ знаю, что̀ ему про кого сказать, да только лучше, чтобъ онъ со стороны услышалъ. Я тебѣ научу, какъ говорить, ты мнѣ спасибо скажешь!

Странно сдѣлалось Серебряному въ присутствіи Басманова. Храбрость этого человѣка и полувысказанное сожалѣніе о своей постыдной жизни располагали къ нему Никиту Романовича. Онъ даже готовъ былъ подумать, что Басмановъ въ самомъ дѣлѣ передъ этимъ шутилъ, или съ досады клепалъ на себя, но послѣднее предложеніе его, сдѣланное, очевидно, не въ шутку, возбудило въ Серебряномъ прежнее отвращеніе.

— Ну,—сказалъ Басмановъ, нагло смотря ему въ глаза:— пополамъ, что-ли, царскую милость? Что-жъ ты молчишь, князь? Аль не вѣришь мнѣ?

— Ѳедоръ Алексѣичъ,—сказалъ Серебряный, стараясь умѣрить свое негодованіе и быть повѣжливѣе къ угощавшему его хозяину,—Ѳедоръ Алексѣичъ, вѣдь то, что̀ ты затѣялъ, оно... какъ бы тебѣ сказать? вѣдь это...

— Что̀?—спросилъ Басмановъ.

— Вѣдь это скаредное дѣло!—выговорилъ Серебряный и подумалъ, что, смягчивъ голосъ, онъ скрасилъ свое выраженіе.

— Скаредное дѣло!—повторилъ Басмановъ, перемогая злобу и скрывая ее подъ видомъ удивленія:—да ты забылъ, про кого я тебѣ говорю? Развѣ ты мыслишь къ Вяземскому, или къ Малютѣ?

— Громъ Божій на нихъ и на всю опричнину!—сказалъ Серебряный.—Пусть только царь дастъ мнѣ говорить, я при нихъ открыто скажу все, что̀ думаю и что́ знаю, но шептать не стану ему ни про кого, а кольми паче съ твоихъ словъ, Ѳедоръ Алексѣичъ!

Ядовитый взглядъ блеснулъ изъ-подъ рѣсницъ Басманова.

— Такъ ты не хочешь, чтобъ я съ тобою царскою милостью подѣлился?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Серебряный.

Басмановъ повѣсилъ голову, схватился за нее обѣими руками и сталъ перекачиваться со стороны на сторону.

— Охъ, сирота, сирота я! — заговорилъ онъ нараспѣвъ, будто бы плача:—сирота я горькая, горемычная! Съ тѣхъ поръ какъ разлюбилъ меня царь, всякъ только и норовитъ, какъ бы обидѣть меня! Никто не приласкаетъ, никто не приголубитъ, всѣ такъ на меня и плюютъ! Ой, житье мое, житье нерадостное! Надоѣло ты мнѣ, собачье житье! Захлесну поясокъ за перекладину, продѣну въ петельку головушку безталанную!

Серебряный съ удивленіемъ смотрѣлъ на Басманова, который продолжалъ голосить и причитывать, какъ бы на похоронахъ, и только иногда, украдкой, вскидывалъ исподлобья свой наглый взоръ на князя, какъ бы желая уловить его впечатлѣніе.

— Тьфу! — сказалъ наконецъ Серебряный и хотѣлъ-было выйти, но Басмановъ опять поймалъ его за полу.

— Эй!—закричалъ онъ:—пѣсенниковъ!

Вошло нѣсколько человѣкъ, вѣроятно, ожидавшихъ снаружи. Они загородили выходъ Серебряному.

— Братцы,—началъ Басмановъ прежнимъ плаксивымъ голосомъ:—затяните-ка пѣсенку, да пожалобнѣе, затяните такую, чтобы душа моя встосковалась, надорвалась да и разлучилась бы съ тѣломъ!

Пѣсенники затянули длинную заунывную пѣсню, въ родѣ похоронной, въ продолженіе которой Басмановъ все переваливался со стороны на сторону и приговаривалъ:

— Протяжнѣе, протяжнѣе! Еще протяжнѣе, други! Отпѣвайте своего боярина, отпѣвайте! Вотъ такъ! Вотъ хорошо! Да что-жъ душа не хочетъ изъ тѣла вонъ? иль не насталъ еще часъ ея? Или написано мнѣ еще на свѣтѣ помаяться? А коли написано, такъ надо маяться! А коли сказано жить, такъ надо жить! Плясовую!—крикнулъ онъ вдругъ, безъ всякаго перехода, и пѣсенники, привыкшіе къ такимъ перемѣнамъ, грянули плясовую.

— Живѣй!—кричалъ Басмановъ и, схвативъ двѣ серебря-

ныя стопы, началъ стучать ими одна о другую.—Живѣй, соколы! Живѣй, бѣсовы дѣти! Я васъ, разбойники!

Вся наружность Басманова измѣнилась. Ничего женоподобнаго не осталось на лицѣ его. Серебряный узналъ того удальца, который утромъ бросался въ самую сѣчу и гналъ передъ собою толпы татаръ.

— Вотъ этакъ-то получше!—проговорилъ князь, одобрительно кивнувъ головой.

Басмановъ весело на него взглянулъ.

— А вѣдь ты опять повѣрилъ мнѣ, князь! Ты подумалъ, я и вправду расхныкался! Эхъ, Никита Романычъ, легко-жъ тебя провести! Ну, выпьемъ же теперь про наше знакомство. Коли поживемъ вмѣстѣ, увидишь, что я не такой, какъ ты думалъ!

Безпечный разгулъ и бѣшеное веселье подѣйствовали на Серебрянаго. Онъ принялъ кубокъ изъ рукъ Басманова.

— Кто тебя разберетъ, Ѳедоръ Алексѣичъ! Я никогда такихъ не видывалъ. Можетъ, и вправду ты лучше, чѣмъ кажешься. Не знаю, что́ про тебя и думать; но Богъ свелъ насъ на ратномъ полѣ, а потому: во здравіе твое!

И онъ осушилъ кубокъ до дна.

— Такъ, князь! Такъ, душа моя! Видитъ Богъ, я люблю тебя! Еще одну стопу на погибель всѣхъ Татаръ, что̀ остались на Руси!

Серебряный былъ крѣпокъ къ вину, но послѣ второй стопы мысли его стали путаться. Напитокъ ли былъ хмельнѣе обыкновеннаго, или подмѣшалъ туда что-нибудь Басмановъ, но у князя голова заходила кругомъ; заходила кругомъ и ничего не стало видно Никитѣ Романовичу; слышалась только бѣшеная пѣсня съ присвистомъ и топаніемъ, да голосъ Басманова:

— Живѣй, ребята! Во снѣ, что-ли, поете? Кого хороните, воры!

Когда Серебряный пришелъ въ себя, пѣніе еще продолжалось, но онъ уже не стоялъ, а полусидѣлъ, полулежалъ на

персидскихъ подушкахъ. Басмановъ старался, съ помощью стремяннаго, напялить на него женскій лѣтникъ.

— Надѣвай же свой опашень, бояринъ,—говорилъ онъ:—на дворѣ уже сырѣть начинаетъ!

Пѣсенники въ это время, окончивъ колѣно, переводили духъ.

Въ глазахъ Серебрянаго еще рябило, мысли его еще не совсѣмъ прояснились, и онъ готовъ былъ вздѣть лѣтникъ, принимая его за опашень, какъ среди наставшей тишины послышалось протяжное завыванье.

— Это что?—спросилъ гнѣвно Басмановъ.

— На Скуратова могилѣ песъ воетъ!—отвѣтилъ стремянный, выглянувъ изъ шатра.

— Подайте сюда лукъ да стрѣлу, я научу его выть, когда мы съ гостемъ веселимся.

Но при имени Скуратова Серебряный совершенно отрезвился.

— Постой, Ѳедоръ Алексѣичъ,—сказалъ онъ, вставая:—это Максимовъ Буянъ, не тронь его. Онъ зоветъ меня на могилу моего названнаго брата; не въ мѣру я съ тобой загулялся: прости, пора мнѣ въ путь!

— Да надѣнь же сперва опашень, князь.

— Не на меня шитъ, — сказалъ Серебряный, распознавая лѣтникъ, который протягивалъ ему Басмановъ:—носи его самъ, какъ доселѣ нашивалъ.

И, не дожидаясь отвѣта, онъ плюнулъ и вышелъ изъ шатра.

За нимъ посыпались проклятія, ругательства и богохульства Басманова; но, не обращая на нихъ вниманія, онъ подошелъ къ могилѣ Максима, положилъ поклонъ своему названному брату и, сопровождаемый Буяномъ, присоединился къ разбойникамъ, которые, подъ начальствомъ Перстня, уже расположились на отдыхъ вокругъ пылающихъ костровъ.

ГЛАВА XXVIII.

Разставаніе.

Едва занялась заря, какъ ужъ Перстень поднялъ шайку.

— Ребятушки! — сказалъ онъ разбойникамъ, когда они собрались вокругъ него и Серебрянаго. — Насталъ мнѣ часъ разстаться съ вами. Простите, ребятушки! Иду опять на Волгу. Не поминайте меня лихомъ, коли я въ чемъ согрубилъ передъ вами.

И Перстень поклонился въ поясъ разбойникамъ.

— Атаманъ! — заговорила въ одинъ голосъ вольница: — не оставляй насъ! Куда мы пойдемъ безъ тебя?

— Идите съ княземъ, ребятушки. Вы вашимъ вчерашнимъ дѣломъ заслужили вины свои, можете опять учиниться, чѣмъ прежде были; а князь не оставитъ васъ.

— Добрые молодцы, — сказалъ Серебряный: — я далъ царю слово, что не буду уходить отъ суда его. Вы знаете, что я изъ тюрьмы не по своей волѣ ушелъ. Теперь долженъ я сдержать мое слово, понести царю мою голову. Хотите-ль идти со мною?

— А проститъ ли онъ насъ?—спросили разбойники.

— Это въ Божьей волѣ, не хочу васъ обманывать. Можетъ, проститъ, а можетъ и нѣтъ. Подумайте, потолкуйте межъ собою да и скажите мнѣ, кто идетъ и кто остается.

Разбойники переглянулись, отошли въ сторону и начали вполголоса совѣтоваться. Черезъ нѣсколько времени они вернулись къ Серебряному.

— Идемъ съ тобой, коли атаманъ идетъ!

— Нѣтъ, ребятушки,—сказалъ Перстень:—меня не простите. Коли вы и не пойдете съ княземъ, все-жъ намъ дорога не одна. Довольно я погулялъ здѣсь, пора на родину. Да мы же и повздорили немного, а порванную веревку, какъ ни вяжи, все узелъ будетъ. Идите съ княземъ, ребятушки, или выберите себѣ

другого атамана, лучше послушайтесь моего совѣта, идите съ княземъ; не вѣрится мнѣ послѣ нашего дѣла, чтобы царь и его, и васъ не простилъ.

Разбойники опять потолковали и, послѣ краткаго совѣщанія, раздѣлились на двѣ части. Бо́льшая подошла къ Серебряному.

— Веди насъ!—сказали они:—пусть будетъ съ нами, что̀ и съ тобой!...

— А другіе-то что-жъ?—спросилъ Серебряный.

— Другіе выбрали въ атаманы Хлопко,—мы съ нимъ не хотимъ!

— Тамъ всѣ, что̀ похуже, остались, — шепнулъ Перстень князю:—они дрались-то вчера не такъ, какъ эти!

— А ты,—сказалъ Серебряный: — ни за что̀ не пойдешь со мной?

— Нѣтъ, князь, я не то, что̀ другіе. Меня царь не проститъ, не таковы мои винности. Да, признаться и сускучился по Ермакѣ Тимоѳеичѣ; вотъ ужъ который годъ не видалъ его. Прости, князь, не поминай лихомъ!

Серебряный сжалъ руку Перстня и обнялъ его крѣпко.

— Прости, атаманъ,—сказалъ онъ:—жаль мнѣ тебя, жаль, что идешь на Волгу; не такимъ бы тебѣ дѣломъ заниматься.

— Кто знаетъ, князь, — отвѣтилъ Перстень, и отважный взоръ его принялъ странное выраженіе:—Богъ не безъ милости, авось и не всегда буду тѣмъ, что̀ теперь!

Разбойники стали приготовляться къ походу.

Когда взошло солнце, на берегу рѣчки уже не было видно ни шатра, ни людей Басманова. Ѳедоръ Алексѣевичъ поднялся еще ночью, чтобы первому принести царю извѣстіе объ одержанной побѣдѣ.

Прощаясь съ товарищами, Перстень увидѣлъ возлѣ себя Митьку.

— Прости-жъ и ты губошлёпъ!—сказалъ онъ весело:—послужилъ ты вчера царю за четверыхъ, не оставитъ онъ тебя своей милостью!

Но Митька, какъ бы въ недоумѣніи, почесалъ затылокъ.

— Ну, что—спросилъ Перстень.

— Ничаво!—отвѣчалъ лѣниво Митька, почесывая одной рукой затылокъ, другою поясницу.

— Ну, ничего, такъ ничего!—И Перстень уже было отошелъ, какъ Митька, собравшись съ духомъ, сказалъ протяжно:

— Атаманъ, а, атаманъ!

— Что?

— Я въ Слободу не хочу!

— Куда-жъ ты хочешь?

— А съ тобой!

— Нельзя со мной; я на Волгу иду.

— Ну и я на Волгу!

— Зачѣмъ же не съ княземъ?

Митька подвинулъ одну ногу впередъ и уставился, какъ бы въ замѣшательствѣ, на свой лапоть.

— Опричниковъ, что-ли, боишься?—спросилъ насмѣшливо Перстень.

Митька сталъ почесывать то затылокъ, то бока, то поясницу, но не отвѣчалъ ничего.

— Мало ты ихъ видѣлъ?—продолжалъ Перстень:—съѣли они тебя, что-ли?

— Нявѣсту взяли,—проговорилъ, нехотя Митька.

Перстень засмѣялся.

— Вишь, злопамятный! Не хочетъ съ ними хлѣба-соли вести! Ну, примкнись къ Хлопку.

— Не хочу!—сказалъ рѣшительно Митька:—хочу съ тобой на Волгу!

— Да я не прямо на Волгу!

— Ну, и я не прямо!

— Куда-жъ ты?

— А куда ты, туда и я!

— Эхъ, присталъ какъ банный листъ! Такъ знай же, что мнѣ сперва надо въ Слободѣ побывать!

— Зачѣмъ?—спросилъ Митька и выпучилъ глаза на атамана.

— Зачѣмъ! Зачѣмъ!—повторилъ Перстень, начиная терять

терпѣніе:—затѣмъ, что я тамъ прошлаго года орѣхи грызъ, скорлупу забылъ!

Митька посмотрѣлъ-было на него съ удивленіемъ, но тотчасъ же усмѣхнулся и растянулъ ротъ до самыхъ ушей, а отъ глазъ пустилъ по вискамъ лучеобразныя морщины и придалъ лицу своему самое хитрое выраженіе, какъ бы желая сказать: меня, братъ, надуть не такъ-то легко; я очень хорошо знаю, что ты идешь въ Слободу не за орѣховою скорлупою, а за чѣмъ-нибудь другимъ!

Однако онъ этого не сказалъ, а только повторилъ, усмѣхаясь:

— Ну и я съ тобой!

— Что̀ съ нимъ будешь дѣлать!—сказалъ Перстень, пожимая плечами.—Видно ужъ не отвязаться отъ него; такъ и быть, иди со мной, дурень, только послѣ не пеняй на меня, коли тебя повѣсятъ!

— А хоча и повѣсятъ!—отвѣчалъ Митька равнодушно.

— Ладно, парень. Вотъ за это люблю! Прощайся же скорѣй съ товарищами да и въ путь!

Заспанное лицо Митьки не оживилось; но онъ тотчасъ же началъ неуклюже подходить къ товарищамъ и каждаго, хотѣвшаго и не хотѣвшаго, чмокнулъ по три раза, кого добровольно, кого насильно, кого загребая за плечи, кого ухвативъ за голову.

— Атаманъ,—сказалъ Серебряный:—стало, мы съ тобой по одной дорогѣ?

— Нѣтъ, бояринъ. Гдѣ я пройду, тамъ тебѣ не проѣхать. Я въ Слободѣ буду прежде тебя, и если бы мы встрѣтились, ты меня не узнавай; а впрочемъ, мы и не встрѣтимся; я до твоего пріѣзда уйду: надо только кое-какія дѣла покончить.

Серебряный догадался, что у Перстня было кое-что спрятано или зарыто въ окрестностяхъ Слободы, и не настаивалъ.

Вскорѣ два отряда потянулись по двумъ разнымъ направленіямъ:

Бо̀льшій шелъ за Серебрянымъ вдоль рѣчки по зеленому лугу, еще покрытому слѣдами вчерашней битвы; а за нимъ,

повѣся голову и хвостъ, тащился Буянъ. Онъ часто подбѣгалъ къ Серебряному, жалобно повизгивалъ и потомъ оборачивался на свѣжій могильный холмъ, пока наконецъ не скрыли его изъ виду высокіе камыши.

Другой меньшій отрядъ пошелъ за Хлопко.

Перстень удалился въ третью сторону, а за нимъ, не спѣша и переваливаясь съ боку на̀ бокъ, послѣдовалъ Митька.

Опустѣла широкая степь, и настала на ней прежняя тишина, какъ будто бранный гулъ и не возмущалъ ея наканунѣ. Только кое-гдѣ паслись разбѣжавшіеся татарскіе кони, да валялись по пожарищу разбросанные доспѣхи. Вдоль цвѣтущаго берега рѣчки жаворонки попрежнему звенѣли въ небесной синевѣ, лыски перекликались въ густыхъ камышахъ, а мелкія птички перепархивали, чирикая, съ тростника на тростникъ, или, заливаясь пѣснями, садились на пернатыя стрѣлы, вонзившіяся въ землю во время битвы и торчавшія теперь на зеленомъ лугу, межъ болотныхъ цвѣтовъ, какъ будто-бъ и онѣ были цвѣты и росли тамъ уже Богъ знаетъ сколько времени.

ГЛАВА XXIX.

Очная ставка.

Съ недѣлю послѣ пораженія Татаръ царь принималъ въ своей опочивальнѣ Басманова, только-что прибывшаго изъ Рязани. Царь зналъ уже о подробностяхъ битвы; но Басмановъ думалъ, что объявитъ о ней первый. Онъ надѣялся приписать себѣ одному всю честь побѣды и разсчитывалъ на дѣйствіе своего разсказа, чтобы войти у царя въ прежнюю милость.

Иванъ Васильевичъ слушалъ его со вниманіемъ, перебирая четки и опустивъ взоръ на алмазное кольцо, которымъ былъ украшенъ указательный перстъ его; но когда Басмановъ, окончивъ разсказъ и тряхнувъ кудрями, сказалъ съ самодовольнымъ видомъ:

— Что-жъ, государь, мы, кажется, постарались для твоей милости!

Іоаннъ поднялъ глаза и усмѣхнулся.

— Не пожалѣли себя,—продолжалъ вкрадчиво Басмановъ:—такъ ужъ и ты, государь, не пожалѣй наградить слугу твоего!

— А чего бы тебѣ хотѣлось, Ѳедя?—спросилъ Іоаннъ, принимая видъ добродушія.

— Да пожалуй меня хоть окольничимъ, чтобы люди-то не корили.

Іоаннъ посмотрѣлъ на него пристально.

— А чѣмъ мнѣ Серебрянаго пожаловать?—спросилъ онъ неожиданно.

— Опальника-то твоего?—сказалъ Басмановъ, скрывая свое смущеніе подъ свойственнымъ ему безстыдствомъ:—да чѣмъ же, коли не висѣлицей? Вѣдь онъ ушелъ изъ тюрьмы, да съ своими станичниками чуть дѣла не испортилъ. Кабы не переполошилъ онъ Татаръ, мы бы ихъ всѣхъ какъ перепеловъ накрыли.

— Полно, такъ-ли? А я такъ думаю, что Татары тебя въ торока ввязали-бъ, какъ въ тотъ разъ, помнишь? Вѣдь тебѣ ужъ не впервой, дѣло знакомое!

— Знакомое дѣло за тебя горе терпѣть,—продолжалъ Басмановъ дерзко:—а вотъ это незнакомое, чтобы спасибо услышать. Небось, тебѣ и Годуновъ, и Малюта, и Вяземскій не по-моему служатъ, а наградъ ты для нихъ не жалѣешь.

— И подлинно, не по-твоему. Гдѣ имъ плясать супротивъ тебя!

— Надёжа государь,—отвѣтилъ Басмановъ, теряя терпѣніе:—коли нелюбъ я тебѣ, отпусти меня совсѣмъ!

Басмановъ надѣялся, что Іоаннъ удержитъ его; но отсутствіе изъ Слободы, вмѣсто того, чтобы оживить къ нему любовь Іоанна, охладило ее еще болѣе; онъ успѣлъ отъ него отвыкнуть, а другіе любимцы, особенно Малюта, оскорбленный высокомѣріемъ Басманова, воспользовались этимъ временемъ, чтобъ отвратить отъ него сердце Іоанна.

Разсчетъ Басманова оказался невѣренъ. Замѣтно было, что царь забавляется его досадой.

— Такъ и быть,—сказалъ онъ съ притворною горестью:—хоть и тошно мнѣ будетъ безъ тебя, сиротѣ одинокому, и дѣла-то государскія, пожалуй, замутятся, да ужъ нечего дѣлать, промаюсь какъ-нибудь моимъ слабымъ разумомъ. Ступай себѣ, Ѳедя, на всѣ четыре стороны! Я тебя насильно держать не стану.

Басмановъ не могъ долѣе скрыть своей злобы: избалованный прежними отношеніями къ Іоанну, онъ далъ ей полную волю.

— Спасибо тебѣ, государь,—сказалъ онъ:—спасибо за твою хлѣбъ-соль! Спасибо, что выгоняешь слугу своего: какъ негоднаго пса! Буду,—прибавилъ онъ неосторожно:—буду хвалиться на Руси твоей ласкою! Пусть же другіе послужатъ тебѣ, какъ служила Ѳедора! Много грѣховъ взялъ я на душу на службѣ твоей, одного грѣха не взялъ, колдовства не взялъ на душу!

Иванъ Васильевичъ продолжалъ усмѣхаться, но при послѣднихъ словахъ выраженіе измѣнилось.

— Колдовства?—спросилъ онъ съ удивленіемъ, готовымъ обратиться въ гнѣвъ:—да кто-жъ здѣсь колдуетъ?

— А хоть бы твой Вяземскій,—отвѣчалъ Басмановъ, не опуская очей передъ царскимъ взоромъ.—Да,—продолжалъ онъ, не смущаясь грознымъ выраженіемъ Іоанна:—тебѣ, видно, одному невѣдомо, что когда онъ бываетъ на Москвѣ, то по ночамъ ѣздитъ въ лѣсъ, на мельницу, колдовать; а зачѣмъ ему колдовать, коли не для того, чтобъ извести твою царскую милость?

— Да тебѣ-то отчего оно вѣдомо?—спросилъ царь, пронзая Басманова испытующимъ окомъ.

На этотъ разъ Басмановъ нѣсколько струсилъ.

— Вѣдь я, государь, вчера только услышалъ отъ его же холопей,—сказалъ онъ поспѣшно:—кабы услышалъ прежде, такъ тогда и доложилъ бы твоей милости.

Царь задумался.

— Ступай,—сказалъ онъ послѣ краткаго молчанія:—я это дѣло разберу; а изъ Слободы погоди уѣзжать до моего приказа

Басмановъ ушелъ, довольный, что успѣлъ заронить въ мнительномъ сердцѣ царя подозрѣніе на одного изъ своихъ соперниковъ, но сильно озабоченный холодностью государя.

Вскорѣ царь вышелъ изъ опочивальни въ пріемную палату, сѣлъ на кресло и, окруженный опричниками, сталъ выслушивать поочередно земскихъ бояръ, пріѣхавшихъ отъ Москвы и отъ другихъ городовъ съ докладами. Отдавъ каждому приказанія, поговоривъ со многими обстоятельно о нуждахъ государства, о сношеніяхъ съ иностранными державами и о мѣрахъ къ предупрежденію дальнѣйшаго вторженія Татаръ, Іоаннъ спросилъ, нѣтъ ли еще кого просящаго пріема?

— Бояринъ Дружина Андреичъ Морозовъ,—отвѣчалъ одинъ стольникъ: — бьетъ челомъ твоей царской милости, проситъ, чтобы допустилъ ты его предъ твои свѣтлыя очи.

— Морозовъ?—сказалъ Іоаннъ:—да развѣ онъ не сгорѣлъ на пожарѣ? Живучъ старый песъ! Что-жъ? Я снялъ съ него опалу, пусть войдетъ!

Стольникъ вышелъ; вскорѣ толпа царедворцевъ раздвинулась, и Дружина Андреевичъ, поддерживаемый двумя знакомцами, подошелъ къ царю и опустился передъ нимъ на колѣни.

Вниманіе всѣхъ обратилось на стараго боярина.

Лицо его было блѣдно, дородства много поубавилось, на лбу виденъ былъ шрамъ, нанесенный саблею Вяземскаго; но впалыя очи являли прежнюю силу воли, а на сдвинутыхъ бровяхъ лежалъ попрежнему отпечатокъ непреклоннаго упрямства.

Вопреки обычаю двора, одежда его была *смирная*.

Іоаннъ смотрѣлъ на Морозова, не говоря ни слова. Кто умѣлъ читать въ царскомъ взорѣ, тотъ прочелъ бы въ немъ теперь скрытую ненависть, и удовольствіе видѣть врага своего униженнымъ; но поверхностному наблюдателю выраженіе Іоанна могло показаться благосклоннымъ.

— Дружина Андреевичъ,—сказалъ онъ важно, но ласково:— я снялъ съ тебя опалу; зачѣмъ ты въ смирной одеждѣ?

— Государь, — отвѣчалъ Морозовъ, продолжая стоять на ко-

лѣняхъ: — не пригоже тому рядиться въ парчу, у кого домъ сожгли твои опричники и насильно жену увезли. Государь, — продолжалъ онъ твердымъ голосомъ: — бью тебѣ челомъ въ обидѣ моей на оружничаго твоего Аѳоньку Вяземскаго!

— Встань,—сказалъ царь:—и разскажи дѣло по-ряду. Коли кто изъ моихъ обидѣлъ тебя, не спущу я ему, будь онъ хотя самый близкій ко мнѣ человѣкъ.

— Государь,—продолжалъ Морозовъ, не вставая: — вели позвать Аѳоньку. Пусть при мнѣ дастъ отвѣтъ твоей милости!

— Что-жъ, — сказалъ царь, какъ бы немного подумавъ: — просьба твоя дѣльная. Отвѣтчикъ долженъ вѣдать, что говоритъ истецъ. Позвать Вяземскаго. А вы,—продолжалъ онъ, обращаясь къ знакомцамъ, отошедшимъ на почтительное разстояніе: — подымите своего боярина, посадите его на скамью; пусть подождетъ отвѣтчика.

Со времени нападенія на домъ Морозова прошло болѣе двухъ мѣсяцевъ. Вяземскій успѣлъ оправиться отъ ранъ. Онъ жилъ попрежнему въ Слободѣ, но, не вѣдая ничего объ участи Елены, которую ни одинъ изъ его разсыльныхъ не могъ отыскать, онъ былъ еще пасмурнѣе, чѣмъ прежде, рѣдко являлся ко двору, отговариваясь слабостью, не участвовалъ въ пирахъ, и многимъ казалось, что въ пріемахъ его есть признаки помѣшательства. Іоанну не нравилось удаленіе его отъ общихъ молитвъ и общаго веселья; но онъ, зная о неудачномъ похищеніи боярыни, приписывалъ поведеніе Вяземскаго мученіямъ любви и былъ къ нему снисходителенъ. Лишь послѣ разговора съ Басмановымъ поведеніе это стало казаться ему неяснымъ. Жалоба Морозова представляла удобный случай вывѣдать многое черезъ очную ставку, и вотъ почему онъ принялъ Морозова лучше, чѣмъ ожидали царедворцы.

Вскорѣ явился Вяземскій. Наружность его также значительно измѣнилась. Онъ какъ будто постарѣлъ нѣсколькими годами, черты лица сдѣлались рѣзче, и жизнь, казалось, сосредоточилась въ огненныхъ и безпокойныхъ глазахъ его.

— Подойди сюда, Аѳоня, — сказалъ царь.—Подойди и ты,

Дружина. Говори, въ чемъ твое челобитье. Говори прямо, разсказывай все какъ было.

Дружина Андреевичъ приблизился къ царю. Стоя рядомъ съ Вяземскимъ, но не удостоивая его взгляда, онъ подробно изложилъ всѣ обстоятельства нападенія.

— Такъ ли было дѣло? —спросилъ царь, обратясь къ Вяземскому.

— Такъ!—сказалъ Вяземскій, удивленный вопросомъ Іоанна, которому давно все было извѣстно.

Лицо Ивана Васильевича омрачилось.

— Какъ отчаялся ты на это?—сказалъ онъ, устремивъ на Вяземскаго строгій взоръ:—развѣ я дозволяю разбойничать моимъ опричникамъ?

— Ты знаешь, государь,—отвѣтилъ Вяземскій, еще болѣе удивленный:—что домъ разграбленъ не по моему указу, а что я увезъ боярыню, на то было у меня твое дозволеніе!

— Мое дозволеніе?—произнесъ царь, медленно выговаривая каждое слово.—Когда я дозволялъ тебѣ?

Тутъ Вяземскій замѣтилъ, что напрасно хотѣлъ опереться на намекъ Ивана Васильевича, сдѣланный ему иносказательно во время пира,—намекъ, вслѣдствіе котораго онъ почелъ себя въ правѣ увезти Елену силою. Не отгадывая еще цѣли, съ какою царь отказывался отъ своихъ поощреній, онъ понялъ, однако, что надобно измѣнить образъ своей защиты. Не изъ трусости и не для сохраненія своей жизни, которая, при перемѣнчивомъ нравѣ царя, могла быть въ опасности, рѣшился Вяземскій оправдаться. Онъ не потерялъ еще надежды добыть Елену, и всѣ средства казались ему годными.

— Государь,—сказалъ онъ:—виноватъ передъ тобой, ты не дозволялъ мнѣ увезти боярыню. Вотъ какъ было дѣло. Послалъ ты меня къ Москвѣ снять опалу съ боярина Морозова, а онъ, ты знаешь, издавна держитъ на меня вражду за то, что еще до свадьбы спознался я съ женою его. Какъ прибылъ я къ нему въ домъ, онъ и порѣшилъ вмѣстѣ съ Никитой Серебрянымъ извести меня. Послѣ стола они съ холопями напали на насъ предательскимъ обычаемъ; мы же дали отпоръ, а боярыня-

то Морозова, вѣдая мужнину злобу, побоялась остаться у него въ домѣ и упросила меня взять ее съ собою. Уѣхала она отъ него вольною волею, а когда я въ лѣсу обезпамятовалъ отъ ранъ, такъ и досель не знаю, куда она дѣвалась. Должно быть, нашелъ ее боярин и держитъ гдѣ-нибудь взаперти, а можетъ быть, и со свѣту сжилъ ее! Не ему,—продолжалъ Вяземскій, бросивъ ревнивый взоръ на Морозова: — не ему искать на мнѣ безчестія. Я самъ, государь, бью челомъ твоей милости на Морозова, что напалъ онъ на меня въ домѣ своемъ вмѣстѣ съ Никитой Серебрянымъ!

Царь не ожидалъ такого оборота. Клевета Вяземскаго была очевидна; но въ разсчетъ Іоанна не вошло ее обнаружить. Морозовъ въ первый разъ взглянулъ на врага своего.

— Лжешь ты, окаянный песъ!—сказалъ онъ, окидывая его презрительно съ ногъ до головы:—каждое твое слово есть негодная ложь; а я въ своей правдѣ готовъ крестъ цѣловать! Государь! вели ему, окаянному, выдать мнѣ жену мою, съ которою повѣнчанъ я по закону христіанскому!

Іоаннъ посмотрѣлъ на Вяземскаго.

— Что́ скажешь ты на это?—спросилъ онъ, сохраняя хладнокровную наружность судьи.

— Я уже говорилъ тебѣ, государь, что увезъ боярыню по ея же упросу, а когда я на дорогѣ истекъ кровью, холопи мои нашли меня въ лѣсу безъ памяти. Не было при мнѣ ни коня моего, ни боярыни; перенесли меня на мельницу, къ знахарю; онъ-то и зашепталъ кровь. Болѣ ничего не знаю.

Вяземскій не думалъ, что, упоминая о мельницѣ, онъ усилитъ въ Іоаннѣ зародившееся подозрѣніе и придастъ вѣроятіе наговору Басманова; но Іоаннъ не показалъ вида, что обращаетъ вниманіе на это обстоятельство, а только записалъ его въ памяти, чтобы воспользоваться имъ при случаѣ; до поры же до времени затаилъ свои мысли подъ личиною безпристрастія.

— Ты слышалъ?—сказалъ онъ Вяземскому:—бояринъ Дружина готовъ въ своихъ рѣчахъ крестъ цѣловать! Какъ очистишься передъ нимъ?

— Бояринъ воленъ говорить,—отвѣчалъ Вяземскій, рѣшившійся, во что бы ни стало, вести свою защиту до конца:—онъ воленъ клепать на меня, а я ищу на немъ моего увѣчья и самъ буду въ правдѣ моей крестъ цѣловать.

По собранію пробѣжалъ ропотъ. Всѣ опричники знали, какъ совершилось нападеніе, и сколь ни закоренѣли они въ злодѣйствѣ, но не всякій изъ нихъ рѣшился бы присягнуть ложно.

Самъ Іоаннъ изумился дерзости Вяземскаго; но въ тотъ же мигъ онъ понялъ, что можетъ черезъ нее погубить ненавистнаго Морозова и сохранить притомъ видъ строгаго правосудія.

— Братія!—сказалъ онъ, обращаясь къ собранію:—свидѣтельствуюсь вами, что я хотѣлъ узнать истину. Не въ обычаѣ моемъ судить, не услышавъ оправданія. Но въ одномъ и томъ же дѣлѣ двѣ стороны не могутъ крестъ цѣловать. Одинъ изъ противниковъ солживитъ свою присягу. Я же, яко добрый пастырь, боронящій овцы моя, никого не хочу допустить до погубленія души. Пусть Морозовъ и Вяземскій судятся судомъ Божіимъ. Отъ сего числа черезъ десять дѣнъ назначаю имъ поле, здѣсь въ Слободѣ, на Красной площади. Пусть явятся съ своими стряпчими и поручниками. Кому Богъ дастъ одолѣніе, тотъ будетъ чистъ и передо мною, а кто не вынесетъ боя, тотъ, хотя бы и живъ остался, тутъ же пріиметъ казнь отъ рукъ палача!

Рѣшеніе Іоанна произвело въ собраніи сильное впечатлѣніе. Въ мнѣніи многихъ оно равнялось для Морозова смертному приговору. Нельзя было думать, чтобы престарѣлый бояринъ устоялъ противъ молодого и сильнаго Вяземскаго. Всѣ ожидали, что онъ откажется отъ поединка или, по крайней мѣрѣ, попроситъ позволенія поставить, вмѣсто себя, наемнаго бойца. Но Морозовъ поклонился царю и сказалъ спокойнымъ голосомъ:

— Государь, пусть будетъ по-твоему! Я старъ и хворъ, давно не надѣвалъ служилой брони; но въ Божьемъ судѣ не сила беретъ, а правое дѣло! Уповаю на помощь Господа, что не оставитъ Онъ меня въ правомъ дѣлѣ моемъ, покажетъ предъ твоею милостью и предъ всѣми людьми неправду врага моего!

Услыша царскій приговоръ, Вяземскій было обрадовался, и очи его уже запылали надеждой; но увѣренность Морозова немного смутила его. Онъ вспомнилъ, что, по общепринятому понятію, въ судномъ поединкѣ Богъ неминуемо даруетъ побѣду правой сторонѣ, и невольно усомнился въ своемъ успѣхѣ.

Однако, подавивъ минутное смущеніе, онъ также поклонился царю и произнесъ:

— Да будетъ по-твоему, государь!

— Ступайте,—сказалъ Іоаннъ:—ищите себѣ поручниковъ, а черезъ десять дёнъ, съ восходомъ солнца будьте оба на Красной площади, и горе тому, кто не выдержитъ боя!

Бросивъ на обоихъ глубокій необъяснимый взоръ, царь всталъ и удалился во внутренніе покои, а Морозовъ вышелъ изъ палаты, полный достоинства, въ сопровожденіи своихъ знакомцевъ, не глядя на окружающихъ его опричниковъ.

ГЛАВА XXX.

Заговоръ на желѣзо.

На слѣдующій день Вяземскій уѣхалъ къ Москвѣ.

Во всякое другое время, готовясь къ поединку, онъ положился бы на свою силу и ловкость; но дѣло шло объ Еленѣ. Поединокъ былъ не простой; исходъ его зависѣлъ отъ суда Божія, а князь зналъ свою неправость, и сколь ни показался бы ему Морозовъ презрителенъ въ обыкновенной схваткѣ, но въ настоящемъ случаѣ онъ опасался небеснаго гнѣва, страшился, что во время боя у него онѣмѣютъ или отымутся руки. Опасеніе это было тѣмъ сильнѣе, что недавно зажившія раны еще причиняли ему боль, и что по временамъ онъ чувствовалъ слабость и изнеможеніе. Князь не хотѣлъ ничѣмъ пренебрегать, чтобъ упрочить за собою побѣду, и рѣшился обратиться къ знакомому мельнику, взять у него какого-нибудь зелья и сдѣлать черезъ колдовство удары свои неотразимыми.

Полный раздумья и волненій, ѣхалъ онъ по́ лѣсу шагомъ, наклоняясь время отъ времени на сѣдлѣ и разбирая тропинки, заросшія папоротникомъ. Послѣ многихъ поворотовъ, попалъ онъ на болѣе торную дорогу, осмотрѣлся, узналъ на деревьяхъ замѣты и пустилъ коня рысью. Вскорѣ послышался шумъ колеса. Подъѣзжая къ мельницѣ, князь вмѣстѣ съ шумомъ сталъ различать человѣческій голосъ. Онъ остановился, слѣзъ съ сѣдла и, привязавъ коня въ орѣшникѣ, подошелъ къ мельницѣ пѣшкомъ. У самаго сруба стоялъ чей-то конь въ богатой сбруѣ. Мельникъ разговаривалъ съ стройнымъ человѣкомъ, но Вяземскій не могъ видѣть лица его, потому что незнакомецъ повернулся къ нему спиною, готовясь сѣсть въ сѣдло.

— Будешь доволенъ, бояринъ, — говорилъ ему мельникъ, утвердительно кивая головою: — будешь доволенъ, батюшка! Войдешь опять въ царскую милость, и чтобы громъ меня тутъ же прихлопнулъ, коли не пропадетъ и Вяземскій, и всѣ твои вороги! Будь спокоенъ, ужъ противу тирлича-травы ни одинъ не устоитъ!

— Добро, — отвѣчалъ посѣтитель, взлѣзая на коня: — а ты, старый чортъ, помни нашъ уговоръ; коли не будетъ мнѣ удачи, повѣшу тебя какъ собаку!

Голосъ показался Вяземскому знакомъ, но колесо шумѣло такъ сильно, что онъ остался въ недоумѣніи, кто именно былъ говорившій.

Какъ не быть удачѣ, какъ не быть, батюшка, — продолжалъ мельникъ, низко кланяясь: — только не сымай съ себя тирлича-то; а когда будешь съ царемъ говорить, гляди ему прямо и весело въ очи; смѣло гляди ему въ очи, батюшка, не показывай страху-то; говори ему шутки и прибаутки, какъ прежде говаривалъ, такъ будь я анаѳема, коли опять въ честь не войдешь!

Всадникъ повернулъ коня и, не замѣчая Вяземскаго, проѣхалъ мимо него рысью.

Князь узналъ Басманова, и ревнивое воображеніе его закипѣло. Занятый одною мыслью объ Еленѣ, онъ не обратилъ вни-

манія на рѣчи мельника, но, услышавъ свое имя, подумалъ, что видитъ въ Басмановѣ новаго неожиданнаго соперника.

Мельникъ, между тѣмъ, проводивъ глазами Басманова, присѣлъ на завалинку и принялся считать золотыя деньги. Онъ весело ухмылялся, перекладывая ихъ съ ладони на ладонь, какъ вдругъ почувствовалъ на плечѣ своемъ тяжелую руку.

Старикъ вздрогнулъ, вскочилъ на ноги и чуть не обмеръ отъ страха, когда глаза его встрѣтились съ черными глазами Вяземскаго.

— О чемъ ты, колдунъ, съ Басмановымъ толковалъ?—спросилъ Вяземскій.

— Ба... ба... батюшка!—произнесъ мельникъ, чувствуя, что ноги подъ нимъ подкашиваются: — батюшка, князь Аѳанасій Иванычъ, какъ изволишь здравствовать?

— Говори! — закричалъ Вяземскій, схвативъ мельника за горло и таща его къ колесу:—говори, что̀ вы про меня толковали?

И онъ перегнулъ старика надъ самымъ шумомъ.

— Родимый!—простоналъ мельникъ;—все скажу твоей милости, все скажу, батюшка, отпусти лишь душу на покаяніе!

— Зачѣмъ пріѣзжалъ къ тебѣ Басмановъ?

— За корнемъ, батюшка, за корнемъ! А я вѣдь зналъ, что ты тутъ, я зналъ, что ты все слышишь, батюшка; затѣмъ-то я и говорилъ погромче, чтобы вѣдомо тебѣ было, что Басмановъ хочетъ погубить твою милость!

Вяземскій отшвырнулъ мельника отъ става.

Старикъ понялъ, что миновалъ первый порывъ его гнѣва.

— Какой же ты, родимый, сердитый!—сказалъ онъ, поднимаясь на ноги.—Говорю тебѣ, я зналъ, что твоя милость близко; я съ утра еще ожидалъ тебя, батюшка!

— Ну, что же хочетъ Басмановъ?—спросилъ князь смягченнымъ голосомъ.

Мельникъ, между тѣмъ, успѣлъ совершенно оправиться.

— Да, вишь ты,—сказалъ онъ, придавая лицу своему довѣрчивое выраженіе: — говорилъ Басмановъ, что царь разлюбилъ

его, что тебя-молъ больше любитъ, и что тебѣ, да Годунову Борису Ѳедорычу, да Малютѣ Скурлатову, только и идетъ отъ него ласка. Ну, и присталъ ко мнѣ, чтобы далъ ему тирлича. Дай, говоритъ, тирлича, чтобы мнѣ въ царскую милость войти, а ихъ чтобы разлюбилъ царь и опалу чтобы на нихъ положилъ! Что ты будешь съ нимъ дѣлать! Присталъ съ ножомъ къ горлу, вынь да положь; не спорить мнѣ съ нимъ! Ну и далъ я ему корешокъ, да и корешокъ-то, батюшка дрянной. Такъ, завалящій корешишка далъ ему, чтобы только жива оставилъ. Стану я ему тирлича давать, чтобы супротивъ тебя его царь полюбилъ!..

— Чортъ съ нимъ!—сказалъ равнодушно Вяземскій:—какое мнѣ дѣло, любитъ ли царь его, или нѣтъ? Не затѣмъ я сюда пріѣхалъ. Узналъ ли ты что, старикъ, про боярыню?

— Нѣтъ, родимый, ничего не узналъ. Я и гонцамъ твоимъ говорилъ, что нельзя узнать. А ужъ какъ старался-то я для твоей милости! Семь ночей сряду глядѣлъ подъ колесо. Вижу, ѣдетъ боярыня по лѣсу, самъ-другъ съ старымъ человѣкомъ; сама такая печальная, а старъ человѣкъ ее утѣшаетъ, а болѣ ничего и не видно; вода замутится, и ничего болѣ не видно!

— Со старымъ человѣкомъ? Стало-быть, съ Морозовымъ? Съ мужемъ своимъ?

— Нѣтъ, не должно быть: Морозовъ будетъ подороднѣе, да и одежда-то его другая. На этомъ простой кафтанъ, не боярскій, должно быть простой человѣкъ!

Вяземскій задумался.

— Старикъ!—сказалъ онъ вдругъ:—умѣешь ты сабли заговаривать?

— Какъ не умѣть, умѣю. Да тебѣ на что, батюшка? Чтобы рубила сабля, али чтобъ тупилась отъ удара?

— Вѣстимо, чтобы рубила, лѣшій!

— А то, бываетъ, заговариваютъ вражьи сабли, чтобы тупились али ломались о бронь...

— Мнѣ не вражью саблю заговаривать, а свою. Я буду

биться на полѣ, такъ надо мнѣ, во что̀ бы ни стало, супротивника убить, слышишь?

— Слышу, батюшка, слышу! Какъ не слышать!—И старикъ началъ про себя думать: «Съ кѣмъ же это онъ будетъ биться? Кто его враги? Ужъ не съ Басмановымъ ли? Наврядъ ли! Онъ сейчасъ о немъ отзывался презрительно, а князь не такой человѣкъ, чтобъ умѣлъ скрывать свои мысли. Развѣ съ Серебрянымъ? Но мельникъ зналъ черезъ Михеича, что Серебряный вкинутъ въ тюрьму, а отъ посланныхъ Вяземскаго да и отъ нѣкоторыхъ товарищей Перстня слышалъ, что станичники освободили Никиту Романыча и увели съ собой, стало-быть, не съ Серебрянымъ. Остается одинъ бояринъ Морозовъ. Онъ за похищеніе жены могъ вызвать Вяземскаго. Правда, онъ больно старъ, да и въ судномъ поединкѣ дозволяется поставить вмѣсто себя другого бойца. Стало-быть, разсчелъ мельникъ, князь будетъ биться или съ Морозовымъ, или съ наймитомъ его».—Дозволь, батюшка,—сказалъ онъ:—воды зачерпнуть, твоего супостата посмотрѣть!

— Дѣлай, какъ знаешь, — возразилъ Вяземскій и сѣлъ въ раздумьи на сваленый пень.

Мельникъ вынесъ изъ коморы бадью, опустилъ подъ самое колесо и, зачерпнувъ воды, поставилъ возлѣ князя.

— Эхъ, эхъ,—сказалъ онъ, нагнувшись надъ бадьей и глядя въ нее пристально:—видится мнѣ твой супротивникъ, батюшка, только въ толкъ не возьму! Больно онъ старъ. А вотъ и тебя вижу, батюшка, какъ ты сходишься съ нимъ...

— Что-жъ?—спросилъ Вяземскій, тщетно стараясь увидѣть что-нибудь въ бадьѣ.

— Ангелы стоятъ за старика,—продолжалъ мельникъ таинственно и какъ бы самъ удивленный тѣмъ, что онъ видитъ:—небесныя силы стоятъ за него; трудно будетъ заговорить твою саблю!

— А за меня никто не стоитъ?—спросилъ князь съ невольною дрожью.

Мельникъ смотрѣлъ все пристальнѣе, глаза его сдѣлались

совершенно неподвижны; казалось, онъ, начавъ морочить Вяземскаго, былъ пораженъ дѣйствительнымъ видѣніемъ и ему представилось что-то страшное.

— И у твоей милости,—сказалъ онъ шопотомъ:—есть защитники... А вотъ теперь ужъ ничего не вижу, вода потемнѣла.

Онъ поднялъ голову, и Вяземскій замѣтилъ, что крупный потъ катился со лба его.

— Естъ и у тебя защитники, батюшка, — прошепталъ онъ боязливо.—Можно будетъ заговорить твое оружіе.

— На, — сказалъ князь, вынимая изъ ноженъ тяжелую саблю:—на, заговаривай!

Мельникъ перевелъ духъ, разгребъ руками яму и вложилъ въ нее рукоять сабли. Затоптавъ землю, онъ утвердилъ лезвеё остріемъ вверхъ и началъ ходить кругомъ, причитывая вполголоса.

«Выкатило солнышко изъ-за моря Хвалынскаго, восходитъ мѣсяцъ надъ градомъ каменнымъ, а въ томъ градѣ каменномъ породила меня матушка и, рожая, приговаривала: будь ты, мое дитятко, цѣлъ-невредимъ: отъ стрѣлъ и мечей, отъ бойцовъ и борцовъ. Опоясывала меня матушка мечомъ-кладенцомъ. Ты, мой мечъ-кладенецъ, вертись и крутись, ты вертись и крутись какъ у мельницы жернова вертятся, ты круши и кроши всяку сталь и укладь, и желѣзо, и мѣдь; пробивай, прорубай всяко мясо и кость; а вражьи удары, чтобы прядали отъ тебя какъ камни отъ воды, и чтобы не было тебѣ отъ нихъ ни царапины, ни зазубрины! Заговариваю раба Аѳанасья, опоясываю мечомъ-кладенцомъ. Чуръ слову конецъ, моему дѣлу вѣнецъ!»

Онъ вытащилъ саблю и подалъ ее князю, отряхнувъ съ рукояти землю и бережно обтеревъ ее полою.

— Возьми, батюшка, князь Аѳанасій Иванычъ. Будетъ она тебѣ служить, лишь бы супротивникъ твой свою саблю въ святую воду не окунулъ!

— А если окунетъ?

— Что-жъ дѣлать, батюшка! Противъ святой воды наговор-

ное желѣзо не властно. Только, пожалуй, и этому пособить можно. Дамъ я тебѣ голубца болотнаго, и ты его въ мѣшочкѣ на шею повѣсь, такъ у ворога своего глаза отведешь.

— Подавай голубецъ!—сказалъ Вяземскій.

— Изволь, батюшка, изволь; для твоей княжеской милости и голубца не пожалѣю.

Старикъ сходилъ опять въ комору и принесъ князю что-то зашитое въ тряпицѣ.

— Дорого оно мнѣ досталось,—сказалъ онъ, какъ бы жалѣя выпустить изъ рукъ тряпицу:—трудно его добывать. Какъ полѣзешь за нимъ не въ урочный часъ въ болото, такіе на тебя нападутъ страхи, что Господи упаси!

Князь взялъ зашитый предметъ и бросилъ мельнику мошну съ золотыми.

— Награди Господь твою княжескую милость!—сказалъ старикъ, низко кланяясь.—Только, батюшка, дозволь еще словцо тебѣ молвить: теперь уже до поединка-то въ церковь не ходи, обѣдни не слушай; не то, чего добраго, и наговоръ-то мой съ лезвея соскочитъ.

Вяземскій ничего не отвѣчалъ и направился было къ мѣсту, гдѣ привязалъ коня, но вдругъ остановился.

А можешь ты,—сказалъ онъ:—навѣрно узнать, кто изъ насъ живъ останется?

Мельникъ замялся.

— Да должно быть ты, батюшка! Какъ тебѣ живу не остаться! Я тебѣ и прежде говаривалъ: не отъ меча твоей милости смерть написана!

— Посмотри еще разъ въ бадью!

— Что-жъ еще смотрѣть, батюшка! Теперь ничего не увидишь, и вода-то ужъ помутилась.

— Зачерпни свѣжей воды!—сказалъ Вяземскій повелительно.

Мельникъ повиновался нехотя.

— Ну, что тамъ видно?—спросилъ князь нетерпѣливо.

Старикъ съ примѣтнымъ отвращеніемъ нагнулся надъ бадьею.

— Ни тебя не видно, батюшка, ни супротивника твоего!— сказалъ онъ, блѣднѣя:—видна площадь, народу полна; много головъ на кольяхъ торчитъ; а въ сторонѣ костеръ догораетъ и человѣческія кости къ столбу прикованы!

— Чьи головы на кольяхъ торчатъ?—спросилъ Вяземскій, пересиливая невольный страхъ.

— Не вижу, батюшка, все опять помутилось, одинъ костеръ еще свѣтится, да кости чьи-то висятъ у столба!

Мельникъ съ усиліемъ поднялъ голову и, казалось, съ трудомъ отвелъ взоръ отъ бадьи. Его дергали судороги, потъ катился съ лица его, онъ, стоная и охая, дотащился до завалины и упалъ на нее въ изнеможеніи.

Вяземскій отыскалъ своего коня, сѣлъ въ сѣдло и, полный раздумья, поѣхалъ къ Москвѣ.

ГЛАВА XXXI.

Божій судъ.

Въ отсутствіе Вяземскаго Малютѣ было поручено важное дѣло. Царь приказалъ ему захватить ближайшихъ слугъ князя Аѳанасія Ивановича и пытать ихъ на́-крѣпко, ѣздилъ ли господинъ ихъ на мельницу колдовать, и сколько разъ онъ былъ на мельницѣ, и что́ именно замышляетъ противу его государскаго здравія?

Бо́льшая часть слугъ не созналась ни въ чемъ, но нѣкоторые не выдержали пытки и показали все то, что́ Малюта вложилъ имъ въ уста. Показали они, что князь ѣздилъ на мельницу съ тѣмъ, чтобы испортить государя; что онъ вымалъ царскіе слѣды и жегъ ихъ на огнѣ; а нѣкоторые показали даже, что Вяземскій мыслитъ ко князю Владиміру Андреевичу и хочетъ посадить его на царскій престолъ. Сколь ни были нелѣпы эти показанія, они тщательно записывались дьяками со словъ истязаемыхъ и прочитывались царю. Вѣрилъ ли имъ Иванъ Васильевичъ или нѣтъ,—Богъ вѣсть! Но онъ строго приказалъ

Малютѣ, по возвращеніи Вяземскаго, скрыть отъ него причину, по которой захвачены его слуги, а сказать, что взяты-де они по подозрѣнію въ воровствѣ изъ царскихъ кладовыхъ.

Въ показаніяхъ ихъ, однако, было много противорѣчій, и Іоаннъ послалъ за Басмановымъ, чтобы заставить его повторить все, что онъ, по доносу своему, слышалъ отъ холопей Вяземскаго.

Басманова не нашли въ Слободѣ. Онъ наканунѣ уѣхалъ къ Москвѣ, и царь опалился, что осмѣлился онъ отлучиться вопреки его приказанію. Малюта воспользовался этимъ, чтобы взвести подозрѣніе на самого Басманова.

— Кто знаетъ, государь,—сказалъ Скуратовъ:—зачѣмъ онъ ослушался твоей милости? Быть можетъ, онъ заодно съ Вяземскимъ, и только для виду донесъ на него, чтобы вѣрнѣе погубить тебя!

Царь велѣлъ Малютѣ пока молчать обо всемъ и, когда воротился Басмановъ, не показывать ему вида, что его отсутствіе было замѣчено.

Между тѣмъ, насталъ день, назначенный для суднаго поединка. Еще до восхода солнца народъ столпился на Красной площади; всѣ окна были заняты зрителями, всѣ крыши ими усыпаны. Вѣсть о предстоящемъ боѣ давно разнеслась по окрестностямъ. Знаменитыя имена сторонъ привлекли толпы изъ разныхъ сёлъ и городовъ, и даже отъ самой Москвы пріѣхали люди всѣхъ сословій посмотрѣть, кому Господь даруетъ одолѣніе въ этомъ дѣлѣ.

— Ну-ка, братъ,—говорилъ одинъ щегольски одѣтый гусляръ своему товарищу, дюжему молодому парню, съ добродушнымъ, но глуповатымъ лицомъ:—ступай впередъ, авось тебѣ удастся пробраться до цѣпи. Эхъ, народу, народу-то! Дайте пройти, православные, дайте и намъ, Владимірцамъ, на судъ Божій посмотрѣть!

Но увѣщанія его оставались безуспѣшны. Толпа была такъ густа, что и при добромъ желаніи не было бы возможности посторониться.

— Да ступай же, тюлень ты этакій!—повторилъ гусляръ, толкая товарища въ спину:—аль не съумѣешь продраться?

— А дляча!—отвѣчалъ вялымъ голосомъ дѣтина.

И, выставивъ впередъ дюжее плечо свое, онъ принялся раздвигать толпу, словно желѣзнымъ клиномъ. Раздались крики и ругательства; но оба товарища подвигались впередъ, не обращая на нихъ вниманія.

— Правѣй, правѣй!—говорилъ старшій:—чего сталъ влѣво забирать, дурень? Сверни туда, гдѣ копья торчатъ!

Мѣсто, на которое указывалъ гусляръ, было приготовлено для самого царя. Оно состояло изъ дощатаго помоста, покрытаго червленымъ сукномъ. На немъ были поставлены царскія кресла, а торчавшія тамъ копья и рогатины принадлежали опричникамъ, окружавшимъ помостъ. Другіе опричники стояли у цѣпи, протянутой вокругъ *поля*, то-есть просторнаго мѣста, приготовленнаго для коннаго или пѣшаго боя, смотря по уговору бойцовъ. Они отгоняли народъ бердышами и не давали ему напирать на цѣпь.

Подвигаясь впередъ шагъ за шагомъ, гусляръ и дюжій парень добрались, наконецъ, до самаго поля.

— Куда лѣзете!—закричалъ одинъ опричникъ, замахнувшись на нихъ бердышомъ.

Парень разинулъ ротъ и въ недоумѣніи обернулся на своего товарища, но тотъ снялъ обѣими руками свой поярковый грешневикъ, обвитый золотою лентою съ павлиньимъ перомъ, и, кланяясь разъ за разомъ въ поясъ, сказалъ опричнику:

— Дозвольте, господа честные, владимірскимъ гуслярамъ судъ Божій посмотрѣть! Отъ самаго отъ города Володиміра пришли! Дозвольте постоять, господа честные!

И лукаво-заискивающею улыбкой онъ выказывалъ изъ-подъ черной бороды свои бѣлые зубы.

— Ну, такъ и быть!—сказалъ опричникъ:—назадъ ужъ не пролѣзете; стойте здѣсь; только чуръ, впередъ не подаваться, башку раскрою!

Внутри оцѣпленнаго мѣста расхаживали поручники и стряпчіе

обѣихъ сторонъ. Тутъ же стояли бояринъ и окольничій, приставленные къ полю, и два дьяка, которымъ вмѣстѣ съ ними надлежало наблюдать за порядкомъ боя. Одинъ изъ дьяковъ держалъ развернутый судебникъ Владиміра Гусева, изданный еще при великомъ князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ III, и толковалъ съ товарищемъ своимъ о предвидѣнныхъ случаяхъ поединка.

— «А досудятся до-поля,—читалъ онъ, указывая пальцемъ на одно мѣсто въ судебникѣ:—а у поля, не стоявъ, помирятся...—какъ дьяка прервали восклицанія толпы:

— Царь ѣдетъ! Царь ѣдетъ!—говорили всѣ, волнуясь и снимая шапки.

Окруженный множествомъ опричниковъ, Иванъ Васильевичъ подъѣхалъ верхомъ къ мѣсту поединка, слѣзъ съ коня, взошелъ по ступенямъ помоста и, поклонившись народу, опустился на кресла съ видомъ человѣка, готовящагося смотрѣть на занимательное зрѣлище.

Позади и около него размѣстились, стоя, царедворцы.

Въ то же время на всѣхъ слободскихъ церквахъ зазвонили колокола, и съ двухъ противоположныхъ концовъ въѣхали во внутренность цѣпи Вяземскій и Морозовъ, оба въ боевыхъ нарядахъ. На Морозовѣ былъ дощатый доспѣхъ, то-есть стальные бахтерцы изъ наборныхъ бляхъ, наведенныхъ черезъ рядъ серебромъ. Наручи, рукавицы и поножи блестѣли серебряными разводами. Голову покрывалъ высокій шишакъ съ серебромъ и чернью, а изъ-подъ вѣнца его падала на плечи боярина кольчатая бармица, скрещенная на груди и укрѣпленная круглыми серебряными бляхами. У бедра его висѣлъ на узорномъ поясѣ, застегнутомъ крюкомъ, широкій прямой тесакъ, котораго крыжъ, ножновыя обоймицы и наконечникъ были также серебряные. Къ правой сторонѣ сѣдла привѣшенъ былъ, концомъ внизъ, золоченый шестоперъ, оружіе и знакъ достоинства, въ былые годы неразлучный съ бояриномъ въ его славныхъ битвахъ, но нынѣ, по тяжести своей, врядъ ли кому по рукѣ.

Подъ Морозовымъ былъ грудастый чернопѣгій конь съ подпалинами. Его покрывалъ бархатный малиновый чалдаръ,

весь въ серебряныхъ бляхахъ. Отъ кованаго налобника падали по сторонамъ малиновые шелковые морхи, или кисти, перевитые серебряными нитками, а изъ-подъ шеи до самой груди висѣла такая же кисть, больше и гуще первыхъ, называвшаяся наузомъ. Узда и поводья состояли изъ серебряныхъ цѣпей съ плоскими вырѣзными звеньями, неровной величины.

Мѣрно шелъ конь, подымая косматыя ноги въ серебряныхъ наколѣнникахъ, согнувши толстую шею, и когда Дружина Андреевичъ остановилъ его саженяхъ въ пяти отъ своего противника, онъ сталъ трясти густою волнистою гривой, достававшею до самой земли, грызть удила и нетерпѣливо рыть песокъ сильнымъ копытомъ, выказывая при каждомъ ударѣ блестящіе шипы широкой подковы. Казалось, тяжелый конь былъ подобранъ подъ стать дороднаго всадника, и даже бѣлый цвѣтъ его гривы согласовался съ сѣдою бородой боярина.

Вооруженіе Вяземскаго было гораздо легче. Еще страдая отъ недавнихъ ранъ, онъ не захотѣлъ надѣть ни зерцала, ни бахтерцовъ, хотя они и считались самою надежною броней, но предпочелъ имъ легкую кольчугу. Ея ожерелья, подолъ и зарукавья горѣли дорогими каменьями. Вмѣсто шишака, на князѣ была ерихонка, то-есть низкій, изящно выгнутый шлемъ, имѣвшій на вѣнцѣ и ушахъ золотую насѣчку, а на тульѣ высокій снопъ изъ дрожащихъ золотыхъ проволокъ, густо усыпанныхъ во всю длину ихъ яхонтовыми искрами. Сквозь полку шлема проходила отвѣсно желѣзная золоченая стрѣла, предохранявшая лицо отъ поперечныхъ ударовъ; но Вяземскій, изъ удальства, не спустилъ стрѣлы, а напротивъ, поднялъ ее, посредствомъ шурепца, до высоты яхонтоваго снопа, такъ что блѣдное лицо его и темная борода оставались совершенно открыты, а стрѣла походила на золотое перо, щегольски воткнутое въ полку ерихонки. На поясѣ, плотно стянутомъ пряжкой поверхъ кольчуги и украшенномъ разными привѣсками, звенцами и бряцальцами, висѣла кривая сабля, вся въ дорогихъ каменьяхъ, та самая, которую заговорилъ мельникъ и на которую теперь твердо надѣялся Вяземскій. У бархатнаго сѣдла, фіолетоваго

цвѣта, съ горощатыми серебряными гвоздями и съ такими же кованными скобами, прикрѣпленъ былъ булатный топорокъ съ фіолетовымъ бархатнымъ черенкомъ въ золотыхъ пояскахъ. Изъподъ нарядnаго подола кольчуги виднѣлась бѣлая шелковая рубаха, съ золотымъ шитьемъ, падавшая на зарбасные штаны, жаркаго цвѣта, всунутые въ зеленые сафьянные сапоги, которыхъ узорныя голенищи, не покрытыя понóжами, натянуты были до колѣнъ и перехватывались подъ сгибомъ и у щиколокъ жемчужною тесьмою.

Конь Аѳанасья Ивановича, золотисто-буланый аргамакъ, былъ весь увѣшанъ, отъ головы до хвоста, гремячими цѣпями изъ дутыхъ серебряныхъ бубенчиковъ. Вмѣсто чепрака или чалдара пардовая кожа покрывала его спину. На вороненомъ налобникѣ горѣли въ золотыхъ гнѣздахъ крупные яхонты. Сухія черныя ноги горскаго скакуна не были вовсе подкованы, но на каждой изъ нихъ, подъ бабкой, звенѣло по одному серебряному бубенчику.

Давно уже слышалось на площади звонкое ржаніе аргамака. Теперь, поднявъ голову, раздувъ огненныя ноздри и держа черный хвостъ на отлетѣ, онъ сперва легкою поступью, едва касаясь земли, двинулся навстрѣчу коню Морозова; но когда князь, не съѣзжаясь съ противникомъ, натянулъ гремучіе поводья, аргамакъ прыгнулъ въ сторону и перескочилъ бы черезъ цѣпь, если бы сѣдокъ ловкимъ поворотомъ не заставилъ его отвернуться на прежнее мѣсто. Тогда онъ взвился на дыбы и, крутясь на заднихъ ногахъ, норовилъ опрокинуться навзничь, но князь нагнулся на луку, отпустилъ ему поводья и вонзилъ въ бока его острыя кизилбашскія стремена. Аргамакъ сдѣлалъ скачокъ и остановился какъ вкопанный. Ни одинъ волосъ его черной гривы не двигался. Налитые кровью глаза косились по сторонамъ, и по золотистой шерсти разбѣгались надутыя жилы узорною сѣткой.

При появленіи Вяземскаго, когда онъ въѣхалъ, гремя и блестя, и словно обрызганный золотомъ и алмазнымъ дождемъ, владимірскій гусляръ не могъ удержаться отъ восторга; но

удивленіе его относилось еще болѣе къ коню, чѣмъ къ всаднику.

— Эхъ, конь!—говорилъ онъ, топая ногами и хватаясь въ восхищеніи за голову:—экій конь! подумаешь. И не видывалъ такого коня! Вѣдь всякіе перебывали, а небось такого Богъ не послалъ! «Что̀ бы,—прибавилъ онъ про себя:—что́ бы было въ ту пору этому сѣдоку, какъ онъ есть, на Поганую-Лужу выѣхать!»

— Слышь ты, — продолжалъ онъ весело, толкая локтемъ товарища:—слышь ты, дурень, который конь тебѣ болѣ по̀ сердцу?

— А тотъ!—отвѣчалъ парень, указывая пальцемъ на Морозовскаго коня.

— Тотъ? А зачѣмъ же тотъ?

— А затѣмъ, что поплотняе!—отвѣтилъ парень лѣниво.

Гусляръ залился смѣхомъ, но въ это время раздался голосъ бирючей:

— Православные люди!—кричали они въ разные концы площади: — зачинается судный бой промежъ оружничаго царскаго, князь Аѳанасья Ивановича Вяземскаго, и боярина Дружины Андреича Морозова. Тягаются они въ безчестіи своемъ, въ бою и увѣчьи, и въ увозѣ боярыни Морозовой! Православные люди! Молитесь Пресвятой Троицѣ, дабы даровала она одолѣніе правой сторонѣ!

Площадь затихла. Всѣ зрители стали креститься, а бояринъ, приставленный вѣдать поединокъ, подошелъ къ царю и проговорилъ съ низкимъ поклономъ:

— Прикажешь ли, государь, зачинаться полю?

— Зачинайте!—сказалъ Іоаннъ.

Бояринъ, окольничій, поручники, стряпчіе и оба дьяка отошли въ сторону.

Бояринъ подалъ знакъ.

Противники вынули оружіе.

По другому знаку надлежало имъ скакать другъ на друга, но, къ изумленію всѣхъ, Вяземскій закачался на сѣдлѣ и вы-

пустилъ изъ рукъ поводья. Онъ свалился бы на землю, еслибъ поручникъ и стряпчій не подбѣжали и не помогли ему сойти съ коня. Подоспѣвшіе конюхи успѣли схватить аргамака подъ уздцы.

— Возьми его! — сказалъ Вяземскій, озираясь померкшими очами:—я буду биться пѣшой!

Видя, что князь сошелъ съ коня, Морозовъ также слѣзъ съ своего чернопѣгаго и отдалъ его конюхамъ.

Стряпчій Морозова подалъ ему большой кожаный щитъ съ мѣдными бляхами, приготовленный на случай пѣшаго боя.

Стряпчій Вяземскаго поднесъ ему также щитъ, вороненый, съ золотой насѣчкой и золотою бахромой.

Но Аѳанасій Ивановичъ не имѣлъ силы вздѣть его на руку. Ноги подъ нимъ подкосились, и онъ упалъ бы вторично, еслибъ его не подхватили.

— Что́ съ тобой, князь?—сказали въ одинъ голосъ стряпчій и поручникъ, съ удивленіемъ глядя ему въ очи: — оправься, князь! У поля не стоять, все равно, что побиту быть!

— Сымите съ меня бронь! — проговорилъ Вяземскій, задыхаясь:—сымите бронь! Корень душитъ меня!

Онъ сбросилъ съ себя ерихонку, разорвалъ ожерелье кольчуги и сдернулъ съ шеи гайтанъ, на которомъ висѣла шелковая ладанка съ болотнымъ голубцомъ.

— Анаѳема тебѣ, колдунъ!—вскричалъ онъ, бросая гайтанъ далеко отъ себя:—анаѳема, что обманулъ меня!

Дружина Андреичъ подошелъ къ Вяземскому съ голымъ тесакомъ.

— Сдавайся, песъ!—сказалъ онъ, замахнувшись: — сознайся въ своемъ окаянствѣ!

Поручники и стряпчіе бросились между князя и Морозова.

— Нѣтъ! — сказалъ Вяземскій, и отуманенный взоръ его вспыхнулъ прежнею злобою:—рано мнѣ сдаваться! Ты, старый воронъ, испортилъ меня! Ты свой тесакъ въ святую воду окунулъ! Я поставлю за себя бойца, и тогда увидимъ, чья будетъ правда!

Между стряпчими обѣихъ сторонъ зачался споръ. Одинъ утверждалъ, что судъ оконченъ въ пользу Морозова; другой, что суда вовсе не было, потому что не было боя.

Царь, между тѣмъ, замѣтилъ движеніе Вяземскаго и велѣлъ подать себѣ брошенную имъ ладанку. Осмотрѣвъ ее съ любопытствомъ и недовѣрчивостью, онъ подозвалъ Малюту.

— Схорони это,—шепнулъ онъ:—пока не спрошу! А теперь,—произнесъ онъ громко:—подвести ко мнѣ Вяземскаго.

— Что, Аѳоня? — сказалъ онъ, усмѣхаясь двусмысленно, когда подошелъ къ нему Вяземскій:—видно, Морозовъ тебѣ не подъ силу?

Государь,—отвѣтилъ князь, котораго лицо было покрыто смертельною блѣдностью: — ворогъ мой испортилъ меня! Да къ тому-жъ, я съ тѣхъ поръ, какъ оправился, ни разу брони не надѣвалъ. Раны мои открылись: видишь, какъ кровь изъ-подъ кольчуги бѣжитъ! Дозволь, государь, бирючъ кликнуть, охотника вызвать, чтобы замѣсто меня у поля сталъ!

Домогательство Вяземскаго было противно правиламъ. Кто не хотѣлъ биться самъ, долженъ былъ объявить о томъ заранѣе. Вышедши разъ на поединокъ, нельзя было поставить вмѣсто себя другого. Но царь имѣлъ въ виду погибель Морозова и согласился.

— Вели кричать бирючъ,—сказалъ онъ:—авось кто поудалѣе тебя найдется! А не выйдетъ никто, Морозовъ будетъ чистъ, а тебя отдадутъ палачамъ!

Вяземскаго отвели подъ-руки, и вскорѣ, по приказанію его, глашатаи стали ходить вдоль цѣпи и кричать громкимъ голосомъ:

— Кто хочетъ изъ слободскихъ или московскихъ, или иныхъ людей выйти на боярина Морозова? Кто хочетъ биться за князя Вяземскаго? Выходите, бойцы, выходите стоять за Вяземскаго.

Но площадь оставалась безмолвна, и ни одинъ охотникъ не являлся.

— Выходите, охотники, добрые бойцы!—кричали бирючи:—выходите! Кто побьетъ Морозова, тому князь всѣ свои вот-

чины отдастъ, а будетъ побьетъ простой человѣкъ, тому князь пожалуетъ всю казну, какая есть у него!

Никто не откликался; всѣ знали, что дѣло Морозова свято, и царь, несмотря на ненависть свою къ Дружинѣ Андреевичу, уже готовился объявить его правымъ, какъ вдругъ послышались крики:

— Идетъ охотникъ! Идетъ! — И внутри оцѣпленнаго мѣста явился Матвѣй Хомякъ.

— Гой-да! — сказалъ онъ, свистнувъ саблею по воздуху.— Подходи, боярин, я за Вяземскаго!

При видѣ Хомяка, Морозовъ, дожидавшійся доселѣ съ голымъ тесакомъ, обратился съ негодованіемъ къ приставамъ поединка.

— Не стану биться съ наймитомъ!—произнесъ онъ гордо.— Невмѣстно боярину Морозову мѣряться со стремяннымъ Гришки Скуратова.

И опустивъ тесакъ въ ножны, онъ подошелъ къ мѣсту, гдѣ сидѣлъ царь.

— Государь, — сказалъ онъ: — ты дозволилъ ворогу моему поставить бойца вмѣсто себя, дозволь же и мнѣ найти наймита противъ наймита, не то вели оставить поле до другого раза.

Какъ ни желалъ Иванъ Васильевичъ погубить Морозова, но просьба его была слишкомъ справедлива. Царю не захотѣлось въ Божьемъ судѣ прослыть пристрастнымъ.

— Кричи бирючъ! — сказалъ онъ гнѣвно: — а если не найдешь охотника, бейся самъ или сознайся въ своей кривдѣ и ступай на плаху!

Между тѣмъ, Хомякъ прохаживался вдоль цѣпи, махая саблей и посмѣиваясь надъ зрителями.

— Вишь,—говорилъ онъ:—много васъ, воронъ, собралось, а нѣтъ ни одного яснаго сокола промежъ васъ. Что бы хоть одному выйти, мою саблю обновить, государя потѣшить! Молотимши, видно, руки отмахали? На печи лежа, бока отлежали!

— Ахъ ты, чортъ! — проговорилъ вполголоса гусляръ:—ужъ

я-бъ тебѣ далъ, кабы была при мнѣ моя сабля! Смотри! — продолжалъ онъ, толкая подъ-бокъ товарища:—узнаешь ты его?

Но парень не слыхалъ вопроса. Онъ разинулъ ротъ и, казалось, впился глазами въ Хомяка.

— Что-жъ,—продолжалъ Хомякъ:—видно нѣтъ между вами охотниковъ? Эй, вы, аршинники, калашники, пряхи, ткачихи! Кто хочетъ со мной помѣряться?

— А я!—раздался неожиданно голосъ парня, и, ухватясь обѣими руками за цѣпь, онъ перекинулъ ее черезъ голову и чуть не вырвалъ дубовыхъ кольевъ, къ которыхъ она была придѣлана.

Онъ очутился внутри ограды и, казалось, самъ былъ удивленъ своею смѣлостью.

Выпучивъ глаза и разиня ротъ, онъ смотрѣлъ то на Хомяка, то на опричниковъ, то на самого царя, но не говорилъ ни слова.

— Кто ты?—спросилъ его бояринъ, приставленный къ полю.

— Я-то?—сказалъ онъ и, подумавъ немного, усмѣхнулся.

— Кто-ты?—повторилъ бояринъ.

— А Митька!—отвѣтилъ онъ добродушно и какъ бы удивляясь вопросу.

— Спасибо тебѣ молодецъ! — сказалъ Морозовъ парню:—спасибо, что хочешь за правду постоять. Коли одолѣешь ворога моего, не пожалѣю для тебя казны. Не все у меня добро разграблено; благодаря Божьей милости, есть еще чѣмъ бойца моего наградить!

Хомякъ видѣлъ Митьку на Поганой-Лужѣ, гдѣ парень убилъ подъ нимъ коня ударомъ дубины и, думая навалиться на всадника, притиснулъ подъ собою своего же товарища. Но въ общей свалкѣ Хомякъ не разглядѣлъ его лица, да впрочемъ въ Митькиной наружности и не было ничего примѣчательнаго. Хомякъ не узналъ его.

— Чѣмъ хочешь ты драться?—спросилъ приставленный къ полю бояринъ, глядя съ любопытствомъ на парня, у котораго не было ни брони, ни оружія.

— Чѣмъ драться?—повторилъ Митька и обернулся назадъ, отыскивая глазами гусляра, чтобы съ нимъ посовѣтоваться.

Но гусляръ, видно, отошелъ на другое мѣсто, и сколько ни глядѣлъ Митька, онъ не могъ найти его.

— Что-жъ,—сказалъ бояринъ:—бери себѣ саблю да бронь, становись къ полю!

Митька сталъ озираться въ замѣшательствѣ.

Царю показались пріемы его забавными.

— Дать ему оружіе,—сказалъ онъ:—посмотримъ, какъ онъ умѣетъ биться!

Митькѣ подали полное вооруженіе; но онъ сколько ни старался, никакъ не могъ пролѣзть въ рукава кольчуги, а шлемъ былъ такъ малъ для головы его, что держался на одной макушкѣ.

Въ этомъ нарядѣ Митька, совершенно растерянный, оборачивался то направо, то налѣво, все еще надѣясь найти гусляра и спросить его, что̀ ему дѣлать.

Глядя на него, царь началъ громко смѣяться. Примѣру его послѣдовали сперва опричники, а потомъ и всѣ зрители.

— Чаво вы горла дярете-то?—сказалъ Митька съ неудовольствіемъ:—я и безъ вашего колпака и безъ желѣзной рубахи-то на энтова пойду!

Онъ указалъ пальцемъ на Хомяка и началъ стаскивать съ себя кольчугу.

Раздался новый хохотъ.

— Съ чѣмъ же ты пойдешь?—спросилъ бояринъ.

Митька почесалъ затылокъ.

— А нѣтъ у васъ дубины?—спросилъ онъ протяжно, обращаясь къ опричникамъ.

— Да что̀ это за дурень!—вскричали они:—откуда онъ взялся? Кто его втолкнулъ сюда? Или ты, болванъ, думаешь, мы по-мужицки дубинами бьемся?

Но Иванъ Васильевичъ забавлялся наружностью Митьки и не позволилъ прогнать его.

— Дать ему ослопъ,—сказалъ онъ:—пусть бьется какъ знаетъ!

Хомякъ обидѣлся.

— Государь! не вели мужику на холопа твоего порухи класть! — воскликнулъ онъ. — Я твоей царской милости честно въ опричникахъ служу, и съ роду еще на ослопахъ не бился!

Но царь былъ въ веселомъ расположеніи духа.

— Ты бейся саблей, — сказалъ онъ, — парень пусть бьется по-своему. Дать ему ослопъ. Посмотримъ, какъ мужикъ за Морозова постоитъ!

Принесли нѣсколько дубинъ.

Митька взялъ медленно въ руки одну за другой, осмотрѣлъ каждую и, перебравъ всѣ дубины, повернулся прямо къ царю.

— А нѣтъ ли покрѣпчае?—произнесъ онъ вялымъ голосомъ, глядя вопросительно въ очи Ивану Васильевичу.

— Принести ему оглоблю,—сказалъ царь, заранѣе потѣшаясь ожидающимъ его зрѣлищемъ.

Вскорѣ въ самомъ дѣлѣ явилась въ рукахъ Митьки тяжелая оглобля, которую опричники вывернули на-смѣхъ изъ стоявшаго на базарѣ воза.

— Что, эта годится?—спросилъ царь.

— А дляча!—отвѣчалъ Митька:—пожалуй, годится.—И, схвативъ оглоблю за одинъ конецъ, онъ для пробы махнулъ ею по воздуху такъ сильно, что вѣтеръ пронесся кругомъ, и пыль закружилась какъ отъ налетѣвшаго вихря.

— Вишь, чортъ!—промолвили, переглянувшись, опричники.

Царь обратился къ Хомяку.

— Становись! — сказалъ онъ повелительно, и прибавилъ съ усмѣшкой: — погляжу я, какъ ты увернешься отъ мужицкаго ослопа!

Митька, между тѣмъ, засучилъ рукава, плюнулъ въ обѣ руки и, сжавши ими оглоблю, потряхивалъ ею, глядя на Хомяка. Застѣнчивость его исчезла.

— Ну, ты! становись, што-ли! — произнесъ онъ съ рѣшимостью.—Я-те научу нявѣстъ красть!

Положеніе Хомяка, въ виду непривычнаго оружія и необыкновенной силы Митьки, было довольно затруднительно, а

зрители, очевидно, принимали сторону парня и уже начинали посмѣиваться надъ Хомякомъ.

Замѣшательство стремяннаго веселило царя. Онъ уже смотрѣлъ на предстоящій бой съ тѣмъ самымъ любопытствомъ, какое возбуждали въ немъ представленія скомороховъ или медвѣжья травля.

— Зачинайте бой!—сказалъ онъ, видя, что Хомякъ колеблется.

Тогда Митька поднялъ надъ головою оглоблю и началъ кружить ее, подступая къ Хомяку скокомъ.

Тщетно Хомякъ старался улучить мгновеніе, чтобы достать Митьку саблей. Ему оставалось только поспѣшно сторониться или увертываться отъ оглобли, которая описывала огромные круги около Митьки и дѣлала его недосягаемымъ.

Къ великой радости зрителей и къ немалой потѣхѣ царя, Хомякъ сталъ отступать, думая только о своемъ спасеніи: но Митька съ медвѣжьею ловкостью продолжалъ къ нему подскакивать, а оглобля, какъ буря, гудѣла надъ его головою.

— Я-те научу нявѣстъ красть! — говорилъ онъ, входя постепенно въ ярость и стараясь задѣть Хомяка по головѣ, по ногамъ и по чемъ ни попало.

Участіе зрителей къ Митькѣ проявлялось одобрительными восклицаніями и наконецъ дошло до восторга.

— Такъ! такъ!—кричалъ народъ, забывая присутствіе царя:— хорошенько его! Ай да парень! Отстаивай Морозова, стой за правое дѣло!

Но Митька думалъ не о Морозовѣ.

— Я-те научу нявѣстъ красть!—приговаривалъ онъ, кружа надъ собою оглоблю и преслѣдуя Хомяка, который увивался отъ него во всѣ стороны.

Нѣсколько разъ опричникамъ, стоявшимъ вдоль цѣпи, пришлось присѣсть къ землѣ, чтобъ избѣгнуть неминуемой смерти, когда оглобля, завывая, проносилась надъ ихъ головами.

Вдругъ раздался глухой ударъ, и Хомякъ, пораженный въ бокъ, отлетѣлъ на нѣсколько сажень и грянулся о-земь, раскинувши руки.

Площадь огласилась радостнымъ крикомъ.

Митька тотчасъ навалился на Хомяка и сталъ душить его.

— Полно! полно!—закричали опричники, а Малюта поспѣшно нагнулся къ Ивану Васильевичу и сказалъ ему съ озабоченнымъ видомъ:

— Государь, вели оттащить этого дьявола! Хомякъ у насъ лучшій человѣкъ во всей опричнинѣ.

— Тащить дурака за́ ноги!—закричалъ царь:—окатить его водой, только, чуръ, жива оставить!

Съ трудомъ удалось опричникамъ оттащить Митьку, но Хомяка подняли уже мертваго, и когда вниманіе всѣхъ обратилось на посинѣвшее лицо его, рядомъ съ Митькой очутился владимірскій гусляръ и, дернувъ его за́ полу, сказалъ ему шопотомъ:

— Иди, дурень, за мной! уноси свою голову!

И оба исчезли въ толпѣ народа.

ГЛАВА XXXII.

Ладанка Вяземскаго.

Иванъ Васильевичъ велѣлъ подозвать Морозова.

Площадь снова затихла. Всѣ въ ожиданіи устремили взоры на царя и притаили дыханіе.

— Бояринъ Дружина!—сказалъ торжественно Іоаннъ, вставая съ своего мѣста:—ты Божьимъ судомъ очистился предо мною. Господь Богъ, чрезъ одолѣніе врага твоего, показалъ твою правду, и я не оставлю тебя моею милостью. Не уѣзжай изъ Слободы до моего приказа. Но это,—продолжалъ мрачно Іоаннъ:—только половина дѣла. Еще самый судъ впереди. Привести сюда Вяземскаго!

Когда явился князь Аѳанасій Ивановичъ, царь долго глядѣлъ на него невыразимымъ взглядомъ.

— Аѳоня,—сказалъ онъ, наконецъ:—тебѣ вѣдомо, что я твердо держусь моего слова. Я положилъ, что тотъ изъ васъ, кто самъ собой, или чрезъ бойца своего, не устоитъ у поля, смерти преданъ будетъ. Боецъ твой не устоялъ, Аѳоня!

— Что́-жъ,—отвѣтилъ Вяземскій съ рѣшимостью:—вели мнѣ голову рубить, государь!

Странная улыбка прозмѣилась по устамъ Іоанна.

— Только голову рубить?—произнесъ онъ злобно. — Или ты думаешь, тебѣ только голову срубятъ? Такъ было бы, пожалуй, когда-бъ ты одному Морозову отвѣтъ держалъ, но на тебѣ еще другая кривда и другое окаянство. Малюта, подай сюда его ладанку!

И, принявъ изъ рукъ Малюты гайтанъ, брошенный Вяземскимъ, Іоаннъ поднялъ его за кончикъ.

— Это что?—спросилъ онъ, страшно глядя въ очи Вяземскаго.

Князь хотѣлъ отвѣчать, но царь не далъ ему времени.

— Рабъ лукавый! — произнесъ онъ грозно, и по жиламъ присутствующихъ пробѣжалъ холодъ.—Рабъ лукавый! Я приблизилъ тебя къ престолу моему; я возвеличилъ тебя и осыпалъ милостями, а ты что̀ учинилъ? Ты въ смрадномъ сердцѣ своемъ, аки аспидъ, задумалъ погубить меня, царя твоего, и чернокнижіемъ хотѣлъ извести меня, и затѣмъ, должно быть, ты въ опричнину просился?—Что̀ есть опричнина?—продолжалъ Іоаннъ, озираясь кругомъ и возвышая голосъ, дабы весь народъ могъ услышать его.—Я, аки господинъ винограда, поставленъ Господомъ Богомъ надъ народомъ моимъ воздѣлывати виноградъ мой. Бояре же мои, и дума, и совѣтники, не захотѣли помогать мнѣ и замыслили погубить меня, тогда взялъ я отъ нихъ виноградъ мой и отдалъ другимъ дѣлателямъ. И се есть опричнина! Званые мною на пиръ не пришли, и я послалъ на торжища и на исходища путей, и повелѣлъ призывать елицѣхъ, какіе обрѣтутся. И се опять есть опричнина! Теперь спрашиваю всѣхъ: что̀ заслужилъ себѣ гость, пришедшій на пиръ, но не облекшійся въ одѣяніе брачное? Какъ сказано о немъ въ Писа-

нія? «Связавши ему руцѣ и нозѣ, возьмите его и вверзите во тьму кромѣшную: ту будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ!»

Такъ говорилъ Іоаннъ, и народъ слушалъ безмолвно это произвольное примѣненіе евангельской притчи, не сочувствуя Вяземскому, но глубоко потрясенный быстрымъ паденіемъ сильнаго любимца.

Никто изъ опричниковъ не смѣлъ или не хотѣлъ вымолвить слова въ защиту Вяземскаго. На всѣхъ лицахъ изображался ужасъ. Одинъ Малюта въ звѣрскихъ глазахъ своихъ не выказывалъ ничего, кромѣ готовности приступить сейчасъ же къ исполненію царскихъ велѣній; да еще лицо Басманова выражало злобное торжество, хотя онъ и старался скрыть его подъ личиною равнодушія.

Вяземскій не почелъ нужнымъ оправдываться. Онъ зналъ Іоанна и рѣшился перенесть терпѣливо ожидавшія его мученія. Видъ его остался твердъ и достоинъ.

— Отведите его!—сказалъ царь. — Я положу ему казнь наровнѣ съ тѣмъ станичникомъ, что забрался ко мнѣ въ опочивальню и теперь ожидаетъ мзды своей. А колдуна, съ которымъ спознался онъ отыскать и привести въ Слободу. Пусть на пристрастномъ допросѣ дастъ еще новыя указанія. — Велика злоба князя міра сего,—продолжалъ Іоаннъ, поднявъ очи къ небу:— онъ, подобно льву рыкающему, ходитъ вокругъ, ищуще пожрати мя, и даже въ синклитѣ моемъ находитъ усердныхъ слугъ себѣ. Но я уповаю на милость Божію и, съ помощію Господа, не дамъ укорениться измѣнѣ на Руси!

Іоаннъ сошелъ съ помоста и, сѣвъ на коня, отправился обратно ко дворцу, окруженный безмолвною толпою опричниковъ.

Малюта подошелъ къ Вяземскому съ веревкой въ рукахъ.

— Не взыщи, князь!—сказалъ онъ съ усмѣшкой, скручивая ему руки назадъ:—наше дѣло холопское!

И, окруживъ Вяземскаго стражей, онъ повелъ его въ тюрьму.

Народъ сталъ расходиться, молча или толкуя шопотомъ обо всемъ случившемся, и вскорѣ опустѣла еще недавно многолюдная площадь.

ГЛАВА XXXIII.

Ладанка Басманова.

Вяземскій былъ подвергнутъ допросу, но никакія мученія не заставили его выговорить ни одного слова. Съ необыкновенною силою воли переносилъ онъ молча безчеловѣчныя истязанія, которыми Малюта старался вынудить у него сознаніе въ замыслѣ на государя. Изъ гордости, изъ презрѣнія, или потому, что жизнь ему опротивѣла, онъ даже не попытался ослабить клевету Басманова, показавъ, что его самого онъ встрѣтилъ на мельницѣ.

По приказанію царя, мельника схватили и тайно привезли въ Слободу, но къ пыткѣ его не приступали.

Басмановъ приписалъ успѣхъ своего доноса дѣйствію тирлича, который онъ всегда носилъ на себѣ, и тѣмъ болѣе убѣдился въ его чародѣйной силѣ, что Іоаннъ не показывалъ ни малѣйшаго подозрѣнія и что хотя попрежнему посмѣивался надъ Басмановымъ, но былъ къ нему довольно ласковъ.

Погубивъ одного изъ своихъ соперниковъ, видя рождающееся вновь расположеніе къ себѣ Ивана Васильевича и не зная, что мельникъ уже сидитъ въ слободской тюрьмѣ, Басмановъ сдѣлался еще высокомѣрнѣе. Онъ, слѣдуя даннымъ ему наставленіямъ, смѣло глядѣлъ въ очи царя, шутилъ съ нимъ свободно и дерзко отвѣчалъ на его насмѣшки.

Иванъ Васильевичъ все сносилъ терпѣливо.

Однажды, въ одинъ изъ своихъ обычныхъ объѣздовъ, онъ съ ближайшими любимцами, въ томъ числѣ и съ обоими Басмановыми, отслушавъ въ сосѣднемъ монастырѣ раннюю обѣдню, зашелъ къ настоятелю въ келью и удостоилъ его принять угощеніе.

Царь сидѣлъ на скамьѣ подъ образами; любимцы, исключая Скуратова, котораго не было въ объѣздѣ, стояли у стѣнъ, а игуменъ, низко кланяясь, ставилъ на столъ медовые соты, разное варенье, чаши съ молокомъ и свѣжія яйца.

Царь былъ въ добромъ расположеніи духа: онъ отвѣдывалъ отъ каждаго блюда, милостиво шутилъ и велъ душеспасительныя рѣчи. Съ Басмановымъ онъ былъ ласковѣе обыкновеннаго, и Басмановъ еще болѣе убѣдился въ неотразимой силѣ тирлича.

Въ это время послышался за оградою конскій топотъ.

— Ѳедя,—сказалъ Іоаннъ:—посмотри, кто тамъ пріѣхалъ.

Басмановъ не успѣлъ подойти къ двери, какъ она отворилась, и у порога показался Малюта Скуратовъ.

Выраженіе его было таинственно, и въ немъ проглядывала злобная радость.

— Войди, Лукьянычъ!—сказалъ привѣтливо царь:—съ какою тебя вѣстью Богъ принесъ?

Малюта переступилъ черезъ порогъ и, переглянувшись съ царемъ, сталъ креститься на образа.

— Откуда ты?—спросилъ Іоаннъ, какъ будто онъ вовсе не ожидалъ его.

Но Малюта, не спѣша отвѣтомъ, сперва отвѣсилъ ему поклонъ, а потомъ подошелъ къ игумену.

— Благослови отче,—сказалъ онъ нагибаясь, а между тѣмъ покосился на Ѳедора Басманова, котораго вдругъ обдало не добрымъ предчувствіемъ.

— Откуда ты?—повторилъ Іоаннъ, подмигнувъ непримѣтно Скуратову.

— Изъ тюрьмы, государь, колдуна пыталъ.

— Ну, что́ же?—спросилъ царь и бросилъ бѣглый взглядъ на Басманова.

— Да все бормочетъ; трудно разобрать. Одно поняли мы, когда стали ему вертлюги ломать: «Вяземскій, дескать, не одинъ ко мнѣ ѣзживалъ; ѣзживалъ и Ѳедоръ Алексѣевичъ Басмановъ, и корень-де взялъ у меня, и носитъ тотъ корень теперь на шеѣ».

И Малюта опять покосился на Басманова.

Басмановъ измѣнился въ лицѣ. Вся наглость его исчезла.

— Государь, — сказалъ онъ, дѣлая необыкновенное усиліе, чтобы казаться спокойнымъ:—должно быть, онъ за то облыгаетъ меня, что выдалъ я его твоей царской милости!

чины отдастъ, а будетъ побьетъ простой человѣкъ, тому князь пожалуетъ всю казну, какая есть у него!

Никто не откликался; всѣ знали, что дѣло Морозова свято, и царь, несмотря на ненависть свою къ Дружинѣ Андреевичу, уже готовился объявить его правымъ, какъ вдругъ послышались крики:

— Идетъ охотникъ! Идетъ! — И внутри оцѣпленнаго мѣста явился Матвѣй Хомякъ.

— Гой-да! — сказалъ онъ, свистнувъ саблею по воздуху.— Подходи, боярин, я за Вяземскаго!

При видѣ Хомяка, Морозовъ, дожидавшійся доселѣ съ голымъ тесакомъ, обратился съ негодованіемъ къ приставамъ поединка.

— Не стану биться съ наймитомъ!—произнесъ онъ гордо.— Невмѣстно боярину Морозову мѣряться со стремяннымъ Гришки Скуратова.

И опустивъ тесакъ въ ножны, онъ подошелъ къ мѣсту, гдѣ сидѣлъ царь.

— Государь, — сказалъ онъ: — ты дозволилъ ворогу моему поставить бойца вмѣсто себя, дозволь же и мнѣ найти наймита противъ наймита, не то вели оставить поле до другого раза.

Какъ ни желалъ Иванъ Васильевичъ погубить Морозова, но просьба его была слишкомъ справедлива. Царю не захотѣлось ъ Божьемъ судѣ прослыть пристрастнымъ.

— Кричи бирючъ! — сказалъ онъ гнѣвно: — а если не найдешь охотника, бейся самъ или сознайся въ своей кривдѣ и ступай на плаху!

Между тѣмъ, Хомякъ прохаживался вдоль цѣпи, махая саблей и посмѣиваясь надъ зрителями.

— Вишь,—говорилъ онъ:—много васъ, воронъ, собралось, а нѣтъ ни одного яснаго сокола промежъ васъ. Что бы хоть одному выйти, мою саблю обновить, государя потѣшить! Молотимши, видно, руки отмахали? На печи лежа, бока отлежали!

— Ахъ ты, чортъ! — проговорилъ вполголоса гусляръ:—ужъ

я-бъ тебѣ далъ, кабы была при мнѣ моя сабля! Смотри! — продолжалъ онъ, толкая подъ-бокъ товарища:—узнаешь ты его?

Но парень не слыхалъ вопроса. Онъ разинулъ ротъ и, казалось, впился глазами въ Хомяка.

— Что-жъ,—продолжалъ Хомякъ:—видно нѣтъ между вами охотниковъ? Эй, вы, аршинники, калашники, пряхи, ткачихи! Кто хочетъ со мной помѣряться?

— А я!—раздался неожиданно голосъ парня, и, ухватясь обѣими руками за цѣпь, онъ перекинулъ ее черезъ голову и чуть не вырвалъ дубовыхъ кольевъ, къ которыхъ она была придѣлана.

Онъ очутился внутри ограды и, казалось, самъ былъ удивленъ своею смѣлостью.

Выпучивъ глаза и разиня ротъ, онъ смотрѣлъ то на Хомяка, то на опричниковъ, то на самого царя, но не говорилъ ни слова.

— Кто ты?—спросилъ его бояринъ, приставленный къ полю.

— Я-то?—сказалъ онъ и, подумавъ немного, усмѣхнулся.

— Кто-ты?—повторилъ бояринъ.

— А Митька!—отвѣтилъ онъ добродушно и какъ бы удивляясь вопросу.

— Спасибо тебѣ молодецъ! — сказалъ Морозовъ парню:— спасибо, что хочешь за правду постоять. Коли одолѣешь ворога моего, не пожалѣю для тебя казны. Не все у меня добро разграблено; благодаря Божьей милости, есть еще чѣмъ бойца моего наградить!

Хомякъ видѣлъ Митьку на Поганой-Лужѣ, гдѣ парень убилъ подъ нимъ коня ударомъ дубины и, думая навалиться на всадника, притиснулъ подъ собою своего же товарища. Но въ общей свалкѣ Хомякъ не разглядѣлъ его лица, да впрочемъ въ Митькиной наружности и не было ничего примѣчательнаго. Хомякъ не узналъ его.

— Чѣмъ хочешь ты драться?—спросилъ приставленный къ полю бояринъ, глядя съ любопытствомъ на парня, у котораго не было ни брони, ни оружія.

— Чѣмъ драться?—повторилъ Митька и обернулся назадъ, отыскивая глазами гусляра, чтобы съ нимъ посовѣтоваться.

Но гусляръ, видно, отошелъ на другое мѣсто, и сколько ни глядѣлъ Митька, онъ не могъ найти его.

— Что-жъ,—сказалъ бояринъ:—бери себѣ саблю да бронь, становись къ полю!

Митька сталъ озираться въ замѣшательствѣ.

Царю показались пріемы его забавными.

— Дать ему оружіе,—сказалъ онъ:—посмотримъ, какъ онъ умѣетъ биться!

Митькѣ подали полное вооруженіе; но онъ сколько ни старался, никакъ не могъ пролѣзть въ рукава кольчуги, а шлемъ былъ такъ малъ для головы его, что держался на одной макушкѣ.

Въ этомъ нарядѣ Митька, совершенно растерянный, оборачивался то направо, то налѣво, все еще надѣясь найти гусляра и спросить его, что̀ ему дѣлать.

Глядя на него, царь началъ громко смѣяться. Примѣру его послѣдовали сперва опричники, а потомъ и всѣ зрители.

— Чаво вы горла дярете-то?—сказалъ Митька съ неудовольствіемъ:—я и безъ вашего колпака и безъ желѣзной рубахи-то на энтова пойду!

Онъ указалъ пальцемъ на Хомяка и началъ стаскивать съ себя кольчугу.

Раздался новый хохотъ.

— Съ чѣмъ же ты пойдешь?—спросилъ бояринъ.

Митька почесалъ затылокъ.

— А нѣтъ у васъ дубины?—спросилъ онъ протяжно, обращаясь къ опричникамъ.

— Да что̀ это за дурень!—вскричали они:—откуда онъ взялся? Кто его втолкнулъ сюда? Или ты, болванъ, думаешь, мы по-мужицки дубинами бьемся?

Но Иванъ Васильевичъ забавлялся наружностью Митьки и не позволилъ прогнать его.

— Дать ему ослопъ,—сказалъ онъ:—пусть бьется какъ знаетъ!

Хомякъ обидѣлся.

— Государь! не вели мужику на холопа твоего порухи класть! — воскликнулъ онъ. — Я твоей царской милости честно въ опричникахъ служу, и съ роду еще на ослопахъ не бился!

Но царь былъ въ веселомъ расположеніи духа.

— Ты бейся саблей, — сказалъ онъ, — парень пусть бьется по-своему. Дать ему ослопъ. Посмотримъ, какъ мужикъ за Морозова постоитъ!

Принесли нѣсколько дубинъ.

Митька взялъ медленно въ руки одну за другой, осмотрѣлъ каждую и, перебравъ всѣ дубины, повернулся прямо къ царю.

— А нѣтъ ли покрѣпчае?—произнесъ онъ вялымъ голосомъ, глядя вопросительно въ очи Ивану Васильевичу.

— Принести ему оглоблю,—сказалъ царь, заранѣе потѣшаясь ожидающимъ его зрѣлищемъ.

Вскорѣ въ самомъ дѣлѣ явилась въ рукахъ Митьки тяжелая оглобля, которую опричники вывернули на-смѣхъ изъ стоявшаго на базарѣ воза.

— Что, эта годится?—спросилъ царь.

— А дляча!—отвѣчалъ Митька:—пожалуй, годится.—И, схвативъ оглоблю за одинъ конецъ, онъ для пробы махнулъ ею по воздуху такъ сильно, что вѣтеръ пронесся кругомъ, и пыль закружилась какъ отъ налетѣвшаго вихря.

— Вишь, чортъ!—промолвили, переглянувшись, опричники.

Царь обратился къ Хомяку.

— Становись! — сказалъ онъ повелительно, и прибавилъ съ усмѣшкой: — погляжу я, какъ ты увернешься отъ мужицкаго ослопа!

Митька, между тѣмъ, засучилъ рукава, плюнулъ въ обѣ руки и, сжавши ими оглоблю, потряхивалъ ею, глядя на Хомяка. Застѣнчивость его исчезла.

— Ну, ты! становись, што-ли! — произнесъ онъ съ рѣшимостью.—Я-те научу нявѣстъ красть!

Положеніе Хомяка, въ виду непривычнаго оружія и необыкновенной силы Митьки, было довольно затруднительно, а

Государь,—отвѣтилъ онъ:—какъ Морозовъ во всю жизнь чинилъ, такъ и до смерти чинить будетъ. Старъ я, государь, перенимать новые обычаи. Наложи опять опалу на меня, прогони отъ очей твоихъ—а ниже Годунова не сяду!

Всѣ въ изумленіи переглянулись. Но царь, казалось, ожидалъ этого отвѣта. Выраженіе лица его осталось спокойно.

— Борисъ,—сказалъ онъ Годунову:—тому скоро два года я боярина Дружину, за такой же отвѣтъ, выдалъ тебѣ головою. Но видно мнѣ пора измѣнить мой обычай. Должно быть, ужъ не мы земскимъ, а земскіе намъ будутъ указывать! Должно быть, ужъ я и въ домишкѣ моемъ не хозяинъ! Придется мнѣ, убогому, забрать свою рухлядишку и бѣжать съ людишками моими куда-нибудь подалѣ! Прогонятъ они меня отсюда, калику перехожаго, какъ отъ Москвы прогнали!

— Государь,—сказалъ смиренно Годуновъ, желая выручить Морозова:—не намъ, а тебѣ о мѣстахъ судить. Старые люди крѣпко держатся стараго обычая, и ты не гнѣвись на боярина, что помнитъ онъ разряды. Коли дозволишь, государь, я сяду ниже Морозова; за твоимъ столомъ всѣ мѣста хороши!

Онъ сдѣлалъ движеніе, какъ бы готовясь встать, но Іоаннъ удержалъ его взглядомъ.

— Бояринъ подлинно старъ!—сказалъ онъ хладнокровно, и умѣренность его въ виду явнаго непокорства исполнила всѣхъ ожиданіемъ. Всѣ чувствовали, что готовится что-то необыкновенное, но нельзя было угадать, какъ проявится царскій гнѣвъ, коего приближеніе выказывала лишь легкая судорога на лицѣ, напоминающая дрожаніе отдаленной зарницы.

Всѣ груди были стѣснены какъ передъ наступающей бурей.

— Да,—продолжалъ спокойно Іоаннъ:—бояринъ подлинно старъ, но разумъ его молодъ не по лѣтамъ. Больно онъ любитъ шутить. Я тоже люблю шутить, и въ свободное отъ дѣла и молитвы время я не прочь отъ веселья. Но съ того дня, какъ умеръ шутъ мой Ногтевъ, некому потѣшать меня. Дружинѣ, я вижу, это ремесло по-сердцу; я же обѣщалъ не оставить его

моею милостію, а потому жалую его моимъ первымъ шутомъ. Подать сюда кафтанъ Ногтева и надѣть его на боярина!

Судороги на лицѣ царя заиграли чаще, но голосъ остался попрежнему спокоенъ.

Морозовъ стоялъ какъ пораженный громомъ. Багровое лицо еще поблѣднѣло, кровь отхлынула къ сердцу, очи засверкали, а брови сначала заходили, а потомъ сдвинулись такъ грозно, что даже вблизи Ивана Васильевича выраженіе его показалось страшнымъ. Онъ еще не вѣрилъ ушамъ своимъ; онъ сомнѣвался, точно ли царь хочетъ обезчестить всенародно его, Морозова, гордаго боярина, коего заслуги и древняя доблесть были давно всѣмъ извѣстны.

Онъ стоялъ молча, вперивъ въ Іоанна неподвижный, вопрошающій взоръ, какъ бы ожидая, что онъ одумается и возьметъ назадъ свое слово. Но Василій Грязной, по знаку царя, всталъ изъ-за стола и подошелъ къ Дружинѣ Андреевичу, держа въ рукахъ пестрый кафтанъ, полупарчевый, полусермяжный, со множествомъ заплатъ, бубенчиковъ и колокольцевъ.

— Надѣвай, бояринъ!—сказалъ Грязной:—великій государь жалуетъ тебя этимъ кафтаномъ съ плеча выбылого шута своего Ногтева!

— Прочь!—воскликнулъ Морозовъ, отталкивая Грязного:—не смѣй, кромѣшникъ, касаться боярина Морозова, котораго предкамъ твои предки въ псаряхъ и въ холопяхъ служили!

И, обращаясь къ Іоанну, онъ произнесъ дрожащимъ отъ негодованія голосомъ:

— Государь, возьми назадъ свое слово! Вели меня смерти предать! Въ головѣ моей ты волёнъ, но въ чести моей не волёнъ никто!

Иванъ Васильевичъ посмотрѣлъ на опричниковъ.

— Правду я говорилъ, что Дружина любитъ шутить? Вы слышали? Я не волёнъ жаловать его кафтаномъ!

— Государь,—продолжалъ Морозовъ:—именемъ Господа Бога молю тебя, возьми свое слово назадъ! Еще не родился ты, когда уже покойный батюшка твой жаловалъ меня. Когда я,

вмѣстѣ съ Хабаромъ Симскимъ, разбилъ Чувашъ и Черемисъ на Свіягѣ, когда съ князьями Одоевскимъ и Мстиславскимъ прогналъ отъ Оки крымскаго царевича и татарскій набѣгъ отъ Москвы отвратилъ! Много ранъ получилъ я, много крови пролилъ на службѣ батюшки твоего и на твоей, государь! Не берегъ я головы ни въ ратномъ дѣлѣ, ни въ думѣ боярской, спорилъ, въ малолѣтство твое, за тебя и за матушку твою съ Шуйскими и съ Бѣльскими! Одною только честью дорожилъ я, и никому, въ цѣлую жизнь мою, не далъ запятнать ее! Ты ли теперь опозоришь мои сѣдые волосы? Ты ли наругаешься надъ слугою родителя твоего? Вели казнить меня, государь, вели мнѣ голову на плаху понести, и я съ радостью пойду на мученья, какъ прежде на битвы хаживалъ.

Всѣ молчали, потрясенные сильною рѣчью Морозова; но среди общей тишины раздался голосъ Іоанна.

— Довольно болтать!—сказалъ онъ грозно, переходя отъ насмѣшливости къ явному гнѣву: — твои глупыя рѣчи, старикъ, показали, что ты добрымъ будешь шутомъ. Надѣвай дурацкое платье!

— Вы!—продолжалъ царь, повернувшись къ опричникамъ:— помогите ему; онъ привыкъ, чтобы ему прислуживали.

Если бы Морозовъ покорился, или, упавъ къ ногамъ царя, сталъ бы униженно просить о пощадѣ, быть можетъ, и смягчился бы Иванъ Васильевичъ. Но видъ Морозова былъ слишкомъ гордъ, голосъ слишкомъ рѣшителенъ; въ самой просьбѣ его слышалась непреклонность, и этого не могъ снести Іоаннъ. Онъ ощущалъ ко всѣмъ сильнымъ нравамъ неодолимую ненависть, и одна изъ причинъ, по коимъ онъ еще недавно, не отдавая себѣ отчета, отвратилъ сердце свое отъ Вяземскаго, была извѣстная ему самостоятельность князя.

Въ одинъ мигъ опричники сорвали съ Морозова верхнюю одежду и напялили на него кафтанъ съ колокольцами.

Послѣ послѣднихъ словъ Іоанна Морозовъ пересталъ противиться. Онъ далъ себя одѣть, и молча смотрѣлъ, какъ опричники со смѣхомъ поправляли и обдергивали на немъ кафтанъ.

Мысли его ушли въ глубь сердца; онъ сосредоточился въ самомъ себѣ.

— А шапку-то позабыли?—сказалъ Грязной, надѣвая на голову Морозова пестрый колпакъ, и, отступивъ назадъ, онъ поклонился ему до-полу.

— Дружина Андреевичъ!—сказалъ онъ:—бьемъ тебѣ челомъ на новой должности! Потѣшай насъ, какъ покойный Ногтевъ потѣшалъ!

Тогда Морозовъ поднялъ голову и обвелъ глазами собраніе.

— Добро!—сказалъ онъ громко и твердо:—принимаю новую царскую милость. Боярину Морозову невмѣстно было сидѣть рядомъ съ Годуновымъ, но царскому шуту пристойно быть за царскимъ столомъ съ Грязными и Басмановыми. Раздвиньтесь, страдники! мѣсто новому скомороху! Пропустите шута и слушайте всѣ, какъ онъ будетъ потѣшать Ивана Васильевича.

Морозовъ сдѣлалъ повелительный знакъ, и опричники невольно посторонились.

Гремя колокольцами, бояринъ подошелъ къ столу и опустился на скамью, напротивъ Іоанна, съ такою величественною осанкой, какъ будто на немъ вмѣсто шутовскаго кафтана была царская риза.

— Какъ же мнѣ потѣшать тебя, государь?—спросилъ онъ, положивъ локти на столъ, глядя прямо въ очи Ивану Васильевичу.—Мудренъ ты сталъ на потѣхи, ничѣмъ не удивишь тебя! Какихъ шутокъ не перешучено на Руси, съ тѣхъ поръ какъ ты государишь! Потѣшался ты, когда былъ еще отрокомъ, и конемъ давилъ народъ на улицахъ; потѣшался ты, когда на охотѣ велѣлъ псарямъ князя Шуйскаго зарѣзать; потѣшался, когда выборные люди изъ Пскова пришли плакаться тебѣ на твоего намѣстника, а ты приказалъ имъ горячею смолою бороды палить.

Опричники хотѣли вскочить съ своихъ мѣстъ и броситься на Морозова, царь удержалъ ихъ знáкомъ.

— Но, — продолжалъ Морозовъ: — то все было ребяческое веселье; оно скоро тебѣ надоѣло. Ты началъ знаменитыхъ лю-

дей въ монахи постригать, а женъ и дочерей ихъ себѣ на потѣху позорить. И это тебѣ прискучило. Сталъ ты выбирать тогда лучшихъ слугъ твоихъ и мýкамъ предавать. Тутъ дѣло пошло повеселѣе, только не надолго. Не все же ругаться надъ народомъ да надъ боярами. Давай и надъ церковью Христовою поглумимся! Вотъ и набралъ ты всякой голи кабацкой, всякой скаредной сволочи; нарядилъ ее въ рясы монашескія, и самъ монахомъ нарядился, и стали вы днемъ людей рѣзать, а ночью акаѳисты пѣть. Самъ ты, кровью обрызганъ, и пѣлъ, и звонилъ, и чуть ли обѣдню не служилъ. Эта потѣха вышла изо всѣхъ веселѣйшая; такой, опричь тебя, никому и не выдумать!

— Что же сказать тебѣ, государь? Какъ еще распотѣшить тебя? А развѣ вотъ что скажу: пока ты со своею опричниной въ машкерахъ пляшешь, къ заутрени звонишь, да кровью упиваешься, наступитъ на тебя съ заката Жигимонтъ, напрутъ съ полуночи Нѣмцы да Чудь, а съ полудня и съ восхода подымется ханъ. Нахлынетъ орда на Москву, и не будетъ воеводъ отстаивать святыни Господней! Запылаютъ храмы Божіи съ мощами святителей, настанутъ опять Батыевы времена. И будешь ты, царь всея Руси, въ ноги кланяться хану и, стоя на колѣняхъ, стремя его цѣловать!

Морозовъ замолкъ.

Никто не прерывалъ его рѣчи; всѣмъ она захватила дыханье. Царь слушалъ, наклонясь впередъ, блѣдный, съ пылающими очами, съ пѣною у рта. Судорожно сжималъ онъ ручки креселъ и, казалось, боялся проронить единое слово Морозова, и каждое врѣзывалъ въ память, чтобы за каждое заплатить ему особою мýкой.

Всѣ опричники были блѣдны; никто не рѣшался взглянуть на царя. Годуновъ опустилъ глаза и не смѣлъ дышать, чтобы не привлечь на себя вниманіе. Самому Малютѣ было неловко.

Вдругъ Грязной выхватилъ ножъ, подбѣжалъ къ Іоанну и сказалъ, указывая на Морозова:

— Дозволь, государь, ему глотку заткнуть.

— Не смѣй,—проговорилъ царь почти шопотомъ и задыхаясь отъ волненія:—дай его милости до конца договорить!

Морозовъ гордо повелъ очами.

— Еще шутокъ хочешь государь? Изволь, я тебя потѣшу! Оставался у тебя изъ вѣрныхъ слугъ твоихъ еще одинъ, древняго боярскаго рода! Его ты откладывалъ казнить, потому ли, что страшился Божьяго гнѣва, или что не придумалъ еще достойной казни ему. Жилъ онъ далеко отъ тебя, подъ опалою, и могъ бы ты забыть про него; но ты, государь, никого не забываешь! Послалъ ты къ нему своего окаяннаго Вяземскаго, сжечь его домъ и жену увезти. Когда-жъ онъ пришелъ къ тебѣ просить суда на Вяземскаго, ты заставилъ ихъ биться себѣ на потѣху, чая, что Вяземскій убьетъ стараго слугу твоего. Но Бэгъ не захотѣлъ его погибели, показалъ его правду.

— Что́ же ты сдѣлалъ тогда государь? Тогда,—продолжалъ Морозовъ, и голосъ его задрожалъ и колокольцы затряслись на одеждѣ:—тогда тебѣ показалось мало безчестія на слугѣ твоемъ и ты порѣшилъ опозорить его еще неслыханнымъ, небывалымъ позоромъ!

— Тогда,—воскликнулъ Морозовъ, отталкивая столъ и вставая съ мѣста:—тогда ты, государь, боярина Морозова одѣлъ въ шутовской кафтанъ и велѣлъ ему, спасшему Тулу и Москву, забавлять тебя вмѣстѣ со скаредными твоими кромѣшниками!

Грозенъ былъ видъ стараго воеводы среди безмолвныхъ опричниковъ. Значеніе шутовской его одежды исчезло. Изъподъ густыхъ бровей сверкали молніи. Бѣлая борода величественно падала на грудь, пріявшую нѣкогда много вражьихъ ударовъ, но испещренную нынѣ яркими заплатами; а въ негодующемъ взорѣ было столько достоинства, столько благородства, что въ сравненіи съ нимъ Иванъ Васильевичъ показался мелокъ.

— Государь,—продолжалъ, возвышая голосъ, Морозовъ:—новый шутъ твой передъ тобою. Слушай его послѣднюю шутку! Пока ты живъ, уста народа русскаго запечатаны страхомъ, но минуетъ твое звѣрское царенье, и останется на землѣ лишь

память дѣлъ твоихъ, и перейдетъ твое имя отъ потомковъ къ потомкамъ на вѣчное проклятіе, доколѣ не настанетъ страшный судъ Господень! И тогда всѣ сотни и тысячи избіенныхъ тобою, всѣ сонмы мужей и женъ, младенцевъ и старцевъ, всѣ, кого ты погубилъ и измучилъ, всѣ предстанутъ передъ Господомъ, вопія на тебя, мучителя своего! И въ оный страшный день предстану и я передъ вѣчнымъ Судьею, предстану въ этой самой одеждѣ и потребую обратно моей чести, что̀ ты отнялъ у меня на землѣ! И не будетъ съ тобою кромѣшниковъ твоихъ заградить уста вопіющихъ, и услышитъ ихъ Судія, и будешь ты ввергнутъ въ пламень вѣчный, уготованный діаволу и аггеломъ его!

Морозовъ замолчалъ и, бросивъ презрительный взоръ на царскихъ любимцевъ, повернулся къ нимъ спиною и медленно удалился.

Никто не подумалъ остановить его. Важно прошелъ онъ между рядами столовъ, и только когда замеръ звонъ его колокольцевъ, опричники очнулись отъ оцѣпенѣнія; а Малюта, вставъ изъ-за стола, сказалъ Ивану Васильевичу:

— Прикажешь сейчасъ порѣшить его, государь, или пока въ тюрьму посадить?

— Въ тюрьму!—произнесъ Іоаннъ, переводя дыханіе.—Беречь его! Кормить его! Не пытать, чтобы не издохъ до времени: ты отвѣчаешь за него головой!

Вечеромъ у царя было особенное совѣщаніе съ Малютой.

Колычевы, давно уже сидѣвшіе въ тюрьмѣ и пытаемые Малютой, частью сознались во взводимой на нихъ измѣнѣ, частью были, по мнѣнію Іоанна, достаточно уличены друзьями ихъ и холопями, которые, не выдержавъ пытки, на нихъ показывали.

Много и другихъ лицъ было замѣшано въ это дѣло. Схваченные по приказанію царя и жестоко истязуемые, кто въ Москвѣ, кто въ Слободѣ, они, въ свою очередь, называли много именъ, и число пытаемыхъ росло съ каждымъ днемъ и выросло наконецъ до трехсотъ человѣкъ.

Иванъ Васильевичъ, дорожа мнѣніемъ иностранныхъ державъ, положилъ подождать отъѣзда бывшихъ тогда въ Москвѣ литовскихъ пословъ и учинить осужденнымъ въ одинъ день общую казнь; а дабы дѣйствіе ея было поразительнѣе и устрашило бы мятежниковъ на будущее время, казни сей надлежало совершиться въ Москвѣ, въ виду всего народа.

Въ тотъ же самый день царь назначилъ казнить Вяземскаго и Басманова. Мельникъ, какъ чародѣй, осужденъ былъ въ сожженію на кострѣ, а Коршуну, дерзнувшему забраться въ царскую опочивальню и котораго берегли доселѣ на торжественный случай, Іоаннъ готовилъ исключительныя, еще небывалыя муки. Той же участи онъ обрекъ и Морозова.

О подробностяхъ этой общей казни царь разговаривалъ до поздней ночи, и пѣтухи уже два раза пропѣли, когда онъ отпустилъ Малюту и удалился въ свою образную.

ГЛАВА XXXV.

Казнь.

По отъѣздѣ литовскихъ пословъ, наканунѣ дня, назначеннаго для торжественной казни, московскіе люди съ ужасомъ увидѣли ея приготовленія.

На большой торговой площади, внутри Китай-города, было поставлено множество висѣлицъ. Среди нихъ стояло нѣсколько срубовъ съ плахами. Немного подалѣ висѣлъ на перекладинѣ между столбовъ огромный желѣзный котелъ. Съ другой стороны срубовъ торчалъ одинокій столбъ, съ придѣланными къ нему цѣпями, а вокругъ столба работники наваливали костеръ. Разныя неизвѣстныя орудія виднѣлись между висѣлицами и возбуждали въ толпѣ боязливыя догадки, отъ которыхъ сердце заранѣе сжималось.

Мало-по-малу всѣ пришедшіе торговать на базаръ разошлись въ испугѣ. Опустѣла не только площадь, но и окрестныя улицы. Жители заперлись въ домахъ и шопотомъ говорили о предстоя-

щемъ событіи. Слухъ о страшныхъ приготовленіяхъ разнесся по всей Москвѣ, и вездѣ воцарилась мертвая тишина. Лавки закрылись, никто не показывался на улицахъ, и лишь время отъ времени проскакивали по нимъ гонцы, посылаемые съ приказаніями отъ Арбата, гдѣ Іоаннъ остановился въ любимомъ своемъ теремѣ. Въ Китай-городѣ не слышно было другого шума, кромѣ стука плотничьихъ топоровъ да говора опричниковъ, распоряжавшихся работами.

Когда настала ночь, затихли и эти звуки, и мѣсяцъ, поднявшись изъ-за зубчатыхъ стѣнъ Китай-города, освѣтилъ безлюдную площадь, всю взъерошенную кольями и висѣлицами. Ни одного огонька не свѣтилось въ окнахъ, всѣ ставни были закрыты, лишь кое-гдѣ тускло теплились лампады передъ наружными образами церквей. Но никто не спалъ въ эту ночь; всѣ молились, ожидая разсвѣта.

Наконецъ роковое утро настало, и въ небѣ послышалось усиленное карканье воронъ и галокъ, которыя, чуя близкую кровь, слетались отовсюду въ Китай-городъ, кружились стаями надъ площадью и унизывали черными рядами церковные кресты, князьки и гребни домовъ и самыя висѣлицы.

Тишину прервалъ отдаленный звонъ бубенъ и тулумбасовъ, который медленно приближался къ площади. Показалась толпа конныхъ опричниковъ, по пяти въ рядъ. Впереди ѣхали бубенщики, чтобы разгонять народъ и очищать дорогу государю, но они напрасно трясли свои бубны и били вощагами въ тулумбасы: нигдѣ не видно было живой души.

За опричниками ѣхалъ самъ царь Иванъ Васильевичъ, верхомъ, въ большомъ нарядѣ, съ колчаномъ у сѣдла, съ золоченымъ лукомъ за спиною. Вѣнецъ его шишака былъ украшенъ Деисусомъ, то-есть изображеніемъ на финифти Спасителя, а по сторонамъ Богородицы, Іоанна Предтечи и разныхъ святыхъ. Чепракъ подъ нимъ блисталъ дорогими каменьями, а на шеѣ у вороного коня, вмѣсто науза, болталась собачья голова.

Рядомъ съ царемъ былъ виденъ царевичъ Іоаннъ, а позади ѣхала толпа ближайшихъ царедворцевъ, по три въ рядъ. За-

ними шло слишкомъ триста человѣкъ осужденныхъ на смерть. Скованные цѣпями, изнуренные пыткой, они съ трудомъ передвигали ноги, повинуясь понуждающимъ ихъ опричникамъ.

Шествіе заключалъ многочисленный отрядъ конницы.

Когда поѣздъ въѣхалъ въ Китай-городъ и все войско, спѣшившись, размѣстилось у висѣлицъ, Іоаннъ, не сходя съ коня, посмотрѣлъ кругомъ и съ удивленіемъ увидѣлъ, что на площади не было ни одного зрителя.

— Сгонять народъ!—сказалъ онъ опричникамъ. — Да никто не убоится! Повѣдайте людямъ московскимъ, что царь казнитъ своихъ злодѣевъ, безвиннымъ же обѣщаетъ милость.

Вскорѣ площадь стала наполняться народомъ, ставни отворились, и у оконъ показались блѣдныя, боязливыя лица.

Между тѣмъ костеръ, разложенный подъ котломъ, запылалъ, и на срубы взошли палачи.

Іоаннъ велѣлъ вывести изъ числа осужденныхъ нѣкоторыхъ менѣе виновныхъ.

— Человѣки!—сказалъ онъ имъ громко и внятно, дабы всѣ на площади могли его слышать:—вы дружбой вашею и хлѣбомъ-солью съ измѣнщиками моими заслужили себѣ равную съ ними казнь; но я, въ умиленіи сердца, скорбя о погубленіи душъ вашихъ, милую васъ и дарую вамъ животъ, дабы вы покаяніемъ искупили вины ваши и молились за меня, недостойнаго!

По знаку царя, прощенныхъ отвели въ сторону.

— Люди московскіе! — сказалъ тогда Іоаннъ: — вы узрите нынѣ казни и мученія; но караю злодѣевъ, которые хотѣли предать врагамъ государство! Плачуще, предаю тѣлеса ихъ терзанію, яко азъ есмь судія, поставленный Господомъ судити народы мои! И нѣсть лицепріятія въ судѣ моемъ, яко, подобно Аврааму, подъявшему ножъ на сына, я самыхъ ближнихъ моихъ на жертву приношу! Да падетъ же кровь сія на главу враговъ моихъ!

Тогда изъ среды оставшихся осужденныхъ вывели прежде всѣхъ боярина Дружину Андреевича Морозова.

Іоаннъ, въ первомъ порывѣ раздраженія, обрекъ-было его

на самыя страшныя мýки; но по непонятной измѣнчивости нрава, а можетъ быть и вслѣдствіе общей любви Москвитянъ къ боярину, онъ наканунѣ казни отмѣнилъ свои распоряженія и осудилъ его на менѣе жестокую смерть.

Думный дьякъ государевъ, стоя у сруба, развернулъ длинный свитокъ и прочелъ громогласно:

— Бывшій бояринъ Дружина! Ты хвалился замутить государство, призвать крымскаго хана и литовскаго короля Жигимонта, и многія другія бѣды и тѣсноты на Руси учинить. Ты же дерзнулъ злыми, кусательными словами поносить самого государя, царя и великаго князя всея Руси, и добрыхъ слугъ его на непокорство подымать. Заслужилъ ты себѣ истязанія паче смерти; но великій государь, помня прежнія доблести твои, отъ жалости сердца, повелѣлъ тебя, особно отъ другихъ, и минуя прочія муки, скорою смертью казнить, голову тебѣ отсѣчь, остатковъ же твоихъ на его государскій обиходъ не отписывать!

Морозовъ, уже взошедшій на срубъ, перекрестился.

— Вѣдаю себя чистымъ предъ Богомъ и предъ государемъ,— отвѣтствовалъ онъ спокойно:—предаю душу мою Господу Іисусу Христу, у государя же прошу единой милости: что̀ останется послѣ меня добра моего, то все пусть раздѣлится на три части: первую часть на церкви Божія и на поминъ души моей; другую — нищей братіи, а третью — вѣрнымъ слугамъ и холопямъ моимъ; а кабальныхъ людей и рабовъ отпускаю вѣчно на волю! Вдовѣ же моей прощаю, и вольно ей выйти за кого похочетъ!

Съ сими словами Морозовъ еще разъ перекрестился и опустилъ голову на плаху.

Раздался глухой ударъ, голова Дружины Андреевича покатилась, и благородная кровь его обагрила доски помоста.

За нимъ опричники, къ удивленію народа, вывели оружничаго государева, князя Вяземскаго, кравчаго Ѳедора Басманова и отца его Алексѣя, на котораго Ѳедоръ показалъ на пыткѣ.

— Люди московскіе! — сказалъ Іоаннъ, указывая на осу-

жденныхъ:—се зрите моихъ и вашихъ злодѣевъ! Они, забывъ крестное свое цѣлованіе, тѣснили васъ отъ имени моего, и, не страшася суда Божія, грабили животы ваши и губили народъ, который я же ихъ поставилъ боронити. И се нынѣ пріимутъ, по дѣламъ своимъ, достойную мзду!

Вяземскій и оба Басмановы, какъ обманувшіе царское довѣріе, были осуждены на жестокія муки.

Дьякъ прочелъ имъ обвиненіе въ намѣреніи извести царя чарами, въ преступныхъ сношеніяхъ съ врагами государства и въ притѣсненія народа именемъ Іоанновымъ.

Когда палачи, схвативъ Ѳедора Басманова, взвели его на помостъ, онъ обернулся къ толпѣ зрителей и закричалъ громкимъ голосомъ:

— Народъ православный! хочу передъ смертью покаяться въ грѣхахъ моихъ! Хочу, чтобы всѣ люди вѣдали мою исповѣдь! Слушайте, православные...

Но Малюта, стоявшій сзади, не далъ ему продолжать. Онъ ловкимъ ударомъ сабли снесъ ему голову въ тотъ самый мигъ, какъ онъ готовился начать свою исповѣдь.

Окровавленный трупъ его упалъ на помостъ, а отлетѣвшая голова подкатилась, звеня серьгами, подъ ноги царскому коню, который откачнулся, фыркая и косясь на нее испуганнымъ окомъ. Басмановъ послѣднею наглостью избавился отъ ожидавшихъ его мученій.

Отецъ его Алексѣй и Вяземскій не были столько счастливы. Ихъ, вмѣстѣ съ разбойникомъ Коршуномъ, взвели на срубъ, гдѣ ожидали ихъ страшные снаряды. Въ то же время стараго мельника потащили на костеръ и приковали къ столбу.

Вяземскій, измученный пыткой, не имѣя силы стоять на ногахъ, поддерживаемый подъ руки палачами, бросалъ дикіе взгляды по сторонамъ. Въ глазахъ его не было замѣтно ни страха, ни раскаянья. Увидѣвъ прикованнаго къ столбу мельника и вокругъ него уже вьющіяся струи дыма, князь вспомнилъ его послѣднія слова, когда старикъ, заговоривъ его саблю, смотрѣлъ въ бадью съ водою; вспомнилъ также князь и свое

видѣніе на мельницѣ, когда онъ въ лунную ночь, глядя подъ шумящее колесо, старался увидѣть свою будущность, но увидѣлъ только, какъ вода почервонѣла, подобно крови, и какъ заходили въ ней зубчатыя пилы и стали отмыкаться и замыкаться желѣзныя клещи...

Мельникъ не замѣтилъ Вяземскаго. Углубленный въ самого себя, онъ бормоталъ что-то себѣ подъ носъ и съ видомъ помѣшательства приплясывалъ на кострѣ, гремя цѣпями.

— Шикалу! Ликалу!—говорилъ онъ:—слетѣлися вороны на богатый пиръ! Повернулося колесо, повернулося! Что было высоко, то стало низко! Шагадамъ! Подымися вѣтеръ отъ мельницы, налети на вороговъ моихъ! Кулла! Кулла! Разметай костеръ, загаси огонь!

И въ самомъ дѣлѣ, какъ будто повинуясь заклинаніямъ, вѣтеръ поднялся на площади, но вмѣсто того, чтобы загасить костеръ, онъ раздулъ подложенный подъ него хворостъ, и пламя, вырвавшись сквозь сухія дрова, охватило мельника и скрыло его отъ зрителей.

— Шагадамъ! Кулла! Кулла! — послышалось еще за облакомъ дыма, и голосъ замеръ въ трескѣ пылающаго костра.

Наружность Коршуна почти вовсе не измѣнилась ни отъ пытки, ни отъ долгаго томленія въ темницѣ. Сильная природа его устояла противъ приготовительнаго допроса, но въ выраженіи лица произошла перемѣна. Оно сдѣлалось мягче, глаза глядѣли спокойнѣе.

Съ той самой ночи, какъ онъ былъ схваченъ въ царской опочивальнѣ и брошенъ въ тюрьму, угрызенія совѣсти перестали терзать его. Онъ тогда же принялъ ожидающую его казнь какъ искупленіе совершонныхъ имъ нѣкогда злодѣйствъ, и, лежа на гнилой соломѣ, онъ въ первый разъ, послѣ долгаго времени, заснулъ спокойно.

Дьякъ прочелъ передъ народомъ вину Коршуна и ожидающую его казнь.

Коршунъ, вошедши на помостъ, перекрестился на церков-

ныя главы и положилъ, одинъ за другимъ, четыре земныхъ поклона народу, на четыре стороны площади.

— Прости, народъ православный! — сказалъ онъ: — прости меня въ грѣхахъ моихъ, въ разбоѣ, и въ воровствѣ, и въ смертномъ убойствѣ! Прости во всемъ, что́ я согрѣшилъ передъ тобою. Заслужилъ я себѣ смертную му́ку, отпусти мнѣ вины мои, народъ православный!

И, вернувшись къ палачамъ, онъ самъ продѣлъ руки въ приготовленныя для нихъ петли.

— Привязывайте, что́-ли! — сказалъ онъ, тряхнувъ сѣдою кудрявою головой, и не прибавилъ болѣ ни слова.

Тогда, по знаку Іоанна, дьякъ обратился къ прочимъ осужденнымъ и прочелъ имъ обвиненіе въ заговорѣ противъ государя, въ намѣреніи отдать Новгородъ и Псковъ литовскому королю и въ преступныхъ сношеніяхъ съ турскимъ султаномъ.

Ихъ готовились повести, кого къ висѣлицамъ, кого къ котлу, кого къ другимъ орудіямъ казни.

Народъ сталъ громко молиться.

— Господи, Господи! — раздавалось на площади: — помилуй ихъ, Господи! Пріими скорѣе ихъ души!

— Молитесь за насъ, праведные!—кричали нѣкоторые изъ толпы:—помяните насъ, когда пріидите во царствіе Божіе!

Опричники, чтобы заглушить эти слова, начали громогласно взывать:

— Гойда! Гойда! Да погибнутъ враги государевы!

Но въ эту минуту толпа заколебалась, всѣ головы обратились въ одну сторону, и послышались восклицанія:

— Блаженный идетъ! Смотрите, смотрите! Блаженный идетъ!

Въ концѣ площади показался человѣкъ, лѣтъ сорока, съ рѣденькою бородой, блѣдный, босой, въ одной полотняной рубахѣ. Лицо его было необыкновенно кротко, а на устахъ играла странная, дѣтски-добродушная улыбка.

Видъ этого человѣка посреди столькихъ лицъ, являвшихъ ужасъ, страхъ или звѣрство, рѣзко отъ нихъ отдѣлялся и сильно

на всѣхъ подѣйствовалъ. Площадь затихла, казни пріостановились.

Всѣ знали блаженнаго, но никто еще не видывалъ на лицѣ его такого выраженія, какъ сегодня. Противъ обыкновенія, судорога подергивала эти улыбающіяся уста, какъ будто съ кротостію боролось другое, непривычное чувство.

Нагнувшись впередъ, гремя веригами и желѣзными крестами, которыми онъ весь былъ обвѣшанъ, блаженный пробирался сквозь раздвигающуюся толпу и шелъ прямо на Іоанна.

— Ивашко! Ивашко!—кричалъ онъ издали, перебирая свои деревянныя четки и продолжая улыбаться:—Ивашко! Меня-то забылъ!

Увидѣвъ его, Іоаннъ хотѣлъ повернуть коня и отъѣхать въ сторону; но юродивый стоялъ уже возлѣ него.

— Посмотри на блаженнаго!—сказалъ онъ, хватаясь за узду царскаго коня:—что́-жъ не велишь казнить и блаженнаго? Чѣмъ Вася хуже другихъ?

— Богъ съ тобой!—сказалъ царь, доставая горсть золотыхъ изъ узорнаго мѣшка, висѣвшаго на золотой цѣпочкѣ у его пояса:—на́, Вася, ступай помолись за меня!

Блаженный подставилъ обѣ руки, но тотчасъ же отдернулъ ихъ, и деньги посыпались на землю.

— Ай, ай! Жжется!—закричалъ онъ, дуя на пальцы и потряхивая ихъ на воздухѣ:—зачѣмъ ты деньги въ огнѣ раскалилъ? Зачѣмъ въ адовомъ огнѣ раскалилъ?

— Ступай, Вася!—повторилъ нетерпѣливо Іоаннъ:—оставь насъ, тебѣ здѣсь не мѣсто!

— Нѣтъ, нѣтъ! Мое мѣсто здѣсь, съ мучениками! Дай и мнѣ мученическій вѣнчикъ! За что̀ меня обходишь? За что́ обижаешь? Дай и мнѣ такой вѣнчикъ, какіе другимъ раздаешь!

— Ступай, ступай!—сказалъ Іоаннъ съ зарождающимся гнѣвомъ.

— Не уйду!—произнесъ упорно юродивый, уцѣпясь за конскую сбрую, но вдругъ засмѣялся и сталъ пальцемъ показывать на Іоанна.—Смотрите, смотрите!—заговорилъ онъ:—что̀

это у него на лбу? Что́ это у тебя, Ивашко! У тебя рога на лбу! У тебя козлиные рога выросли! И голова-то твоя стала песья?

Глаза Іоанна вспыхнули.

— Прочь, сумасшедшій!—закричалъ онъ и, выхвативъ копье изъ рукъ ближайшаго опричника, онъ замахнулся имъ на юродиваго.

Крикъ негодованія раздался въ народѣ.

— Не тронь его!—послышалось въ толпѣ:—не тронь блаженнаго! Въ нашихъ головахъ ты воленъ, а блаженнаго не тронь!

Но юродивый продолжалъ улыбаться полудѣтски, полубезумно.

— Пробори меня, царь Саулъ! — говорилъ онъ, отбирая въ сторону висѣвшіе на груди его кресты:—пробори сюда въ самое сердце! Чѣмъ я хуже тѣхъ праведныхъ? Пошли и меня въ царствіе небесное! Аль завидно тебѣ, что не будешь съ нами, царь Саулъ, царь Иродъ, царь кромѣшный?

Копье задрожало въ рукѣ Іоанна. Еще единый мигъ, оно вонзилось бы въ грудь юродиваго, но новый крикъ народа удержалъ его на воздухѣ. Царь сдѣлалъ усиліе надъ собой и переломилъ свою волю, но буря должна была разразиться.

Съ пѣной у рта, съ сверкающими очами, съ подъятымъ копьемъ, онъ стиснулъ коня ногами, налетѣлъ вскачь на толпу осужденныхъ, такъ что искры брызнули изъ-подъ конскихъ подковъ, и пронзилъ перваго попавшагося ему подъ руку.

Когда онъ вернулся шагомъ на свое мѣсто, опустивъ окровавленный конецъ копья, опричники уже успѣли оттереть блаженнаго.

Іоаннъ махнулъ рукой, и палачи приступили къ работѣ.

На блѣдномъ лицѣ Іоанна показался румянецъ; очи его сдѣлались больше, на лбу надулись синія жилы, и ноздри расширились . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Когда, наконецъ, сытый душегубствомъ, онъ повернулъ коня и, объѣхавъ вокругъ площади, удалился, самъ обрызганный кровью и окруженный окровавленнымъ полкомъ своимъ, вороны, сидѣвшія на церковныхъ крестахъ и на гребняхъ кровель, взмахнули одна за другой крыльями и начали спускаться на груды истерзанныхъ членовъ и на трупы, висящіе на висѣлицахъ...

Бориса Годунова въ этотъ день не было между пріѣхавшими съ Іоанномъ. Онъ еще наканунѣ вызвался провожать изъ Москвы литовскихъ пословъ.

На другой день послѣ казни площадь была очищена, и мертвыя тѣла свезены и свалены въ кремлевскій ровъ.

Тамъ граждане московскіе, впослѣдствіи, соорудили нѣсколько деревянныхъ церквей, *на костяхъ и на крови*, какъ выражаются древнія лѣтописи.

Прошли многіе годы; впечатлѣніе страшной казни изгладилось изъ памяти народной; но долго еще стояли вдоль кремлевскаго рва тѣ скромныя церкви, и приходившіе въ нихъ молиться могли слышать панихиды за упокой измученныхъ и избіенныхъ по указу царя и великаго князя Іоанна Васильевича четвертаго.

ГЛАВА XXXVI.

Возвращеніе въ Слободу.

Поразивъ ужасомъ Москву, царь захотѣлъ явиться милостивымъ и великодушнымъ. По приказанію его, темницы были отперты, и заключенные, уже не чаявшіе себѣ прощенія, всѣ освобождены. Нѣкоторымъ Іоаннъ послалъ подарки. Казалось, давно кипѣвшая въ немъ и долго разгоравшаяся злоба разразилась послѣднею казнью и вылетѣла изъ души его, какъ пламенный снопъ изъ горы огнедышущей. Разсудокъ его успокоился, онъ пересталъ вездѣ отыскивать измѣну.

Не всякій разъ, послѣ безвинной крови, Іоаннъ предавался

угрызеніямъ совѣсти. Они зависѣли также отъ другихъ обстоятельствъ. Небесныя знаменія, внезапно ударившій громъ, проявленіе народныхъ бѣдствій устрашали его чуткое воображеніе и подвигали его иногда на всенародное покаяніе; но когда не случалось ни знаменій, ни голода, ни пожаровъ, внутренній голосъ его молчалъ и совѣсть дремала. Такъ и въ настоящее время, состояніе души Іоанна было безмятежно. Онъ чувствовалъ послѣ совершонныхъ убійствъ какое-то удовлетвореніе и спокойствіе, какъ голодный, насытившійся пищей. Болѣе изъ привычки и принятаго правила, чѣмъ отъ потребности сердца, онъ, возвращаясь въ Слободу, остановился на нѣсколько дней молиться въ Троицкой лаврѣ.

Во всю дорогу пристава, ѣхавшіе передъ нимъ, бросали горстями серебряныя деньги нищимъ, а уѣзжая изъ лавры, онъ оставилъ архимандриту богатый вкладъ на молебны за свое здравіе.

Въ Слободѣ, между тѣмъ, готовилось никѣмъ неожиданное событіе.

Годуновъ, посланный впередъ приготовить государю торжественный пріемъ, исполнивъ свое порученіе, сидѣлъ у себя въ брусяной избѣ, облокотясь на дубовый столъ, подперши рукою голову. Онъ размышлялъ о случившемся въ эти послѣдніе дни, о казни, отъ которой удалось ему уклониться, о загадочномъ нравѣ грознаго царя и о способахъ сохранить его милость, не участвуя въ дѣлахъ опричнины, когда вошедшій слуга доложилъ, что у крыльца дожидается князь Никита Романовичъ Серебряный.

Годуновъ при этомъ имени, въ удивленіи, всталъ со скамьи.

Серебряный былъ опальникъ государевъ, осужденный на смерть. Онъ ушелъ изъ тюрьмы, и всякое сношеніе съ нимъ могло стоить головы Борису Ѳедоровичу. Но отказать князю въ гостепріимствѣ или выдать его царю, было бы дѣломъ недостойнымъ, на которое Годуновъ не могъ рѣшиться, не потерявъ народнаго довѣрія, коимъ онъ болѣе всего дорожилъ. Въ то же время онъ вспомнилъ, что царь находится теперь въ мило-

стивомъ расположеніи духа, и въ одинъ мигъ сообразилъ, какъ дѣйствовать въ этомъ случаѣ.

Не выходя на крыльцо встрѣчать Серебрянаго, онъ велѣлъ немедленно ввести его въ избу. Постороннихъ свидѣтелей не было, и, положивъ разъ принять князя, Годуновъ не захотѣлъ показать ему неполное радушіе.

— Здравствуй, князь, — сказалъ онъ, обнимая Никиту Романовича: — милости просимъ, садись; какъ же ты рѣшился вернуться въ Слободу, Никита Романычъ? Но дай сперва угостить тебя, ты, я чаю, съ дороги усталъ.

По приказанію Годунова поставили на столъ закуску и нѣсколько кубковъ вина.

— Скажи, князь, — спросилъ Годуновъ заботливо: — видѣли тебя, какъ ты взошелъ на крыльцо?

— Не знаю,—отвѣчалъ простодушно Серебряный: — можетъ быть и видѣли; я не хоронился, прямо къ твоему терему подъѣхалъ. Мнѣ вѣдомо, что ты не тянешь къ опричнинѣ.

Годуновъ поморщился.

— Борисъ Ѳедорычъ,— прибавилъ Серебряный довѣрчиво:— я вѣдь не одинъ; со мной пришло сотни двѣ станичниковъ изъподъ Рязани.

— Что́ ты, князь?—воскликнулъ Годуновъ.

— Они,—продолжалъ Серебряный:—за заставой остались. Мы вмѣстѣ несемъ наши головы государю; пусть казнитъ насъ или милуетъ, какъ ему угодно!

— Слышалъ я, князь, слышалъ, какъ ты съ ними Татаръ разбилъ; но вѣдомо ли тебѣ, что́ съ тѣхъ поръ на Москвѣ было?

— Вѣдомо,—отвѣчалъ Серебряный и нахмурился. — Я шелъ сюда и думалъ: опричнинѣ конецъ, а у васъ дѣла хуже прежняго. Да проститъ Богъ государю! А тебѣ грѣхъ, Борисъ Ѳедорычъ, что ты только молчишь да глядишь на все это!

— Эхъ, Никита Романычъ, ты, я вижу, все тотъ же остался! Что́-жъ бы я сказалъ царю? Послушался бы онъ меня, что̀-ли?

— А хотя бы и не послушался, — возразилъ упрямо Серс-

бряный: — все-жъ тебѣ говорить слѣдуетъ. Отъ кого-жъ ему правду знать, коли не отъ тебя?

— А ты думаешь, онъ правды не знаетъ? Ты думаешь, онъ и въ самомъ дѣлѣ всѣмъ тѣмъ извѣтамъ вѣритъ, по которымъ столько людей казнено?

И, сказавъ это, Годуновъ закусилъ-было языкъ, но вспомнилъ, что говоритъ съ Серебрянымъ, котораго открытое лицо исключало всякое подозрѣніе въ предательствѣ.

— Нѣтъ,—продолжалъ онъ вполголоса: — напрасно ты винишь меня, князь. Царь казнитъ тѣхъ, на кого злобу держитъ, а въ сердцѣ его не воленъ никто. Сердце царево въ рукѣ Божіей, говоритъ писаніе. Вотъ Морозовъ попытался-было прямить ему: что-жъ вышло? Морозова казнили, а другимъ не стало отъ того легче. Но ты, Никита Романычъ, видно, самъ не дорожишь головою, что, вѣдая московскую казнь, не убоялся придти въ Слободу?

При имени Морозова Серебряный вздохнулъ. Онъ любилъ Дружину Андреевича, хотя бояринъ и похитилъ его счастье.

— Что-жъ, Борисъ Ѳедоровичъ,—отвѣтилъ онъ Годунову:— чему быть, того не миновать! Да правду сказать, и жить-то мнѣ надоѣло; не красно теперь житье на Руси!

— Послушай, князь, ты самъ себя не бережешь; такой, видно, ужъ нравъ у тебя; но Богъ тебя бережетъ. Какъ ты до сихъ поръ ни лѣзъ въ петлю, а все цѣлъ оставался. Должно быть, не написано тебѣ пропасть ни за что, ни про что. Кабы ты съ недѣлю тому вернулся, не знаю, что бы съ тобой было; а теперь, пожалуй, есть тебѣ надежда; только не спѣши на глаза Ивану Васильевичу; дай мнѣ сперва увидѣть его.

— Спасибо тебѣ, Борисъ Ѳедорычъ; да ты обо мнѣ-то больно не хлопочи; а вотъ станичниковъ, коли можно, вызволи изъ бѣды. Они хоть и худые люди, а вины свои хорошо заслужили!

Годуновъ взглянулъ съ удивленіемъ на Никиту Романовича. Онъ не могъ привыкнуть къ простотѣ князя, и равнодушіе его къ собственной жизни показалось Годунову неестественнымъ.

— Что жъ ты, князь,—спросилъ онъ:—съ горя, что-ли, жить не хочешь?

— Пожалуй, что и съ горя. Къ чему еще жить теперь? Вѣришь ли, Борисъ Ѳедорычъ, иной разъ поневолѣ Курбскій на умъ приходитъ; подумаю про него, и самому страшно станетъ: такъ, кажется, и бросилъ бы родину и ушелъ бы къ Ляхамъ, кабы не были они враги наши.

— Вотъ то-то, князь! Въ теперешнее время намъ только и есть, что двѣ дороги: или дѣлать какъ Курбскій—бѣжать навсегда изъ родины, или такъ, какъ я—оставаться около царя и искать его милости. А ты ни то, ни другое; отъ царя не уходишь, а съ царемъ не мыслишь; этакъ нельзя, князь; надо одно изъ двухъ. Ужъ коли хочешь оставаться на Руси, такъ исполняй волю цареву. А если полюбитъ онъ тебя, такъ, пожалуй, и самъ отъ опричнины отвратится. Вотъ примѣрно, кабы насъ было двое около него, одинъ бы другого поддерживалъ; сегодня бы я заронилъ словечко, завтра ты; что-нибудь и осталось бы у него въ памяти; вѣдь и капля, говорятъ, когда все на одно мѣсто капаетъ, такъ камень насквозь долбитъ. А нахрапомъ, князь, ничего не возьмешь!

— Кабы не былъ онъ царь,—сказалъ мрачно Серебряный:—я зналъ бы, что мнѣ дѣлать; а теперь ничего въ толкъ не возьму; на него идти Богъ не велитъ, а съ нимъ мыслить мнѣ не въ мочь; хоть онъ меня на клочья разорви, съ опричниной хлѣба-соли не поведу!

— Погоди, князь, не отчаявайся. Вспомни, что я тебѣ тогда говорилъ? Оставимъ опричниковъ; не будемъ перечить царю; они сами перегубятъ другъ друга! Вотъ ужъ троихъ главныхъ не стало; ни обоихъ Басмановыхъ, ни Вяземскаго. Дай срокъ, князь, и вся опричнина до смерти перегрызется!

— А до того что будетъ?—сказалъ Серебряный.

— А до того,—отвѣтилъ Годуновъ, не желая сразу настаивать на мысли, которую хотѣлъ заронить въ Серебряномъ:—до того, коли царь тебя помилуетъ, ты можешь снова на Татаръ идти; за этимъ дѣло не станетъ!

Въ мысляхъ Серебрянаго не легко укладывались два впечатлѣнія разомъ, и надежда идти на Татаръ вытѣснила на время овладѣвшее имъ уныніе.

— Да, сказалъ онъ:—только намъ одно и осталось, что Татаръ колотить! Кабы не ждать ихъ въ гости, и ударить бы на Крымъ всѣми полками разомъ, да вмѣстѣ съ казаками, такъ, пожалуй, что и Крымъ взяли бы!

Онъ даже усмѣхнулся отъ удовольствія при этой мысли.

Годуновъ вступилъ съ нимъ въ разговоръ о его насильственномъ освобожденіи и о рязанскомъ побоищѣ. Уже начинало темнѣть, а они все еще сидѣли, бесѣдуя за кубками.

Наконецъ Серебряный всталъ.

— Прости, бояринъ, — сказалъ онъ: — уже скоро ночь на дворѣ!

— Куда ты, Никита Романычъ? Останься у меня, переночуй; завтра пріѣдетъ царь, я доложу о тебѣ.

— Нельзя, Борисъ Ѳедорычъ, пора мнѣ къ своимъ! Боюсь, чтобъ они съ кѣмъ не повздорили. Кабы царь былъ въ Слободѣ, мы прямо-бъ къ нему съ повинною пришли, и пусть бы случилось, что Богу угодно; а съ здѣшними душегубцами не убережешься. Хоть мы и въ сторонкѣ, подъ самымъ лѣсомъ остановились, а все же можетъ какой-нибудь объѣздъ наѣхать!

— Ну, прости, Никита Романычъ! Смотри-жъ, ты не суйся царю на глаза, погоди, чтобъ прислалъ за тобой.

— Да постой, не туда ты идешь, князь,— прибавилъ Годуновъ, видя, что Серебряный направляется къ краснымъ сѣнямъ; и взявъ его за руку, онъ проводилъ его на заднее крыльцо.

— Прости, Никита Романычъ, — повторилъ онъ, обнимая Серебрянаго:—Богъ не безъ милости, авось и уладится твое дѣло!

И, подождавъ, чтобы князь сѣлъ на коня и выѣхалъ заднею околицею, Годуновъ вернулся въ избу, весьма довольный, что Серебряный не принялъ предложенія переночевать у него въ домѣ.

На другое утро царь съ торжествомъ въѣхалъ въ Слободу, какъ послѣ одержанной побѣды. Опричники провожали его съ криками: Гойда! Гойда! отъ заставы до самаго дворца.

Одна старая мамка Онуфревна приняла его съ бранью.

— Звѣрь ты этакій!—сказала она, встрѣчая его на крыльцѣ:—какъ тебя еще земля держитъ, звѣря плотояднаго? Кровью отъ тебя пахнетъ, душегубецъ! Какъ смѣлъ ты къ святому угоднику Сергію явиться послѣ твоего московскаго дѣла? Громъ Господень убьетъ тебя, окаяннаго, вмѣстѣ съ дьявольскимъ полкомъ твоимъ!

Но въ этотъ разъ увѣщанія мамки не произвели никакого дѣйствія. На дворѣ не было ни грома, ни бури. Солнце великолѣпно сіяло въ безоблачномъ небѣ, и ярко играли краски и позолота на пестрыхъ теремкахъ и затѣйливыхъ главахъ дворца. Іоаннъ не отвѣтилъ ни слова и прошелъ мимо старухи во внутренніе свои покои.

— Погоди, погоди!—продолжала она, глядя ему во слѣдъ и стуча о-полъ клюкою:—разразится громъ Божій надъ теремомъ твоимъ, выжжетъ онъ всю твою нечестивую Слободу!

И старуха удалилась въ свою свѣтлицу, медленно передвигая ноги и бросая сердитые взгляды на царедворцевъ, которые сторонились отъ нея съ суевѣрнымъ страхомъ.

Въ этотъ день, послѣ обѣда, Годуновъ, видя, что царь веселъ и доволенъ и противъ обыкновенія готовится отдохнуть, послѣдовалъ за нимъ въ опочивальню. Расположеніе къ нему Ивана Васильевича давало это право Годунову, особенно, когда ему было о чемъ доложить, что не всякому слѣдовало слышать.

Въ царской опочивальнѣ стояли двѣ кровати: одна—изъ голыхъ досокъ, на которой Иванъ Васильевичъ ложился для наказанія плоти, въ минуты душевныхъ тревогъ и сердечнаго раскаянья; другая, болѣе широкая, была покрыта мягкими овчинами, пуховикомъ и шелковыми подушками. На этой царь отдыхалъ, когда ничто не тревожило его мыслей. Правда, это случалось рѣдко, и послѣдняя кровать большею частью оставалась нетронутою.

Надобно было хорошо знать Ивана Васильевича, чтобы не ошибиться въ дѣйствительномъ расположеніи его духа. Не всегда во время мученій совѣсти онъ былъ склоненъ на милосердіе. Онъ часто приписывалъ угрызенія свои навожденію сатаны, старающагося отвлечь его отъ преслѣдованія измѣны, и тогда, вмѣсто того, чтобы смягчить свое сердце, онъ, на зло дьяволу, творя молитвы и крестныя знаменья, предавался еще бо̀льшей жестокости. Не всегда также спокойствіе, написанное на лицѣ его, могло достовѣрно ручаться за внутреннюю безмятежность. Оно часто бывало одною личиной, и царь, одаренный рѣдкою проницательностью и способностью угадывать чужія мысли, любилъ иногда обманывать разсчеты того, съ кѣмъ разговаривалъ, и поражать его неожиданнымъ проявленіемъ гнѣва, въ то самое время, когда онъ надѣялся на милость.

Но Годуновъ успѣлъ изучить малѣйшіе оттѣнки царскаго нрава, и необыкновеннымъ чутьемъ отгадывалъ и объяснялъ себѣ неуловимыя и для другихъ измѣненія лица его.

Подождавъ, чтобы Іоаннъ легъ на пуховую постель, и не видя въ его чертахъ ничего, кромѣ усталости, Борисъ Ѳедоровичъ сказалъ безо всякихъ приготовленій:

— Вѣдомо ли тебѣ, государь, что опальникъ твой сыскался?

— Какой?—спросилъ Іоаннъ, зѣвая.

— Никита Серебряный, тотъ самый, что Вяземскаго, измѣнника твоего, саблей посѣкъ и въ тюрьму былъ посаженъ.

— А!—сказалъ Іоаннъ: — поймали воробья! Кто же взялъ его?

— Никто, государь. Онъ самъ пришелъ и всѣхъ станичниковъ привелъ, которые съ нимъ подъ Рязанью Татаръ разбили. Они, вмѣстѣ съ Серебрянымъ, принесли твоей царской милости повинныя головы!

— Опомнились!—сказалъ Іоаннъ.—Что-жъ, видѣлъ ты его?

— Видѣлъ, государь; онъ прямо ко мнѣ пріѣхалъ; думалъ, твоя милость въ Слободѣ, и просилъ, чтобъ я о немъ сказалъ тебѣ. Я хотѣлъ было захватить его подъ стражу, да подумалъ, неравно Григорій Лукьянычъ скажетъ, что я подыскиваюсь

подъ него, а Серебряный не уйдетъ, коли онъ самъ тебѣ свою голову принесъ.

Годуновъ говорилъ прямо, съ открытымъ лицомъ, безо всякаго замѣшательства, какъ будто въ немъ не было ни тѣни хитрости, ни малѣйшаго участія къ Серебряному. Когда онъ наканунѣ проводилъ его заднимъ крыльцомъ, онъ поступилъ такъ не съ тѣмъ, чтобы скрыть отъ царя его посѣщеніе (это было бы слишкомъ опасно), но чтобы кто изъ слободскихъ не предупредилъ Іоанна и, какъ первый извѣститель, не настроилъ бы его противъ самого Годунова. Намекъ же на Вяземскаго, выставляющій Серебрянаго врагомъ казненнаго князя, былъ обдуманъ и приготовленъ Борисомъ Ѳедоровичемъ заранѣе.

Царь зѣвнулъ еще разъ, но не отвѣчалъ ничего, и Годуновъ, улавливая каждую черту лица его, не прочелъ на немъ никакого признака ни явнаго, ни скрытаго гнѣва. Напротивъ, онъ замѣтилъ, что царю понравилось намѣреніе Серебрянаго предаться на его волю.

Іоаннъ, проливая кровь и заставляя всѣхъ трепетать, хотѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобъ его считали справедливымъ и даже милосердымъ; душегубства его были всегда облечены въ наружность строгаго правосудія, и довѣріе къ его великодушію тѣмъ болѣе льстило ему, что такое довѣріе рѣдко проявлялось.

Подождавъ немного, Годуновъ рѣшился вызвать Ивана Васильевича на отвѣтъ.

— Какъ прикажешь, государь,—спросилъ онъ: — позвать къ тебѣ Григорья Лукьяныча?

Но послѣднія казни уже достаточно насытили Іоанна; нѣсколько лишнихъ головъ не могли ничего прибавить къ его удовлетворенію, ни возбудить въ немъ уснувшую на время жажду крови.

Онъ пристально посмотрѣлъ на Годунова.

— Развѣ ты думаешь, — сказалъ онъ строго: — что я безъ убойства жить не могу? — Иное злодѣи, подрывающіе государство, иное Никита, что Аѳоньку порубилъ. А изъ станичниковъ посмотрю, кого казнить, кого помиловать. Пусть всѣ и съ

Никитой соберутся передъ краснымъ крыльцомъ на дворѣ. Когда выйду изъ опочивальни, увижу, что̀ съ ними дѣлать!

Годуновъ пожелалъ царю добраго отдыха и удалился съ низкимъ поклономъ.

Все зависѣло теперь отъ того, въ какомъ расположеніи проснется Іоаннъ.

ГЛАВА XXXVII.

Прощеніе.

Извѣщенный Годуновымъ, Никита Романовичъ явился на царскій дворъ съ своими станичниками.

Перераненные, оборванные, въ разнообразныхъ лохмотьяхъ, кто въ зипунѣ, кто въ овчинѣ, кто въ лаптяхъ, кто босикомъ, многіе съ подвязанными головами, всѣ безъ шапокъ и безъ оружія, стояли они, молча, другъ подлѣ друга, дожидаясь царскаго пробужденія.

Не въ первый разъ видѣли молодцы Слободу; приходили они сюда и гуслярами, и нищими, и поводильщиками медвѣдей. Нѣкоторые участвовали и въ послѣднемъ пожарѣ, когда Перстень съ Коршуномъ пришли освободить Серебрянаго. Много было между ними знакомыхъ намъ лицъ, но многихъ и недоставало. Недоставало тѣхъ, которые, отстаивая Русскую землю, полегли недавно на рязанскихъ поляхъ, ни тѣхъ, которые послѣ побѣды, любя раздолье кочующей жизни, не захотѣли понести къ царю повинную голову. Не было тутъ ни Перстня, ни Митьки, ни рыжаго пѣсенника, ни дѣдушки Коршуна! Перстень, появившись въ послѣдній разъ въ Слободѣ въ день суднаго поединка, исчезъ Богъ-вѣсть куда; Митька послѣдовалъ за нимъ; пѣсенника еще прежде уходилъ Серебряный, а Коршуна теперь подъ стѣною кремлевскою терзали псы и клевали вороны...

Уже часа два дожидались молодцы, потупя очи и не подозрѣвая, что царь смотритъ на нихъ изъ небольшого окна, продѣланнаго надъ самымъ крыльцомъ и скрытаго узорными

теремками. Никто изъ нихъ не говорилъ ни съ товарищами, ни съ Серебрянымъ, который стоялъ въ сторонѣ, задумавшись и не обращая вниманія на множество людей, толпившихся у воротъ и у калитокъ. Въ числѣ любопытныхъ была и государева мамка. Она стояла на крыльцѣ, нагнувшись на клюку, и смотрѣла на все безжизненными глазами, ожидая появленія Іоанна, быть можетъ, съ тѣмъ, чтобы своимъ присутствіемъ удержать его отъ новой жестокости.

Иванъ Васильевичъ, наглядѣвшись вдоволь изъ потаеннаго окна на своихъ опальниковъ, насладившись мыслію, что они теперь стоятъ между жизнью и смертью, и что не легко у нихъ должно быть на сердцѣ, показался вдругъ на крыльцѣ въ сопровожденіи нѣсколькихъ стольниковъ.

При видѣ царя, одѣтаго въ золотую парчу, опирающагося на узорный посохъ, разбойники стали на колѣни и преклонили головы.

Іоаннъ помолчалъ нѣсколько времени.

— Здравствуйте, оборванцы!—сказалъ онъ наконецъ, и, поглядѣвъ на Серебрянаго, прибавилъ:—Ты зачѣмъ въ Слободу пожаловалъ? По тюрьмѣ, что-ли, соскучился?

— Государь,—отвѣтилъ Серебряный скромно: — изъ тюрьмы ушелъ я не самъ, а увели меня насильно станичники. Они же разбили ширинскаго мурзу Шихмата, о чемъ твоей милости должно быть уже вѣдомо. Вмѣстѣ мы били Татаръ, вмѣстѣ и отдаемся на твою волю; казни или милуй насъ, какъ твоя царская милость знаетъ!

— Такъ это за нимъ вы тотъ разъ въ Слободу приходили?— спросилъ Іоаннъ у разбойниковъ.—Откуда-жъ вы знаете его?

— Батюшка царь, — отвѣчали вполголоса разбойники:—онъ атамана нашего спасъ, когда его въ Медвѣдевкѣ повѣсить хотѣли. Атаманъ-то и увелъ его изъ тюрьмы!

— Въ Медвѣдевкѣ? — сказалъ Іоаннъ и усмѣхнулся. — Это должно быть, когда ты Хомяка и съ объѣздомъ его шелепугами отшлепалъ? Я это дѣло помню. Я отпустилъ тебѣ эту первую вину, а былъ ты, по уговору нашему, посаженъ за новую вину,

когда ты вдругорядь на моихъ людей у Морозова напалъ. Что скажешь на это?

Серебряный хотѣлъ отвѣчать, но мамка предупредила его.

— Да полно тебѣ вины-то его высчитывать! — сказала она Іоанну сердито. — Вмѣсто, чтобъ пожаловать его за то, что онъ басурмановъ разбилъ, церковь Христову отстоялъ, а ты только и смотришь, какую-бъ вину на немъ найти. Мало тебѣ было терзанья на Москвѣ, волкъ ты этакій!

— Молчи, старуха!—сказалъ строго Іоаннъ:—не твое бабье дѣло указывать мнѣ?

Но, досадуя на Онуфревну, онъ не хотѣлъ раздражать ее и, отвернувшись отъ Серебрянаго, сказалъ разбойникамъ, стоявшимъ на колѣняхъ:

— Гдѣ атаманъ вашъ, висѣльники? Пусть выступитъ впередъ.

Серебряный взялся отвѣчать за разбойниковъ.

— Ихъ атамана здѣсь нѣтъ, государь. Онъ тотъ же часъ послѣ рязанской битвы ушелъ. Я звалъ его, да онъ идти не захотѣлъ.

— Не захотѣлъ!—повторилъ Іоаннъ.—Сдается, мнѣ, что этотъ атаманъ есть тотъ самый слѣпой, что ко мнѣ въ опочивальню со старикомъ приходилъ. Слушайте же, оборванцы! Я вашего атамана велю сыскать и на колъ посадить!

— Ужъ самого тебя, — проворчала мамка: — на томъ свѣту черти на колъ посадятъ!

Но царь притворился, что не слышитъ, и продолжалъ, глядя на разбойниковъ:

— А васъ, за то, что вы сами на мою волю отдались, я такъ и быть помилую. Выкатить имъ пять бочекъ меду на дворъ! Ну, что? Довольна ты, старая дура?

Мамка зажевала губами.

— Да живетъ царь! — вскричали разбойники.—Будемъ служить тебѣ, батюшка государь! Заслужимъ твое прощеніе нашими головами!

— Выдать имъ,—продолжалъ Іоаннъ:—по доброму кафтану

да по гривнѣ на человѣка. Я ихъ въ опричнину впишу. Хотите, висѣльники, мнѣ въ опричникахъ служить?

Нѣкоторые изъ разбойниковъ замялись, но бо̀льшая часть закричала:

— Рады служить тебѣ, батюшка, гдѣ укажетъ твоя царская милость!

— Какъ думаешь, — сказалъ Іоаннъ съ довольнымъ видомъ Серебряному: — пригодны они въ ратный строй?

— Въ ратный-то строй пригодны, — отвѣтилъ Никита Романовичъ: — только ужъ, государь, не вели ихъ въ опричнину вписывать!

Царь подумалъ, что Серебряный считаетъ разбойниковъ недостойными такой чести.

— Когда я кого милую, — произнесъ онъ торжественно: — я не милую въ половину?

— Да какая-жъ это милость, государь! — вырвалось у Серебрянаго.

Іоаннъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Они, — продолжалъ Никита Романовичъ, немного запинаясь: — они, государь, вѣдь доброе дѣло учинили, безъ нихъ, пожалуй, Татары на самую бы Рязань пошли!

— Такъ почему-жъ имъ въ опричнинѣ не быть? — спросилъ Іоаннъ, пронзая глазами Серебрянаго.

— А потому, государь, — выговорилъ Серебряный, который тщетно старался прибрать выраженія поприличнѣе: — потому, государь, что они, правда, люди худые, а все же лучше твоихъ кромѣшниковъ.

Эта неожиданная и невольная смѣлость Серебрянаго озадачила Іоанна. Онъ вспомнилъ, что уже не въ первый разъ Никита Романовичъ говоритъ съ нимъ такъ откровенно и прямо. Между тѣмъ онъ, осужденный на смерть, самъ добровольно вернулся въ Слободу и отдавался на царскій произволъ. Въ строптивости нельзя было обвинить его, и царь колебался, какъ принять эту дерзкую выходку, какъ новое лицо привлекло его вниманіе.

Въ толпу разбойниковъ незамѣтно втерся посторонній человѣкъ, лѣтъ шестидесяти, опрятно одѣтый, и старался, не показываясь царю, привлечь вниманіе Серебрянаго. Уже нѣсколько разъ онъ изъ-за передняго ряда протягивалъ украдкою руку и силился поймать князя за полу, но, не доставъ его, опять прятался за разбойниковъ.

— Это что̀ за крыса?—спросилъ царь, указывая на незнакомца.

Но тотъ уже успѣлъ скрыться въ толпѣ.

— Раздвиньтесь, люди!—сказалъ Іоаннъ:—достать мнѣ этого молодца, что̀ тамъ сзади хоронится.

Нѣсколько опричниковъ бросились въ толпу и вытащили виновнаго.

— Что̀ ты за человѣкъ?—спросилъ Іоаннъ, глядя на него подозрительно.

— Это мой стремянный, государь!—поспѣшилъ сказать Серебряный, узнавъ своего стараго Михеича:—онъ не видалъ меня съ тѣхъ поръ...

— Такъ, такъ, батюшка государь!—подтвердилъ Михеичъ, заикаясь отъ страха и радости:—его княжеская милость вправду изволитъ говорить!.. Не видѣлись мы съ того дня, какъ схватили его милость! Дозволь же, батюшка царь, на боярина моего посмотрѣть! Господи свѣты, Никита Романычъ! Я уже думалъ, не придется мнѣ увидѣть тебя!

— Что̀ же ты хотѣлъ сказать ему?—спросилъ царь, продолжая недовѣрчиво глядѣть на Михеича:—зачѣмъ ты за станичниками хоронился?

— Поопасывался, батюшка государь Иванъ Васильичъ, опричниковъ твоихъ поопасывался! Это вѣдь, самъ знаешь, это вѣдь, государь, все такой народъ...

И Михеичъ закусилъ языкъ.

— Какой народъ?—спросилъ Іоаннъ, стараясь придать чертамъ своимъ милостивое выраженіе:—говори, старикъ, безъ зазора, какой народъ мои опричники?

Михеичъ поглядѣлъ на царя и успокоился.

— Да такого мы до литовскаго похода отродясь не видывали, батюшка!—проговорилъ онъ вдругъ, ободренный милостивымъ выраженіемъ царскаго лица:—не въ укоръ имъ сказать, ненадежный народъ, тётка ихъ подкурятина!

Царь пристально посмотрѣлъ на Михеича, дивясь, что слуга равняется откровенностью своему господину.

— Ну, что ты на него глаза таращишь?—сказала мамка.—Съѣсть его, что-ли, хочешь? Развѣ онъ не правду говоритъ? Развѣ видывали прежде на Руси кромѣшниковъ?

Михеичъ, нашедши себѣ подмогу, обрадовался.

— Такъ, бабуся, такъ!—сказалъ онъ.—Отъ нихъ-то все зло и пошло на Руси! Они-то и боярина оговорили! Не вѣрь имъ, государь, не вѣрь имъ! Песьи у нихъ морды на сбруѣ, песій и брехъ на языкѣ! Господинъ мой вѣрно служилъ тебѣ, а это Вяземскій съ Хомякомъ наговорили на него. Вотъ и бабуся правду сказала, что такихъ сыроядцевъ и не видано на Руси!

И, озираясь на окружающихъ его опричниковъ, Михеичъ придвинулся поближе къ Серебряному.—Хоть вы-де и волки, а теперь не съѣдите!

Когда царь вышелъ на крыльцо, онъ уже рѣшился простить разбойниковъ. Ему хотѣлось только продержать ихъ нѣкоторое время въ недоумѣніи. Замѣчанія мамки пришлись некстати и чуть-было не раздражили Іоанна, но, къ счастью, на него нашла милостивая полоса, и вмѣсто того, чтобъ предаться гнѣву, онъ вздумалъ посмѣяться надъ Онуфріевной и уронить ея значеніе въ глазахъ царедворцевъ, а вмѣстѣ и подшутить надъ стремяннымъ Серебрянаго.

— Такъ тебѣ не люба опричнина?—спросилъ онъ Михеича съ видомъ добродушія.

— Да кому-жъ она люба, батюшка государь? Съ того часу, какъ вернулись мы изъ Литвы, все отъ нея пошли сыпаться бѣды на боярина моего. Не будь этихъ, прости Господи, живодёровъ, мой господинъ былъ бы, попрежнему, въ чести у твоей царской милости.

И Михеичъ опять опасливо посмотрѣлъ на царскихъ тѣло-

хранителей, но тотъ же часъ подумалъ про себя: «Эхъ, тётка ихъ подкурятина! Ужъ погублю свою голову, а очищу передъ царемъ господина моего!»

— Добрый у тебя стремянный!—сказалъ царь Серебряному.— Пусть бы и мои слуги такъ ко мнѣ мыслили! А давно онъ у тебя?

— Да я, батюшка Иванъ Васильевичъ,—подхватилъ Михеичъ, совершенно ободренный царскою похвалою:—я князю съ самаго съ его сыздѣтства служу. И батюшкѣ его покойному служилъ я, и отецъ мой дѣду его служилъ, и дѣти мои, кабы были у меня, его бы дѣтямъ служили!

— А нѣтъ у тебя развѣ дѣтушекъ, старичокъ?—спросилъ Іоаннъ еще милостивѣе.

— Было двое сыновей, батюшка, да обоихъ Господь прибралъ. Оба на твоемъ государскомъ дѣлѣ подъ Полоцкомъ полегли, когда мы съ Никитой Романовичемъ да съ княземъ Пронскимъ Полоцкъ выручали. Старшему сыну, Василью, вражій Ляхъ, налетѣвъ, саблей голову раскроилъ, а меньшому-то, Степану, изъ пищали грудь прострѣлили, сквозь самый наплечникъ, вотъ настолько повыше лѣваго соска!

И Михеичъ пальцемъ показалъ на груди своей мѣсто, гдѣ въ Степана попала пуля.

— Вишь!—проговорилъ Іоаннъ, покачивая головой и какъ будто принимая большое участіе въ сыновьяхъ Михеича:—ну, что-жъ дѣлать, старичокъ, этихъ Богъ прибралъ, другихъ наживешь!

— Да откуда нажить-то ихъ, батюшка? Хозяйка-то у меня померла, а изъ рукава-то новыхъ дѣтей не вытрусишь!

— Что-жъ,—сказалъ царь, какъ бы желая утѣшить сремяннаго:—еще, дастъ Богъ, другую хозяйку найдешь!

Михеичъ ощущалъ не малое удовольствіе въ разговорѣ съ царемъ.

— Да этого добра какъ не найти,—отвѣтилъ онъ, ухмыляясь:—только не охочъ я до бабъ, батюшка государь, да ужъ и старъ становлюсь этакимъ дѣломъ заниматься!

— Баба бабѣ рознь,—замѣтилъ Іоаннъ и, схвативъ Онуфріевну за душегрѣйку:—вотъ тебѣ хозяйка!—сказалъ онъ и выдвинулъ мамку впередъ.—Возьми ее, старина, живи съ ней въ любви и въ совѣтѣ, да дѣтей приживай!

Опричники, понявъ царскую шутку, громко захохотали, а Михеичъ, въ изумленіи, посмотрѣлъ на царя, не смѣется ли и онъ, но на лицѣ Іоанна не было улыбки.

Безжизненные глаза мамки вспыхнули.

— Страмникъ ты!—закричала она на Іоанна:—безбожникъ! Я тебѣ дамъ ругаться надо мной! Страмникъ ты, тьфу! Еретикъ безсовѣстный!

Старуха застучала клюкою о крыльцо, и губы ея еще сердитѣе зажевали, а носъ посинѣлъ.

— Полно ломаться, бабушка,—сказалъ царь:—я тебѣ добраго мужа сватаю; онъ будетъ тебя любить, дарить, уму-разуму научать! А свадьбу мы сегодня же послѣ вечерни сыграемъ! Ну, какова твоя хозяйка, старичина?

— Умилосердись, батюшка государь!—проговорилъ Михеичъ въ совершенномъ испугѣ.

— Что-жъ? развѣ она тебѣ не по-сердцу?

— Какое по-сердцу, батюшка!—простоналъ Михеичъ, отступая назадъ.

— Стерпится-слюбится,—сказалъ Іоаннъ:—а я дамъ за ней доброе приданое!

Михеичъ съ ужасомъ посмотрѣлъ на Онуфріевну, которую царь все еще держалъ за душегрѣйку.

— Батюшка Иванъ Васильевичъ!—воскликнулъ онъ вдругъ, падая на колѣни:—вели меня казнить, только не вели этакого сраму на себя принимать! Скорѣй на плаху пойду, чѣмъ женюсь на ея милости, тётка ея подкурятина!

Иванъ Васильевичъ немного помолчалъ и вдругъ разразился громкимъ продолжительнымъ смѣхомъ.

— Ну,—сказалъ онъ, выпуская наконецъ Онуфріевну, которая поспѣшила уйти, [ругаясь и отплевываясь:—честь приложена, убытку Богъ избавилъ! Я хотѣлъ вашего счастья, а на-

сильно вѣнчать васъ не буду! Служи попрежнему боярину твоему, старина, а ты, Никита, подойди сюда. Отпускаю тебѣ и вторую вину твою. А этихъ голоштанниковъ въ опричнину не впишу; мои молодцы, пожалуй, обидятся. Пусть идутъ къ Жиздрѣ, въ сторожевой полкъ. Коли охочи они на Татаръ, будетъ имъ съ кѣмъ перевѣдаться. Ты же, — продолжалъ онъ особенно милостивымъ голосомъ, безъ примѣси своей обычной насмѣшливости и положивъ руку на плечо Серебрянаго, — ты оставайся у меня. Я помирю тебя съ опричниной. Когда узнаешь насъ покороче, перестанешь дичиться. Хорошо бить Татаръ, но мои враги не одни Татары; есть и хуже ихъ. Этихъ-то научись грызть зубами и метлой выметать!

И царь потрепалъ Серебрянаго по плечу.

— Никита,—прибавилъ онъ благоволительно и оставляя свою руку на плечѣ князя:—у тебя сердце правдивое, и языкъ твой не знаетъ лукавства; такихъ-то слугъ мнѣ и надо. Впишись въ опричнину; я дамъ тебѣ мѣсто выбылого Вяземскаго! Тебѣ я вѣрю, ты меня не продашь.

Всѣ опричники съ завистью посмотрѣли на Серебрянаго; они уже видѣли въ немъ новое возникающее свѣтило, и стоявшіе подалѣ отъ Іоанна уже стали шептаться между собою и выказывать свое неудовольствіе, что царь, безъ вниманія къ ихъ заслугамъ, ставитъ имъ на голову опальнаго пришельца столбового боярина, древняго княжескаго рода.

Но сердце Серебрянаго сжалось отъ словъ Іоанновыхъ.

— Государь,—сказалъ онъ,—сдѣлавъ усиліе надъ собою:—благодарствую тебѣ за твою милость; но дозволь уже лучше и мнѣ къ сторожевому полку примкнуться. Здѣсь мнѣ дѣлать нечего, я къ слободскому обычаю не привыченъ, а тамъ я буду служить твоей милости, доколѣ силъ хватитъ!

— Вотъ какъ!—сказалъ Іоаннъ и снялъ руку съ плеча Серебрянаго:—это значитъ мы не угодны его княжеской милости! Должно быть, съ ворами оставаться честнѣе, чѣмъ быть моимъ оружничимъ! Ну, что-жъ, — продолжалъ онъ насмѣшливо: — я никому въ дружбу не набиваюсь и никого насильно не держу.

Свыклись вмѣстѣ, такъ и служите вмѣстѣ. Добраго пути, разбойничій воевода!

И, взглянувъ презрительно на Серебрянаго, царь повернулся къ нему спиной и вошелъ во дворецъ.

ГЛАВА XXXVIII.

Выѣздъ изъ Слободы.

Годуновъ предложилъ Серебряному остаться у него въ домѣ до выступленія въ походъ. Этотъ разъ предложеніе было сдѣлано отъ души, ибо Борисъ Ѳедоровичъ, наблюдавшій за каждымъ словомъ и за каждымъ движеніемъ царя, заключилъ, что грозы болѣе не будетъ и что Іоаннъ ограничится одною холодностью къ Никитѣ Романовичу.

Исполняя обѣщаніе, данное Максиму, Серебряный прямо съ царскаго двора отправился къ матери своего названнаго брата и отдалъ ей крестъ Максимовъ. Малюты не было дома. Старушка уже знала о смерти сына и приняла Серебрянаго какъ роднаго; но когда онъ, окончивъ свое порученіе, простился съ нею, она не посмѣла его удерживать, боясь возвращенія мужа, и только проводила съ крыльца съ благословеніями.

Вечеромъ, когда Годуновъ оставилъ Серебрянаго въ опочивальнѣ и удалился, пожелавъ ему спокойнаго сна, Михеичъ далъ полную волю своей радости.

— Ну, бояринъ, — сказалъ онъ: — выпалъ же мнѣ наконецъ красный денекъ послѣ долгаго горя! Вѣдь съ той поры, какъ схватили тебя, Никита Романычъ, я словно свѣта Божьяго не вижу! То-и-дѣло по Москвѣ да по Слободѣ слоняюсь, не провѣдаю-ль чего про тебя? Какъ услышалъ сегодня, что ты съ станичниками вернулся, такъ со всѣхъ ногъ и пустился на царскій дворъ; анъ царь-то ужъ на крыльцѣ! Я давай межъ станичниковъ до тебя пробираться, да и не вытерпѣлъ, сталъ ловить тебя за полу, а царь-то меня и увидѣлъ. Ну, набрался же я страху! Вѣкъ не забуду! Два молебна завтра отслужу:

одинъ за твое здоровье, а другой — что соблюлъ меня Господь отъ этой вѣдьмы, не далъ надо мною такому скверному дѣлу совершиться!

И Михеичъ началъ разсказывать все, что̀ съ нимъ было послѣ разоренія Морозовскаго дома, и какъ онъ, извѣстивъ Перстня и вернувшись на мельницу, нашелъ тамъ Елену Дмитріевну и взялся проводить ее до мужниной вотчины, куда слуги Морозова увезли его во время пожара.

Серебряный нетерпѣливо слушалъ многократныя отступленія Михеича.

— Вѣдь я, Никита Романычъ, — говорилъ старикъ: — вѣдь я не слѣпъ, хоть и молчу, а все вижу. Признаться, батюшка, не нравилось мнѣ крѣпко, когда ты къ Дружинѣ Андреичу-то ѣздилъ. Не выйдетъ добра изъ этого, думалъ я, да и совѣстно, правду сказать, за тебя было, когда ты съ нимъ за однимъ столомъ сидѣлъ, изъ одного ковша пилъ. Ты меня, батюшка, понимаешь. Хоть ты, положимъ, и не виноватъ въ этомъ; кто его знаетъ, какъ оно къ человѣку приходитъ! Да противъ него-то грѣшно было. Ну, а теперь, конечно, дѣло другое; теперь ей некому отвѣта держать, царствіе ему небесное! Да и молода она, голубушка, вдовой оставаться!

— Не кори меня, Михеичъ, — сказалъ Серебряный съ неудовольствіемъ: — а скажи, гдѣ она теперь и что̀ ты про нее знаешь?

— Позволь, батюшка, погоди; дай мнѣ все по порядку тебѣ доложить. Вотъ, изволишь ли видѣть, какъ я отъ станичниковъ-то на мельницу вернулся, мельникъ-то мнѣ и говоритъ: залетѣла, говоритъ, жаръ-птица ко мнѣ; отвези ее, говоритъ, къ царю Далмату! Я сначала не понялъ, что̀ за птица и что̀ за Далматъ такой; только уже послѣ, когда показалъ онъ мнѣ боярыню-то, тогда ужъ смекнулъ, что онъ про нее говорилъ. Вотъ и поѣхали мы съ нею въ вотчину Дружины Андреича. Сначала она ничего, молчитъ себѣ и очей не подымаетъ; потомъ стала потихоньку про мужа спрашивать; а потомъ, батюшка, туда, сюда, да и про тебя спросила, только, вишь, не прямо,

а такъ, какъ бы нехотя, отворотимшись. Извѣстно, женское дѣло. Я ей все разсказалъ, что было мнѣ вѣдомо, а она, сердечная, еще кручиннѣе прежняго стала, повѣсила головушку, да уже во всю дорогу ничего и не говоритъ. Вотъ, какъ стали подъѣзжать къ вотчинѣ поприщъ, этакъ, будетъ за десять, она, вижу зачинаетъ безпокоиться. Что ты, говорю, сударыня, безпокоиться изволишь? Она, батюшка, въ слезы. Я ее утѣшать. Не кручинься, говорю, боярыня, Дружина Андреичъ здравствуетъ! А она при имени Дружины-то Андреича давай еще горше плакать. Я, этакъ, посмотрѣлъ на нее, да ужъ не знаю, что и говорить ей. И князь Никита Романычъ, говорю, хоча и въ тюрьмѣ, а должно быть также здравствуетъ! Ужъ не зналъ, батюшка, что и сказать ей, чувствую, что не то говорю, а все же что-нибудь сказать надо. Только какъ назвалъ я тебя, батюшка, такъ она вдругъ и останови коня. «Нѣтъ, говоритъ, дядюшка, не могу ѣхать въ вотчину!»—«Что ты, боярыня, куда-жъ тебѣ ѣхать?» — «Дядюшка, говоритъ, видишь золоченые кресты изъ-за лѣсу виднѣются?» — «Вижу, сударыня». — «То, говоритъ, дѣвичій монастырь; я узнаю тѣ кресты, проводи меня туда, дядюшка!» Я было отговариваться, только она стоитъ на своемъ: «проводи да проводи!»—«Я, говоритъ, тамъ съ недѣльку обожду, Богу помолюсь, а потомъ повѣщу Дружинѣ Андреичу; онъ пришлетъ за мной!» Нечего было дѣлать, проводилъ ее, батюшка; тамъ и оставилъ на рукахъ у игуменьи.

— Сколько будетъ до того монастыря?—спросилъ Серебряный.

— Отъ мельницы было поприщъ сорокъ, батюшка; отъ Москвы, пожалуй, будетъ подалѣ. Да оно намъ почитай по дорогѣ приходится, коли мы на Жиздру пойдемъ.

— Михеичъ! —сказалъ Серебряный:—сослужи мнѣ службу. Я прежде утра выступить не властенъ; надо моимъ людямъ царю крестъ цѣловать. Но ты сею же ночью поѣзжай о двуконь, не жалѣй ни себя, ни коней; попросись къ боярынѣ, разскажи ей все; упроси ее, чтобы приняла меня, чтобы ни на что не рѣшалась, не повидавшись со мною!

— Слушаю, батюшка, слушаю; да ты ужъ не опасаешься ли, чтобъ она постриглась? Этого не будетъ, батюшка. Пройдетъ годокъ, поплачетъ она, конечно, безъ этого нельзя, какъ по Дружинѣ Андреичѣ не поплакать, царствіе ему небесное. А тамъ, посмотри, и свадьбу сыграемъ, не вѣкъ же намъ, батюшка, горе отбывать!

Михеичъ въ эту же ночь отправился въ монастырь, а Серебряный, лишь только занялась заря, пошелъ проститься съ Годуновымъ.

Борисъ Ѳедорычъ уже вернулся отъ заутрени, которую, по обычаю своему, слушалъ вмѣстѣ съ царемъ.

— Что ты такъ рано поднялся, князь?—спросилъ онъ Никиту Романовича.—Это хорошо намъ, слободскимъ, а ты могъ бы и поотдохнуть послѣ вчерашняго дня. Или тебѣ не спокойно у меня было?

Но тонкій взглядъ Годунова показывалъ, что онъ зналъ причину безсонницы князя.

Привѣтливость Бориса Ѳедоровича, его неподдѣльное участіе къ Серебряному, услуги, имъ столько разъ оказанныя, а главное, его совершенное несходство съ другими царедворцами, привлекали къ нему сильно Никиту Романовича. Онъ открылся ему въ любви своей къ Еленѣ.

— Все это мнѣ давно уже вѣдомо!—сказалъ, улыбаясь, Годуновъ.—Я догадался объ этомъ еще въ первый твой пріѣздъ въ Слободу, изъ того, какъ ты смотрѣлъ на Вяземскаго. А когда я нарочно завелъ съ тобою рѣчь о Морозовѣ, ты говорилъ о немъ неохотно, несмотря, что былъ съ нимъ въ дружбѣ. Ты, князь, ничего не умѣешь хоронить въ себѣ. О чемъ ни подумаешь, все у тебя на лицѣ такъ и напишется. Да и говоришь-то ты ужъ черезчуръ правдиво, Никита Романычъ, позволь тебѣ сказать. Я за тебя вчера испугался, да и подосадовалъ-таки на тебя, когда ты напрямикъ отвѣчалъ царю, что не хочешь вписаться въ опричнину.

— А что же мнѣ было отвѣчать ему, Борисъ Ѳедорычъ?

— Тебѣ было поблагодарить царя и принять его милость.

— Да ты шутишь, Борисъ Ѳедорычъ, али вправду говоришь? Какъ же мнѣ за это благодарить царя? Да ты самъ развѣ вписанъ въ опричнину?

— Я дѣло другое, князь. Я знаю, что̀ дѣлаю. Я царю не перечу; онъ меня самъ не захочетъ вписать; та̀къ ужъ я поставилъ себя. А ты, когда поступилъ бы на мѣсто Вяземскаго да сдѣлался бы оружничимъ царскимъ и былъ бы въ приближеніи у Ивана Васильевича, ты бы этимъ всей землѣ послужилъ. Мы бы съ тобой стали идти заодно, а опричнину, пожалуй, подсѣкли бы.

— Нѣтъ, Борисъ Ѳедорычъ, не съумѣлъ бы я этого. Самъ же ты говоришь, что у меня все на лицѣ видно.

— Оттого, что ты не хочешь приневолить себя, князь. Вотъ кабы ты рѣшился перемочь свою прямоту, да хотя бы для виду вступилъ въ опричнину, чего бы мы съ тобой ни сдѣлали! А то посмотри на меня: я одинъ, бьюсь какъ щука объ ледъ; всякаго долженъ опасаться, всякое слово обдумывать; иногда просто голова кругомъ идетъ! А было бы насъ двое около царя, и силы-бъ удвоились. Такихъ людей, какъ ты, немного, князь. Скажу тебѣ прямо: я съ нашей первой встрѣчи разсчитывалъ на тебя!

— Не гожусь я на это дѣло, Борисъ Ѳедорычъ. Сколько разъ я ни пытался подладиться подъ чужой обычай, ничего не выходитъ. Вотъ ты, дай Богъ тебѣ здоровья, ты на этомъ собаку съѣлъ. Правду сказать, сначала мнѣ не по̀-сердцу было, что ты иной разъ думаешь одно, а говоришь другое; но теперь я вижу, куда ты гнешь, и понимаю, что по-твоему дѣлать лучше. А я-бъ и хотѣлъ, да не умѣю; не сподобилъ меня Богъ такому искусству. Впрочемъ, что̀ теперь и говорить объ этомъ! Самъ знаешь, царь меня, по моему же упросу, въ сторожевой полкъ посылаетъ.

— Это ничего, князь. Ты опять Татаръ побьешь, царь опять тебя предъ свои очи пожалуетъ. Оружничимъ тебѣ, конечно, уже не бывать, но если попросишься въ опричнину, тебя впишутъ. А хотя бы и не случилось тебѣ Татаръ побить, все же ты

пріѣдешь на Москву, когда Еленѣ Дмитріевнѣ вдовій срокъ минетъ. Того не опасайся, чтобъ она постриглась: этого не будетъ, Никита Романычъ; я лучше тебя человѣческое сердце знаю; не по любви она за Морозова вышла, незачѣмъ ей и постригаться теперь. Дай только остыть крови и высохнуть слезамъ; я же буду, коли хочешь, твоимъ дружкой.

— Спасибо тебѣ, Борисъ Ѳедорычъ, спасибо. Мнѣ даже совѣстно, что ты уже столько сдѣлалъ для меня, а я ничѣмъ тебѣ отплатить не могу. Кабы пришлось за тебя въ пытку идти, или въ бою животъ положить, я бы не задумался. А въ опричнину меня не зови, и около царя быть мнѣ также не можно. Для этого надо или совсѣмъ отъ совѣсти отказаться, или твое умѣнье имѣть. А я бы только даромъ душой кривилъ. Каждому, Борисъ Ѳедорычъ, Господь свое указалъ: у сокола свой летъ, у лебедя свой; лишь бы въ каждомъ правда была.

— Такъ ты меня уже болѣ не винишь, князь, что я не прямою, а окольною дорогой иду?

— Грѣхъ было бы мнѣ винить тебя, Борисъ Ѳедорычъ. Не говорю уже о себѣ; а сколько ты другимъ добра сдѣлалъ! И моимъ ребятамъ безъ тебя, пожалуй, плохо пришлось бы. Не даромъ и любятъ тебя въ народѣ. Всѣ на тебя надежду полагаютъ; вся земля начинаетъ смотрѣть на тебя!

Легкій румянецъ пробѣжалъ по смуглому лицу Годунова, и въ очахъ его блеснуло удовольствіе. Примирить съ своимъ образомъ дѣйствій такого человѣка, какъ Серебряный, было для него не малымъ торжествомъ и служило ему мѣриломъ его обаятельной силы.

— Въ мою очередь, спасибо тебѣ, князь,—сказалъ онъ.— Объ одномъ прошу тебя: коли ты не хочешь помогать мнѣ, то, по крайней мѣрѣ, когда услышишь, что про меня говорятъ худо, не вѣрь тѣмъ слухамъ и скажи клеветникамъ моимъ все, что про меня знаешь!

— Ужъ объ этомъ не заботься, Борисъ Ѳедорычъ! Я никому не дамъ про тебя и помыслить худо, не только что говорить. Мои станичники и теперь уже молятся о твоемъ здравіи, а если

вернутся на родину, то и всѣмъ своимъ ближнимъ закажутъ! Дай только Богъ уцѣлѣть тебѣ!

— Господь хранитъ ходящихъ въ незлобіи!—сказалъ Годуновъ, скромно опуская глаза.—А впрочемъ, все въ Его святой волѣ! Прости же, князь; до скораго свиданія; не забудь, что ты обѣщалъ позвать меня на свадьбу.

Они дружески обнялись, и у Никиты Романовича повеселѣло на сердцѣ. Онъ привыкъ къ мысли, что Годуновъ не легко ошибается въ своихъ предположеніяхъ, и недавнія опасенія его насчетъ Елены разсѣялись.

Вскорѣ онъ выѣхалъ во главѣ своего пѣшаго отряда; но еще прежде чѣмъ они оставили Слободу, случилось одно обстоятельство, которое, по тогдашнимъ понятіямъ, принадлежало къ недобрымъ предзнаменованіямъ.

Близъ одной церкви отрядъ былъ остановленъ столпленіемъ нищихъ, которые тѣснились у паперти, во всю ширину улицы, и, казалось, ожидали богатой милости отъ какого-нибудь знатнаго лица, находившагося въ церкви.

Подвигаясь медленно впередъ, чтобы дать время толпѣ раздвинуться, Серебряный услышалъ панихидное пѣніе и спросилъ по комъ идетъ служба? Ему отвѣчали, что то Григорій Лукьяновичъ Скуратовъ-Бѣльскій справляетъ поминки по сынѣ Максимѣ Григорьевичѣ, убитомъ Татарами. Въ то же время послышался громкій крикъ, и изъ церкви вынесли старушку лишенную чувствъ; исхудалое лицо ея было облито слезами, а сѣдые волосы падали въ безпорядкѣ изъ-подъ бархатной шапочки. То была мать Максима. Малюта, въ смирной одеждѣ, показался на крыльцѣ, и глаза его встрѣтились съ глазами Серебрянаго; но въ чертахъ Малюты не было на этотъ разъ обычнаго звѣрства, а только какая-то тупая одурѣлость, безъ всякаго выраженія. Приказавъ положить старушку на паперти, онъ воротился въ церковь дослушивать панихиду, а станичники съ Серебрянымъ, снявши шапки и крестясь, прошли мимо церковныхъ вратъ, и слышно имъ было, какъ въ церкви торжественно и протяжно раздавалось: «со святыми упокой!»

Это печальное пѣніе и мысль о Максимѣ тяжело подѣйствовали на Серебрянаго, но ему вспомнились успокоительныя слова Годунова и скоро изгладили грустное впечатлѣніе панихиды. На изгибѣ дороги, входящей въ темный лѣсъ, онъ оглянулся на Александрову Слободу, и когда скрылись отъ него золоченыя главы дворца Іоаннова, онъ почувствовалъ облегченіе, какъ будто тяжесть свалилась съ его сердца.

Утро было свѣжее, солнечное. Бывшіе разбойники, хорошо одѣтые и вооруженные, шли дружнымъ шагомъ за Серебрянымъ и за всадниками, его сопровождавшими. Зеленый мракъ охватывалъ ихъ со всѣхъ сторонъ. Конь Серебрянаго, полный нетерпѣливой отваги, срывалъ мимоходомъ листья съ нависшихъ вѣтвей, а Буянъ, не оставлявшій князя послѣ смерти Максима, бѣжалъ впереди, подымалъ иногда, нюхая вѣтеръ, косматую морду, или нагибалъ ее на сторону и чутко навастривалъ ухо, если какой-нибудь отдаленный шумъ раздавался въ лѣсу.

ГЛАВА XXXIX.

Послѣднее свиданіе.

Нѣсколько дней шелъ Серебряный съ своимъ отрядомъ. На одномъ ночлегѣ, откуда былъ поворотъ къ дѣвичьему монастырю, онъ оставилъ людей своихъ, и поѣхалъ одинъ навстрѣчу Михеичу, обѣщавшему привезти ему отвѣтъ отъ боярыни.

Всю ночь онъ ѣхалъ безостановочно. На зарѣ, приближаясь къ одному перекрестку, увидѣлъ онъ догорающій костеръ и сидящаго близъ него Михеича. Обѣ его лошади паслись неподалеку осѣдланныя.

Услышавъ конскій топотъ, Михеичъ вскочилъ на ноги.

— Батюшка, князь Никита Романычъ!—вскричалъ онъ, узнавая князя:—не ѣзди далѣ! батюшка! Вернись назадъ, нечего тамъ тебѣ дѣлать!

— Что случилось?—спросилъ Серебряный, и сердце его замерло.

— Все кончено, батюшка! Не судилъ намъ Господь счастія!

Серебряный спрянулъ на землю.

— Говори,—сказалъ онъ:—что случилось съ боярыней?

Старикъ молчалъ.

— Что случилось съ Еленой Дмитріевной?—повторилъ въ испугѣ Серебряный.

— Нѣтъ болѣ Елены Дмитріевны, батюшка!—сказалъ мрачно Михеичъ.—Есть только сестра Евдокія!

Серебряный зашатался и прислонился къ дереву.

Михеичъ смотрѣлъ на него горестно.

— Что-жъ дѣлать, Никита Романычъ! Видно, на то была Божья воля. Не въ счастливый мы, видно, вѣкъ родились!

— Разсказывай все!—сказалъ Серебряный, оправившись.—Не жалѣй меня. Когда постриглась боярыня?

— Когда узнала о казни Дружины Андреича, батюшка; когда получили въ монастырѣ синодикъ отъ царя, съ именами всѣхъ казненныхъ и съ указомъ молиться за ихъ упокой; наканунѣ того самаго дня, какъ я къ ней пріѣхалъ.

— Видѣлъ ты ее?

— Видѣлъ, батюшка.

Серебряный хотѣлъ что-то сказать и не могъ.

— На самый краткій мигъ видѣлъ,—прибавилъ Михеичъ:—не хотѣла она меня допустить сперва.

— Что она велѣла сказать мнѣ?—проговорилъ съ трудомъ Серебряный.

— Чтобы ты за нее молился, батюшка.

— И болѣ ничего?

— Ничего, батюшка.

— Михеичъ!—произнесъ князь, послѣ краткаго молчанія:—проводи меня въ монастырь; я хочу проститься съ ней...

Старикъ покачалъ головой.

— Зачѣмъ тебѣ къ ней, батюшка? Не смущай ее болѣ: она

теперь все равно что́ святая. Вернемся лучше къ отряду и пойдемъ прямо къ Жиздрѣ!

— Не могу!—сказалъ Серебряный.

Михеичъ опять покачалъ головою и подвелъ къ нему одного изъ своихъ коней.

— Садись же на этого,—сказалъ онъ, вздыхая:—твой больно заморился!

Они, молча, поѣхали къ монастырю.

Дорога шла все время лѣсомъ. Вскорѣ послышалось журчанье воды, и ручей, пробиравшійся между камышами, сверкнулъ сквозь густую зелень.

— Узнаешь ты это мѣсто, князь? — спросилъ грустно Михеичъ.

Серебряный поднялъ голову и увидѣлъ свѣжее пожарище. Кой-гдѣ земля была недавно изрыта, а остатки строенія и сломанное водяное колесо показывали, что тутъ была мельница.

— Это когда они колдуна схватили, — замѣтилъ Михеичъ:— то и жилье его разорили: думали тутъ кладъ найти, тётка ихъ подкурятина!

Серебряный бросилъ разсѣянный взглядъ на пожарище, и они молча поѣхали далѣе.

Черезъ нѣсколько часовъ лѣсъ началъ рѣдѣть. Межъ деревьями забѣлѣла каменная ограда, и на расчищенной полянѣ показался монастырь. Онъ не стоялъ, подобно инымъ обителямъ, на возвышенномъ мѣстѣ. Изъ узкихъ рѣшетчатыхъ оконъ не видно было обширныхъ монастырскихъ угодій, и взоръ вездѣ упирался лишь въ голые стволы и мрачную зелень сосенъ, опоясывавшихъ тѣснымъ кругомъ ограду. Окрестность была глуха и печальна; монастырь, казалось, принадлежалъ къ числу бѣдныхъ.

Всадники сошли съ коней и постучались въ калитку.

Прошло нѣсколько минутъ: послышалось бряцаніе ключей.

— Слава Господу Іисусу Христу!—сказалъ тихо Михеичъ.

— Во вѣки вѣковъ, аминь!—отвѣчала сестра-вратница, отворяя калитку. — Кого вамъ надобно, государи?

— Сестру Евдокію, — произнесъ вполголоса Михеичъ, боясь этимъ названіемъ растравить душевную рану своего господина.— Ты меня знаешь, матушка, я недавно былъ здѣсь.

— Нѣтъ, государь, не знаю; я только сегодня ко вратамъ приставлена, а до меня была сестра Агнія...

И монахиня посмотрѣла опасливо на пріѣзжихъ.

— Нужды нѣтъ, матушка, — продолжалъ Михеичъ: — пусти насъ. Доложи игуменьѣ, что князь Никита Романычъ Серебряный пріѣхалъ.

Вратница окинула боязливымъ взглядомъ Серебрянаго, отступила назадъ и захлопнула за собою калитку.

Слышно было, какъ она поспѣшно удалялась, приговаривая: «Господи Іисусе Христе, помилуй насъ!»

«Что́ бы это значило?—подумалъ стремянный: — зачѣмъ она боится моего боярина?»

Онъ посмотрѣлъ на князя и понялъ, что его пыльные доспѣхи, одежда, изорванная колючимъ кустарникомъ, и встревоженное выраженіе испугали вратницу. Въ самомъ дѣлѣ, черты Никиты Романовича такъ измѣнились, что самъ Михеичъ не узналъ бы его, если бы не пріѣхалъ съ нимъ вмѣстѣ.

Черезъ нѣсколько времени послышались опять шаги вратницы.

— Не взыщите, государи,—сказала она невѣрнымъ языкомъ сквозь калитку:—теперь игуменьѣ нельзя принять васъ; приходите лучше завтра послѣ заутрени!

— Я не могу ждать!—вскричалъ Серебряный, и ударивъ ногою въ калитку, онъ вышибъ запоры и вошелъ въ ограду.

Предъ нимъ стояла игуменья, почти столь же блѣдная, какъ и онъ самъ.

— Во имя Христа Спасителя, — сказала она дрожащимъ голосомъ:—остановитесь! Я знаю, зачѣмъ ты пришелъ... но Господь караетъ душегубство, и безвинная кровь падетъ на главу твою!

— Честная мать! — отвѣчалъ Серебряный, не понимая ея испуга, но слишкомъ встревоженный, чтобы удивляться:—

честная мать, пусти меня къ сестрѣ Евдокіи! Дай на одинъ мигъ увидѣть ее! Дай мнѣ только проститься съ ней!

— Проститься?—повторила игуменья:—ты въ самомъ дѣлѣ хочешь только проститься?

— Дай мнѣ съ ней проститься, честная мать, и я все мое имущество въ твой монастырь отдамъ!

Игуменья взглянула на него недовѣрчиво.

— Ты вломился насильно, — сказала она:—ты называешься княземъ, а Богъ-вѣсть кто ты таковъ, Богъ-вѣсть зачѣмъ пріѣхалъ... Знаю, что теперь ѣздятъ опричники по святымъ монастырямъ и предаютъ смерти женъ и дочерей тѣхъ праведниковъ, которыхъ недавно на Москвѣ казнили!.. Сестра Евдокія была женою казненнаго боярина...

— Я не опричникъ!—вскричалъ Серебряный:—я самъ отдалъ бы всю кровь мою за боярина Морозова! Пусти меня къ боярынѣ, честная мать, пусти меня къ ней!

Должно быть, правда и искренность написались на чертахъ Серебрянаго. Игуменья успокоилась и посмотрѣла на него съ участіемъ.

— Погрѣшила же я передъ тобою!—сказала она.—Но, слава Христу и Пречистой Его Матери, вижу теперь, что ошиблась. Слава же Христу, Пресущественной Троицѣ и всѣмъ святымъ угодникамъ, что ты не опричникъ! Напугала меня вратница; я уже думала, какъ бы только время выиграть, сестру Евдокію схоронить! Трудные у насъ годы настали, государь! И въ Божьихъ обителяхъ опальнымъ укрыться нельзя. Слава же Господу, что я ошиблась! Если ты другъ или родственникъ Морозовыхъ, я поведу тебя къ Евдокіи. Ступай за мною, боярин, сюда мимо усыпальницы; ея келья въ самомъ саду.

Игуменья повела князя черезъ садъ къ одинокой кельѣ, густо обсаженной шиповникомъ и жимолостью. Тамъ, на скамьѣ, передъ входомъ, сидѣла Елена въ черной одеждѣ и въ покрывалѣ. Косые лучи заходящаго солнца ударяли на нее сквозь густые клены и позлащали надъ нею ихъ увядающія вѣтви. Лѣто приходило къ концу; послѣдніе цвѣты шиповника обле-

тали; черная одежда инокини была усѣяна ихъ алыми лепестками. Грустно слѣдила Елена за медленнымъ и однообразнымъ паденіемъ желтыхъ кленовыхъ листьевъ, и только шорохъ приближающихся шаговъ прервалъ ея размышленія. Она подняла голову, узнала игуменью и встала, чтобъ идти къ ней навстрѣчу, но, увидавъ внезапно Серебрянаго, вскрикнула, схватилась за сердце и въ изнеможеніи опустилась на скамью.

— Не пугайся, дитятко! — сказала ей ласково игуменья:— это знакомый тебѣ бояринъ, другъ твоего покойнаго мужа, пріѣхалъ нарочно проститься съ тобой!

Елена не могла отвѣчать. Она только дрожала, и будто въ испугѣ смотрѣла на князя. Долго оба молчали.

— Вотъ, — проговорилъ наконецъ Серебряный: — вотъ какъ намъ пришлось свидѣться!

— Намъ нельзя было свидѣться иначе!.. — сказала едва внятно Елена.

— Зачѣмъ не подождала ты меня, Елена Дмитріевна?—сказалъ Серебряный.

— Еслибъ я подождала тебя, — прошептала она: — у меня недостало бы силы... ты не пустилъ бы меня... довольно и такъ грѣха на мнѣ, Никита Романычъ...

Настало опять молчаніе. Сердце Серебрянаго сильно билось.

— Елена Дмитріевна! — сказалъ онъ прерывающимся отъ волненія голосомъ:—я навсегда прощаюсь съ тобой, навсегда, Елена Дмитріевна... Дай же мнѣ въ послѣдній разъ взглянуть на тебя... дай на твои очи въ послѣдній разъ посмотрѣть... откинь свое покрывало, Елена!

Елена исхудалою рукой подняла черную ткань, закрывавшую верхнюю часть ея лица, и князь увидѣлъ ея тихіе глаза, красные отъ слезъ, и встрѣтилъ знакомый кроткій взоръ, отуманенный безсонными ночами и душевнымъ страданіемъ.

— Прости, Елена!—вскричалъ онъ, падая ницъ и кланяясь ей въ ноги: — прости навсегда! Дай Господь забыть мнѣ, что могли мы быть счастливы!

— Нѣтъ, Никита Романычъ, — сказала грустно Елена: —

счастья намъ не было написано. Кровь Дружины Андреича была бы между счастьемъ и нами. За меня онъ пошелъ подъ опалу, я же погрѣшила противъ него, я виновница его смерти! Нѣтъ, Никита Романычъ, мы не могли быть счастливы. Да и кто теперь счастливъ?

— Да,—повторилъ Серебряный:—кто теперь счастливъ! Не милостивъ Господь ко святой Руси; а все же не думалъ я, что намъ заживо придется разлучиться навѣки!

— Не навѣки, Никита Романычъ, — улыбнулась грустно Елена:—а только здѣсь, въ этой жизни. Такъ должно было быть. Не личила бы намъ однимъ радость, когда вся земля терпитъ горе и скорбь великую!

— Зачѣмъ, сказалъ съ мрачнымъ видомъ Серебряный: — зачѣмъ не сложилъ я голову на татарскую саблю! Зачѣмъ не казнилъ меня царь, когда я ему повинную принесъ! Что мнѣ теперь осталось на свѣтѣ?

— Неси крестъ свой, Никита Романычъ, какъ я мой крестъ несу. Твоя доля легче моей. Ты можешь отстаивать родину, а мнѣ остается только молиться за тебя и оплакивать грѣхъ мой!

— Какая родина? Гдѣ наша родина?—вскричалъ Серебряный.—Отъ кого намъ ее отстаивать? Не Татары, а царь губитъ родину! Мысли мои помѣшались, Елена Дмитріевна... Ты одна еще поддерживала мой разумъ; теперь все передо мной потемнѣло; не вижу болѣ, гдѣ ложь, гдѣ правда. Все доброе гибнетъ, все злое одолѣваетъ! Часто, Елена Дмитріевна, приходилъ мнѣ Курбскій на память, и я гналъ отъ себя эти грѣшныя мысли, пока еще была цѣль для моей жизни, пока была во мнѣ сила; но нѣтъ у меня болѣ цѣли, а сила дошла до конца... разсудокъ мой путается.

— Просвѣти тебя Боже Никита Романычъ! Ужели оттого, что твое счастье погибло, ты сдѣлаешься врагомъ государевымъ, пойдешь наперекоръ всей землѣ, которая держитъ предъ нимъ поклонную голову? Вспомни, что Богъ посылаетъ намъ испытаніе, чтобы мы могли свидѣться на томъ свѣтѣ! Вспомни всю жизнь свою и не солги противъ самого себя, Никита Романычъ!

— Да ты шутишь, Борисъ Ѳедорычъ, али вправду говоришь? Какъ же мнѣ за это благодарить царя? Да ты самъ развѣ вписанъ въ опричнину?

— Я дѣло другое, князь. Я знаю, что̀ дѣлаю. Я царю не перечу; онъ меня самъ не захочетъ вписать; та̀къ ужъ я поставилъ себя. А ты, когда поступилъ бы на мѣсто Вяземскаго да сдѣлался бы оружничимъ царскимъ и былъ бы въ приближеніи у Ивана Васильевича, ты бы этимъ всей землѣ послужилъ. Мы бы съ тобой стали идти заодно, а опричнину, пожалуй, подсѣкли бы.

— Нѣтъ, Борисъ Ѳедорычъ, не съумѣлъ бы я этого. Самъ же ты говоришь, что у меня все на лицѣ видно.

— Оттого, что ты не хочешь приневолить себя, князь. Вотъ кабы ты рѣшился перемочь свою прямоту, да хотя бы для виду вступилъ въ опричнину, чего бы мы съ тобой ни сдѣлали! А то посмотри на меня: я одинъ, бьюсь какъ щука объ ледъ; всякаго долженъ опасаться, всякое слово обдумывать; иногда просто голова кругомъ идетъ! А было бы насъ двое около царя, и силы-бъ удвоились. Такихъ людей, какъ ты, немного, князь. Скажу тебѣ прямо: я съ нашей первой встрѣчи разсчитывалъ на тебя!

— Не гожусь я на это дѣло, Борисъ Ѳедорычъ. Сколько разъ я ни пытался подладиться подъ чужой обычай, ничего не выходитъ. Вотъ ты, дай Богъ тебѣ здоровья, ты на этомъ собаку съѣлъ. Правду сказать, сначала мнѣ не по̀-сердцу было, что ты иной разъ думаешь одно, а говоришь другое; но теперь я вижу, куда ты гнешь, и понимаю, что по-твоему дѣлать лучше. А я-бъ и хотѣлъ, да не умѣю; не сподобилъ меня Богъ такому искусству. Впрочемъ, что̀ теперь и говорить объ этомъ! Самъ знаешь, царь меня, по моему же упросу, въ сторожевой полкъ посылаетъ.

— Это ничего, князь. Ты опять Татаръ побьешь, царь опять тебя предъ свои очи пожалуетъ. Оружничимъ тебѣ, конечно, уже не бывать, но если попросишься въ опричнину, тебя впишутъ. А хотя бы и не случилось тебѣ Татаръ побить, все же ты

лѣсомъ. Князь ѣхалъ впереди отряда, а Михеичъ слѣдовалъ за нимъ издали, не смѣя прерывать его молчаніе.

Ѣхалъ Серебряный, понуря голову, и среди его мрачныхъ думъ, среди самой безнадежности свѣтило ему, какъ дальняя заря, одно утѣшительное чувство. То было сознаніе, что онъ въ жизни исполнилъ долгъ свой, насколько позволило ему умѣнье, что онъ шелъ прямою дорогой и ни разу не уклонился отъ нея умышленно. Драгоцѣнное чувство, которое среди скорби и бѣдъ, какъ неотъемлемое сокровище, живетъ въ сердцѣ честнаго человѣка, и предъ которымъ всѣ блага міра, все, что̀ составляетъ цѣль людскихъ стремленій,—есть прахъ и ничто!

Одно это сознаніе давало Серебряному возможность переносить жизнь, и онъ, проходя всѣ обстоятельства своего прощанія съ Еленой, повторяя себѣ каждое ея слово, находилъ грустную отраду въ мысли, что въ самомъ дѣлѣ было бы совѣстно радоваться въ теперешнее время, и что онъ не отчуждаетъ себя отъ братій, но несетъ вмѣстѣ съ ними свою долю общаго бѣдствія.

Слова Годунова также пришли ему на память, и онъ горько усмѣхнулся, вспомнивъ, съ какою увѣренностью Годуновъ говорилъ о своемъ знаніи человѣческаго сердца. «Видно,—подумалъ онъ:—не все умѣетъ угадывать Борисъ Ѳедорычъ! Государственное дѣло и сердце Ивана Васильевича ему вѣдомы; онъ знаетъ напередъ, что̀ скажетъ Малюта, что́ сдѣлаетъ тотъ или другой опричникъ; но какъ чувствуютъ тѣ, которые не ищутъ своихъ выгодъ, это для него потемки!»

И невольно вспомнилъ Серебряный о Максимѣ и подумалъ, что не такъ посудилъ бы названный братъ его. Онъ не сказалъ бы ему: она не по любви вышла за Морозова, она будетъ ждать тебя! Онъ сказалъ бы: спѣши, братъ мой! Не теряй ни мгновенія; замори коня и останови ее, пока еще время!

И при мысли о Максимѣ одиночество Никиты Романовича представилось ему еще безотраднѣе, ибо онъ вѣдалъ, что никто уже не сойдется съ нимъ такъ близко, никто не пополнитъ своею душою его души, не поможетъ ему выяснить себѣ мно-

вернутся на родину, то и всѣмъ своимъ ближнимъ закажутъ! Дай только Богъ уцѣлѣть тебѣ!

— Господь хранитъ ходящихъ въ неалобіи!—сказалъ Годуновъ, скромно опуская глаза.—А впрочемъ, все въ Его святой волѣ! Прости же, князь; до скораго свиданія; не забудь, что ты обѣщалъ позвать меня на свадьбу.

Они дружески обнялись, и у Никиты Романовича повеселѣло на сердцѣ. Онъ привыкъ къ мысли, что Годуновъ не легко ошибается въ своихъ предположеніяхъ, и недавнія опасенія его насчетъ Елены разсѣялись.

Вскорѣ онъ выѣхалъ во главѣ своего пѣшаго отряда; но еще прежде чѣмъ они оставили Слободу, случилось одно обстоятельство, которое, по тогдашнимъ понятіямъ, принадлежало къ недобрымъ предзнаменованіямъ.

Близъ одной церкви отрядъ былъ остановленъ столпленіемъ нищихъ, которые тѣснились у паперти, во всю ширину улицы, и, казалось, ожидали богатой милости отъ какого-нибудь знатнаго лица, находившагося въ церкви.

Подвигаясь медленно впередъ, чтобы дать время толпѣ раздвинуться, Серебряный услышалъ панихидное пѣніе и спросилъ по комъ идетъ служба? Ему отвѣчали, что то Григорій Лукьяновичъ Скуратовъ-Бѣльскій справляетъ поминки по сынѣ Максимѣ Григорьевичѣ, убитомъ Татарами. Въ то же время послышался громкій крикъ, и изъ церкви вынесли старушку лишенную чувствъ; исхудалое лицо ея было облито слезами, а сѣдые волосы падали въ безпорядкѣ изъ-подъ бархатной шапочки. То была мать Максима. Малюта, въ смирной одеждѣ, показался на крыльцѣ, и глаза его встрѣтились съ глазами Серебрянаго; но въ чертахъ Малюты не было на этотъ разъ обычнаго звѣрства, а только какая-то тупая одурѣлость, безъ всякаго выраженія. Приказавъ положить старушку на паперти, онъ воротился въ церковь дослушивать панихиду, а станичники съ Серебрянымъ, снявши шапки и крестясь, прошли мимо церковныхъ врать, и слышно имъ было, какъ въ церкви торжественно и протяжно раздавалось: «со святыми упокой!»

ГЛАВА XL.

Посольство Ермака.

Много времени протекло съ того дня, какъ Серебряный выѣхалъ изъ Слободы во главѣ прощенныхъ станичниковъ. Разныя перемѣны произошли съ тѣхъ поръ на Руси. Но Іоаннъ, попрежнему, то предавался подозрѣніямъ и казнилъ самыхъ лучшихъ, самыхъ знаменитыхъ гражданъ, то приходилъ въ себя, каялся всенародно и посылалъ въ монастыри богатые вклады и длинные синодики съ именами убіенныхъ, приказывая молиться за ихъ упокой. Изъ прежнихъ его любимцевъ не уцѣлѣло ни одного. Послѣдній и главный изъ нихъ, Малюта Скуратовъ, не испытавъ ни разу опалы, былъ убитъ при осадѣ Пайды, или Вейсенштейна, въ Ливоніи, и въ честь ему Іоаннъ сжегъ на кострѣ всѣхъ плѣнныхъ Нѣмцевъ и Шведовъ.

Сотни и тысячи русскихъ, потерявъ всякое терпѣніе и надежду на лучшія времена, уходили толпами въ Литву и Польшу.

Одно только счастливое событіе произошло въ теченіе этихъ лѣтъ: Іоаннъ постигъ всю безполезность раздѣленія земли на двѣ половины, изъ которыхъ меньшая терзала бо́льшую, и по внушенію Годунова уничтожилъ ненавистную опричнину. Онъ возвратился на жительство въ Москву, а страшный дворецъ въ Александровой Слободѣ запустѣлъ навсегда.

Между тѣмъ много бѣдствій обрушилось на нашу родину. Голодъ и моръ опустошали города и селенія. Нѣсколько разъ ханъ вторгался въ наши предѣлы, и въ одинъ изъ своихъ набѣговъ онъ сжегъ всѣ посады подъ Москвою и бо́льшую часть самаго города. Шведы нападали на насъ съ сѣвера; Стефанъ Баторій, избранный сеймомъ послѣ Жигимонта, возобновилъ литовскую войну и, несмотря на мужество нашихъ войскъ, одолѣлъ насъ своимъ умѣніемъ и отнялъ всѣ наши западныя владѣнія.

Царевичъ Іоаннъ хотя раздѣлялъ съ отцомъ его злодѣй-

ства, но почувствовалъ этотъ разъ униженіе государства и попросился у царя съ войскомъ противъ Баторія. Іоаннъ увидѣлъ въ этомъ замыселъ свергнуть его съ престола, и царевичъ, спасенный когда-то Серебрянымъ на Поганой-Лужѣ, не избѣжалъ теперь лютой смерти. Въ припадкѣ бѣшенства отецъ убилъ его ударомъ остраго посоха. Разсказываютъ, что Годуновъ, бросившійся между нихъ, былъ жестоко израненъ царемъ и сохранилъ жизнь только благодаря врачебному искусству пермскаго гостя Строгонова.

Послѣ этого убійства Іоаннъ, въ мрачномъ отчаяніи, созвалъ думу, объявилъ, что хочетъ идти въ монастырь, и приказалъ приступить къ выбору другого царя. Снисходя однако на усиленныя просьбы бояръ, онъ согласился остаться на престолѣ и ограничился однимъ покаяніемъ и богатыми вкладами; а вскорѣ потомъ снова начались казни. Такъ, по свидѣтельству Одерборна, онъ осудилъ на смерть двѣ тысячи триста человѣкъ за то, что они сдали врагамъ разныя крѣпости, хотя самъ Баторій удивлялся ихъ мужеству.

Теряя свои владѣнія одно за другимъ, тѣснимый со всѣхъ сторонъ врагами, видя внутреннее разстройство государства, Іоаннъ былъ жестоко пораженъ въ своей гордости, и это мучительное чувство отразилось на его пріемахъ и наружности. Онъ сталъ небреженъ въ одеждѣ, высокій станъ его согнулся, очи померкли, нижняя челюсть отвисла, какъ у старика, и только въ присутствіи другихъ онъ дѣлалъ усиліе надъ собою, гордо выпрямлялся и подозрительно смотрѣлъ на окольныхъ, не замѣчаетъ ли кто въ немъ упадка духа. Въ эти минуты онъ былъ еще страшнѣе, чѣмъ во дни своего величія. Никогда еще Москва не находилась подъ такимъ давленіемъ унынія и боязни.

Въ это скорбное время неожиданная вѣсть пришла отъ крайняго востока и ободрила всѣ сердца, обратила общее горе въ радость.

Отъ отдаленныхъ береговъ Камы прибыли на Москву знатные купцы Строгоновы, родственники того самаго гостя, который излечилъ Годунова. Они имѣли отъ царя жалованныя гра-

моты на пустыя мѣста земли Пермской, и жили на нихъ владѣтельными князьями, независимо отъ пермскихъ намѣстниковъ, съ своей управой и съ своею дружиной, при единственномъ условіи охранять границы отъ дикихъ сибирскихъ народовъ, нашихъ недавнихъ и сомнительныхъ данниковъ. Тревожимые въ своихъ деревянныхъ крѣпостяхъ ханомъ Кочумомъ, они рѣшились двинуться за Каменный Поясъ и сами напасть на непріятельскую землю. Для успѣшнѣйшаго исполненія этого замысла, они обратились къ нѣсколькимъ разбойничьимъ или, какъ они себя называли, казачьимъ атаманамъ, опустошавшимъ въ то время съ шайками своими берега Волги и Дона. Главнѣйшими изъ нихъ были Ермакъ Тимоѳеевъ и Иванъ Кольцо, осужденный когда-то на смерть, но спасшійся чудеснымъ образомъ отъ царскихъ стрѣльцовъ и долгое время пропадавшій безъ вѣсти. Получивъ отъ Строгоновыхъ дары и грамоту, которою они призывались на славное и честное дѣло, Ермакъ и Кольцо, съ тремя другими атаманами, подняли знамя на Волгѣ, собрали изъ удалой вольницы дружину и явились на зовъ Строгоновыхъ. Сорокъ струговъ были тотчасъ нагружены запасами и оружіемъ, и небольшая дружина, подъ воеводствомъ Ермака, отслушавъ молебенъ, поплыла съ веселыми пѣснями вверхъ по рѣкѣ Чусовой къ дикимъ горамъ Уральскимъ. Разбивая вездѣ враждебныя племена, перетаскивая суда изъ рѣки въ рѣку, они добрались до береговъ Иртыша, гдѣ разбили и взяли въ плѣнъ главнаго воеводу сибирскаго, Маметкула, и овладѣли городомъ Сибирью, на высокомъ и крутомъ обрывѣ Иртыша. Не довольствуясь этимъ завоеваніемъ, Ермакъ пошелъ далѣе, покорилъ весь край до Оби и заставилъ побѣжденные народы цѣловать свою кровавую саблю, во имя царя Ивана Васильевича всея Руси. Тогда только онъ далъ знать о своемъ успѣхѣ Строгоновымъ и въ то же время послалъ любимаго своего атамана Ивана Кольцо къ Москвѣ бить челомъ великому государю и кланяться ему новымъ царствомъ.

Съ этою-то радостною вѣстью Строгоновы пріѣхали къ Іоанну, и вскорѣ послѣ нихъ прибыло Ермаково посольство.

— Сестру Евдокію, — произнесъ вполголоса Михеичъ, боясь этимъ названіемъ растравить душевную рану своего господина.— Ты меня знаешь, матушка, я недавно былъ здѣсь.

— Нѣтъ, государь, не знаю; я только сегодня ко вратамъ приставлена, а до меня была сестра Агнія...

И монахиня посмотрѣла опасливо на пріѣзжихъ.

— Нужды нѣтъ, матушка, — продолжалъ Михеичъ: — пусти насъ. Доложи игуменьѣ, что князь Никита Романычъ Серебряный пріѣхалъ.

Вратница окинула боязливымъ взглядомъ Серебрянаго, отступила назадъ и захлопнула за собою калитку.

Слышно было, какъ она поспѣшно удалялась, приговаривая: «Господи Іисусе Христе, помилуй насъ!»

«Что́ бы это значило?—подумалъ стремянный: — зачѣмъ она боится моего боярина?»

Онъ посмотрѣлъ на князя и понялъ, что его пыльные доспѣхи, одежда, изорванная колючимъ кустарникомъ, и встревоженное выраженіе испугали вратницу. Въ самомъ дѣлѣ, черты Никиты Романовича такъ измѣнились, что самъ Михеичъ не узналъ бы его, если бы не пріѣхалъ съ нимъ вмѣстѣ.

Черезъ нѣсколько времени послышались опять шаги вратницы.

— Не взыщите, государи,—сказала она невѣрнымъ языкомъ сквозь калитку:—теперь игуменьѣ нельзя принять васъ; приходите лучше завтра послѣ заутрени!

— Я не могу ждать!—вскричалъ Серебряный, и ударивъ ногою въ калитку, онъ вышибъ запоры и вошелъ въ ограду.

Предъ нимъ стояла игуменья, почти столь же блѣдная, какъ и онъ самъ.

— Во имя Христа Спасителя, — сказала она дрожащимъ голосомъ:—остановитесь! Я знаю, зачѣмъ ты пришелъ... но Господь караетъ душегубство, и безвинная кровь падетъ на главу твою!

— Честная мать! — отвѣчалъ Серебряный, не понимая ея испуга, но слишкомъ встревоженный, чтобы удивляться:—

честная мать, пусти меня къ сестрѣ Евдокіи! Дай на одинъ мигъ увидѣть ее! Дай мнѣ только проститься съ ней!

— Проститься?—повторила игуменья:—ты въ самомъ дѣлѣ хочешь только проститься?

— Дай мнѣ съ ней проститься, честная мать, и я все мое имущество въ твой монастырь отдамъ!

Игуменья взглянула на него недовѣрчиво.

— Ты вломился насильно, — сказала она:—ты называешься княземъ, а Богъ-вѣсть кто ты таковъ, Богъ-вѣсть зачѣмъ пріѣхалъ... Знаю, что теперь ѣздятъ опричники по святымъ монастырямъ и предаютъ смерти женъ и дочерей тѣхъ праведниковъ, которыхъ недавно на Москвѣ казнили!.. Сестра Евдокія была женою казненнаго боярина...

— Я не опричникъ!—вскричалъ Серебряный:—я самъ отдалъ бы всю кровь мою за боярина Морозова! Пусти меня къ боярынѣ, честная мать, пусти меня къ ней!

Должно быть, правда и искренность написались на чертахъ Серебрянаго. Игуменья успокоилась и посмотрѣла на него съ участіемъ.

— Погрѣшила же я передъ тобою!—сказала она.—Но, слава Христу и Пречистой Его Матери, вижу теперь, что ошиблась. Слава же Христу, Пресущественной Троицѣ и всѣмъ святымъ угодникамъ, что ты не опричникъ! Напугала меня вратница; я уже думала, какъ бы только время выиграть, сестру Евдокію схоронить! Трудные у насъ годы настали, государь! И въ Божьихъ обителяхъ опальнымъ укрыться нельзя. Слава же Господу, что я ошиблась! Если ты другъ или родственникъ Морозовыхъ, я поведу тебя къ Евдокіи. Ступай за мною, бояринъ, сюда мимо усыпальницы; ея келья въ самомъ саду.

Игуменья повела князя черезъ садъ къ одинокой кельѣ, густо обсаженной шиповникомъ и жимолостью. Тамъ, на скамьѣ, передъ входомъ, сидѣла Елена въ черной одеждѣ и въ покрывалѣ. Косые лучи заходящаго солнца ударяли на нее сквозь густые клены и позлащали надъ нею ихъ увядающія вѣтви. Лѣто приходило къ концу; послѣдніе цвѣты шиповника обле-

тали; черная одежда инокини была усѣяна ихъ алыми лепестками. Грустно слѣдила Елена за медленнымъ и однообразнымъ паденіемъ желтыхъ кленовыхъ листьевъ, и только шорохъ приближающихся шаговъ прервалъ ея размышленія. Она подняла голову, узнала игуменью и встала, чтобъ идти къ ней навстрѣчу, но, увидавъ внезапно Серебрянаго, вскрикнула, схватилась за сердце и въ изнеможеніи опустилась на скамью.

— Не пугайся, дитятко! — сказала ей ласково игуменья:— это знакомый тебѣ бояринъ, другъ твоего покойнаго мужа, пріѣхалъ нарочно проститься съ тобой!

Елена не могла отвѣчать. Она только дрожала, и будто въ испугѣ смотрѣла на князя. Долго оба молчали.

— Вотъ, — проговорилъ наконецъ Серебряный: — вотъ какъ намъ пришлось свидѣться!

— Намъ нельзя было свидѣться иначе!.. — сказала едва внятно Елена.

— Зачѣмъ не подождала ты меня, Елена Дмитріевна?—сказалъ Серебряный.

— Еслибъ я подождала тебя, — прошептала она: — у меня недостало бы силы... ты не пустилъ бы меня... довольно и такъ грѣха на мнѣ, Никита Романычъ...

Настало опять молчаніе. Сердце Серебрянаго сильно билось.

— Елена Дмитріевна! — сказалъ онъ прерывающимся отъ волненія голосомъ:—я навсегда прощаюсь съ тобой, навсегда, Елена Дмитріевна... Дай же мнѣ въ послѣдній разъ взглянуть на тебя... дай на твои очи въ послѣдній разъ посмотрѣть... откинь свое покрывало, Елена!

Елена исхудалою рукой подняла черную ткань, закрывавшую верхнюю часть ея лица, и князь увидѣлъ ея тихіе глаза, красные отъ слезъ, и встрѣтилъ знакомый кроткій взоръ, отуманенный безсонными ночами и душевнымъ страданіемъ.

— Прости, Елена!—вскричалъ онъ, падая ницъ и кланяясь ей въ ноги: — прости навсегда! Дай Господь забыть мнѣ, что могли мы быть счастливы!

— Нѣтъ, Никита Романычъ, — сказала грустно Елена: —

счастья намъ не было написано. Кровь Дружины Андреича была бы между счастьемъ и нами. За меня онъ пошелъ подъ опалу, я же погрѣшила противъ него, я виновница его смерти! Нѣтъ, Никита Романычъ, мы не могли быть счастливы. Да и кто теперь счастливъ?

— Да,—повторилъ Серебряный:—кто теперь счастливъ! Не милостивъ Господь ко святой Руси; а все же не думалъ я, что намъ заживо придется разлучиться навѣки!

— Не навѣки, Никита Романычъ, — улыбнулась грустно Елена:—а только здѣсь, въ этой жизни. Такъ должно было быть. Не личила бы намъ однимъ радость, когда вся земля терпитъ горе и скорбь великую!

— Зачѣмъ, сказалъ съ мрачнымъ видомъ Серебряный: — зачѣмъ не сложилъ я голову на татарскую саблю! Зачѣмъ не казнилъ меня царь, когда я ему повинную принесъ! Что мнѣ теперь осталось на свѣтѣ?

— Неси крестъ свой, Никита Романычъ, какъ я мой крестъ несу. Твоя доля легче моей. Ты можешь отстаивать родину, а мнѣ остается только молиться за тебя и оплакивать грѣхъ мой!

— Какая родина? Гдѣ наша родина?—вскричалъ Серебряный.—Отъ кого намъ ее отстаивать? Не Татары, а царь губитъ родину! Мысли мои помѣшались, Елена Дмитріевна... Ты одна еще поддерживала мой разумъ; теперь все передо мной потемнѣло; не вижу болѣ, гдѣ ложь, гдѣ правда. Все доброе гибнетъ, все злое одолѣваетъ! Часто, Елена Дмитріевна, приходилъ мнѣ Курбскій на память, и я гналъ отъ себя эти грѣшныя мысли, пока еще была цѣль для моей жизни, пока была во мнѣ сила; но нѣтъ у меня болѣ цѣли, а сила дошла до конца... разсудокъ мой путается.

— Просвѣти тебя Боже Никита Романычъ! Ужели оттого, что твое счастье погибло, ты сдѣлаешься врагомъ государевымъ, пойдешь наперекоръ всей землѣ, которая держитъ предъ нимъ поклонную голову? Вспомни, что Богъ посылаетъ намъ испытаніе, чтобы мы могли свидѣться на томъ свѣтѣ! Вспомни всю жизнь свою и не солги противъ самого себя, Никита Романычъ!

Серебряный опустилъ голову. Вскипѣвшее въ немъ негодованіе уступило мѣсто строгимъ понятіямъ долга, въ которыхъ онъ былъ воспитанъ и которыя доселѣ свято хранилъ въ своемъ сердцѣ, хотя и не всегда былъ въ силахъ имъ покоряться.

— Неси крестъ свой, Никита Романычъ!—повторила Елена.— Иди куда посылаетъ тебя царь. Ты отказался вписаться въ опричнину, и совѣсть твоя чиста. Иди же на враговъ земли Русской, а я не перестану молиться за насъ обоихъ до послѣдняго моего часа!

— Прости же, Елена, прости, сестра моя! — воскликнулъ Серебряный, бросаясь къ ней.

Она встрѣтила спокойнымъ взглядомъ его сокрушенный взглядъ, обняла его какъ брата и поцѣловала три раза, безъ страха и замѣшательства, ибо въ этомъ прощальномъ лобзаніи уже не было того чувства, которое за два мѣсяца, у ограды Морозовскаго сада, кинуло ее въ объятія князя невольно и безсознательно.

— Прости!—повторила она и, опустивъ покрывало, поспѣшно удалились въ свою келью.

Стали звонить къ вечернѣ. Серебряный долго глядѣлъ во слѣдъ Еленѣ. Онъ не слыхалъ, что говорила ему игуменья, не почувствовалъ, какъ она взяла его за руку и проводила къ оградѣ. Молча сѣлъ онъ на коня, молча поѣхалъ съ Михеичемъ обратнымъ путемъ по сосновому лѣсу. Звонъ монастырскаго колокола вызвалъ его наконецъ изъ оцѣпенѣнія. Онъ только теперь понялъ всю тяжесть своего несчастія. Сердце его разрывалось отъ этого звона, но онъ сталъ прислушиваться къ нему съ любовью, какъ будто въ немъ звучало послѣднее прощаніе Елены, и когда мѣрные удары, сливаясь въ дальній гулъ, замерли наконецъ въ вечернемъ воздухѣ, ему показалось, что все родное оторвалось отъ его жизни и со всѣхъ сторонъ охватило его холодное, безнадежное одиночество.

На другой день отрядъ Никиты Романовича продолжалъ свой путь, углубляясь все далѣе въ темные лѣса, которые, съ небольшими прогулами, соединялись съ Брянскимъ дремучимъ

лѣсомъ. Князь ѣхалъ впереди отряда, а Михеичъ слѣдовалъ за нимъ издали, не смѣя прерывать его молчаніе.

Ѣхалъ Серебряный, понуря голову, и среди его мрачныхъ думъ, среди самой безнадежности свѣтило ему, какъ дальняя заря, одно утѣшительное чувство. То было сознаніе, что онъ въ жизни исполнилъ долгъ свой, насколько позволило ему умѣнье, что онъ шелъ прямою дорогой и ни разу не уклонился отъ нея умышленно. Драгоцѣнное чувство, которое среди скорби и бѣдъ, какъ неотъемлемое сокровище, живетъ въ сердцѣ честнаго человѣка, и предъ которымъ всѣ блага міра, все, что̀ составляетъ цѣль людскихъ стремленій,—есть прахъ и ничто!

Одно это сознаніе давало Серебряному возможность переносить жизнь, и онъ, проходя всѣ обстоятельства своего прощанія съ Еленой, повторяя себѣ каждое ея слово, находилъ грустную отраду въ мысли, что въ самомъ дѣлѣ было бы совѣстно радоваться въ теперешнее время, и что онъ не отчуждаетъ себя отъ братій, но несетъ вмѣстѣ съ ними свою долю общаго бѣдствія.

Слова Годунова также пришли ему на память, и онъ горько усмѣхнулся, вспомнивъ, съ какою увѣренностью Годуновъ говорилъ о своемъ знаніи человѣческаго сердца. «Видно,—подумалъ онъ:—не все умѣетъ угадывать Борисъ Ѳедорычъ! Государственное дѣло и сердце Ивана Васильевича ему вѣдомы; онъ знаетъ напередъ, что̀ скажетъ Малюта, что́ сдѣлаетъ тотъ или другой опричникъ; но какъ чувствуютъ тѣ, которые не ищутъ своихъ выгодъ, это для него потемки!»

И невольно вспомнилъ Серебряный о Максимѣ и подумалъ, что не такъ посудилъ бы названный братъ его. Онъ не сказалъ бы ему: она не по любви вышла за Морозова, она будетъ ждать тебя! Онъ сказалъ бы: спѣши, братъ мой! Не теряй ни мгновенія; замори коня и останови ее, пока еще время!

И при мысли о Максимѣ одиночество Никиты Романовича представилось ему еще безотраднѣе, ибо онъ вѣдалъ, что никто уже не сойдется съ нимъ такъ близко, никто не пополнитъ своею душою его души, не поможетъ ему выяснить себѣ мно-

гое, что въ честномъ сердцѣ своемъ онъ сознавалъ смутно, но чего, въ тревогѣ событій, онъ не успѣлъ облечь въ ясныя очертанія...

И будетъ его жизнь идти своимъ чередомъ, не спрашивая, укладываются, или нѣтъ, его лучшія стремленія въ ея тяжелыя требованія, и долго, можетъ быть, она будетъ плести свой пестрый узоръ, гдѣ каждая подробность, взятая отдѣльно, не имѣетъ понятнаго смысла, но гдѣ всѣ явленія держатся межъ собою неразрывною цѣпью, истекая одно изъ другого со строгою послѣдовательностью.

Понурилъ Серебряный голову и бросилъ поводья, и ѣхалъ шагомъ въ глухомъ бору, столь же мрачномъ, какъ и его думы. Мѣрные шаги разбойниковъ прерывали тишину пустыни. Дикіе жители ея, бѣлки и верхолазы, не привыкшіе въ этомъ безлюдномъ мѣстѣ бояться человѣка, не прятались при видѣ ратниковъ, а только взбирались на верхнія сучья и любопытно глядѣли оттуда на проходившихъ. Пестрые дятлы продолжали цѣпляться за мшистую кору древесныхъ стволовъ, повертывали свои красныя головы на пришельцевъ и опять принимались стучать въ сухое дерево.

Одинъ изъ ратниковъ, возбужденный торжественностью природы, затянулъ вполголоса протяжную пѣсню; другіе стали ему подтягивать, и вскорѣ всѣ голоса слились въ одинъ хоръ, который звучными переливами далеко раздавался подъ дремучимъ навѣсомъ деревъ.

Здѣсь можно бы кончить эту грустную повѣсть, но остается сказать, что было съ другими лицами, которыя, быть можетъ, раздѣляли съ Серебрянымъ участіе читателя. О самомъ Никитѣ Романовичѣ услышимъ мы еще разъ въ концѣ нашего разсказа; но для этого надобно откинуть семнадцать тяжелыхъ лѣтъ и перенестись въ Москву, въ славный годъ завоеванія Сибири.

ГЛАВА XL.

Посольство Ермака.

Много времени протекло съ того дня, какъ Серебряный выѣхалъ изъ Слободы во главѣ прощенныхъ станичниковъ. Разныя перемѣны произошли съ тѣхъ поръ на Руси. Но Іоаннъ, попрежнему, то предавался подозрѣніямъ и казнилъ самыхъ лучшихъ, самыхъ знаменитыхъ гражданъ, то приходилъ въ себя, каялся всенародно и посылалъ въ монастыри богатые вклады и длинные синодики съ именами убіенныхъ, приказывая молиться за ихъ упокой. Изъ прежнихъ его любимцевъ не уцѣлѣло ни одного. Послѣдній и главный изъ нихъ, Малюта Скуратовъ, не испытавъ ни разу опалы, былъ убитъ при осадѣ Пайды, или Вейсенштейна, въ Ливоніи, и въ честь ему Іоаннъ сжегъ на кострѣ всѣхъ плѣнныхъ Нѣмцевъ и Шведовъ.

Сотни и тысячи русскихъ, потерявъ всякое терпѣніе и надежду на лучшія времена, уходили толпами въ Литву и Польшу.

Одно только счастливое событіе произошло въ теченіе этихъ лѣтъ: Іоаннъ постигъ всю безполезность раздѣленія земли на двѣ половины, изъ которыхъ меньшая терзала бо́льшую, и по внушенію Годунова уничтожилъ ненавистную опричнину. Онъ возвратился на жительство въ Москву, а страшный дворецъ въ Александровой Слободѣ запустѣлъ навсегда.

Между тѣмъ много бѣдствій обрушилось на нашу родину. Голодъ и моръ опустошали города и селенія. Нѣсколько разъ ханъ вторгался въ наши предѣлы, и въ одинъ изъ своихъ набѣговъ онъ сжегъ всѣ посады подъ Москвою и бо́льшую часть самаго города. Шведы нападали на насъ съ сѣвера; Стефанъ Баторій, избранный сеймомъ послѣ Жигимонта, возобновилъ литовскую войну и, несмотря на мужество нашихъ войскъ, одолѣлъ насъ своимъ умѣніемъ и отнялъ всѣ наши западныя владѣнія.

Царевичъ Іоаннъ хотя раздѣлялъ съ отцомъ его злодѣй-

ства, но почувствовалъ этотъ разъ униженіе государства и попросился у царя съ войскомъ противъ Баторія. Іоаннъ увидѣлъ въ этомъ замыселъ свергнуть его съ престола, и царевичъ, спасенный когда-то Серебрянымъ на Поганой-Лужѣ, не избѣжалъ теперь лютой смерти. Въ припадкѣ бѣшенства отецъ убилъ его ударомъ остраго посоха. Разсказываютъ, что Годуновъ, бросившійся между нихъ, былъ жестоко израненъ царемъ и сохранилъ жизнь только благодаря врачебному искусству пермскаго гостя Строгонова.

Послѣ этого убійства Іоаннъ, въ мрачномъ отчаяніи, созвалъ думу, объявилъ, что хочетъ идти въ монастырь, и приказалъ приступить къ выбору другого царя. Снисходя однако на усиленныя просьбы бояръ, онъ согласился остаться на престолѣ и ограничился однимъ покаяніемъ и богатыми вкладами; а вскорѣ потомъ снова начались казни. Такъ, по свидѣтельству Одерборна, онъ осудилъ на смерть двѣ тысячи триста человѣкъ за то, что они сдали врагамъ разныя крѣпости, хотя самъ Баторій удивлялся ихъ мужеству.

Теряя свои владѣнія одно за другимъ, тѣснимый со всѣхъ сторонъ врагами, видя внутренее разстройство государства, Іоаннъ былъ жестоко пораженъ въ своей гордости, и это мучительное чувство отразилось на его пріемахъ и наружности. Онъ сталъ небреженъ въ одеждѣ, высокій станъ его согнулся, очи померкли, нижняя челюсть отвисла, какъ у старика, и только въ присутствіи другихъ онъ дѣлалъ усиліе надъ собою, гордо выпрямлялся и подозрительно смотрѣлъ на окольныхъ, не замѣчаетъ ли кто въ немъ упадка духа. Въ эти минуты онъ былъ еще страшнѣе, чѣмъ во дни своего величія. Никогда еще Москва не находилась подъ такимъ давленіемъ унынія и боязни.

Въ это скорбное время неожиданная вѣсть пришла отъ крайняго востока и ободрила всѣ сердца, обратила общее горе въ радость.

Отъ отдаленныхъ береговъ Камы прибыли на Москву знатные купцы Строгоновы, родственники того самаго гостя, который излечилъ Годунова. Они имѣли отъ царя жалованныя гра-

моты на пустыя мѣста земли Пермской, и жили на нихъ владѣтельными князьями, независимо отъ пермскихъ намѣстниковъ, съ своей управой и съ своею дружиной, при единственномъ условіи охранять границы отъ дикихъ сибирскихъ народовъ, нашихъ недавнихъ и сомнительныхъ данниковъ. Тревожимые въ своихъ деревянныхъ крѣпостяхъ ханомъ Кочумомъ, они рѣшились двинуться за Каменный Поясъ и сами напасть на непріятельскую землю. Для успѣшнѣйшаго исполненія этого замысла, они обратились къ нѣсколькимъ разбойничьимъ или, какъ они себя называли, казачьимъ атаманамъ, опустошавшимъ въ то время съ шайками своими берега Волги и Дона. Главнѣйшими изъ нихъ были Ермакъ Тимоѳеевъ и Иванъ Кольцо, осужденный когда-то на смерть, но спасшійся чудеснымъ образомъ отъ царскихъ стрѣльцовъ и долгое время пропадавшій безъ вѣсти. Получивъ отъ Строгоновыхъ дары и грамоту, которою они призывались на славное и честное дѣло, Ермакъ и Кольцо, съ тремя другими атаманами, подняли знамя на Волгѣ, собрали изъ удалой вольницы дружину и явились на зовъ Строгоновыхъ. Сорокъ струговъ были тотчасъ нагружены запасами и оружіемъ, и небольшая дружина, подъ воеводствомъ Ермака, отслушавъ молебенъ, поплыла съ веселыми пѣснями вверхъ по рѣкѣ Чусовой къ дикимъ горамъ Уральскимъ. Разбивая вездѣ враждебныя племена, перетаскивая суда изъ рѣки въ рѣку, они добрались до береговъ Иртыша, гдѣ разбили и взяли въ плѣнъ главнаго воеводу сибирскаго, Маметкула, и овладѣли городомъ Сибирью, на высокомъ и крутомъ обрывѣ Иртыша. Не довольствуясь этимъ завоеваніемъ, Ермакъ пошелъ далѣе, покорилъ весь край до Оби и заставилъ побѣжденные народы цѣловать свою кровавую саблю, во имя царя Ивана Васильевича всея Руси. Тогда только онъ далъ знать о своемъ успѣхѣ Строгоновымъ и въ то же время послалъ любимаго своего атамана Ивана Кольцо къ Москвѣ бить челомъ великому государю и кланяться ему новымъ царствомъ.

Съ этою-то радостною вѣстью Строгоновы пріѣхали къ Іоанну, и вскорѣ послѣ нихъ прибыло Ермаково посольство.

Ликованье въ городѣ было неслыханное. Во всѣхъ церквахъ служили молебны, всѣ колокола звонили какъ въ Свѣтлое Христово Воскресенье. Царь, обласкавъ Строгоновыхъ, назначилъ торжественный пріемъ Ивану Кольцу.

Въ большой кремлевской палатѣ, окруженный всѣмъ блескомъ царскаго величія, Иванъ Васильевичъ сидѣлъ на престолѣ въ Мономаховой шапкѣ, въ золотой рясѣ, украшенной образами и дорогими каменьями. По правую его руку стоялъ царевичъ Ѳедоръ, по лѣвую—Борисъ Годуновъ. Вокругъ престола и дверей размѣщены были рынды, въ бѣлыхъ атласныхъ кафтанахъ, шитыхъ серебромъ, съ узорными топорами на плечахъ. Вся палата была наполнена князьями и боярами.

Воспрянувъ духомъ послѣ извѣстія, привезеннаго Строгоновыми, Іоаннъ смотрѣлъ не такъ уже мрачно, и на устахъ его даже появлялась улыбка, когда онъ обращался къ Годунову съ какимъ-нибудь замѣчаніемъ. Но лицо его сильно постарѣло, морщины сдѣлались глубже, на головѣ осталось мало волосъ, а изъ бороды они вылѣзли вовсе.

Борисъ Ѳедоровичъ въ послѣдніе годы пошелъ быстро въ гору; онъ сдѣлался шуриномъ царевича Ѳедора, за котораго вышла сестра его Ирина, и имѣлъ теперь важный санъ конюшаго боярина. Разсказывали даже, что царь Иванъ Васильевичъ, желая показать, сколь Годуновъ и невѣстка близки его сердцу, поднялъ однажды три перста кверху и сказалъ, дотрогиваясь до нихъ другой рукой:

«Се Ѳедоръ, се Ирина, се Борисъ; а какъ рукѣ моей было бы одинаково больно, который изъ сихъ перстовъ отъ нея бы ни отсѣкли, такъ равно тяжело было бы моему сердцу лишиться одного изъ трехъ возлюбленныхъ чадъ моихъ».

Такая необыкновенная милость не родила въ Годуновѣ ни надменности, ни высокомѣрія. Онъ былъ попрежнему скроменъ, привѣтливъ къ каждому, воздержанъ въ рѣчахъ, и только осанка его получила еще болѣе степенности и ту спокойную важность, которая была прилична его высокому положенію.

Не безъ ущерба своему нравственному достоинству достигъ

однако Годуновъ такого вліянія и такихъ почестей. Не всегда удавалось его гибкому нраву устранять себя отъ дѣлъ, не одобряемыхъ его совѣстью. Такъ онъ, видя въ Малютѣ слишкомъ сильнаго соперника и потерявъ надежду уронить его въ глазахъ Іоанна, вошелъ съ нимъ въ тѣсную дружбу, и чтобы связать сильнѣе ихъ обоюдныя выгоды, женился на его дочери. Двадцать лѣтъ, проведенныхъ у престола такого царя, какъ Іоаннъ Грозный, не могли пройти даромъ Борису Ѳедоровичу, и въ немъ уже совершился тотъ горестный переворотъ, который, по мнѣнію современниковъ, обратилъ въ преступника человѣка, одареннаго самыми высокими качествами.

Глядя на царевича Ѳедора, нельзя было удержаться отъ мысли, что слабы тѣ руки, которымъ по смерти Іоанна надлежало поддерживать государство. Ни малѣйшей черты ни умственной, ни душевной силы не являло его добродушное, но безжизненное лицо. Онъ былъ уже два года женатъ, но выраженіе его осталось дѣтское. Ростомъ онъ былъ малъ, сложеніемъ дряблъ, лицомъ блѣденъ и опухловатъ. Притомъ онъ постоянно улыбался и смотрѣлъ робко и запуганно. Не даромъ ходили слухи, что царь, жалѣя о старшемъ сынѣ, говаривалъ иногда Ѳедору: «Пономаремъ бы тебѣ родиться, Ѳедя, а на царевичемъ!»

«Но Богъ милостивъ,—думали многіе:—пусть царевичъ слабъ; благо, что не пошелъ онъ ни въ батюшку, ни въ старшаго брата! А помогать ему будетъ шуринъ его, Борисъ Ѳедоровичъ. Этотъ не попуститъ упасть государству!»

Шопотъ раздавшійся во дворцѣ между придворными былъ внезапно прерванъ звуками трубъ и звономъ колоколовъ. Въ палату вошли, предшествуемые шестью стольниками, посланные Ермака, а за ними Максимъ и Никита Строгоновы съ дядею ихъ Семеномъ. Позади несли дорогіе мѣха, разныя странныя утвари и множество необыкновеннаго, еще невиданнаго оружія.

Иванъ Кольцо, шедшій во главѣ посольства, былъ человѣкъ лѣтъ подъ пятьдесятъ, средняго роста, крѣпкаго сложенія, съ

быстрыми проницательными глазами, съ черною, густою, но короткою бородой, подернутою легкою просѣдью.

— Великій государь!—сказалъ онъ, приблизившись къ ступенямъ престола:—казацкій твой атаманъ Ермакъ Тимоѳеевъ, вмѣстѣ со всѣми твоими опальными волжскими казаками, осужденными твоею царскою милостью на-смерть, старались заслужить свои вины и бьютъ тебѣ челомъ новымъ царствомъ. Прибавь, великій государь, къ завоеваннымъ тобою царствамъ Казанскому и Астраханскому еще и это Сибирское, доколѣ Всевышній благоволитъ стоять міру!

И, проговоривъ свою краткую рѣчь, Кольцо вмѣстѣ съ товарищами опустился на колѣни и преклонилъ голову до земли.

— Встаньте, добрые слуги мои!—сказалъ Іоаннъ.—Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ, и быть той прежней опалѣ не въ опалу, а въ милость.—Подойди сюда, Иванъ!

И царь протянулъ къ нему руку, а Кольцо поднялся съ земли, и чтобы не стать прямо на червленное подножіе престола, бросилъ на него сперва свою баранью шапку, наступилъ на нее одною ногою, и низко наклонившись, приложилъ уста свои къ рукѣ Іоанна, который обнялъ его и поцѣловалъ въ голову.

— Благодарю преблагую и пресущественную Троицу,—сказалъ царь, подымая очи къ небу:—зрю надо мною всемогущій промыселъ Божій, яко въ то самое время, когда тѣснятъ меня враги мои, и даже ближніе слуги съ лютостью умышляютъ погубить меня, всемилостивый Богъ даруетъ мнѣ верхъ и одолѣніе надъ погаными и славное приращеніе моихъ государствъ!

И обведя торжествующимъ взоромъ бояръ, онъ прибавилъ съ видомъ угрозы:

— Аще Господь Богъ за насъ, никто же на ны! Имѣющіе уши слышати да слышатъ!

Но въ то же время онъ почувствовалъ, что напрасно омрачаетъ общую радость, и обратился къ Кольцу, милостиво смягчая выраженіе очей:

— Какъ нравится тебѣ на Москвѣ? Видывалъ ли ты гдѣ такія палаты и церкви? Али, можетъ, ты уже прежде бывалъ здѣсь?

Кольцо улыбнулся скромно-лукавою улыбкой, и бѣлизна зубовъ его какъ будто освѣтила его смуглое, загорѣлое лицо.

— Гдѣ, намъ, малымъ людямъ, такія чудеса видѣть!—сказалъ онъ, смиренно пожимая плечами:—намъ и во снѣ такой лѣпоты не снилось, великій государь! Живемъ на Волгѣ по-мужицки, про Москву только слухомъ слышимъ, а въ этомъ краю отродясь не бывали!

— Поживи здѣсь,—сказалъ Іоаннъ благоволительно:—я тебя изрядно велю угостить. А грамоту Ермака мы прочли и вразумѣли, и уже приказали князю Болховскому да Ивану Глухову съ пятью-стами стрѣльцовъ идти помогать вамъ.

— Премного благодарствуемъ,—отвѣчалъ Кольцо, низко кланяясь:—только не мало ли будетъ, великій государь?

Іоаннъ удивился смѣлости Кольца.

— Видишь ты какой прыткій!—сказалъ онъ, глядя на него строго.—Ужъ не прикажешь ли мнѣ самому побѣжать къ вамъ на прибавку? Ты думаешь, мнѣ только и заботы, что ваша Сибирь? Нужны люди на хана и на Литву. Бери, что́ даютъ, а обратнымъ путемъ набирай охотниковъ. Довольно теперь всякой голи на Руси. Вмѣсто, чтобы докучать мнѣ по всѣ дни о хлѣбѣ, пусть идутъ селиться на тѣ новыя земли! И архіерею вологодскому написали мы, чтобъ отрядилъ десять поповъ, обѣдни вамъ служить и всякія требы исполнять.

— И на этомъ благодаримъ твою царскую милость,—отвѣтилъ Кольцо, вторично кланяясь.—Это дѣло доброе; только не пожалѣй ужъ, великій государь, поверхъ поповъ, и оружія дать намъ сколько можно, и зелья огнестрѣльнаго поболѣ.

— Не будетъ вамъ и въ этомъ оскудѣнія. Есть Болховскому про то указъ отъ меня.

— Да ужъ и пообносились мы больно,—замѣтилъ Кольцо, съ заискивающею улыбкой пожимая плечами.

— Небось, некого въ Сибири по дорогамъ грабить? — ска-

залъ Іоаннъ, недовольный настойчивостью атамана.—Ты, я вижу, ни одной статьи не забываешь для своего обихода, только и мы нашимъ слабымъ разумомъ обо всемъ уже подумали. Одежду поставятъ вамъ Строгоновы; я же положилъ мое царское жалованье начальнымъ рядовымъ людямъ. А чтобъ и ты, господинъ совѣтчикъ, не остался безъ одежи, жалую тебѣ шубу съ моего плеча!

По знаку царя два стольника принесли дорогую шубу, покрытую золотой парчей, и надѣли ее на Ивана Кольцо.

— Языкъ-то у тебя, я вижу, остеръ,—сказалъ Іоаннъ:—а есть ли острая сабля?

— Да была не дурна, великій государь, только поиступилась маленько о сибирскія головы!

— Возьми изъ моей оружейной саблю, какая тебѣ болѣ приглянется, да смотри, выбирай по-сердцу, которая покраше. А впрочемъ ты, я думаю, чиниться не будешь!

Глаза атамана загорѣлись отъ радости.

— Великій государь!—воскликнулъ онъ:—изо всѣхъ твоихъ милостей эта самая бо́льшая! Грѣхъ было-бъ мнѣ чиниться на твоемъ подаркѣ! Ужъ выберу въ твоей оружейной что ни на есть лучше! Только,—прибавилъ онъ, немного подумавъ:—коли ты, государь, не жалѣешь своей сабли, то дозволь лучше отвезти ее отъ твоего царскаго имени Ермолаю Тимоѳеичу!

— Объ немъ не хлопочи, мы и его не забудемъ. А коли ты боишься, что я не съумѣю угодить на его милость, то возьми двѣ сабли, одну себѣ, другую Ермаку.

— Исполать же тебѣ, государь!—воскликнулъ Кольцо въ восхищеніи.—Ужъ мы этими двумя саблями послужимъ твоему царскому здоровью!

— Но сабель не довольно,—продолжалъ Іоаннъ.—Нужны вамъ еще добрыя брони. На тебя-то мы, примѣривши, найдемъ, а на Ермака какъ бы за глаза не ошибиться. Какого онъ будетъ роста.

— Да, пожалуй, будетъ съ меня, только въ плечахъ пошире. Вотъ хоть бы съ этого молодца,—сказалъ Кольцо, оборачиваясь

на одного изъ своихъ товарищей, здороваго дѣтину, который, принесши огромную охапку оружія и сваливъ ее на землю, стоялъ позади его съ разинутымъ ртомъ и не переставалъ дивиться то на золотую одежду царя, то на убранство рындъ, окружавшихъ престолъ. Онъ даже попытался вступить потихоньку съ однимъ изъ нихъ въ разговоръ, чтобъ узнать, не всѣ ли они царевичи? Но рында посмотрѣлъ на него такъ сурово, что тотъ не возобновлялъ болѣе вопроса.

— Принести сюда,—сказалъ царь:—большую броню съ орломъ, что̀ виситъ въ оружейной, на первомъ мѣстѣ. Мы примѣримъ ее на этого пучеглазаго.

Вскорѣ принесли тяжелую желѣзную кольчугу, съ мѣдною каймой вокругъ рукавовъ и подола и съ золотыми двуглавыми орлами на груди и на спинѣ.

Кольчуга была скована на славу и возбудила во всѣхъ одобрительный шопотъ.

— Надѣвай ее, тюлень!—сказалъ царь.

Дѣтина повиновался, но сколько ни силился, онъ не могъ въ нее пролѣзть, и дошихнулъ руки только до половины рукавовъ.

Какое-то давно забытое воспоминаніе мелькнуло, при этомъ видѣ, въ памяти Іоанна.

— Будетъ!—сказалъ Кольцо, слѣдившій заботливо за дѣтиной:—довольно пялить царскую кольчугу-то! Пожалуй, разорвешь ее, медвѣдь! Государь,—продолжалъ онъ:—кольчуга добрая, и будетъ Ермолаю Тимоѳеичу въ самую пору, а этотъ потому пролѣзть не можетъ, что ему кулаки мѣшаютъ. Этакихъ кулаковъ ни у кого нѣтъ, окромѣ его!

— А ну-ка, покажи свой кулакъ?—сказалъ Іоаннъ, съ любопытствомъ вглядываясь въ дѣтину.

Но дѣтина смотрѣлъ на него въ недоумѣніи, какъ будто не понимая приказанія.

— Слышь ты дурень,—повторилъ Кольцо:—покажи кулакъ его царской милости!

— А коли онъ мнѣ за то голову срубитъ!—сказалъ дѣтина протяжно, и на глупомъ лицѣ его изобразилось опасеніе.

Царь засмѣялся, и всѣ присутствующіе съ трудомъ удержались отъ смѣха.

— Дуракъ, дуракъ!—сказалъ Кольцо съ досадою:—былъ ты всегда дуракъ и теперь дуракомъ остался!

И, высвободивъ дѣтину изъ кольчуги, онъ подтащилъ его къ престолу и показалъ царю его широкую кисть, болѣе похожую на медвѣжью лапу, чѣмъ на человѣческую руку.

— Не взыщи, великій государь, за его простоту. Онъ въ рѣчахъ глупъ, а на дѣлѣ парень добрый. Онъ своими руками царевича Маметкула полонилъ.

— Какъ его зовутъ?—спросилъ Іоаннъ, все пристальнѣе вглядываясь въ дѣтину.

— А Митькою!—отвѣчалъ тотъ добродушно.

— Постой!—сказалъ Іоаннъ, узнавая вдругъ Митьку:—ты никакъ тотъ самый, что̀ въ Слободѣ за Морозова бился и Хомяка оглоблей убилъ?

Митька глупо улыбнулся.

— Я тебя, дурня, сначала не призналъ, а теперь вспоминаю твою рожу!

— А я тебя сразу призналъ!—отвѣтилъ Митька съ довольнымъ видомъ:—ты на высокомъ ослонѣ у самаго поля сидѣлъ!

Этотъ разъ всѣ громко засмѣялись.

— Спасибо тебѣ,—сказалъ Іоаннъ:—что не забылъ ты меня, малаго человѣка. Какъ же ты Маметкула-то въ полонъ взялъ?

— Животомъ навалился!—отвѣтилъ Митька равнодушно и не понимая, чему опять всѣ захохотали.

— Да,—сказалъ Іоаннъ, глядя на Митьку:—когда этакій чурбанъ навалится, изъ-подъ него уйти не легко. Помню, какъ онъ Хомяка раздавилъ. Зачѣмъ же ты ушелъ тогда съ поля? Да и какъ ты изъ Слободы въ Сибирь попалъ?

Атаманъ толкнулъ Митьку непримѣтно локтемъ, чтобы онъ молчалъ, но тотъ принялъ этотъ знакъ въ противномъ смыслѣ.

— А онъ меня съ поля увелъ!—сказалъ онъ, тыкнувъ пальцемъ на атамана.

— Онъ тебя увелъ?—произнесъ Иванъ Васильевичъ, посма-

тривая съ удивленіемъ на Кольцо.—А какъ же, — продолжалъ онъ, вглядываясь въ него:—какъ же ты сказалъ, что въ первый разъ въ этомъ краю? Да погоди-ка, братъ, мы, кажется, съ тобой старые знакомые. Не ты ли мнѣ когда-то про Голубиную Книгу разсказывалъ? Такъ, такъ, я тебя узнаю. Да вѣдь ты и Серебрянаго-то изъ тюрьмы увелъ. Какъ же это, Божій человѣкъ, ты прозрѣлъ съ того времени? Куда на богомолье ходилъ? Къ какимъ мощамъ прикладывался?

И, наслаждаясь замѣшательствомъ Кольца, царь устремлялъ на него свой проницательный, вопрошающій взглядъ.

Кольцо опустилъ глаза въ землю.

— Ну,—сказалъ наконецъ царь:—что было, то было; а что прошло, то травой поросло. Повѣдай мнѣ только, зачѣмъ ты, послѣ рязанскаго дѣла, не захотѣлъ принести мнѣ повинной вмѣстѣ съ другими ворами?

— Великій государь, — отвѣтилъ Кольцо, собирая все свое присутствіе духа:—не заслужилъ я еще тогда твоей великой милости. Совѣстно мнѣ было тебѣ на глаза показаться; а когда князь Никита Романычъ повелъ къ тебѣ товарищей, я вернулся опять на Волгу, къ Ермаку Тимоѳеичу, не приведетъ ли Богъ какую новую службу тебѣ сослужить!

— А пока мою казну съ судовъ воровалъ, да пословъ моихъ Кизилбашскихъ на пути къ Москвѣ грабилъ?

Видъ Ивана Васильевича былъ болѣе насмѣшливъ, чѣмъ грозенъ. Со времени дерзостной попытки Ванюхи Перстня, или Ивана Кольца, прошло семнадцать лѣтъ, а злопамятность царя не продолжалась такъ долго, когда она не была возбуждена прямымъ оскорбленіемъ его личнаго самолюбія.

Кольцо прочелъ на лицѣ Іоанна одно желаніе посмѣяться надъ его замѣшательствомъ. Соображаясь съ этимъ расположеніемъ, онъ потупилъ голову и погладилъ затылокъ, сдерживая на лукавыхъ устахъ своихъ едва замѣтную улыбку.

— Всякаго бывало, великій государь!—проговорилъ онъ вполголоса:—виноваты передъ твоею милостью!

— Добро,—сказалъ Іоаннъ:—вы съ Ермакомъ свои вины за-

гладили, и все прошлое теперь забыто; а кабы ты прежде попался мнѣ въ руки, ну, тогда не прогнѣвайся!...

Кольцо не отвѣчалъ ничего, но подумалъ про себя: «затѣмъ-то я тогда и не пошелъ къ тебѣ съ повинною, великій государь!»

— Погоди-ка, — продолжалъ Іоаннъ: — здѣсь долженъ быть твой пріятель!

— Эй!—сказалъ онъ, обращаясь къ царедворцамъ:—здѣсь ли тотъ разбойничій воевода, какъ бишь его? Микита Серебряный?

Говоръ пробѣжалъ по толпѣ, и въ рядахъ сдѣлалось движеніе, но никто не отвѣчалъ.

— Слышите?—повторилъ Іоаннъ, возвышая голосъ:—я спрашиваю, тутъ ли тотъ Микита, что́ отпросился къ Жиздрѣ съ ворами служить?

На вторичный вопросъ царя выступилъ изъ рядовъ одинъ старый бояринъ, бывшій когда-то воеводою въ Калугѣ.

— Государь, — сказалъ онъ съ низкимъ поклономъ: — того, о комъ ты спрашиваешь, здѣсь нѣтъ. Онъ въ тотъ самый годъ, какъ пришелъ на Жиздру, тому будетъ семнадцать лѣтъ, убитъ Татарами и вся его дружина вмѣстѣ съ нимъ полегла.

— Право?—сказалъ Іоаннъ:—а я и не зналъ!—Ну,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Кольцу:—на нѣтъ и суда нѣтъ, а я хотѣлъ васъ свести да посмотрѣть, какъ вы поцѣлуетесь!

На лицѣ атамана выразилась печаль.

— Жаль тебѣ, что-ли, товарища? — спросилъ Іоаннъ съ усмѣшкой.

— Жаль, государь,—отвѣчалъ Кольцо, не боясь раздражить царя этимъ признаніемъ.

— Да, — сказалъ царь презрительно: — такъ оно и должно быть: свой своему поневолѣ братъ!

Вправду ли Іоаннъ не вѣдалъ о смерти Серебрянаго, или притворился, что не вѣдаетъ, чтобъ этимъ показать, какъ мало онъ дорожитъ тѣми, кто не ищетъ его милости, Богъ вѣсть! Если же въ самомъ дѣлѣ онъ только теперь узналъ о его участи, то пожалѣлъ ли о немъ, или нѣтъ, это также трудно рѣ-

шить; только на лицѣ Іоанна не написалось сожалѣнія. Онъ, повидимому, остался такъ же равнодушенъ, какъ и до полученнаго имъ отвѣта.

— Поживи здѣсь, — сказалъ онъ Ивану Кольцу: — а когда придетъ время Болховскому выступить, иди съ нимъ обратно въ Югорскую землю... Да, я было и забылъ, что Болховской свое колѣно отъ Рюрика ведетъ. Съ этими вельможными князьями управляться не легко; пожалуй, и со мной захотятъ въ разрядахъ считаться! Не всѣ они, какъ тотъ Микита, въ станичники просятся. Такъ, чтобы не показалось ему обиднымъ быть подъ рукою казацкаго атамана, жалую нынѣ же Ермака княземъ Сибирскимъ! Щелкаловъ, — сказалъ онъ стоявшему поодаль думному дьяку:—изготовь къ Ермаку милостивую грамоту, чтобы воеводствовать ему надо всею землей Сибирскою, а Маметкула, чтобы къ Москвѣ за крѣпкимъ карауломъ прислалъ. Да кстати напиши грамоту и Строгоновымъ, что жалую-де ихъ за добрую службу и радѣніе: Семену Большую и Малую Соль на Волгѣ, а Никитѣ и Максиму торговать во всѣхъ тамошнихъ городахъ и острожкахъ безпошлинно.

Строгоновы низко поклонились.

— Кто изъ васъ, — спросилъ вдругъ Іоаннъ:—излечилъ Бориса въ ту пору, какъ я его осномъ поранилъ?

— То былъ мой старшій братъ, Григорій Аникинъ,—отвѣчалъ Семенъ Строгоновъ. — Онъ волею Божьею прошлаго года умре!

— Не Аникинъ, а Аникьевичъ, — сказалъ царь съ ударе-ніемъ на послѣднемъ слогѣ:—я тогда же велѣлъ ему быть выше гостя и полнымъ отчествомъ называться. И вамъ всѣмъ указываю писаться съ *вичемъ* и зваться не гостями, а именитыми людьми!

Царь занялся разсмотрѣніемъ мягкой рухляди и прочихъ даровъ, присланныхъ Ермакомъ, и отпустилъ Ивана Кольцо, сказавъ ему еще нѣсколько милостивыхъ насмѣшекъ.

За нимъ разошлось и все собраніе.

Въ этотъ день Кольцо, вмѣстѣ съ Строгоновыми, обѣдалъ у Бориса Ѳедоровича, за многолюднымъ столомъ.

Послѣ обычнаго осушенія кубковъ во здравіе царя, царевича, всего царскаго дома и высокопреосвященнаго митрополита, Годуновъ поднялъ золотую братину и предложилъ здоровье Ермака Тимоѳеевича и всѣхъ его добрыхъ товарищей.

— Да живутъ они долго на славу Русской земли!—воскликнули всѣ гости, вставая съ мѣстъ и кланяясь Ивану Кольцу.

— Бьемъ тебѣ челомъ ото всего православнаго міра, — сказалъ Годуновъ, съ низкимъ поклономъ:—а въ твоемъ лицѣ и Ермаку Тимоѳеевичу, ото всѣхъ князей и бояръ, ото всѣхъ торговыхъ людей, ото всего люда русскаго! Пріими ото всей земли великое челобитіе, что сослужили вы ей службу великую!

— Да перейдутъ,—воскликнули гости:—да перейдутъ имена ваши къ сыновьямъ, и ко внукамъ, и къ позднимъ потомкамъ, на вѣчную славу, на любовь и образецъ, на молитвы и поученіе!

Атаманъ всталъ изъ-за стола, чтобы благодарить за честь, но выразительное лицо его внезапно измѣнилось отъ душевнаго волненія, губы задрожали, а на смѣлыхъ глазахъ, быть можетъ, первый разъ въ жизни, навернулись слезы.

— Да живетъ Русская земля?—проговорилъ онъ тихо и, поклонившись на всѣ стороны, сѣлъ опять на свое мѣсто, не прибавляя ни слова.

Годуновъ попросилъ атамана разсказать что-нибудь про свои похожденія въ Сибири, и Кольцо, умалчивая о себѣ, сталъ разсказывать съ одушевленіемъ про необыкновенную силу и храбрость Ермака, про его строгую справедливость и про христіанскую доброту, съ какою онъ всегда обходился съ побѣжденными.

— На эту-то доброту, — заключилъ Кольцо:—Ермакъ Тимоѳеевичъ взялъ, пожалуй, еще болѣе, чѣмъ на свою саблю. Какой острогъ, или городъ ихный, бывало, ни завоюемъ, онъ тотчасъ всѣхъ тамъ обласкаетъ, да еще и одаритъ. А когда мы взяли Маметкула, такъ онъ ужъ не зналъ какъ и честить его; съ своихъ плечъ шубу снялъ и надѣлъ на царевича. И прошла про Ермака молва по всему краю, что подъ его руку сдаваться не тяжело; и много разныхъ князьковъ тогда же сами къ нему пришли и ясакъ принесли. Веселое намъ было житье въ Си-

бири,—продолжалъ атаманъ:—объ одномъ только жалѣлъ я: что не было съ нами князя Никиты Романыча Серебрянаго; и ему бы по-сердцу пришлось, и намъ вмѣстѣ было бы моготнѣе. Ты, кажется, Борисъ Ѳедорычъ, былъ въ дружбѣ съ нимъ. Дозволь же теперь про его память выпить!

— Царствіе ему небесное!—сказалъ со вздохомъ Годуновъ, которому ничего не стоило выказать участіе къ человѣку, столь уважаемому его гостемъ.—Царствіе ему небесное!—повторилъ онъ, наливая стопу:—часто я о немъ вспоминаю!

— Вѣчная ему память!—сказалъ Кольцо и, осушивъ свою стопу, онъ опустилъ голову и задумался.

Долго еще разговаривали за столомъ, а когда кончился обѣдъ, Годуновъ и тутъ никого не отпустилъ домой, но пригласилъ каждаго сперва отдохнуть, а потомъ провести съ нимъ весь день. Угощенія слѣдовали одно за другимъ, бесѣда смѣняла бесѣду, и только позднимъ вечеромъ, когда объѣзжіе головы уже нѣсколько разъ проѣхались по улицамъ, крича, чтобы гасили кормы и огни, гости разошлись, очарованные радушіемъ Бориса Ѳедоровича.

Прошло болѣе трехъ вѣковъ послѣ описанныхъ дѣлъ, и мало осталось на Руси воспоминаній того времени. Ходятъ еще въ народѣ преданія о славѣ, роскоши и жестокости грознаго царя, поются еще кое-гдѣ пѣсни про осужденіе на смерть царевича, про нашествіе Татаръ на Москву и про покореніе Сибири Ермакомъ Тимоѳеичемъ, котораго изображенія, вѣроятно несходныя, можно видѣть доселѣ почти во всѣхъ избахъ сибирскихъ; но въ этихъ преданіяхъ, пѣсняхъ и разсказахъ правда мѣшается съ вымысломъ, и они даютъ дѣйствительнымъ событіямъ колеблющіяся очертанія, показывая ихъ какъ будто сквозь туманъ и дозволяя воображенію возстановлять по произволу эти неясные образы.

Правдивѣе говорятъ о наружной сторонѣ того царствованія нѣкоторыя уцѣлѣвшія зданія, какъ церковь Василія Блажен-

наго, коей пестрыя главы и узорные теремки могуть дать понятіе о причудливомъ зодчествѣ Іоаннова дворца въ Александровой Слободѣ, или церковь Трифона Напруднаго, между Бутырскою и Крестовскою заставами, построенная сокольникомъ Трифономъ вслѣдствіе даннаго имъ обѣта, и гдѣ доселѣ видно изображеніе святого угодника, на бѣломъ конѣ, съ кречетомъ на рукавицѣ *).

Слобода Александрова, послѣ выѣзда изъ нея царя Ивана Васильевича, стояла въ забвеніи, какъ мрачный памятникъ его гнѣвной набожности, и оживилась только одинъ разъ, но и то на краткое время. Въ смутные годы самозванецъ, молодой полководецъ, князь Михаилъ Васильевичъ Скопинъ-Шуйскій, въ союзѣ съ шведскимъ генераломъ Делагарди, сосредоточилъ въ ея крѣпкихъ стѣнахъ свои воинскія силы и заставилъ оттуда польскаго воеводу Сапѣгу снять долговременную осаду съ Троицко-Сергіевской лавры.

Впослѣдствіи, разсказываетъ преданіе, въ одну жестокую зиму, въ январѣ мѣсяцѣ, къ ужасу жителей, нашла на Александрову Слободу черная туча, спустилась надъ самымъ дворцомъ и разразилась надъ нимъ громовымъ ударомъ, отъ котораго запылали терема, и вся Слобода обратилась въ пепелъ. Отъ жилища роскоши, разврата, убійствъ и святотатныхъ богослуженій не осталось и слѣда...

Да поможетъ Богъ и намъ изгладить изъ сердецъ нашихъ послѣдніе слѣды того страшнаго времени, вліяніе котораго, какъ наслѣдственная болѣзнь, еще долго потомъ переходило въ жизнь нашу отъ поколѣнія къ поколѣнію! Простимъ грѣшной тѣни царя Іоанна, ибо не онъ одинъ несетъ отвѣтственность за свое царствованіе; не онъ одинъ создалъ свой произволъ и пытки, и казни, и наушничество, вошедшее въ обязанность и въ обычай. Эти возмутительныя явленія были подготовлены предыду-

*) Съ тѣхъ поръ, какъ это написано, церковь Трифона Напруднаго такъ передѣлана, что ее узнать нельзя. Снаружи придѣлки, а внутренность переписана и перештукатурена въ новомъ вкусѣ. Все это вслѣдствіе пожертвованій *доброхотныхъ дателей*, какъ объясняютъ причетники.

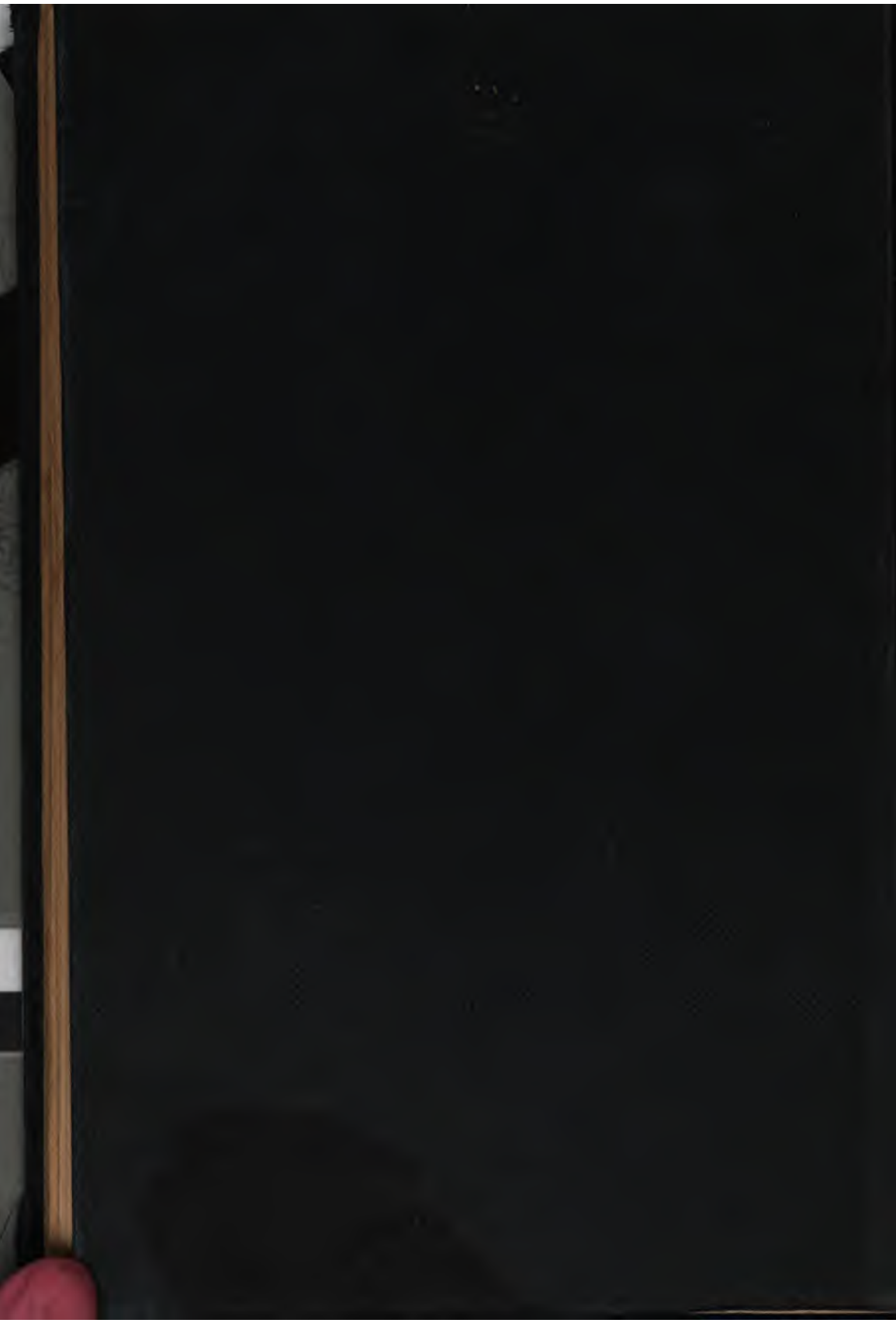
щими временами, и земля, упавшая такъ низко, что могла смотрѣть на нихъ безъ негодованія, сама создала и усовершенствовала Іоанна, подобно тому, какъ раболѣпные римляне временъ упадка создавали Тиверіевъ, Нероновъ и Калигулъ.

Лица, подобныя Василію Блаженному, князю Репнину, Морозову или Серебряному, являлись нерѣдко, какъ свѣтлыя звѣзды на безотрадномъ небѣ нашей русской ночи, но, какъ и самыя звѣзды, они были безсильны разогнать ея мракъ, ибо свѣтились отдѣльно и не были сплочены, ни поддерживаемы общественнымъ мнѣніемъ. Простимъ же грѣшной тѣни Ивана Васильевича, но помянемъ добромъ тѣхъ, которые, завися отъ него, устояли въ добрѣ, ибо тяжело не упасть въ такое время, когда всѣ понятія извращаются, когда низость называется добродѣтелью, предательство входитъ въ законъ, а самая честь и человѣческое достоинство почитаются преступнымъ нарушеніемъ долга! Миръ праху вашему, люди честные! Платя дань вѣку, вы видѣли въ Грозномъ проявленіе Божьяго гнѣва и сносили его терпѣливо; но вы шли прямою дорогой, не бояся ни опалы, ни смерти; и жизнь ваша не прошла даромъ, ибо ничто на свѣтѣ не пропадетъ, и каждое дѣло, и каждое слово, и каждая мысль выростаетъ какъ древо; и многое доброе и злое, что̀ какъ загадочное явленіе существуетъ понынѣ въ русской жизни, таитъ свои корни въ глубокихъ и темныхъ нѣдрахъ минувшаго.

Типографія М. М. Стасюлевича, Спб., Вас. Остр., 5 л., 28.

Stanford University Libraries
3 6105 013 376 145

891.71
T651
v.4

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.